ЛЕВ УСПЕНСКИЙ

Записки старого петербуржца

ЛЕВ УСПЕНСКИЙ

ЛЕВ УСПЕНСКИЙ

Записки старого петербуржца

ЛЕНИЗДАТ

1970

2—8—4
124—1970

ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ УСПЕНСКИЙ

Записки старого петербуржца

Редактор Л. Е. Кошевая
Художник Ю. Н. Васильев
Художник-редактор О. И. Маслаков
Технический редактор А. В. Семенова
Корректор В. Д. Чаленко

Сдано в набор 12/III 1970 г. Подписано к печати 17/VIII 1970 г. Формат бумаги 70×108[1]/[32]. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 22,4. Уч.-изд. л. 22,85 + вкл. Тираж 75 000 экз. М-14293. Заказ № 455/л.

Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59
Типография им. Володарского Лениздата, Фонтанка, 57

Цена 1 р. 56 к.

TO WRITE OR NOT TO WRITE?

Когда мне предложили взяться за книгу, озаглавленную так, как значится на ее переплете, я впал в нерешительность. «Ту райт ор нот ту райт?» — «писать или не писать?». Вопрос показался мне не менее значительным, чем гамлетовский.

«Записки»! Что «записки», что «мемуары» или «воспоминания» — разница невелика. А кто я такой, чтобы стать мемуаристом?

Когда я раскрываю журнал и вижу, что там напечатаны воспоминания маршала Конева, я уже прячу эту книгу подальше от жадных глаз, чтобы никто не перехватил ее у меня.

Сразу и каждому понятно: маршал Конев вправе писать и быть уверенным, что его будут читать не отрываясь... А я?

Или — другое. Мы ловим каждое слово Пушкина, в котором он сказал — так мало, так скупо! — хоть

что-либо о своей жизни. Это понятно. Друг Пушкина Алексей Вульф не блистал ни талантами, ни личными достоинствами. Но мы с жадностью читаем всё, что написал он о себе: как же! Его друг!

Эккерман просто стоял рядом с Гете, был девять лет его секретарем. Нам нужны «Записки» этого Эккермана, хотя сам по себе он был, по-видимому, не бог весть какого обширного ума и интересной жизни немцем.

Но если человек не только не водил армий к столицам других государств, не только не вершил судьбы народов, — он не был даже близок ни к кому из великих людей?

«Райт» ему «ор нот ту райт?» Может быть, не стоит?

Первое, что заставило меня поколебаться, было вот какое — совершенно случайное — воспоминание.

Когда большого французского историка, нашего современника (по-моему — Олара), спросили, какие документы ценятся сейчас выше всего на рынке, торгующем архивными сокровищами, он ответил не задумываясь: «Если бы вы предложили антиквару неопубликованное письмо Наполеона I, вы стали бы очень богатым человеком, мсье... Впрочем... Минутку! Вы получили бы еще намного больше, если бы в ваших руках оказалась совсем простая вещь — приходо-расходная книжка французской хозяйки, матери семьи, с записями ее трат и поступлений за годы 1789—1794... Сколько она заплатила за пучок лука в день взятия Бастилии?.. Что стоила ей кринка молока утром того дня, когда голова Луи Капета слетела в корзину в ряду многих других голов? Как вознаграждала она в год падения Робеспьера «citoyenne une telle» * за мытье полов и «ситуайена» такого-то за набивку нового матраса?.. Если у вас есть надежда разыскать на вашем

* «Гражданку такую-то» *(франц.)*.

чердаке такие записи — ищите, ищите! И, буде вам предложат за них столько золота, сколько они весят, выгоните вон наглецов: вы получите в сто раз больше. Ибо письма Наполеона хранят, а приходные книжки бабушек выбрасывают в печку. Настоящая же драгоценность для историка — именно они».

Когда это пришло мне в голову, я призадумался.

Да, конечно, воспоминания больших людей подобны письмам Наполеона. Но — кто его знает? — может быть, то, что живет в памяти человека среднего, можно сравнить с такой домовой бухгалтерской записью, особенно если в ней, в памяти этой, отражается не обычное время, а великий переломный период истории — живая половина нашего века? Так, может быть, все-таки — «ту райт»?

Я взглянул в окно. Там был перегруженный трамваями, автобусами, машинами мост Лейтенанта Шмидта, и — правее — Академия художеств со сфинксами из древних Фив, и — левее — гранитная стела, против места, где стояла «Аврора» в октябрьскую ночь. Там был Ленинград. И если я не стоял рядом ни с кем великим за всю мою жизнь, то с чем-то великим — с Ленинградом — я не только стоял рядом. Я жил им и в нем.

И тут доказательства тому, что писать — надо, дождем посыпались на меня. Всех их — несчетное множество; я приведу лишь некоторые.

Семьдесят лет

Я родился в Петербурге, на Бассейной улице *, в зимнюю вьюжную ночь 27 января девятисотого года, считая по юлианскому календарю. А за три дня до этого, сущест-

---

* Список старых и новых названий улиц, мостов и набережных Ленинграда, упоминаемых автором, дан в конце книги.

венного лишь для семьи межевого инженера В. В. Успенского, события тихий профессор физики Александр Степанович Попов в шхерах возле тогдашнего Бьёрке (потом оно стало Койвисто, потом — Приморском) впервые в мире связался по беспроволочному телеграфу с сидящим на камнях в заливе броненосцем «Генерал-адмирал Апраксин». Передал на судно и принял с судна вести.

Теперь же, лет через шестьдесят с небольшим, я сижу в покойном кресле, и экран моего телевизора — правнук поповского «грозоотметчика» — мерцает, и я вижу на этом экране, как открывается лючок в космическом корабле и из него в бесконечность мира выкарабкивается человек в скафандре и мчится вокруг Земли с непредставимой скоростью, и там, за его плечами, за его головой, намечается — точь-в-точь такое, как на глобусе, — восточное побережье Черного моря и степи Кубани, и завитые спиралями циклонов облака над моей Землей, и что-то еще никогда не виданное и потому почти неразличимое на неопытный глаз...

И я вижу совсем близко от себя камни, валяющиеся на поверхности Луны. И я слышу «Интернационал», передаваемый не из Москвы, а оттуда, с лунного лика, где столько тысячелетий человеческий взор различал то рыбака с неводом, то дровосека с вязанкой, то Каина с Авелем на плече...

День в день через три года после моего появления на свет японские крейсера блокировали «Варяга» и «Корейца» в Чемульпо. Через четыре года и неполных одиннадцать месяцев поп Георгий Гапон привел тысячи безоружных людей под дула винтовок под окна Зимнего дворца... Четырнадцать с половиной лет спустя грянул в Сараеве выстрел гимназиста Принципа, открывший первую мировую войну. Еще два с половиной года — и кончилась царская Россия. Еще восемь коротких меся-

цев — и залпом «Авроры» означился рубеж новой эры... А 1924 год и кончина Ленина? А годы пятилеток? А величайшая трагедия и великое торжество нашей Отечественной войны, с блокадой Ленинграда, с подвигом Сталинграда, с Советской Армией в Берлине! А первый спутник в просторах космоса на моем пятьдесят седьмом году... А тот день, когда все мы, и я, шестидесятилетний (шестидесятиоднолетний, но так не говорят), увидели на экранах телевизоров «гражданина Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина», идущего по красному ковру славы и почестей, превосходящих славу Христофора Колумба и Фернандо Магеллана и честь, оказанную им?

И все это я видел своими глазами... Так ведь, пожалуй, — надо писать!

Ровесники

Человеческая натура устроена причудливо. Из общего круга людей она — может быть, и без достаточных оснований—выделяет с особой приязнью, казалось бы, случайные группки: тех, кто родился и живет в одном селе или на одной улице с тобою, тех, кто учился в одной школе, а еще лучше — в том же классе, что и ты, соучеников. Тех, наконец, кто пришел с тобой в этот мир в одном году — одногодков, ровесников.

Я встречался на моем веку со многими своими одногодками (ох, сколько из них — Всеволод Вишневский в том числе — уже никогда не пожмут моей руки!). Мы, видя друг друга, каждый раз улыбались приязненно: как же! Ровесники! В девятисотом родились!

И вот в сороковом году, накануне нового рубежа нашего века, мне пришла в голову странная идея: если существуют мои одногодки, то должны же существовать

и «однодневки». Те, кто появился на свет в один день со мной. Должны или не должны?

Есть полезнейшая, хотя порою немного жутковатая, наука — статистика. Стоило обратиться к ней с вопросом, она ответила с совершенной точностью: «Милый, не заносись со своей исключительностью! Ничего в тебе исключительного нет. В один день с тобою, согласно данным о рождаемости, на территории Европейской части тогдашней Российской империи «разверзли ложе сна» своих матерей столько-то — ну, скажем, две тысячи двести — мальчишек и девчонок. Данных по Сибири и Дальнему Востоку у нас для того времени нет...»

Две тысячи двести абсолютных сверстников! Вот это да! А много ли среди них пришлось на Санкт-Петербург? С этим дело оказалось проще: данные по столице были более точными. В Санкт-Петербурге в среду 27 января 1900 года закричали «ува-ува», засучили ножками, стали беззубыми ртами ловить воздух первой своей зимы сто пятьдесят семь младенцев, и я в том числе.

Остановиться бы мне на этих приятных сведениях: вон сколько у меня их, моих «земляков во времени». Но, увы, я человек дотошный. И пало мне тогда на ум задать следующий вопрос: а сегодня, в тысяча девятьсот сороковом году, многие ли из них будут праздновать, в тот же день, что и я, свое сорокалетие? Если бы оказалось возможным пригласить всех на такое торжество, сколько бы нас собралось?

Знаете ли вы, что в статистике и демографии именуется «таблицами дожития»?

Как только мы, «девятисотники», открыли глаза в новом для нас мире (да нет, я путаю: задолго до того, как это случилось!), статистика уже составила на нас всех эти чертовы, отдающие прямо-таки колдовством и черной магией таблицы.

В них было заранее рассчитано, скольким из нас, новорожденных того года, суждено дожить до семи, скольким до двадцати, скольким до семидесяти лет. Не кому из нас, сия тайна велика есть, — скольким из нас! Скольким абстрактным единицам — людям, года рождения 1900-го.

Эти таблицы существовали. Они были вычислены к девятисотому году, как вычисляют их сегодня на девятьсот семьдесят первый год, — исходя из представлений о нормальном пути развития дальнейшей истории. Не беря в расчет непредвидимых обстоятельств — великих наводнений, катастрофических землетрясений, небывалых неурожаев, пришествия марсиан или столкновения с кометой. Не ориентируясь на глад, мор, трус * и казни египетские.

Так вот, при этом (при этих!) обязательном ограничении, таблицы утверждали, что, — если все пойдет нормально и спокойно! — из двух тысяч двухсот моих абсолютных сверстников к январю девятьсот первого года на Земле останется только две трети — тысяча четыреста самых живучих малышей. Почему такой ужас? Да просто таков был в тогдашней России процент детской смертности по первому году.

Ничуть не менее страшным для нас был и второй год. К январю девятьсот второго от нас должно было сохраниться не более восьмисот или девятисот душ... Знай мы это — подождали бы, пожалуй, родиться!

Правда, дальше дело обещало идти несколько спокойнее: чудовищной была именно смертность в первые два года. Но все-таки, если в мире все пойдет спокойно, если не посетит Россию чума или холера, если не

---

* В старославянском и отчасти в древнерусском языках — «землетрясение».

произойдет Мамаева нашествия и не повторится Смутное время, — тогда, обещали таблицы, сотни две или три ветеранов из тех двух тысяч будут еще процветать к сороковому году на всем пространстве Земли Русской. А петербуржцы? Да стоит ли о них говорить? Два-три человека; может быть — пяток; но вряд ли, вряд ли!..

Я задавал свои вопросы статистике в том самом сороковом году. И за спинами моего поколения были уже и русско-японская война, и революция пятого года, и виселицы реакции, и ненастье первой мировой, и пламя войны гражданской, и голод двадцать первого, и...

Так сколько же нас могло остаться?

Когда я взвалил себе на плечи груз всех этих странных вычислений и исследований, мною руководило не праздное любопытство. И конечно, я имел в виду вовсе не «единицу», не Льва Успенского, не самого себя. Я искал путей к биографии времени, думал найти какую-то новую лазейку к его сердцевине. Но ведь человеческое историческое время, как организм из клеток, складывается из единичных людских судеб...

Судьбы века

Классом ниже меня в Выборгском восьмиклассном коммерческом училище Петербурга — Финский переулок, дом 5 — учился маленький щуплый мальчик. Я назову его тут Фимой Атласом.

Этот Фима, сын аптекаря с Большого Сампсониевского проспекта, был совершенно как все, за исключением двух свойств — основного и вытекающего.

Во-первых, его о б л и з а л а с о б а к а. Во-вторых, он был единственным на нашем горизонте лысым мальчиком.

Собака лизнула его в темя, по голове пошли фурункулы, их облучили рентгеном, и Фима Атлас облысел, как колено. Мы, остальные мальчишки, остро завидовали ему: мы-то были обыкновенными, волосатыми...

Никаких иных особых примет или достоинств у него не было.

А в тридцать девятом году до меня дошли сведения о Фиме. Господин Ефим Атлас был теперь миллионером, крупнейшим гуртовщиком скота во Французском Конго. Девятнадцатый год — деникинский юг России. Девятьсот двадцатый год — Принцевы острова вместе с Врангелем. Девятьсот двадцать второй — Бизерта, потом Конго, и служба у тамошнего плантатора, и брак с плантаторской дочерью, и...

Вот вам и лысый мальчик: граф Калиостро, всесветный авантюрист какой-то!

Уже в гимназии Мая на Васильевском процветал другой юнец, классом старше меня, скажем Петя Васильев; отец у него был видным инженером-путейцем.

И этот длинный и длиннолицый подросток тоже никакими выдающимися качествами не обладал: так, все на троечку. Была у него только одна выделявшая его из общего ряда привычка. Завидев на старшем, третьем, этаже школы случайно забежавшего туда младшеклассника, он сладострастно жмурился, на цыпочках подкрадывался к этому малышу, осторожненько брал нарушителя школьной иерархии за локоток и затем, всю перемену ни на миг не отпуская его от себя, не давая вернуться в родной первый этаж, где играли в кошки-мышки, в пятну́, где была жизнь, — медленно похаживал с ним кругами по с т а р ш е м у залу, ведя душеспасительное собеседование:

— А скажи-ка мне, Кокочка (или там — Димочка): ты папеньку своего слушаешься? Очень хорошо, милый

мальчик; весьма похвально. А маменьку свою ты также слушаешься? Отлично, отлично, дорогое дитя! А повести ты, часом, не пишешь? И хорошо делаешь. Как это «отпустите»? Куда это тебя отпустить? Николай Васильевич Гоголь повести писал, — так знаешь, чем кончил? Э, куда, куда?!. Мне с тобой еще о многом поговорить надо: пойдем, пойдем!

Вот так; все остальное в норме.

Лет через двадцать после этого, в конце тридцатых годов, выйдя из Пассажа, я нос к носу столкнулся с отцом Пети; в то время этот отец был в Наркомате путей сообщения на весьма высоком посту.

Память некоторых людей на лица удивительна. Товарищ Васильев узнал в почти сорокалетнем гражданине гимназиста, раз или два бывавшего в 1916 году у его сына. Мы поздоровались. Он проявил приязнь и радость, вспомнил давние времена, вспомнил гимназию Мая, вспомнил моего отца, но ни единым словом не помянул своего сына. Точно его у него и не было.

Удивленный, я сообщил об этой странности одному своему другу, однокласснику Пети Васильева,—в то время уже большому ученому, математику — Янчевскому.

— Ну еще бы! — пожал тот плечами. — Конечно не станет он про него рассказывать, чего захотел!

Я не видел этого чудачливого Петю вот уже лет двадцать, с 1914 года. Кто знал, что из него могло получиться?

— А что, — спросил я, — оболтус вышел?

— Оболтус? Оболтус было бы полбеды...

— Ну, что ты говоришь? Совсем свихнулся?

— Свихнулся бы — папаша тебе так бы и сказал...

— Погоди, но — что же тогда?

— Приходи ко мне завтра, я тебе покажу что. Сам увидишь.

Словом, заинтересовал меня до крайности.

У себя дома математик Янчевский полез в ящик письменного стола и извлек оттуда желтую с белым книжечку американского журнала «National geographic Magazine» — он уже и тогда выходил с грубоватыми, но яркими, цветными фотоиллюстрациями.

— Вот, вникни!

На фото географического ежемесячника была изображена песчаная площадь в каком-то индийском селении. Высились пальмы, ширилось могучее дерево — жужубовое или там панданус. Посреди тлели угли костра; вокруг с полдюжины людей в тропических шлемах целились объективами фотокамер, а в центре, на горячих угольях, в задумчивой позе не то сидел, не то даже полулежал тощий человек в одной набедренной повязке, устремив очи горé.

И под картинкой была подпись:

«Русский факир П. Васильев доказывает, что его удивительные способности не пустое измышление адептов».

— Он? — ахнул я.

— А кто же? — фыркнул Янчевский. — Вот сам и сообрази: обнаружься у тебя сын — факир... Навряд ли ты побежал бы каждому весело рассказывать: «Мой Степочка, знаете, в Бенаресе третий год на столпе стоит...»

Да очень просто, «как вышло». Когда ты в семнадцатом году удалился под сень струй, во Псковскую, и, этаким Цинциннатусом, начал морковку сеять и курочек разводить (был такой период в моей жизни!), Петенька этот впал внезапно в религиозное исступление, уехал на Кавказ и постригся в монахи на Новом Афоне. Ну, пока там белые, деникинщина, спасаться было ничего, можно... Когда мы пришли, стало не так уж уютно. Он решил податься на тот Афон, Старый, в Грецию. Решил — и

отправился. Не пироскафом *, а «per pedes apostolorum» **, пешечком, вокруг Понта Эвксинского ***: монах же! Но, дойдя по погра́ничной речки Чорох, по-видимому, сбился с пути, взял не вправо, а влево и прибыл в Индию... А дальше?.. Что ж, монах, йог — велика ли разница?.. Результат, как видишь, засвидетельствован документально...

Вот такие судьбы; что про них скажешь?

А ведь в это же время я своими глазами наблюдал, как тихие псковские «некруты» девятьсот четырнадцатого года, в горячу́-слезу плакавшие на платформе станции Локня в день расставания каждый со «своёй Нюшкой» среди сотен других таких же, становились советскими военачальниками, полководцами, сидели за банкетными столами Победы где-то между Монтгомери и Бредли... И как маленькие графинечки и баронессы, некогда игравшие рядом со мной в Таврическом саду или в «Академическом» на Выборгской стороне, кончали расчеты с жизнью, пройдя огонь, воду и медные трубы, где-нибудь там, под набережной Кэ д'Орсе или в волнах Гонконгской гавани... Как тысячи и тысячи «кухаркиных детей» и внуков, придя в мир хорошо еще если в питерском городском родильном доме, а то и просто в новгородском или витебском теплом коровьем хлеву («Ай, братки! Не в и́збе ж бабе рожать! Бога и тово в ясля́х свивали!»), становились профессорами и государственными деятелями, послами и знаменитыми летчиками; о них писали и «Таймсы» и «Фигаро» и «Универсули» и «Асахи»...

---

* Пироскаф — пароход (от греческого Pyr — огонь и Skafos — судно).

** Буквально: «апостольскими ногами». Тут иронически: «пешечком» (*лат.*).

*** Понт Эвксинский (Негостеприимное море) — древнегреческое название Черного моря.

И мне стало казаться: а что если бы можно было именно из моих «однодневников»-питерцев выбрать ну — пяток, ну — полдюжины статистических единиц? Какую-нибудь будущую смолянку и — еще более «будущую» — безымянную покойницу в парижском морге? Да сына младшего дворника с Нюстадтской улицы или с Боровой, а теперь — маршала Советского Союза... Да дочку кухарки той смолянки: она теперь заведует кафедрой микробиологии где-то в волжском городе... Да...

Если взять их и проследить за их путем в первой половине XX века, за их склонениями и прямыми восхождениями, как у небесных светил, да написать о них роман... Не удастся ли мне таким образом проникнуть в святое святых времени с неожиданного, нового входа?

Вот ради этого-то всего я и начал тогда, в сороковом году, возиться со статистическими данными и с «таблицами дожития».

Романа я не написал — и уже не ручаюсь, что успею написать: больно все это сложно великолепной, живой, но и непокорной сложностью жизни! Но сейчас, размышляя над вопросом «ту райт ор нот ту райт» по поводу моих «Записок», я прихожу к убеждению: нет, все-таки надо «ту райт». Разумно «ту райт»!

Мне вообще кажется: рядом с добровольными обществами по охране природы и защите животных, рядом с объединениями филателистов и филаминистов, бок о бок с клубами всяких иных коллекционеров — давно бы следовало людям учредить общество собирателей собственных воспоминаний, мемуаристов, «общество имени Пимена-летописца», так сказать.

Ей-богу, дело не первой важности, был ли Пимен когда-нибудь Пересветом, сражался ли он сам с Челубеем, держал ли он стремя воеводы Боброка или князя Владимира в том бою на Куликовом поле. Археологи ищут

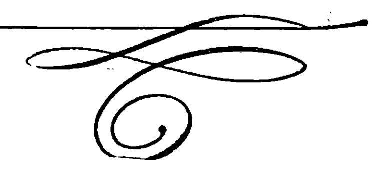
теперь при раскопках не только кованые золотые чаши и дивные статуи; ничуть не меньше (да и много больше!) их интересуют какие-нибудь чашечки с налипшей краской из мастерской киевского богомаза, найденные под слоем угля в разрушенной татарами Бату-хана землянке. А историка берестяная грамотка, нацарапанная школьником Анфимом, пленяет, пожалуй, столько же, как и пятая, десятая, сотая жалованная грамота грозного царя, скрепленная важными подписями и тяжкими печатями.

Подумайте сами, разве не случалось вам где-нибудь в вагоне или — еще чаще — в не слишком комфортабельном номере периферийной (теперь ведь не говорят «провинциальной») гостиницы в Средней Азии или на Мурмане оказаться в номере вместе с человеком невидным и невзрачным, нетитулованным и не отмеченным государственными премиями, и ночью — сначала нехотя, а потом все жадней и жадней — вслушиваться в его рассказы, и под утро вскричать: «Так что же вы, умная голова, об этом обо всем не напишете? Ведь этому же всему — цены нет! Этого же никто, кроме вас, не знает!»

Случалось. И вы кричите. И вы встанете, и он встанет. И вы поедете в Турткуль, а он — в Ташауз, и вы никогда его больше не увидите, и он — бухгалтер, два месяца умиравший в гитлеровском лагере уничтожения бок о бок с Эдуардом Эррио, или садовод, ходивший в 1944 году на разведку в еще не освобожденный от фашистов Будапешт, или просто человек, живший в Новороссийске «при немцах» мальчишкой и носивший котелки с супом спрятавшимся в подвале окраинного дома советским морякам, — в лучшем случае улыбнется себе в усы и пожмет плечами и подумает: «А верно ведь, написать — есть о чем...» И не напишет.

Буду писать!

PLUSQUAMPERFEKTUM



ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Степняки, кочевавшие по северную сторону Терека и Кубани, испокон веков видели и хорошо знали великую горную страну, начинавшуюся там, к югу, за этими реками.

Как они видели ее? Да примерно так, как Пушкин в начале своего «Путешествия в Арзрум»: «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры девять лет назад. Они были все те же, все на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи».

Так примерно и поколения, поднявшиеся после Революции, видят за собой, на горизонте прошлого, начало века. Сквозь книги, сквозь рассказы старших мерещатся им какие-то смутные облака, вытянутые по дальнему небу в одну линию. Вершины видны, но что там, на этих ушедших в туман времен вершинах?

Мы, родившиеся и росшие в той дали, знаем эти горы иначе, трехмерно, интимно, на ощупь памяти. Мы видели

их, как видел Пушкин ту же Кавказскую цепь, несколько дней спустя, с их высот, из их сердца:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины:
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам...

Это та же страна, тот же мир, то же явление, что в тех «облаках». Но каким другим, каким наполненным подробностями, исполненным движения видится он смотрящему изнутри.

Обе точки зрения — обобщенная, издали, и живая, изнутри, — имеют каждая свои достоинства и свои недостатки. И чтобы узнать Время по-настоящему, надо сочетать их обе воедино, как два снимка в стереоскопе...

Чтобы изнутри понимать то, что я буду рассказывать о моем городе — о городе всей моей жизни, — в первых главах (да и не только в них) надо представить себе мою тогдашнюю точку зрения. А это обязывает меня хоть очень кратко, но все же пояснить: откуда я взялся на свете?

На столе передо мной лежит желтоватая от времени тетрадка, сшитая по-домашнему. На ее обложке каллиграфическим почерком выведено:

Наталья Костюрина и Василий Успенский

Извлечение из первого тома «Капитала» К. Маркса

1898 год. С.-Петербург

Василий Успенский — это мой отец, Наталья Костюрина — моя мать. С этих записей началась их встреча; не будь этой тетрадки, не было бы, возможно, и меня.

Летом 1898 года коллежский асессор Василий Васильевич Успенский, из разночинцев, межевой инженер, неплохо устроенный (он служил в Главном управлении уделов, на Литейном проспекте), по каким-то причинам решил переменить квартиру. Белые билетики на окнах привели его в Басков переулок — удачно! рукой подать от службы! Тут дворянка Костюрина, уехавшая с дочерью в Петербург от неверного мужа, псковского помещика, оставшись без средств, пыталась перебиться кое-как, то открывая чулочно-вязальные мастерские, то заводя «домашние обеды», то — и это был уже конец всех иных надежд — пытаясь поддержать себя сдачей комнат жильцам.

Первый жилец явился, однако, лишь после долгого ожидания и был встречен только горничной. «Барыня уехали в Великие Луки на две недели, барышня ушли с подружкой...»

Комната понравилась жильцу; он сказал, что поедет за вещами, а пока оставил вместо задатка дорогую гитару в нарядном футляре.

Наташа-горничная докладывала Наташе-барышне не без смущения, хотя и с радостью: «Барышня, милая: жилец! Ну только не знаю... Гитару оставил — вон лежит. Похоже — цыган: черный-то черный и борода черная-черная! И голос такой, как у дьякона: знаете — «Вóнмем!» Уж не знаю, что выйдет?.. Надо же: гитара!»

Барышня Наташа бежала в город не от мужа, а от отца: Алексей Измайлов Костюрин, великолуцкий разоряющийся помещик, медленно заболевал тяжелым душевным расстройством, но все еще стоял на своем: «Консерватория? Певичкой быть, черт'ё дери?!. Ах, Бестужевские?.. Стриженой ходить захотелось!.. Женский Медицинский? Потрошить чье-то мертвое тело? Ну-с, нет-с!»

Для поступления и на курсы и в институт требовался паспорт, а его выдавали только с разрешения главы семьи. Барышня Наташа для начала имела в виду хотя бы вольнослушание. У нее был великолепный голос, глубокое красивое «меццо»; она была способной певицей, умницей: жизнь кипела в ней...

Были куплены чай, ветчина, печенье, и новый жилец — страшный, черный, с гитарой — с первых же часов, за первым же этим студенческим чаепитием, потерял покой. Но по-видимому, — я сужу только по этому фундаментальному эпизоду их жизни — он был тонкий дипломат и великий стратег, коллежский советник Успенский.

Он все учел. Новая его молодая хозяйка была не такая, как все. Гитара тут не вредила (меццо-сопрано же!), но в главном она жила лекциями, концертами, спорами на политические темы, все еще не утихающей распрей между марксистами и поздними народниками... Между марксистами и народниками? Ах, так?

И вот Василий Васильевич Успенский, инженер-геодезист, завел свою тетрадочку. Ему это было нетрудно: вопросы кадастра * тесно переплетаются с экономикой; экономическими теориями он занимался еще в институте (и

---

* Кадастр — вообще «перепись». Здесь: полная хозяйственная перепись всех земельных угодий страны.

отсидел некоторое время в Бутырках за участие в студенческих волнениях). «Капитал» он читал не впервые.

Вскоре выяснилось, что Тата Костюрина по рукам и по ногам связана волей отца. Злую волю отца всегда можно заменить. Чем? Доброй волей мужа. Но для этого надо одно: выйти замуж. Как — замуж? Передовой девушке, мечтающей то о карьере оперной певицы, то о жизненном пути женщины-врача? И вот так просто: взяла и вышла замуж? Как все?

Думаю, что это придумала мама: похоже на нее. Было в те годы такое благородное обыкновение: притесняемая родителями, девушка рвала путы, вступая в фиктивный брак. Это было совсем не то, что простое, пошлое замужество! Это говорило об идеалах, о дружбе, о самопожертвовании, о стремлении отдать всю себя общему делу...

Мой отец проявил себя сущим Талейраном. Он согласился и на фиктивный брак. Все было сделано, как в лучших романах: венчались не в одной из петербургских мещанских церквей, — в Териоках, за границей «свободной» страны — Финляндии! На кольцах были вырезаны одинаковые девизы: «Свобода — прежде всего» (они не помешали в дальнейшем бурным сценам ревности, теснейшей привязанности на десятки лет; не помешали и маминому полному главенству в семье).

Вступив в Териоках в фиктивный брак, молодая чета в маленьких, но отнюдь не фиктивных вагончиках Финляндской железной дороги, где над каждой дверью висели пожарные топорики и кирки — на всякий случай — и во всех купе было написано по-фински: «Älä silkeä lätiällä!» («Ты не плюй на пол!»), приехала в Петербург. Уже не в Басков переулок, а на соседнюю Бассейную улицу. К Мальцеву рынку. От этого фиктивного брака полтора года спустя родился на этой Бассейной я, а еще через два года — уже на Тверской — мой брат Всеволод.

Это все было нужно рассказать, чтобы читателю была понятна «расстановка сил» вокруг меня во дни моего раннего детства.

Мать-дворянка, человек очень талантливый и живой; ее фантазия неустанно работала; ее тянуло к широкой — в тех масштабах, какие тогда были доступны жене инженера и чиновника, — общественной деятельности. Она вечно училась на всяких, рождавшихся тогда как грибы, курсах — литературных, санитарно-просветительных; занималась пением с хорошими педагогами; вступала во всевозможные общества... Как я себя помню, ее непрерывно приглашали выступать на всяческих благотворительных концертах в самых различных студенческих землячествах. В нашем доме постоянно происходили встречи этих студентов, назначались «явки», хранились самые разнообразные документы.

Это было возможно и удобно потому, что отец, знающий инженер, человек серьезный и широко образованный, из года в год поднимаясь по служебной лестнице, скоро достиг достаточно твердого положения, чтобы за его спиной шумно-оппозиционная юность, близкая к маме, чувствовала себя в достаточной безопасности.

Ни мать, ни отец не были ни в какой мере революционерами. Но, как многие интеллигенты тех дней, они были от души искренними «болельщиками» за все новое, за все прогрессивное, передовое. Грядущая революция входила для них в понятие прогресса. Взгляды их, далекие от подлинной и активной революционности, становились тем не менее все более и более радикальными. Теперь я могу утверждать, что среди первой полусотни слов, открывавших мое лексическое богатство к четырем или пяти годам моим, два таинственных, однако непрерывно звучавших вокруг меня, слова представляли очень существенную его часть.

Эти слова — значения их я, разумеется, совершенно не понимал — были: эсеры и эсдеки. Такое уж было время!

Может быть, мне это только кажется? Нет!

...Чуть позднее, когда мне было уже лет шесть, воспитывая во мне самостоятельность, родители стали давать мне мелкие поручения. То говорили: «Сходи-ка, Лев, в финскую булочную, купи там ты знаешь какого хлеба...» Я шел недалеко, на Нижегородскую. Трамваи там тогда еще не ходили, машин не было — безопасно; почему не идти? На булочной против Военно-медицинской академии висела вывеска: «Суомаляйелей пякауппа», и двое старичков-финнов — булочники, — отлично знавшие меня, приветливо улыбаясь бело-розовыми улыбками, отвешивали мне балабушку душистого, совсем особенного, полубелого хлеба...

А иногда мне давали другое указание: «Лев, надо купить валерьянки (или касторки, или рыбьего жира); сходи в аптекарский магазин... Только не в эсеровский, а в эсдековский, знаешь? Вот тебе тридцать копеек...»

Конечно, я знал. «Эсеровский» магазин помещался на Большом Сампсониевском, точно против того места, где тогда останавливался паровичок, ходивший по маршруту «Клиника Вилье» — «Круглый пруд» в Лесном. Тут был тупичок, разъезд. На снегу лежали груды еще тлеющих углей, все вокруг было запачкано мазутом. Мне нравилось стоять и смотреть, как кубический, желто-зеленый локомотив притаскивает сюда длинный поезд из таких же желто-зеленых, коночного образца, вагонов (два из них были с «империалом» — местами на крыше). Было всегда интересно видеть: машинист (тогда не говорили ни «механик», ни «вожатый») снимает со штыря красивый медный колокол, служивший тут, как и на конках, единственным «сигналом», переносит его на другой конец паровозика, отцепляется от состава, по стрелкам проводит

локомотив мимо вагонов и пристраивает его к противоположному концу поезда.

Тут — я и сегодня точно знаю, в каких именно окнах, — находился «эсеровский» аптекарский склад. В нем не продавалось ничего для меня интересного. На витринах всегда можно было видеть только рекламы все тех же самых «Пилюль Ара» («лучшее слабительное в мире»), да «Перуина Пето» — средства для рощения волос. Единственное, что привлекало здесь мое внимание, был лежачий стеклянный цилиндр на какой-то сложной подставке. Восковая женщина засунула в этот цилиндр розовое лицо и единственной рукой (ни другой руки, ни туловища у нее вовсе не было) поворачивала рычажок на подставке. И над ней была надпись: «Ингалятор Брауна излечит вашу больную гортань!» Зачем мне было все это?

А вот «эсдековский» магазин помещался на Симбирской, во втором или третьем доме от Нижегородской. Его хозяева учли выгоды своего места — прямо против Военно-медицинской академии, расположенной именно на Нижегородской; их маленькая лавка была полна вещей, которые казались мне и таинственными и привлекательными до предела, как содержимое уэллсовской «Волшебной Лавки».

Уже на витрине я видел пучки стеклянных трубок, какие-то причудливые сосуды тонкого стекла, непонятные, но властно притягивающие взор приборы... Тут, посредине, стояла электрическая машинка: на стеклянных кругах ее были налеплены продолговатые кусочки не то фольги, не то станиоля. Тут же виднелся большой белый предмет с загадочной надписью: «Автоклав»...

Я открывал входную дверь; над ней тихо дребезжал колокольчик, и чудеса смыкались вокруг меня. Да нет — все то же! Только тут стеклянные трубки поднимались уже над прилавками толстыми пуками, связками, снопа-

ми. Они тихо шелестели, когда пол колебался под ногами вошедшего или когда хозяева отодвигали их, все сразу, в сторону. В глубине стеклянных прилавков россыпью, навалом лежали всех размеров пробирки; на полках за ними выстроились от крошечных, как рюмка, до огромных, как самый большой графин, — высокогорлые, тонкие, подобные мыльным пузырям, колбы. Лежала пробка — готовая и целыми пластами. Из ящиков в любой миг можно было вынуть все то, что упоминалось в «Опыте — лучшем учителе» Соломина или в «Физике в играх» Доната, — шеллак, канифоль, канадский бальзам. «Что угодно для души», как о совсем других вещах скандировали дуры девчонки в Академическом саду! Но царицами моих грез были не колбы, не пробирки — реторты. Подобные почти незримым от прозрачности стеклянным грушам, — или нет — скорее напоминающие долгоносые слепые журавлиные головы, они почему-то особенно притягивали меня. Я смотрел на них как зачарованный. Я мечтал о времени, когда я буду учиться и доучусь до того, что мне позволят взять в руки такую вот штуку, и насыпать в нее какие-нибудь «снадобья», и укрепить на таганке над спиртовкой, и начать «перегонять эликсир жизни...».

Вот за все это я даже сравнивать не мог «эсдековский» магазин с «эсеровским».

Но почему же все-таки такие эпитеты?

В те дни и месяцы девятьсот пятого года все симпатии и антипатии петербуржцев вырвались на поверхность. Каждый газетчик на углу, каждый зубной врач со своим пациентом, каждый булочник, разносивший в корзине теплые булки по домам, каждая хозяйка, болтая на кухне с кухаркой, — считали нужным и возможным высказывать вслух свои политические воззрения, как могли и умели. А мама моя была из таких натур, что для нее этот шквал всеобщей откровенности, общительности был как бы

ветром из родной страны. Она говорила со всеми, вступала в любые споры... Она-то и выяснила политическую ориентацию фармацевтов с Сампсониевского и с Симбирской.

Может быть, их взгляды и изменились, когда короткий рассвет тех годов сменился снова глухой ночью. Но до самого 1912 года, пока мы жили на Выборгской, я все еще слышал то же самое: «Лев, сходи за «морской солью» в эсеровский магазин; у эсдеков ее нет...»

И я не удивляюсь, вспоминая, что именно эти слова были одними из первых в моем сознании. Такие были годы.

Надо сказать, что в семье нашей царствовал бесспорный и безусловный матриархат. Все, знавшие нас и тогда и потом, считали ее центром и главным двигателем маму, — столько блеска, жизнерадостности, ума и сердца было во всем, что она делала. В том, как она жила. Опасаюсь, что были среди них некоторые, кому инженер Успенский представлялся чем-то вроде чеховского Дымова, хотя мама никак не походила на «Попрыгунью».

Она, сама того не желая, затмевала его. А на деле — она-то как раз это отлично знала — он был и глубже, и шире, и основательнее ее.

Талантливый геодезист, великолепный педагог — друг своих учеников, человек широкообразованный, он уже в 1913 году, вероятно первый в Петербурге, читал в «Обществе межевых инженеров» толковый и передовой доклад о теории относительности Эйнштейна; тогда о ней мало что знали даже специалисты-физики. Скептик и убежденный атеист, он регулярно ходил на заседания «Религиозно-философского общества», потому что глубоко и серьезно интересовался состоянием современного общественного мышления. Он мало и редко говорил о политике, но для меня не было неожиданностью, когда после

Октября Василий Васильевич Успенский наотрез отказался участвовать в так называемом «саботаже». Он тотчас же поступил на работу в тогдашнее Городское самоуправление; в те дни мэром города стал М. И. Калинин. Спустя недолгое время В. В. Успенский оказался одним из основателей и руководителей Высшего геодезического управления в Москве, созданного по декрету, подписанному В. И. Лениным. Десятилетие спустя, в 1931 году, он и скончался на этом же посту, весь в работе, весь в далеких планах и замыслах...

Пожалуй, стоит сказать об одном семейном курьезе. Все семь братьев отца были «межевыми инженерами», все кончили один и тот же Константиновский межевой институт в Москве, на Басманных.

И в двадцатых годах во главе ВГУ, Высшего геодезического, оказались сразу три брата Успенские — Василий, Алексей и Тихон Васильевичи, руководившие там каждый своим отделом. Отец был признанным главой этого «клана».

И тем не менее дома, в семье, он всегда отходил на второй план перед мамою: так уж сложились их отношения. Это не тяготило его и не смущало нас, детей. Но в силу этого мир тех годов являлся мне не столько через отцовское, сколько через материнское посредство...

Хотя как сказать — через материнское... Наряду с мамой на нас сильно влияла и бабушка. И няня, вырастившая нас и маму. Влияли и деревенские ребята, наши приятели по летам в Псковской губернии. Влиял весь ми́р. И может быть, поэтому, как я теперь понимаю, довольно рано я начал уже «выпрастываться» из-под этих разных влияний. И по мере этого мягкое и почти «бесшумное» влияние отца начало сказываться все сильнее.

А что до любви, то любил я их обоих одинаково.

Казарма, тюрьма, покойницкая...

Нет, я не собираюсь этими словами характеризовать ни то время, ни тогдашний мир. Это было бы беззастенчивым перекрашиванием прошлого в цвета, которые я мог бы увидеть в нем только из далекого будущего. Мир тот был очень ласков ко мне; мое детство было чистым, тихим, благополучным. Я созерцал окружающее в общем сквозь розовые очки.

Но вот с чего я хочу начать. Когда мне было около пяти лет, меня каждый день водили «гулять». Обычно местом этого священнодействия были два сада — Академический, за корпусами Военно-медицинской, и «Нобелевский», у Народного дома Нобеля (на Нюстадтской), куда пускали «по билетам» *.

Но и тому и другому я предпочитал «пейзаж иной». Там, где тогдашний Ломанский переулок упирался в конец Нижегородской улицы, было в те времена нечто вроде маленькой захолустной площади. Слева на ней высилось красно-кирпичное, как весь почти тогдашний Питер, здание казармы, с плац-парадом и традиционным полковым козлом, с утра до ночи гулявшим по его песку... Иногда там занимались строевым учением «солдаты». Теперь-то я знаю, что казарма эта была не совсем обычная — казарма Михайловского артиллерийского училища: вероятно, в ней стояли не юнкера, а нижние чины из персонала учебного заведения. Но тогда люди в гимнастерках и с винтовками были для меня все равны, все — солдаты.

Восьмидесятипятилетняя няня моя, доходя до забора, огораживавшего плац, неизменно останавливалась, долго

---

* Народный дом Нобеля — нечто вроде клуба для рабочих машиностроительных заводов «Людвиг Нобель», филантропическое учреждение. «Нобелевский сад» — огороженный клочок земли за Народным домом, с катком и ледяной горкой.

смотрела на обучаемых, жевала губами, качала головой в черной кружевной косынке и потом — «Ну идем, идем, Левочка!» — начинала, точно поддразнивая меня, петь, дребезжащим, древним голоском: «Солдатушки, браво — ребятушки!»

Насупротив казармы поднималось несколькими этажами выше ее второе, такое же мрачно-кирпичное — цвета особого, тяжко закопченного питерского кирпича, кирпича его фабрик, его складов, его окраинных домов, — увенчанное некрасивыми надстройками большое сооружение. Его окна были забраны решетками, по окружающей его стене ходили часовые. Я знал: это — тюрьма; но самое значение слова отсутствовало еще в моем сознании. Тюрьма так тюрьма, Академия так Академия: называется так, и все тут.

Северная сторона площади не была застроена вовсе. Там не было даже никаких порядочных заборов, и, свободно пройдя через жиденькую калиточку, можно было выйти к самым путям Финляндской железной дороги. Она разбегалась здесь целым лабиринтом стрелок, запасных путей, тупиков с заросшими по самое днище бурьяном, вышедшими из строя вагонами — путаницей всего того, что делает станционные завокзальные пространства всех городов мира похожими друг на друга.

За калиткой направо был длинный деревянный дебаркадер, с высокими перилами по правую его сторону. В самом его конце коричневела невысокая построечка — нечто вроде миниатюрного вокзальчика, нависшего над ближней парой рельсов. Это был не вокзал. Это была покойницкая.

Выборгская сторона тех времен была чуть ли не наполовину заселена финнами: три четверти питерских финнов жили тут.

Жить-то они жили в этом чуждом, но и прибыльном «Пие́тари», но, умирая, многие из них выражали непре-

менное желание быть погребенными у себя дома, между гранитными скалами какого-нибудь Оравансаари, на сосновом кладбище в приходе Халтиантунтури, в Куопиосской, Або-Бьернеборгской губернии, а то и вообще на Оландах.

Чтобы обеспечить быстрое и удобное исполнение этого похвального желания, Финляндская железная дорога (кстати говоря, она подчинялась Дирекции казенных железных дорог в Гельсингфорсе) и соорудила тут, на самых путях, свою покойницкую, со своей полупоходной часовней. Каждый день в окна покойницкой можно было видеть цинковые гробы на стеллажах, а в некоторых случаях и лютеранское отпевание в часовне и погрузку гроба в широкий зев красного товарного вагончика, подогнанного дверь в дверь с часовней.

Вот это-то пространство между казармой, тюрьмой и мертвецкой и стало моим (а потом и нянипым) любимым прогулочным местом.

Почему? По самой жизнерадостной и оптимистической причине. Там были рельсы; по рельсам, пронзительно свистя (на других дорогах они гудели, трубили, а тут визгливо-оглушительно свистели), носились самые разнообразные паровозы. Были там товарные локомотивы с широкими трубами, похожими по форме на огромный деревенский чугунок, — такую трубу можно видеть и сегодня на том паровозе-реликвии, что стоит под стеклянным навесом у перрона Финляндского вокзала; были другие — трубы у них поднимались до непомерной высоты, конусообразные, точь-в-точь как на известной картине К. Савицкого «На войну» в Русском музее. Они, фырча, толкали, сцепляли, расцепляли составы; они маневрировали; я знал их, классифицировал, различал на «большие трубы», «средние трубы»... Между ними, обдавая их клубами мятого пара, аристократами пробегали пассажирские красавчики.

У этих над темно-зелеными котлами поднимались очень тонкие и очень высокие цилиндрические трубки, лишь на самом верху снабженные небольшим, кокетливо начищенным медным блинчиком-диском. Они были моими любимцами, эти «малые трубочки»; но и все в совокупности паровозы занимали все мое сердце.

Я обожал паровозы. Я и сам был паровозом. Я по улицам ходил тогда только громко пыхтя и двигая согнутой в локте рукой, как шатуном. Случалось мне давать и задний ход, и налетать «тендером» на какого-нибудь «прилично одетого» господина в котелке или на мальчугана с такой же, как моя, нянюшкой. «Ахти-матушки, Левочка, ну нельзя же так! Ходил бы тихо, благородно, а не как поулочный мальчишка!»

Из-за паровозов я и облюбовал эту тихую платформу-мертвецкую, а няня с удовольствием водила меня сюда, где я часами гудел и фыркал на досках дебаркадера, подражая своим стальным кумирам, в то время как в любом саду мне грозили опасности от таких же, как я, мальчишек, от кошек-мышек, от пятны и от множества других великих соблазнов мира.

Случилось, однако, так, что однажды няня не смогла пойти со мною: прихворнула или пошла в церковь. Повела меня гулять мама. Каким-то образом я улестил ее отправиться не в «сады», а вот сюда, в мое любимое место. Впрочем, мама была любопытна; соблазнить ее чем-либо еще не виденным ею было нетрудно.

Видимо, с мамой я иначе шел, по-другому смотрел на мир, нежели с няней. А может быть, просто тому приспело время. Словом, проходя между казармой и тюрьмой, я впервые вгляделся именно в тюрьму (то была военная тюрьма) и увидел, к своему удивлению, что сквозь решетки некоторых окон, над высокими внешними стенами, смотрят на улицу и на нас какие-то смутно видимые лица.

Я был не из тех детей, что оставляют впечатления без их немедленного анализа и разбора:

— Мама, кто это там смотрит?

Мама бросила быстрый взгляд на тюрьму, задумалась на миг, потом, взяв меня за руку, повлекла туда, на платформу покойницкой, и там, посадив меня и сев рядом на скамейку, совсем близко наклонилась к моему лицу.

— Россией, — услышал я в тот час, — правит злой царь; его зовут царем-вампиром. С ним борются многие хорошие люди. Он хватает их своими когтями и бросает в каменные мешки, вот в такие тюрьмы. В тюрьмах сидят очень честные и очень добрые люди. Когда-нибудь они победят вампира, а пока все мы должны очень любить и уважать их, чем можно — помогать им, но никому не рассказывать того, что я тебе сейчас рассказала. Иначе он узнает, и меня — маму! — тоже посадят туда.

Мне-то было—четыре с небольшим, не более. Ну—пять!

Я приумолк, и в тот день уже менее весело давал сигналы и травил пар на своих платформенных досках. Мамин рассказ оставил глубокий след в душе: это ясно из того, как точно я его и по сей день помню.

Но на следующий день меня повела гулять уже не дворянка-мама, а бывшая крепостная, дочка взятой прапрадедушкой в плен турчанки, моя няня Мария Тимофеевна Петрова. Это была настоящая няня тех времен; она вынянчила и мою мать, и двух ее сестер и брата, и моих двоюродных брата и сестер и теперь пестовала нас. Я любил ее (люблю по памяти и сейчас) ничуть не меньше, чем мать, отца и бабушку. И верил я ей так же, как им. Одновременно с этим я был, по ее выражению, мальчиком «задумчиватым» и «настойчиватым». Идя с ней по Ломанскому, я вознамерился все-таки проверить на всякий случай по другому источнику вчерашнее мамино сообщение. Дойдя до площади, я поднял голос:

— Нянь, а нянь... А кто это там в окна смотрит, в тюрьме? Вон — видишь? Кто там сидит?

Няня равнодушно махнула рукой в сторону зловеще-красного корпуса.

— Ахти-матушки, Левочка! — ни на минуту не задумываясь, ответила мне она. — Раз посажены — значит, есть за что! Хулигане всяческие сидят: карманники, поулочные воришки...

Мы шли на «мою» платформу, но на сей раз я следовал за няней (таща красненькие, плюшем обитые санки свои или, может быть, гоня уже обруч, ибо, видимо, была весна) в состоянии глубокой душевной и умственной раздвоенности.

Нянина версия была куда проще, утешительней, успокоительней: «посажены — значит, есть за что». Но все-таки мама-то для меня была высшим авторитетом. Так кто же они, эти сидящие? И что все это значит? И в то же время я ясно сознавал, что дальше расспросы становятся уже опасными. Почем я знал, какими путями царь-вампир может дознаться, кому я передал мамины слова? И я умолк...

Я призадумался было, но потом... Потом я согнул руку в локте и уже весело побежал по своей знакомой платформе. Я скоро и надолго забыл об этом вопросе, об этих ответах, обо всем.

А вот теперь, много лет спустя, я иной раз кручу головой. Век убыстрял свой ход. Жизнь непрестанно осложнялась. Все труднее и труднее становилось в ее течении положение пятилетнего «интеллигентёнка». Как было разобраться ему в ее причудливых завихрениях? Как находить на нежданные вопросы свою собственную «точку зрения»?

Ведь сыпались-то они на меня теперь, как падающие звезды в августе: градом, дождем...

Мне, вероятно, около пяти или чуть больше. В нашей квартире на Нюстадтской, дом 7, есть одна комнатка, выходящая окнами в сторону Полюстрова; в ней крашеный пол, в остальных паркет.

Я сижу на диване во грустя́х: почему это нас с братом ни вчера, ни сегодня не ведут гулять?

Крашеный пол моет Настя. Про эту Настю я знаю, что она — «жена забастовщика». Он работает на заводах Нобеля, там где-то, на краю света, чуть ли не за Нейшлотским переулком. Когда там забастовка, мужа Насти сажают в тюрьму, — из этого я, пожалуй, склонен заключить, что в том споре на платформе была права мама, а не няня. Настя тогда переходит жить к нам; почему, я не знаю. Я знаю только, что она ходит обедать в «столовую для забастовщиков». Чтобы туда попасть, она берет у мамы толстенькую книжечку с билетами: один билет — обед, второй билет — то ли завтрак, то ли ужин, то ли чай. Эти книжечки лежат целыми стопками у нас в прихожей под вешалкой — синенькие такие, пухленькие книжки. И я сам видел, как их однажды привезла к нам в красивом «собственном» ландо с фонарями не кто иной, как Марта Людвиговна Нобель-Олейникова, мамина знакомая.

Швейцар Алексей, выскочив, весь усердие, — «госпожа Нобельс-с!» — забрал из экипажа тючки с этими книжками и, всем аллюром своим выражая высшую меру почтительности, понес их рысью к нам наверх. Марта Людвиговна, поддерживая еще рукой и без того прихваченную резиновым шнуром — «пажо́м» — длинную юбку, сошла с подножки и, улыбнувшись нам с няней (мы были завсегдатаями ее «Нобелевского сада»), проследовала за ним. Ландо осталось стоять. На козлах, неподвижно смотря перед собой, сидел энглизированный кучер-швед, а на

заднем сидении, точно так же уставясь в одну точку куда-то мимо кучерского локтя, молча, не шевелясь, пока дама не вернулась, восседал с короткой трубкой в зубах то ли Людвиг Людвигович, то ли Густав Людвигович Нобель — тот самый, словом, кто выставлял забастовщиков за ворота своего завода.

Я запомнил эту сцену, вероятно, потому, что вечером за столом произошла перепалка между мамой и папиным братом Алексеем. Смысл спора мне остался тогда неясным, но дядя Леля ядовито издевался над синими книжками, при помощи которых Марта Нобель подкармливает рабочих, уволенных Людвигом и Густавом Нобелями... «Воистину, правая рука не ведает, что творит левая!»

Все это, конечно, было не моего ума дело. Но веселую, чистенькую, молоденькую Настю я тогда очень любил. Глядя, как она ловко моет пол у моего дивана (я всегда присосеживался «смотреть», как «делают» что-нибудь не очень обычное: как натирают паркетные полы, как настраивают пианино, как заправляют керосиновые лампы), я напал на свою мысль — почему нас не водят гулять, хотя оба мы здоровы? — и, подобно сфинксу, предложил эту загадку моему Эдипу: была такая картинка в книжке «Моя первая древняя история».

Эдип-Настя, тыльной стороной руки убирая волнистые волосы со лба, ответила мне без замедления:

— Гулять теперь никак нельзя, Левочка! По всем улицам генералы на моторах ездят и народ из пулеметов бьют... Теперь из ворот на панель выйти, и то страшно...

Настя понятия не имела, перед какой, куда более сложной, загадкой она меня, сфинкса, поставила.

У бабушки, маминой матери, был брат Александр Николаевич Елагин, генерал-лейтенант. Иногда он приезжал к нам, надушенный, благостный, с мягкой рыжеватой

бородой на две стороны; приволакивая ногу, он шествовал по всем комнатам, волочил за собою и шашку и, картаво спросив, как поживают «Татины благорлодные отпрлыски», неизменно вручал нам с братом по серебряному рублю «на игрлушки». В моих глазах он был совершенным воплощением доброты и ласки и в то же время единственным, так сказать, образцовым, живым «генералом». Услыхав от Насти про генералов столь неожиданную весть, я смутился до чрезвычайности.

Вечером я долго ходил вокруг мамы и так и этак и наконец, не выдержав, спросил все-таки ее: может ли быть, чтобы дядя Саша ездил по городу на моторе и палил в людей из пулеметов?

Мамины глаза округлились.

— Откуда ты взял?

Я не ответил откуда, но заныл:

— Да, а отчего гулять нельзя... Да, потому что генералы ездят?.. Да?.. Я гулять соскучился...

Представляю себе теперь всю сложность маминого положения. Ей предстояло либо вымазать, очернить в моих глазах своего собственного любимого дядюшку, либо же поступиться всем своим политическим кредо и сообщить сыну заведомую неправду, обеляя мерзких генералов ради родственных симпатий.

Бедная мама, думается, сильно терзалась, потому что в конце концов она пошла на довольно жалкий, с ее точки зрения, компромисс. Я узнал от нее, что генералы бывают двух сортов — хорошие и плохие. Что от плохих можно ожидать всего, хотя навряд ли они сами взгромоздятся с пулеметом на «мотор». Они заставляют стрелять солдат.

А дядя Саша — совсем другой генерал. Он — путешественник. Он даже ездил очень далеко, в Монголию и Тибет, и привез оттуда рыженькую лошадку, которую зовут

Андýшка. Это по-монгольски значит «дружок»... Дядя Саша — хороший!

Лошадка Андýшка отвлекла меня, но сколько раз потом, уже взрослым, я вспоминал этот мамин ход, размышляя над политическими делами взрослого мира. Да, трудно, очень трудно детям входить в его диалектические коллизии, приучаться извлекать из их смеси чистый кислород истины!

...Я рад: недавно, роясь в монгольско-русском словаре, я наткнулся на слово «андý». Оно и впрямь значит по-монгольски «друг». Значит, дядя Саша был и в действительности не совсем уж плохим генералом: вот, например, он и правду умел говорить!..

ОЛЬГА СТАКЛЭ

Если посмотреть по плану города, то дом № 7 по Нюстадтской улице (ныне это дом № 9 по Лесному проспекту) расположен в довольно любопытном месте. Точнее — был расположен тогда.

В двух кварталах от него к югу находились, как находятся и теперь, огромные корпуса Военно-медицинской академии, Академии Сеченова и Павлова, вечно переполненные одетыми в офицерского сукна шинели будущими военными врачами (запамятовал, как их тогда именовали — студентами ли, слушателями ли; слóва «курсанты» еще не существовало).

В тылу нашего дома, в Новом переулке, помещались Стебутовские сельскохозяйственные женские курсы * — рассадник громкоголосых, крепких телом, румяных, длиннокосых или же коротко стриженных девушек из «провин-

---

* Курсы, основанные агрономом и педагогом И. А. Стебутом.

ции» — поповен, намеренных стать агрономами, вчерашних епархиалок, не желающих искать «жениха с приходом», — решительной, революционно настроенной женской молодежи. Особенно много было там девушек-латышек, с могучими фигурами валькирий, с косами пшенного цвета и толщиной в руку, смешливых и благодушных на вечеринках землячеств, но при первой надобности способных и постоять за себя, и дать отпор шпику на улице, и пронести под какой-нибудь, нарочито, для маскировки, напяленной на себя, «ротондой» — безрукавным плащом — весящую не один десяток фунтов «технику» — типографские шрифты, подпольный ротатор или шапирограф.

Нюстадтская улица тянулась на несколько километров и упиралась там, далеко, за железнодорожными путями, в парк Лесного института. Это опять-таки было студенческое гнездо с той же самой биологической и сельскохозяйственной окраской, с давними традициями радикализма и революционности, сходок и забастовок, конспирации и бунтарства.

Наконец, еще дальше (тогда это вообще было «на краю ойкумены»: туда в то время ходила разве только конка, — извозчика в Сосновку было почти немыслимо подрядить) существовал и Политехнический институт; кроме инженеров, он выпускал и «экономистов», «политэкономов». Что же удивляться, если власти относились к нему в высшей степени подозрительно? К тому у них были свои основания.

Вот в этом-то молодежном окружении и жила все десятые годы семья надворного советника Василия Успенского, и все мое детство прошло в известной мере под его влиянием, под знаком юного бунтарства.

Студенчество неустанно устраивало всевозможные вечера и концерты в пользу своих «землячеств» — особенно старались всегда кавказцы; такие же вечера, то для сбора

средств «на голодающих в Поволжье», то на «недостаточных» собственных коллег, бывали и у других: поводов для организации этих «мероприятий» было не занимать стать, а энергии и желания тем более хватало.

То и дело появлялись у нас в доме пламенноокие грузины и грузинки или еле замаскированные студенческими мундирчиками гоголевские «пáробки», поражавшие наш петербургский слух и своими мягкими «хэ», и лениво-ласковыми интонациями, и не допускающими никаких сомнений «та» и «шо».

И барышни у них были такие же. Сними с нее столичное платье, надень плахту да очипок, а на ноги — козловые полусапожки; дай на плечо прямое коромыслице, с подвешенными к его концам «глечиками» сметаны, и пойдет она упругой походкой между заборов, из-за которых глядят на мир божий соняшники-подсолнухи величиной с хороший медный таз, или вдоль пруда, со свисающими к самой воде вербами, по любой тропке, может быть на криницу, а то и на Сорочинскую шумную ярмарку.

Бывали у нас и чуваши, и казанские татары. Все они являлись приглашать маму и в качестве певицы — в программу концерта, и в качестве устроительницы его. Тогда участие дам-патронесс в подобных делах представлялось само собою разумеющимся.

Но за этими концертами, за печатанием в удельной типографии по протекции отца программ и билетов, за беззаботным щебетом хорошеньких «землячек» зоркий глаз без труда заметил бы и другое.

Я был еще совсем маленьким, когда, при содействии одной из моих юных тетушек, на нашем горизонте возникла стебутовка-«курляндка» Ольга Яновна Стаклэ. По-латышски фамилия эта означает «Живущая у развилины дорог».

Ольгу Яновну трудно было назвать «барышней»; казалось, скорее, одна из кариатид, поддерживавших на

некоторых питерских домах балконы и подъезды, наскучив своей должностью, поступила на Стебутовские курсы. У нее была прекрасная фигура молодой великанши, могучая грудь, руки, способные при надобности задушить медведя, вечная белозубая прибалтийская улыбка на лице, уменье по каждому поводу взрываться хохотом и при первой же необходимости каменеть лицом, превращаясь в этакую статую богини на носу какого-нибудь древнего дракара: брови сдвинуты, глаза смотрят далеко вперед; спрашивается — кто же тут только что заливался смехом, умоляя: «Наталэ Алексеевна, ой нэ сме-шите меня: я — такая катýшка, такая катýшка...»?

«Катýшка» значило в ее языке «хохотушка».

Приезжая довольно часто к нам, Ольга Стаклэ должна была пешком проходить два-три квартала по довольно темным улицам — от вокзала до угла Ломанского. Мама — а еще пуще бабушка — очень волновались по этому поводу. Времена были глухие; в газетах, в отделе «Дневник происшествий», была постоянная рубрика: «Гнусные предложения», и мальчишки-газетчики вопили на углах: «Шесть гнусных предложений за одну ночь!»

Бабушка предупреждала и Ольгу Яновну, и всех молодых женщин, появлявшихся у нас, о серьезной опасности: к ним могли «пристать». И этот термин «пристать» приобрел в моих глазах таинственное и зловещее значение, вроде мрачного сатириконовского «Паганель бодросовáл». Что оно значило, я не имел понятия; но мне было ясно, что это «пристать» — нечто чрезвычайно страшное, смертельно опасное.

В один прекрасный день я, как всегда, выскочил в прихожую на очередной звонок и уже за дверью услышал взрывы знакомого курляндского громогласного хохота. Вышла в переднюю и мама:

— Ольга Яновна, что случилось?

— Ой, Наталэ Алексеевна, какое смешное! — задыхаясь, махала руками девушка. — Пусть все сюда — буду рассказать! Иду по Нижегородской, и какой-то — пристал... Идет и идет, пормо́чет пустя́ки... Я молчу, он — пормо́чет... Потом берет меня (затерявшись между пальто, я затаил дыхание: вот оно, сейчас!) за этот вот локоть... Такой небольшой типус, с бородкой... Ну, я поворачивался, я его тоже немного брал за шиворот, немного тря́хивал, так, как котенок, потом говорил: «Пойдем ко мне домой, миленький! Я из тебе буду шнель-клопс делать!»

Так он не закоте́л! Так он как побежал, как побежал... Туда, к Боткинская... А я так пальцы в рот брал, немного свистал, как мальчишка! Ой, не могу!.. Ой, дайте водичка!.. И побежал, и побежал, и так запри́гал, запри́гал... Прискочку!

Но не всегда было «такое смешное».

Я сижу в детской, возле желтого шкафчика с игрушками; наверное, у меня не прошел «ложный круп», посещавший меня часто, как единственная моя серьезная болезнь. Мама, бедная, страшно волновалась, слыша по ночам мой «лающий кашель», а я обожал этот свой «ложный круп»: мне делали скипидарные ингаляции, сооружая надо мной палатку из простынь. Я был бедуином; скипидар приятно пахнул; меня поили сладким апоморфином, от бутылок которого мне потом оставались разноцветные гофрированные бумажные колпачки... Что еще нужно человеку? Думаю, что я прихворнул тогда, потому что, как мне помнится, ни няни, ни брата не было дома: ушли в сад без меня.

Я вынимаю из шкафа рельсы и паровозики. Эту игрушку я так люблю, что мне даже стали нашивать на штанишки кожаные наколенники: «Ахти-матушки, не напасешься штанов! Так по полу на коленях и бегает!..»

Я увлечен и не слышу звонка. И поэтому дверь в детскую отворяется «вдруг». Мамино лицо появляется в сумерках. Она озабочена.

— Лев! — зовет она шепотом и манит меня пальцем.— Поди-ка сюда!

Мне это не нравится — а что я сделал? — но я подхожу. И мама неожиданно прикладывает палец к губам.

— Ты можешь такую вещь? — спрашивает она меня как взрослого. — Пойти на кухню и отдать Альвине вот этот пакетик? Скажи: «Мама купила шафран». Там Федосья-прачка стирает. Так вот ты ни о чем с ней не разговаривай, а посмотри, стирает она или ушла на чердак. И сейчас же беги сюда. Понял?

Да, я понял; чего тут не понять? Я только не понял, почему такая таинственность! Я вышел в коридор и покосился на переднюю. Там было темновато, но Ольга Стаклэ была заметна и в темноте. Она очень заботливо держала в руках какой-то пакет или посылку...

На кухне я увидел корыто, еще полное голубой пены на ярко-синей воде; на табуретке лежала грудка прополосканного, но еще не подсиненного белья. Лежал тут же и длинный брусок мраморного, белого с синими разводами, «жуковского» мыла, на бумажной обложке которого всегда был отпечатан очень мне нравившийся синий жук. Кухарка Альвина, вся красная, возилась с котлетами.

— Положите, Левочка, на столик... И горят, и горят, проклятые! — пробормотала она.

Я вернулся в комнаты.

И тогда мне был отдан приказ «стоять на стреме». То есть тогда мне никто не сказал таких слов, не мог сказать: их не знали. Но мне велели «поиграть в коридоре» и, если только я услышу, что на кухне раздастся голос Федосьи-прачки или что вообще Альвина с кем-нибудь разговаривает, сейчас же тихонько стукнуть в дверь ванной.

В ванную пошла мама, потом — молчаливо, что на нее было совсем непохоже, — туда же проскользнула мимо меня Ольга Стаклэ. Пробыли они там — все в том же молчании — не так уж долго, и, так как в этой двери была внизу, на высоте тогдашнего моего роста, довольно широкая щель, я хоть смутно, но понял: Ольга Яновна принесла в пакете что-то такое, что они уложили в огромный брезентовый мех для грязного белья. Уложили в самый низ, под белье, завалили простынями и рубашками... У этого мешка был какой-то особый патентованный замок в виде никелированного прямоугольника. Одна из его сторон продевалась сквозь окованные медяшками люверсы на верхнем краю брезента и затем замыкалась ключиком. Ключ теперь мама заботливо спрятала в портмоне.

Такие сцены повторялись не один раз. Правда, потом меня уже не заставляли окараулнвать маленькую седую старушку Федосью, но дважды или трижды я замечал, что наш бельевой мех используется не только для белья.

Я сам удивляюсь себе; в воздухе тогда, что ли, носилась такая конспиративность, был ли я уже по-ребячески наслышан о революционном подполье больше, чем в тот день, когда задал маме вопрос о сидящих в военной тюрьме людях, но впервые я заговорил с ней об этом уже году в девятнадцатом, в Псковской губернии, где мы тогда отсиживались от питерского и московского голода.

Помню, мама мешала какую-то «болтонку» — не то свинье, не то бычку. От непрерывной возни с холодной водой у нее стали болеть руки: бабья работа — топка русской печи, жниво, приборка скота, доенье коров... Революция не слишком-то ласково обращалась с сорокапятилетней дворянкой, недавней еще «действительной статской советницей». Я спросил как-то, наткнувшись на Ольгу Стаклэ в памяти:

— Мам, а что вы тогда с ней прятали в бельевом мешке? Помнишь, в ванной?

Мама выпрямилась, перевела дух, поправила волосы под теплым платком:

— Литературу. Нелегальную литературу, прибывавшую из-за границы...

Она окинула взглядом полутемную избу, хомуты на стенах, косы в углу, поглядела на меня, черного как негр от летнего страдного загара, смешного — в блузе из мамою же заготовленного домотканого сукна и в купленных у «спекулянта» генеральских, синей диагонали, брюках с алым лампасом. И вдруг, чуть усмехнувшись всему этому, упрямо, словно ожидая спора, отрезала:

— Нелегальную литературу... Разную — и эсеровскую, и социал-демократическую... Помнишь, такой Шенфельд был? И — не раскаиваюсь, а что? Ну и — что?

Она была очень типичным явлением того времени, настоящей «попутчицей», мама.

С памятью о маме связан у меня в душе и другой день, более тревожный. Папа уехал в командировку в Вельск (я запомнил это именно по тому, что тогда случилось). Брат мой — что было почти правилом — чем-то, видимо, болел: это ясно из того, что вечером я не играл в детской, а сидел на зеленом диване в папином кабинете. Не зажигая света, я сидел в темноте; и этому тоже есть свое объяснение: мама, за две комнаты оттуда, прикрыв двери, чтобы не тревожить больного, негромко играла на пианино вальсы Шопена, особенно этот, на всю жизнь оставшийся с тех лет звенеть где-то в глубине моей памяти, — второй вальс пятьдесят четвертого опуса. Сказать не могу, до чего я и сейчас люблю эти нежнейшие, задумчивые, кружащиеся звуки!

Впрочем, свет зажечь сам я не мог, надо было идти просить, чтобы это сделали взрослые: на Выборгской все еще горел керосин. Но с Шопеном, с мягкими полотнищами другого света, фонарного, падающего сквозь окна на потолки и стены, мне не нужно было огня. Я полулежал на диване и о чем-то думал. О чем-то хорошем, потому что здоровый, крепкий мальчишка ничего плохого о жизни еще и не знал. Думать я мог тогда о разном — о паровозах и о зверях, про которых читал в самых интересных для меня «зверных» книгах Чеглока и Брема (не я читал, мне читали, но — какая разница?) и которые боролись в моей душе за первенство с паровозами... А может быть, о том, как настанет лето и мы поедем в Щукино, и там, в ручье, мы с Васей Петровым, лучшим моим другом, сиротой, будем ловить решетом «во-о таких горькýх и лежнéй» и Вася будет счастливым голосом кричать мне: «Левочка-а! Бяжú шибкó-ом! Стой-гляди, какого я Макарá Иваныча па-ай-ма-ал!» А может быть — обо всем вместе...

Очень громко, настойчиво позвонили. Видимо, прислуги дома не было, потому что мама сама пошла открывать. Я стал было сползать с дивана — и замер: из прихожей донесся какой-то необычайный, то ли взволнованный, то ли испуганный, мамин голос, потом голос все той же Ольги Яновны Стаклэ, потом — приглушенный, необыкновенно усталый, страдальческий третий голос — мужской.

— Боже мой, боже, что же делать? А если это — перелом? — сказала мама в коридоре. — А может быть, все-таки попросить Германа Александровича, а?

— Ни в коем слючай! — строго ответила Ольга Стаклэ. — Если такой будет крайность, я... Есть один верный товарищ, он — как это русски? — фельдшер... Я бегаю за ним...

— Ничего не надо, — глухо проговорил мужчина. — Нужен йод, вата... Самый идиотский случай: под снегом лежала гвоздем вверх доска, а у меня сапоги каши просят. Надо только скорее известить... Вот... По этому адресу... Надо сказать: «Торт вручен». Вот это я просил бы поскорее...

— Ах боже мой, боже... — расстроенно повторила мама. — Прежде всего — идемте в ванную: надо расшнуровать ботинок, обмыть ногу борной... Смотрите, сколько крови...

Меня охватил страх. И все-таки я не бросился к маме, не закричал, не стал допытываться, что случилось, кто пришел.

— Васили Василич не дома? О, как удачно, — уже издали сказала Стаклэ. — Как? И старая ба́рина (так она звала бабушку мою) тоже нет? Ну, тогда я — покойпый. Тогда, Наталэ Алексеевна, милайс... Занимайтесь этой несчастний нога; я — бистро-бистро сбегаю по эта несчастний адрес... Такое дело: надо, чтобы его завтра утром отсюда немного отбирали...

— Ольга, что с вами? — вдруг быстро спросила мама.

— Ах, Наталэ Алексеевна! Ви би видел, как он мимо ваш этот подозрительный швейцар шел! Как перви танцор на балу... Плакать кочется... Я — дура!

Много лет спустя я узнал от мамы, что это было. То есть как — узнал? Очень немногое, только то, что она узнала сама, а Ольга Стаклэ была не из болтушек.

Человек, связанный с революционным движением давно и прочно, по-видимому латыш (как будто землемер по образованию и профессии), получил поручение: выкопать в условленном месте, в Лесном, в садике одной из дач, завернутый в клеенку тючок с какими-то документами и передать его в Удельной, в другом — тоже условленном месте, на улице и на ходу другому человеку.

Он сделал все как нельзя лучше, но уже после передачи заметил филера, который неотступно следовал за ним. Допустить, чтобы его схватили, он никак не мог: для полиции это была бы нить. Человек могучего сложения и большой силы, он, опережая сыщика, «повел» его за собой через Удельнинский парк на болотистые пространства за Коломяжским скаковым полем. Болота тут перерезаны гнилыми речками. Доведя агента до одной из них, беглец разбежался и перескочил через этот непреодолимый для коротконогого преследователя водный рубеж. На этом все было бы и кончено. Но на том берегу под снегом оказалась «этот проклятый доска с гвоздем». Проткнув подошву ботинка и ногу, преследуемый оказался в очень трудном положении, а т о т это увидел, учел и, добежав до ближайшего телефона, сообщил кому надо о случившемся.

Хромого ждали уже в Новой Деревне. Он сумел уехать на случайном «ваньке». Его снова выследили где-то в районе Конюшенных. Теперь уже целая свора была пущена по следу. Отлично изучив — это входило в азбуку хорошего конспиратора — все проходные дворы города, он, попадая на каждой улице в мышеловку, всякий раз находил из нее неизвестный сыщикам выход и в конце концов, в густых уже сумерках, выбежал сквозь очередной проходной двор Удельного ведомства на Литейный. Тут он заметался: дальше пути не было. Он заметил, что у гастрономического магазина Черепенниковых * на углу Бассейной стоит какой-то черный «мотор» — автомашина. По его расчету, если ему удалось бы оставить ее между собой и углом Бассейной, заслониться ею, он успел бы

* «В. И. Черепенников с сыновьями» — фирма, державшая магазины «колониальных товаров» на Литейном и ближних улицах.

незамеченным добраться до Артиллерийского, узешенького, переулка и там опять выскользнуть в лабиринт сквозных дворов, тянувшийся до Знаменской и дальше к пустынной части Песков.

Он кинулся туда, и в тот миг, когда, озираясь, он ковылял мимо автомобиля, его дверца внезапно откинулась и испуганный, еле слышный шепот: «Бирзнек, Бирзнек! Сюда!» — прозвучал для него как труба спасения. Он метнулся, ничего не понимая, в машину, она рванула с места, и только тогда рядом с собой в темноте он больше угадал, чем увидел, Ольгу Стаклэ.

Чтобы понять, как такое могло случиться, надо знать, что у Ольги Яновны Стаклэ были связи в самых разных кругах петербургского общества. Кто-то как-то упрекнул ее, что она была однажды на Мойке, на катке, с лицеистом, и Стаклэ, не подумав оправдываться, пожала могучими плечами своими.

«И тэрпентинс * может пригодиться!» — спокойно ответила она.

У нас никто не знал, что за год до этого Ольга преподавала немецкий язык (она им владела блестяще) в некой состоятельной семье. В тот дом заглядывал молоденький атташе то ли итальянского, то ли испанского посольства в Санкт-Петербурге, этакий делла Ронка, делла Луна — Ольга Стаклэ не настаивала на точности этих данных... «Один такой, ну... черний... Слайстс! Шалюн!» — без особого удовольствия говорила она потом.

Этот маленький чернявый «шалюн» потерял сердце, познакомившись с голубоглазой колоссальной валькирией. «И — он такой таску́н, и все уговаривал меня замуж, а зачем мне замуж за итальянский ѓрафчик?!»

* Скипидар, терпентин. Стаклэ вспоминает афоризм К. Пруткова: «И терпентин на что-нибудь пригоден».

Вот этот «шалюн» и «таскун», на своей машине (может быть, на посольской; тогда собственных было еще очень мало), сам за рулем, заехал сегодня на скромную Ольгину демократическую квартиру как раз в тот момент, когда там горел сыр-бор: справлялись именины какой-то из соседок, и Ольга намеревалась бежать с Загородного на Литейный — не то за конфетами, не то за вином. «Очень корошо: вы меня можете отвозить в магазин и привозить обратно? Потом можем немного посидеть...»

Граф делла Луна или делла Ронка в то время мог для Ольги сделать все. Даже «посидеть». Они доехали до Черепенниковых. Ольга Стаклэ, сделав свои нехитрые закупки, только что вернулась в «мотор» и хотела уже сказать своему спутнику «аванти!» («поехали!»), как за стеклянной дверкой перед ней мелькнул человек, которого она видела однажды у кого-то из партийных товарищей, но фамилию его запомнила. Она знала: это — свой и, если у него такой вид, такая походка, как у затравленного волка, ему нужно немедленно помочь...

Ну вот; остальное известно. Маркизик делла и что-то там такое был очень молод; может быть, у себя на родине он читал какие-нибудь романы из жизни русских «анаршисти», где действовали, кроме людей с бомбами, и прекрасные белокурые девушки. Мотор не был выключен (заводить его ручкой — не барское дело), машина сразу взяла с места. Они помчались через Троицкий мост на Петербургскую сторону, покрутились по ее переулкам, через Сампсониевский или Гренадерский мост перебрались на Выборгскую и остановились у дома № 7 по Нюстадтской улице. Практичная латышка, Стаклэ приказала знатному иностранцу, отъехав за угол на Ломанский, ждать ее у маленького деревянного домика с двумя чугунными львами у подъезда (он стоял на месте теперешнего главного

входа в Выборгский дворец культуры): она была уверена, что к *такой* машине не осмелится подойти ни один шпик.

Человека с поврежденной ногой мама перевязала, устроила в бабушкиной комнате, напоила чаем, накормила. Потом она занялась мною и братом.

Конечно, я был не просто «мальчик», но еще и совсем маленький мальчишка. Много лет спустя мама, удивляясь, рассказывала мне, что она так и не могла в тот день понять, что творилось у меня в голове и в душе, что до меня дошло и что не дошло из происшедшего. С одной стороны, я все время, пока она не освободилась от опеки над пострадавшим, до возвращения Стаклэ, сидел тихо, как мышь, в темном папином кабинете, не задав ни одного вопроса, не позвав маму и даже няню, возившуюся с братом в детской. Казалось бы — какая сознательность!

С другой стороны, когда мне уже постлали спать на том же отцовском диване (видимо, у брата подозревали какую-нибудь ветрянку или свинку) и когда мама пришла, как то было заведено, перекрестить меня на ночь, я вдруг проявил сильные чувства. «А ему ногу йодом ты мазала?» — спросил я, как будто, кроме этого, никакие вопросы не шевелились у меня в голове.

— Мазала, мальчик, мазала! — думая о своем, ответила мама.

— А кто ему «фукал»? Ольга Яновна? — очень озабоченно спросил я.

Летами в Псковской я бегал босиком, и бесчисленные царапины мне неизменно мазали йодом. Самые страшные порезы, сбитые на сторону ударом о камень или корень в аллеях ногти я переносил с индейским стоицизмом. Но вид спички, обмотанной ватой и обмакнутой в йодную коричневую настойку, исторгал из моей глотки отчаянные

вопли. И единственное, что могло успокоить меня, это когда мне на смазанное место «фукали» — дули... Кто его знает? Вероятно, холодок, возникающий при быстром испарении спирта на ветру, вызывал что-то вроде местной анестезии.

— Ну что я могла подумать? — недоумевала мама, вспоминая тот вечер. — Что у меня сын — вундеркинд, всё понимающий в свои пять лет, или что он — глупыш, на которого единственное сильное впечатление произвело знакомое слово «йод» и который дальше йода ничего не увидел и не понял? «Фукал», а?!

А я и сам уже не мог ей ничего объяснить. Да и теперь не смог бы.

...Ольга Стаклэ ночевала тогда у нас. Разумеется, ничего нельзя было скрыть полностью от няни; не знаю, какие переговоры вела с нею мама, но няня сделала вид, что ей ничего не известно.

Утром к нам прибыла на первый взгляд веселая и легкомысленная компания: какие-то щеголеватые молодые люди, какие-то девицы, вроде как «после бала».

Они с шумом и смехом вывели прихрамывающего нашего ночного постояльца на Нюстадтскую, где их ждало несколько «веек» — масленичных финнов-извозчиков, с разукрашенными, в ленточках и бубенцах, косматыми лошаденками, и укатили без помех.

А через двое суток прибыл из Вельска веселый и довольный поездкой папа. Вот тут у меня вдруг засосало под сердцем: «А как же теперь? Скажет мама ему или нет? А если он рассердится?» (значит, смутно я чувствовал, что основания рассердиться могли быть; не пойму только, как я объяснял себе такую возможность? На что, по-моему, мог папа сердиться? Убей бог — не знаю: очень быстро мы навсегда теряем себя маленьких и восстановить уже не способны).

Но мои сомнения разрешились быстро.

— Ви́ля, мне надо с тобой поговорить! — еще в прихожей быстро сказала мама.

Они ушли в кабинет, а когда вышли оттуда, папа, ничуть не рассерженный, говорил только:

— Да абсолютная ерунда!.. Очень хорошо, что сказала: в случае чего буду иметь в виду...

В это время отец был уже надворным советником. В кругу наших знакомых — по большей части маминых — повелось думать, что вот Наталья Алексеевна — такая радикалка, ну а Василий Васильевич, само собой, — чиновник, и что он думает — узнать нельзя. А папа был по своим взглядам куда «радикальней» мамы.

Когда отец получал очередной орден, он небрежно засовывал его между книг в книжном шкафу, и в случаях, когда эти ордена вдруг надобились, все Брокгаузы-Ефроны летели на диваны и стулья: «Отец ищет „Владимира"».

Как-то ему надлежало явиться куда-то в парадной форме со всеми знаками отличия. После долгих поисков и воркотни, но уже в мундире, при регалиях, отец вышел показаться маме. Тут же крутился я.

— Тебе нравятся эти штучки? — спросила, все же не без удовольствия, мама.

— Ага! — кивнул я головой: какому же мальчишке не понравится увешанный золотыми медальками, эмалевыми с золотом крестиками отец?

— А который из них тебе нравится больше всех?

Я теперь понимаю: маме, с ее чисто женским вкусом, хотелось бы, чтобы ее сыну понравился какой-нибудь изящный орденский знак, ну хотя бы «Станислав», с его узкоконечным мальтийским крестом, с тонкой работы золотыми орлами, почти кружевными, между эмалевых лучей. Но я без всяких колебаний приставил палец к осно-

вательному, толстого серебра, значку, укрепленному прямо на отвороте мундира:

— Вот этот!

— Фу, Лев, никакого вкуса! — возмутилась мама.

Но отец запротестовал:

— Вот уж совершенно прав мальчишка! Так и знай, Люлька: это все ерундистика — эти... Они ничего не значат. Их у меня начальство захочет — и отнимет. А этот — никто и никогда отнять не может. А что ты думаешь? Даже если меня лишат всех прав состояния — того, что я кончил Межевой институт, отменить нельзя. Это же институтский значок, как ты не понимаешь...

ФОНАРИКИ-СУДАРИКИ

В детские годы мои мне часто приходилось в ранних зимних сумерках возвращаться домой. Сначала — с сопровождающими, из детского сада или из сада обыкновенного; потом — самостоятельно, из первых классов школы.

Откуда бы я ни шел, я шел сначала по Нижегородской, мимо низких желтых строений академического городка, мимо ворот, с конскими головами на ключевых камнях арок, мимо пятиэтажного дома Крестина, где на весь первый этаж разлеглась очень занимавшая меня своей бесконечной длиной вывеска:

Типо-лито-цинко-графия

Потом я сворачивал на свою Нюстадтскую.

Должно быть, довольно часто дело поворачивалось так, что на некрутом углу двух этих улиц я оказывался как раз в момент зажигания вечерних фонарей.

Сначала — и я об этом помню уже совсем смутно — тут, на окраинной Нюстадтской, редко, на больших расстояниях друг от друга, стояли прямые, некрасивые, помоему даже еще не металлические, а деревянные, столбы, увенчанные наверху простодушными, вовсе архаического и провинциального вида, стеклянными домиками, в виде поставленных на меньшее основание четырехгранных усеченных пирамид, сверху прикрытых такими же четырехгранными железными крышами.

В каждом таком «скворечнике» была неприглядная керосиновая лампочка с узким стеклом-фонарем; точно такие же лампы продавались в керосиновых и посудных лавках на общую обывательскую потребу. Они горели на окнах, в мелких лавочках. Идя по улице, можно было видеть в окнах первого этажа тут сапожника, там столяра, занимающегося своей работой в зимней преждевременной серой полутьме, в свете — а точнее в рыжем смутном мерцании — точно такой же лампы, тут — трехлинейной, там — от великой роскоши — пятилинейной.

Пониже стеклянного «скворечника» на столбе была перекладина. В сумеречные часы позднего ноября или снежного декабря всюду на окраинах можно было видеть пропахших керосином фонарщиков. С коротенькой легкой лесенкой на плече, с сумкой, где был уложен кое-какой аварийный запас — несколько стекол, моток фитиля — фонарщик стремглав несся вдоль уличных сугробов, неустанно перебегая наискось от фонаря на четной к фонарю на нечетной стороне: расставлены фонари были в шахматном порядке.

Вот он у очередного столба. Лесенка брошена крючьями на перекладину, человек взлетает на ее ступеньки. Хрупкая дверка откинута, стекло привычным жестом снято... Спичка... Ветер — спичка гаснет, но это бывает редко. Каждый жест на счету, на счету и коробки со спич-

ками. Огонь загорелся, стекло надето, дверца захлопнута... Две, три ступеньки. Лестница на плече, и — по хрустящему, размолотому тяжкими полозьями ломовых извозчиков, перемешанному с конским навозом снегу, по диагонали — к следующему столбу...

Каждый раз, когда я сворачивал на Нюстадтскую, я там, за Ломанским переулком, видел ее продолжение, убегающее куда-то в безмерную даль, за Нейшлотский, за Бабурин переулки. Там, по моим тогдашним представлениям, был как бы предел жилого мира. Там, по всему этому неоглядному протяжению, несся фонарщик, оставляя за собой цепочку слабых, боязливых, робко борющихся с ветром, дождем и тьмою огоньков. Но я останавливался.

Передо мной разворачивалась страница из задачника: «Фонарщик, перебегая зигзагом через улицу от фонаря к фонарю, зажигает их. За сколько времени успеет он осветить всю улицу, если длина улицы пятьсот семьдесят сажен, ширина двадцать сажен, расстояние между фонарными столбами сорок сажен, а на пробег от фонаря до фонаря...»

Я смотрел, и мне казалось, что такие задачи явно не разрешимы. Как можно их решать, не зная, весел этот фонарщик или печален (я знал одного, который даже пел и с лестницей на плече, и там, на верху столба, вычиркивая спички); есть ли у него дети или нет; где он живет и зачем ему каждый день надо бегать по таким вот нескончаемым, уходящим в черную даль улицам?..

Впрочем, вполне возможно, что эти мои впечатления относятся уже не к тем фонарям, какие я описал, а к другим, их великолепным наследникам.

На исходе первого десятилетия XX века, летом, когда меня не было в городе, старые простенькие столбы вырыли, металлические «скворечники» свезли в переплавку

или на свалку, и на моей Нюстадтской осенью меня встретили незнакомцы.

Эти фонари были вдвое выше тех. На верху деревянного столба, выше него, поднимался у них длинный, изогнутый плавным завитком кронштейн с блоком. Через блок был перекинут стальной трос, и, крутя рукоятку особого ключа, входящего в паз коробки, подвешенной на столбе внизу, фонарщик теперь спускал оттуда с высоты необыкновенное чудо техники — новый фонарь, керосинокалильный.

Это было сложное сооружение. Оцинкованный цилиндр больше метра в высоту увенчивался полой металлической баранкой — резервуаром для керосина. По трубкам горючее поступало в горелку в низу цилиндра, внутри откидывающегося в сторону стеклянного литого полушария. Над горелкой, на специальном крючке, подвешивался легкий, как из инея сотканный, кисейный, но пропитанный каким-то несгораемым составом белый колпачок, похожий на большой марлевый напалечник. Зажженная горелка раскаляла постепенно этот колпачок — он начинал желтеть, потом голубеть и вдруг вспыхивал ослепительно белым накалом...

Тогда, со скрипом, фонарщик поднимал махину фонаря — здоровенную дылду, почти в мой тогдашний рост,— наверх, бросал на панель бурые остатки колпачка, сгоревшего вчерашней ночью, и картонную трубочку от нового и после этого пускался, как и раньше, рысцой, наискось через булыжную мостовую, к следующему светильнику.

Теперь улица была освещена несравненно ярче. Висящие на своих кронштейнах груши этих фонарей раскачивал ветер; длинные тени метались по стенам квашнинского, крестинского, подобедовского шестиэтажных домов, и нам, жившим тогда в этих домах, уже казалось, что на-

ступил век совершенного торжества осветительной техники. Что же дальше? Чего же еще желать для Выборгской стороны? И даже «конец мира» как-то удалился от Ломанского в этом керосинокалильном свете. Мир расширился.

Цепь белых ламп виднелась теперь далеко за Нейшлотским, пожалуй, чуть ли не до самого Флюгова переулка... Но если вы вообразите себе этот наш тогдашний свет, он покажется вам современной уличной тьмой. Электрического-то освещения тогда на Выборгской еще не было; не только окна нижних квартир, но даже «витрины» — а точнее, такие же окна — редких лавок сквозь морозные узоры на стеклах бросали на тротуар мутно-желтый свет, и только кое-где — ну скажем, в трактире Ивана Мартыныча Тупицына в деревянном доме на углу Ломанского, да в его же «мясной, зеленной и курятной» лавке напротив — в серединах плотно замороженных окон, сквозь протаянные их жарким дыханием круги, освещали улицу такие же керосинокалильные лампы или новомодные многолинейные лампы «молния».

Впрочем, то, что я только что сказал, относилось к улицам если и не совсем уж захолустным, то даже и для окраин второразрядным (на самых глухих до семнадцатого года нераздельно властвовал простой керосиновый фонаришко).

На улицах средней руки — ну скажем, на набережных Невы — уже тогда светили совсем иной силы и устройства светильники, никому из нас теперь неизвестные, — газовые фонари. Внешний вид их был почти точно скопирован с самых старых фонарей города. Столб, правда, был теперь не деревянный, а ребристый чугунный, с незатейливыми украшениями. Но на нем был укреплен почти такой же, как бывало, состоящий из двух стеклянных пирамид, домик. Нижняя пирамида, усеченная, была

меньшим основанием обращена вниз. Верхняя, глухая, накрывала ее острой крышкой.

Издали его было проще простого принять за старого знакомца, но то была уже новая техника — газ.

Газовый свет в городе был разный. В помещениях вы просто поворачивали кранчик, как на газовой плитке наших дней, поднеся спичку к горелке. Над ней вспыхивало широкое, плоское, фестончатое пламя, похожее на засушенный между страницами книги тюльпан. Оно горело и освещало. В театрах, в цирках из множества таких тюльпанчиков собирали даже целые люстры; правда они давали куда больше тепла, чем света, но вспомним, как восхищался ими Золя в своих романах или Гончаров при описании Лондона.

Уличные газовые фонари были в мое время уже газокалильными. В них зеленовато-белым (белым с празеленью) светом сияли такие же, как в керосинокалильных лампах, «ауэровские колпачки». И их своеобразный свет, отражавшийся в черных водах осенней или весенней Невы, в ее полыньях, в лужах талой воды на поверхности неоглядных ледяных полей, не спутал бы ни с каким другим светом ни один мой ровесник. Только где увидишь их теперь?

Это о них, о газовых фонарях той поры, думал Александр Блок, когда его Пьеро пел себе под нос:

Неверная, где ты? Сквозь улицы сонные
Протянулась длинная цепь фонарей,
И пара за парой идут влюбленные,
Согретые светом любви своей, —

или когда возникали перед ним мрачные видения тогдашнего «города-спрута», с его людными проспектами и дикими трущобами, с его роскошью и проституцией, нищетой и самоубийствами, мраком и холодом:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.

. . . .

А гость меж тем — заветный пузырек
Сует из-под плаща двум женщинам безносым
На улице, под фонарем белесым...

И еще:

Старый, старый сон. Из мрака
Фонари бегут — куда?
Там лишь — черная вода,
Там — забвенье навсегда...

В стихах и пьесах Блока горят и качаются питерские фонари всех рангов. Там, где «ночь, улица, фонарь, аптека», — там, конечно, окруженный радужным ореолом, светит сквозь приморский густой туман покосившийся провинциальный фонарь самого начала девятисотых годов, почти ничем не отличающийся от того городского масляного фонаря, который «умирал в одной из дальних линий Васильевского острова» почти столетием раньше, в одном из незаконченных набросков Гоголя.

Но у того же Блока пылают злым светом и центральные улицы города, где взвихренные толпы людей двигаются в каком-то сумасшедшем хороводе «в кабаках, в переулках, в извивах, в электрическом сне наяву». Блоковский мягкий петербургский снег, крупными хлопьями таинственно ложащийся на женские вуалетки, то лиловатый, то голубой, падал, конечно, в лучах газовых или электрических фонарей, гудящих вольтовыми дугами, по-пчелиному жужжащих на тогдашнем Невском, на Морской, над проносящимися санками с медвежьими полостями, над треуголками лицеистов и пажей, над накрашенными лицами куртизанок...

Уже тогда, в раннем моем детстве, в десятых годах века, был в городе и электрический свет. Эти фонари были

очень разными: вокруг Таврического сада, вдоль Потемкинской, вдоль Таврической, вдоль Тверской свет давали невысокие простые светильники на столбах из гнутых железных труб: над яблоками их ламп были укреплены плоские белые тарелки отражателей.

Тут же рядом, на Малой Итальянской, на Греческом, высились высоченные фонари-столбы, напоминавшие Эйфелеву башню в миниатюре. Они несли на себе огромные призматические стеклянные коробки, и какое именно устройство пылало в этих коробках — не могу уж сейчас сказать точно. В ранней юности кто-то уверял меня, что эти мощные решетчатые конструкции остались тут от тех времен, когда они поддерживали на своих вершинах еще первые свечи Яблочкова, как в Париже. Так это или не так, судить не берусь, но эти «башни», с сильными источниками электрического света наверху, доторжествовали в тех улицах чуть ли не до самой Революции.

А главные улицы связываются в воспоминании с совершенно другими фонарями. У них были очень высокие столбы, такие же, как у нынешних наших: стройные, сваренные из труб разного поперечника. Только наши оканчиваются прямым перекрестьем, поддерживающим тройчатку светящихся шаров, а те заканчивались улиткообразно закрученным подвесом, с которого спускалось большое сияющее яйцо молочного стекла, охваченное тонкой проволочной сеткой. Внутри столба заключалось подъемное устройство. Каждое утро фонарщик (он был еще жив, курилка!) опускал маленькой внутренней лебедкой это яйцо почти до земли, вынимал из зажимов внутри него и бросал тут же на тротуар обгоревшие (один — конусом, другой — воронкой, кратером, как в учебниках физики) угли, в виде крепко спрессованных палочек толщиной в палец взрослого мужчины, и вставлял новые. И каждый раз вокруг него толпились мальчишки, кидаясь, как коршуны,

на эти огарыши. Зачем они были им нужны, не скажу даже по догадке, хотя ведь и сам постоянно и подолгу носил, как Том Сойер, в карманах, хранил в углах парты матово-глянцевые, похожие на металл, угольные цилиндрики...

Вечером эти фонари загорались уже без фонарщика, все сразу по всему Невскому и по Большой Морской; сначала в них что-то начинало потрескивать, слегка посверкивать. Потом молочно-белые яйца становились слегка лиловатыми, и сверху на головы проходящих начинало литься вместе с чуть-чуть сиреневым, трепещущим светом задумчивое, на что-то намекающее пчелиное жужжание.

В этом жужжании, в этом полупризрачном свете и являлись поэтам того времени их Незнакомки и Прекрасные Дамы, лукавые, неверные, двусмысленные фантомы предсмертных годов того мира! В этом жужжанье и падал тихо на панели, на мостовые, на медвежьи полости, на собольи палантины, на синие сетки лихачей, на крыши неуклюжих тогдашних «моторов» — автомобилей — мягкий, пушистый, убаюкивающий снег.

Ах, фонарики, фонарики Петербурга!

За стихами Блока и Брюсова, за электрическим биеньем и газовым потоком их света слышится мне совсем далекий голос. Кто это «под гитару» бунчит себе под нос сентиментальную, чисто петербургскую трогательную песенку середины прошлого века, а то и еще более старую?

Был когда-то в николаевском (Николая Первого) Питере способный человек, богатый барич, паркетный шаркун, сочинитель веселых и пустячных виршей — Иван Мятлев. Всю свою жизнь он провел таскаясь по великосветским гостиным — остряк, балагур, выпивоха. Но откуда-то — может быть, дошедшее из глуби поколений — возникло и жило в его душе что-то воистину народное,

что-то, сделавшее два-три из его стихотворений истинно плебейскими, городскими песнями тех дней.

Бог ведает, где осветил его помятое лицо свет тогдашних масляных, тусклых уличных фонарей. Но охватила его тоска, и взял он в руки свою гитару...

Мелодия была простенькой, немудрящей, слова далеко не гениальные, но их можно было услышать потом и от шарманщика на дворе, и от молодой белошвейки, склонившейся над шитьем за узким окошком, и от забулдыги-подмастерья, жалующегося на загубленную городом жизнь.

Фонарики-сударики,
Скажите-ка вы мне,
Что видели, что слышали
В ночной вы тишине? —

допытывается певец у молчаливых стражей городской ночи.

Фонарики-сударики
Горят себе горят.
Что видели, что слышали —
О том не говорят...

А многое могло открываться им в глухие петербургские полночи, в достоевской измороси, в гоголевских метелях, в лермонтовском промозглом тумане:

Вы видели ль преступника,
Как в горести немой
От совести убежища
Он ищет в час ночной?

Вы видели ль — сиротушка,
Прижавшись в уголок,
Как просит у прохожего,
Чтоб бедной ей помог?

Но фонарики того Петербурга были «народ все деловой», были все «чиновники-сановники, все люди с головой».

Они на то поставлены,
Чтоб видел их народ,
Чтоб величались, славились,
Но только без хлопот.

Им, дескать, не приказано
Вокруг себя смотреть.
Одна у них обязанность —
Стоять тут и гореть,

Да и гореть, покудова
Кто не задует их...
Так что же им тревожиться
О горестях людских?

Поэт спрашивает, но ему никто не отвечает.

Фонарики-сударики
Горят себе горят.
Что видели, что слышали —
О том не говорят!

С раннего детства я слышал эти слова, этот жалостный напев. И валики разбитой шарманки ныли эту песню в узком питерском дворе. И няня моя напевала ее, возвращаясь со мной домой по снежным улицам в час зажигания огней. И возможно, именно поэтому городские фонари моего Ленинграда всю жизнь глядят мне в душу, кажутся, каждый по-своему, выражением своего времени, своей эпохи.

...В осенних сумерках рейсовый самолет приближался к Ленинграду. Пассажиры старались различить в набегающей с севера тьме очертания города. Чуть брезжила

в красноватом тумане пятипалая ладонь — дельта Невы. На западе еще поблескивал медный щит залива... Остальное уже затянула вечерняя мгла. Ленинград, где же ты?

И вдруг впереди, под правым крылом машины, точно кто-то уронил сверху на землю длинную прямую нитку огней... Вторая пересекла ее; мгновение спустя, под углом, загорелась третья, четвертая. И вот уже внизу целая сеть золотистых, зеленоватых пунктирных линий... Набережные, мосты, Невский, Садовая... Вот вырезался светом Васильевский остров, обозначилась Петроградская сторона... И не успели смолкнуть удивленные возгласы в салоне самолета, как впереди, под правым крылом машины, обозначился огненный план великого города: там сверкало, переливалось, мерцало целое море ярких, слабых, цветных, золотых замирающих к горизонту огней.

— Три минуты! — проговорил сидевший рядом человек. — Вот, я засек: за три минуты осветили весь город... Видите: от Купчина до Озерков, от Гавани до села Рыбацкого...

И тут-то мне опять вспомнилась та задачка, из Верещагина или Евтушевского: «Фонарщик, перебегая зигзагом через улицу от фонаря к фонарю, зажигает их. За сколько времени успеет он осветить всю улицу, если...»

Когда я, в синей зимней курточке с мерлушковыми выпушками, путешествовал по улицам Выборгской стороны десятых годов, собственными глазами — наглядно — решая эту задачу, в городе, незримо для меня, сражались за право освещать его (и превращать этот свет в свою прибыль) неведомые мне могучие силы. Было бы, конечно, разумно сразу и повсюду заменить керосиновое освещение газовым, газовое — электрическим. Но!..

Керосин, сгорая, обогащал нефтяные компании, тех же Нобелей, о которых уже говорилось, если не Людвига Людвиговича и Ральфа Людвиговича — металлургов, то

Эммануила Людвиговича — нефтяника (впрочем, кто их ведает, как они там делили свои миллионные дивиденды, эти деловитые братья!). Нобели не желали, чтобы город перестал быть их выгодным покупателем. Но газ и электричество струили ручьи золота в карманы других компаний, угольных. Они тоже не сдавали позиций. Город был поделен между ними, и, когда в центре уже горели и переливались стосветные рекламы лампочек «Осрам», Нарвская, Невская застава, большая часть Выборгской стороны с Охтой, Полюстровом, Пороховыми — три четверти города мерцали рыжими глазами худосочных керосиновых коптелок.

Правда, и теперь у нас осветительные устройства не одинаковы на главных «магистралях» и в стороне от них. Но это — естественно и понятно: у них разная работа, разное назначение.

Приглядитесь сами: где-нибудь у границы города, на каком-нибудь шоссе Революции или далеко за селом Рыбацким, стоят на обочинах полуулиц, полудорог высокие деревянные столбы, наподобие обычных телеграфных (иногда для этого используются и линии связи). На прямых железных кронштейнах покачиваются на них большие, от 100 до 300 ватт, лампочки накаливания — их «светильники», потому что для тех, кто ведает светом в городе, фонарь — это все целое, а источник света с его арматурой, висящий там, наверху, — это светильник.

Но именно такие фонари тут и нужны: они бросают круги света на асфальт дорожного полотна, позволяют машинам ехать, пешеходам проходить широкие пространства не застроенных еще пустырей. Больше таких светочей; другого тут ничего не нужно. А в городе?

Задача городского фонаря иная, чем пригородного. Он должен не просто вырывать из темноты светлый круг; надо, чтобы круги соседних светильников перекрывались:

транспорта много, людей на тротуарах — еще больше. Этого мало: фонарю, живущему на Невском, на Дворцовой площади, на набережных, поручено еще одно важное дело. Он обязан освещать не только мостовую и панели у себя под ногами, но и прекрасные здания, около которых он стоит. Его задача — своими лучами раскрывать красоту ночного Ленинграда. Это — два.

Третье? Он имеет право светить, но ему запрещено ослеплять. Солнце светит ярче любых фонарей, но не ослепляет: оно подвешено достаточно высоко. А расположенные низко светильники излишним обилием света не помогают — мешают видеть. Вот почему вместо плоских тарелок-отражателей пригородных фонарей лампы фонарей центра снабжают молочными стеклянными колпаками-шарами. Правда, они отнимают часть света, но зато делают его более мягким, рассеивают, защищая зрение...

Ну и наконец: затесавшись в толпу старых аристократов — великолепных дворцов, палат, богато облицованных камнем домов на центральных улицах, — современным ленинградским фонарям приходится за ними тянуться. Вообразите на углу Невского и Садовой деревянный столб с железной прямой тавровой стрелой на вершине, и вы сами поймете, что это немыслимая вещь у округлого фасада Публичной библиотеки, возле подстриженных лип гостинодворского бульварчика, над подземными переходами, в россыпи красных, синих, зеленых неоновых реклам, надписей.

Фонари наших улиц должны быть еще и красивы: и об этом думают те люди, которым поручено каждый вечер, в точный час (но и всегда в разный час: темной зимой — совсем рано, белыми ночами — очень поздно), говорить «Да будет свет!», включать рубильники сети и мгновенно, без всяких фонарщиков заливать этим светом именно те

улицы, те площади, которые в данный миг уже жаждут получить его.

Как, а разве не все сразу? Нет, не все. Вот на Петроградской далеко и широко тянется один из красивейших в городе, оживленный Кировский проспект. На нем светло даже без фонарей: улица широка, неба над ней много, окна в домах почти все освещены... Кировский проспект может порою и потерпеть минутку-другую в сумерках.

И от него отходит узенькая, вся в садах и заборах, улица Академика Павлова. На ней — много заводов; ведет она тоже к заводам. Они работают круглые сутки; рабочим вечерних и утренних смен темновато идти тут даже в сумерках. И вот скромная улочка ставится в преимущественное положение по сравнению со своим пышным собратом. Фонари на ней вспыхивают немного раньше, гаснут чуть позже, чем на Кировском проспекте. И это справедливо.

А попробовали бы вы навести такую справедливость в начале века, когда усталый фонарщик плелся по этой улице «зигзагом», собственными своими ногами решая арифметическую задачу о фонарях? Ничего бы у вас не вышло.

Уличная радуга

Все, что я рассказывал до сих пор, разрешалось как бы в «черно-белом» отпечатке: черное — темнота, белое — свет фонарей.

Но ведь сегодняшний ночной Невский не сфотографируешь прилично на такую черно-белую «пленку». Закройте глаза, представьте себе на миг современную ночную улицу, даже не совсем центральную... Зеленые и красные огни, неподвижные и движущиеся, вместе с белыми образуют ее сложную световую гамму: трехцветное

перемигивание светофоров, красные кроличьи глазки на спине у каждой машины — целые ожерелья этих, то бегущих, то стоящих на месте, то широко открытых во тьму, то лукаво помаргивающих, алых огоньков. Теперь наша ночная улица многоцветна. А тогда? Ведь это же «Записки старого петербуржца»...

Я старательно вспоминаю свои тогдашние цветовые впечатления. А оказывается, они очень скудны.

Вот я иду по Литейному к себе на Выборгскую. На углу Сергиевской, не пересекая ее, на левой, нечетной стороне, из окон второго этажа падают вниз на мостовую, на сгруженные посреди улицы, между коночных рельсов дворниками кучи снега — ровные, аккуратные, в виде правильных призм, неяркие, но окрашенные снопы света. Здесь помещается «Аптека провизора Вестберга». Как и во всех приличных аптеках, на подоконниках ее окон, внутри, стоят лампы; тут они электрические, в более отдаленных местах города — керосиновые. И перед каждой лампой, между нею и наружным стеклом, укреплен большой сосуд с цветным раствором. Иногда это плоская стеклянная ваза в виде огромной круглой фляжки, иногда — пузатый шар — красный, желтый, синий (никогда я не видел ни зеленых, ни фиолетовых таких шаров; не знаю уж, чем это объясняется; должно быть, не было достаточно стойких на свету и дешевых цветных растворов). Лучи лампы проходят сквозь окрашенную воду и падают на улицу. По этим цветным шарам, да еще по тяжелым, черным с золотом и киноварью, двуглавым орлам, тем или иным способом укрепленным над дверью, каждый уже издали знал: вот аптека!

В обычные дни это чуть ли не весь цветной блеск тогдашних улиц. Чуть позже, когда после 1908 года по ним уже стали, завывая моторами, бегать трамваи, в городе замелькали новые красочные пятнышки — сигнальных огней.

В Москве той поры сигнальные огни у всех трамвайных маршрутов были одинаковыми, красными. У нас с первых же дней городская управа распорядилась иначе: пара красных огней была пожалована пятому номеру — он ходил от Гавани до Заячьего переулка на Песках. «Четверка» — от Смоленского кладбища до Лафонской площади за Смольным — несла свои оранжевые огни; первый номер — желтый и фиолетовый, «тройка» — красный и зеленый... Если прибавить к этому еще странный зеленоватый свет тех вольтовых дуг, которые в народе обычно называют «трамвайными искрами», то надо сказать, что трамвай прибавил к пестроцветности питерских ночных улиц немало колеров. Любопытно, что большинство этих условных, очень удобных при ленинградских туманах и дождях, огней-отличек сохранилось. Они все те же на тех же маршрутах, вернее, на тех же их номерах, сами маршруты с тех пор очень изменились.

Надо прибавить одно: бывало несколько дней в году, когда радуга огней сильно разнообразилась. Это были пасхальная ночь и так называемые «царские дни», т. е. дни именин и рождения царя, царицы и — если не ошибаюсь уже за давностью лет — «наследника-цесаревича».

В эти дни дома́ с утра убирались трехцветными государственными флагами и вензелями виновников торжества. К ночи на вензелях загорались маленькие красные, белые и синие лампочки, а там, где не было еще электропроводки, вдоль заборов и стен развешивались на бесконечно длинных шнурах еле светящиеся, мерцающие масляные лампадки — «плошки», тоже красные, синие, белые, кое-где зеленые и желтые.

Да, разумеется, нам, привыкшим теперь к великим парадам огней даже на будничных наших улицах, к подсвеченным снизу дворцам, соборам, колоннадам, к традиционным фейерверкам в дни, отмеченные «салютами»,

тогдашние «иллюминации» (так это тогда называлось) показались бы совсем жалкими, почти незаметными.

Но должен признаться, что нам — тогдашним — они не виделись такими. Конечно, никто или почти никто не праздновал душой «царские дни». Но вот в весенние пасхальные ночи, когда по городу дул теплый добродушный ветер позднего апреля, когда в темном небе над крышами непрерывно плыл тысячеголосый веселый колокольный трезвон, когда из четырех древних светильников на каждом углу Исаакиевского собора вырывались, раздуваемые ветром, языки газового пламени, мы любовались простодушно и наивными гирляндами плошек на окраинах, где-нибудь у Фарфорового завода, где-нибудь в Лесном или в Удельной...

Из садов и парков пахло оттаявшей землей, тихий ветер играл слабыми язычками огня в незамысловатых лампионах... Важный, чиновничий, высокомерный и ко всему равнодушный Петербург принимал хоть на одну ночь какое-то другое, немножко провинциальное, менее «европейское» и «немецкое», более русское лицо... О петербургских и ленинградских фонарях, светильниках я мог бы говорить без конца: я очень их люблю и хорошо знаю. Но для этого понадобилась бы целая книга.

КЛЮКВА ПОДСНЕЖНАЯ

Весна. Выставляется первая рама,
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса...

А. Н. Майков

Теплое вешнее утро. Первая рама у нас не «выставляется», а «растворяется». Священнодействие это еще длится. Горничная Анюта (а может быть, Настенька или

Маша, разве теперь упомнишь все имена? Была у нас даже одна Маргарита, но она быстро «оказалась»; ушла натурщицей к художнику на Ломанском; бабушке и няне хватило разговоров на год!) — так вот, горничная Анюта моет окна в папином кабинете. Она поставила на широкий подоконник кухонную некрашеную табуретку и, распевая, брызжет мыльной водой с этой высоты.

Еще балконная дверь не выставлена. Еще на полу, на газетных листах, лежат комья междурамной цветной ваты, натрушена сухая замазка, стоят фаянсовые стаканчики с соляной кислотой. Они тоже междурамные: их ставят в окна на зиму, чтобы стекла не замерзали.

Но в квартире уже все изменилось.

Все стало как в этих немудрящих, а ведь таких светло-весенних строчках: «Весна. Выставляется первая рама...»

Мне лет шесть. Я эти слова уже запомнил. И — весь в том, что свершается вокруг, — я громко выкрикиваю:

— «Выставляется первая рама!»

— И никакая не первая, Левочка, что это вы? — разрушает мой поэтический настрой со своего пьедестала Анюта, молоденькая, хорошенькая и веселая, как все наши горничные, — мама иных не держала. — Где же первая? В детской — две. В Надежды-Николавниной комнате — одна. Здесь и то второе окно мою. Пятое окно с утра — такие окнища!

Нет, у нас разный подход к явлениям мира: нам по таким поводам никак не договориться!

Да, всё, как в тех стихах... Левое окно — настежь, и на мне надето внакидку летнее серенькое, пахнущее нафталином пальтишко: чтоб не просквозило. Из окна течет сладкий апрельский ветер, и с ним на самом деле врывается в комнату — нет, не благовест, а веселый, задорный, ничуть не пахнущий службой и ладаном — пасхальный трезвон. Пасха, пасха, пасха! Весна!

Трезвон спрыгивает с колокольни еще не достроенного Ивана Предтечи на углу нашей Нюстадтской и Выборгской. Вся комната полна им, и неожиданно гулко отражаемыми потолком и стенами голосами идущих по улице людей, и тем особенным восхитительным звуком, с которым у меня и доныне всего слаще и всего больней связывается память детства. Это — звонкое и каменистое на булыге, тупо причмокивающее на просыревших за весну торцах цоканье конских копыт по мостовой...

Прошло шестьдесят пять лет, а я и сейчас — нет-нет, да и кинусь к окну, заслышав его: что, как, откуда?

Успокойся, старый петербуржец, не выходи из себя! То всемогущий «Ленфильм» гонит куда-нибудь свой бутафорский «собственный выезд»...

Я рвусь к окну: «Анюта!» Анюте это не нравится.

— Ай, да ну вас, Левочка! — машет она на меня мокрой тряпкой. — Ай, да что это, медом это окошко намазано, что ли? Идите себе в детскую: там места хватает. И подоконник тут не просохши, что барыня скажет?

Я в сомнении: в детской — два окна, но тут — балкон?

— Да... А позовешь меня, когда балкон выставлять?

— Да позову, позову, сказано! Стекольщик с носом...

Я иду в детскую без энтузиазма: что же что два окна? Какие окна! Но, едва открыв дверь, замираю.

— Паять-лудить! А вот — пая-ать-лудить! — Гулко, заунывно и непонятно: «паять-лудить»?

Эти окна выходят на двор, на север, на пути Финляндской дороги за крышами домов, на плохо видимое и не очень интересное. Но сквозь них со двора доносится до меня странный, требующий объяснения заунывно-звонкий призыв:

— Паять-лудить! А вот — паять-лудить!

Стул подтащен к подоконнику, я стал на него коленками и, пока не страшно, высовываюсь наружу.

Наш двор «нарочито невелик», квадратен, замощен булыжником. Посредине огорожен зеленой деревянной решеткой жалкий питерский садишко в четыре тополя и одну березку...

Спиной к саду, посреди булыги, стоит чернобородый мужик с мешком (мне уже шесть; мешком меня теперь не испугаешь!) за плечами. На шее у него подвешены на веревочках большой медный чайник, два сотейника, кастрюлька красной меди, что-то еще.

Он стоит и, задрав бороду, пытливо всматривается поочередно в окна по всем четырем этажам. Потом мечтательно прикрывает глаза, как певец на сцене.

— Пая-ать-луди-ить, а? — как птица, все на тот же, высоковатый по его бородище и плечам, мотив запевает он. — Паять-лудить? — чуть более требовательным тоном: что же, мол, вы там, заснули все?

Никто не отзывается, никто не выглядывает в окна. Я — не считаюсь.

Подумав, он пускает для проверки более сильное заклинание:

— Посуду медну... паять-лудить?!

Никакого впечатления. Нагнувшись, он поднимает с земли второй чайник — ведерный, трактирный или артельный, — встряхивается — и медяшки его гремят, — поправляет мешок за спиной и уходит...

Не скажу почему, мне становится как-то грустновато... Может быть, жалко бородача: кричал-кричал! Я хочу слезть со стула, но это мне не удается...

Встретясь с лудильщиком в подворотне, во двор уже входит, перекошенный на один бок тяжестью своего ящикообразного инструмента, худой, смуглый, впалогрудый шарманщик.

Такой же тощий и черномазый мальчишка несет за ним клетку с ободранным зеленым попугаем, ящичек, в котором плотно уложены, как в картотеке, картонные билетики — «счастье», маленький вытертый коврик...

Старший упирает в булыжник деревянный костыль шарманки, утверждает перед нею на раскладной табуреточке клетку и переполненный «счастьем» ящик... Мальчишка уже разостлал поодаль трепаный, грязнее каменной мостовой, коврик. Свой картуз с переломленным козырьком он положил, как чашку, тут же около, на панели...

Ах, этот нудный, гнусавый, за сердце хватающий присвист, которым начинались все мелодии тогдашних разбитых шарманок! Почему ты помнишься столько лет, столько десятилетий? Ах, этот мрачный, жутковатый, униженный и ненавидящий взгляд сине-белых, то ли цыганских, то ли итальянских, глаз на коричневом лице — ты и сейчас стоишь передо мною. И эта мятая, бутылочно-зеленого плюша артистическая шляпа, шляпа нищеты, шляпа горечи, шляпа тысяч несчастий и миллионов терзаний — сколько я видел в детстве таких трагических шляп...

Зззззачем ты, безззумная, губишь
Таво, кто увлекся тобой?
Неужели меня ты не любишь?
Не любишь, так бог же с тобой!

Это не поется, это только играется... Одна чахоточная, пошлая, скудная, как этот дворик, мелодия без слов... И все же это — не медная посуда. Это — искусство. Оно доходит.

Уже из подворотни — озираясь, где дворник? — заглядывают во двор девчонки и парнишки с соседних дворов.

Может быть, они таскаются за шарманкой из дома в дом уже с самого Нейшлотского? Вошли и замерли у стен.

У церкви стояла карета,
Там пышная свадьба была...

Уже наши собственные дворницкие и швейцарские дети — счастливцы! — подбираются, шаг за шагом, к самому попугаю (девочки), окружают коврик (мальчуганы). И одно за другим распахиваются окна. И высовываются «дворовые», не «фасадные» головы — кухарок, горничных, приживалок... И вот уже летит на землю первый, завернутый в бумажку, алтын... И незавернутый пятак падает и катится точно, как у Достоевского, — по рассказу Григоровича, — «звеня и подпрыгивая», к ногам музыканта... Еще, еще, опять... И какая-то с косичкой, но уже похихикивающая по-взрослому, фыркая в рукав, покупает себе «счастье». И сердитый, нахохленный попугай, недовольно покрякивая и покрикивая что-то не по-русски, ловко зацепив его клювом, вытаскивает из туго спрессованной пачки один билетик.

И девчонка, прочтя, хватает себя ладонью за все лицо: «Ой, мама родна́я...»

...Шарманщик чуть приметно кивает. Мальчик, сбросив верхнюю одежду, остался в обшитом мишурными позументами, затасканном, стократно заплатанном костюме акробата, и все вокруг ахнули: «Ну и красота!» И — разбежался, и стал на голову и сложился пополам, и закувыркался и сделал кульбит... Ух ты!

Шарманщик набрал порядочно. Дворовые ребята то и дело бегали во все концы подбирать мелочь. И вот музыканты собрали свое имущество и уходят прочь. Старший — привычно согнувшись на один бок под грузом шарманки, глядя в землю, трудно кашляя на ходу. Младший — посверкивая детскими, но уже много знающими

глазами, глазами не то «di Santo Bambino» *, не то обезьянки-макаки, жгучими и грустными. У ворот он вдруг оборачивается и что-то быстро, гортанно говорит той, с косичкой, которая покупала «счастье». И она, вспыхнув, плюет ему вслед, и мальчишки восхищенно хохочут, и дворничиха замахивается на музыкантов метлой, и старший дает младшему на ходу быстрый, но добродушный подзатыльник:

— Уй, маладэтто порчеллино! Проклятый свиненок! Опять!

Но мальчишке что? Он пронзительно свистнул и высунул дворничихе язык...

* * *

В подворотне нашего дома — Нюстадтская, 7, — как и во многих подворотнях рядом, висела железная доска. Черной краской по белой на ней было сурово выведено:

> **Татарам, Тряпичнекам и протчим крикунам**
> **вход во двор**
> **строга воспрещаетца!**

А они — входили. И сколько их было разных. И на сколько различных голосов, напевов, размеров и ритмов возглашали они во всех пропахших сложной смесью из кошачьей сырости и жареного кофе дворах свои откровения торговых глашатаев.

Приходила картинная — Елена Данько лет через пятнадцать охотно вылепила бы такую фарфоровую статуэтку — крепкая, бойкая в такой мере, что с ей подобными и старшие дворники остерегались сцепляться, похожая,

---

* «Младенца Христа» (*ит.*).

как я теперь понимаю, на лесковскую «Воительницу» женщина; крепко становилась посередь двора на аккуратно обутых в добрые полусапожки основательных ногах и запевала:

— Сельди галанские, сельди; сельди, се-е-льди!

В ладной кацавеечке, в теплом платке, с румяным — немолодым, но все еще как яблоко свежим — лицом, она стояла спокойно и с достоинством. На ее левом плече уютно лежало деревянное коромыслице с подвешенными к нему двумя тоже деревянными кадочками — небольшими аккуратными, в хозяйку, с плотно пригнанными крышками. Третья кадочка, поменьше, — с любительским посолом — в руке.

Быстрые глаза так и бегают от окна к окну, рисованный пухлый рот вкусно шевелится. И вот уже открылась первая форточка, и через зеленый продырявленный дощатый ящик-ларь, в каких хранили тогда вместо нынешних холодильников провизию (слова «продукты» никто и не слыхивал), перевешивается чья-то голова. И кадочки поставлены на мостовую, и кто-то сбега́ет — или неспешно сходит — по черной лестнице; и хлопает наружная дверь, и начинается торг:

— Марья Гавриловна, что давно не заходила?

— Ах, милая ты моя ягодиночка, виноградинка ты моя золоченая, говела, бабынька, говела... Так уж и решилась: дело богово, посижу дома! Торговля-то наша — сущий грех...

Трудно даже припомнить их всех подряд, служителей этого тогдашнего надомного сервиса — столько их было и по таким различным линиям они работали. Среди них имелись представители совершенно друг на друга непохожих индустрий.

Иной раз во двор входил человек-копна, зеленое лиственное пугало; такими в книжках для малышей

рисуют сказочных леших. И сквозь пряно-пахучие, полусухие березовые ветки звучал изнутри копны высокий бабий голос:

— Венички бере-о-зовы, венички!

Всё — свое: свой распев, свое хитроумное устройство, поддерживающее в равновесии на плечах и спине два-три десятка или две-три дюжины отлично связанных, в меру подсушенных, в меру провяленных банных веников.

— В баньке попариться — ве-нич-ки!

Другая женщина (а случалось, и мужчина) появлялась, распустив высоко над головой, как буланую гриву, целый мочальный веер:

— Швабры, швабры, швабры!

Еще эхо не смолкло от этого мажорного выкрика, а от подворотни уже доносится глуховатый минор следующего «крикуна»:

— Костей-тряпок! Бутылок-банок!

Или:

— Чулки-носки-туфле-е-е!

Или:

— Халат-халат! Халат-халат! — с особым, за три двора различаемым татарским акцентом и интонацией. — Шурум-бурум!

Были торговцы, которые появлялись и исчезали, как перелетные птицы, как бы входя в состав фенологических примет города. Так, с точной периодичностью, лужи на питерских панелях испокон веков в середине июня окружаются охристой каймой сосновой пыльцы, а через несколько дней вслед за тем во всех улицах поднимается теплая сухая вьюга тополевого пуха.

Бывало, подходит время, и слышно со двора: «Огурчики малосольные, огурчики!» Пройдет положенный срок — доносится другая песня: «Брусничка-ягода, брусничка!»

Осенью всюду звучит: «А вот кваску грушевого, лимонного!» Весной же, когда, кажется, в лес и доступа никакого нет, когда еще на пригородных полях стоят озера непроходимого половодья, а в лесной глуши сугробы и в полдень не подтаивают, не успеешь открыть форточку, и уже зазвучало и понеслось привычное, как в деревне свист скворца или грачиный гомон на березах: «Клюква подснежна, клюк-ва-а!» А настанет время, и нет ни одной клюковницы. Прошел сезон!

Кроме этих постоянно-прилетных птиц были и случайно-залетные, редкие. Жители Удельной с тех лет и по сей день поминают косенького старикашку, ходившего от дачи к даче с негромким, но далеко слышным таинственным полушепотом: «Спи́румура-ви́на!» Надо было хорошо вслушаться, чтобы сообразить: вот ведь промыслил же себе человек божий промысел! Собирал он где-то в недальних лесах муравьев и потом разносил по страждущим ревматизмом бутылочки «спирту муравьиного». И ведь что-то подрабатывал этим, раз носил, вот что интересно! На зиму он пропадал — верно, прятался в нору, как старый барсук, — но с весной возвращался на старые свои выхожи, хитроумец...

А были и непрерывно действовавшие торговцы, которым все равно было, лето или зима, весна или осень. Я думаю сейчас о всевозможных старьевщиках, а также о галантерейщиках. И те и другие заслуживают, пожалуй, того, чтобы их помянуть.

Надо прежде всего сказать вот что. «Разделение труда» при обслуживании дореволюционного питерского обывателя всеми теми «надомниками», о которых я сейчас говорю, было, в общем и целом, очень устойчивым и строгим.

Медник, например, вне зависимости от ситуации на рынке металлов обречен был самой судьбой (раз уж он

стал лудильщиком) взывать во дворах «паять-лудить» и никогда не пытался заодно взять на себя работу жестяника.

Селедочница торговала селедками и не соблазнялась примером огуречника или квасника. Ярославцы разносили по домам тюки с мадаполамом, полотном и тому подобными матерьялами и не перебегали дороги китайцам, торговавшим бок о бок с ними шелковым товаром.

Был, пожалуй, только один разряд таких «нижних чинов» капиталистического Меркурия, который вспоминается мне почти как парии в их рядах, как своего рода «неприкасаемые», всеми презираемые, но и готовые на всё субъекты.

От времени до времени во дворах появлялся, как тень, полуторговец, полубосяк — странная фигура в долгополом рваном пальто (или в каком-то брезентовом полуплаще), — небритый, обросший, до предела грязный и засаленный, с таким же сомнительным, кое-как заплатанным, грязным мешком за плечами. Он возникал внезапно, как привидение. Он вдруг появлялся из тени, и, казалось, как уэллсовский морлок, стремился как можно скорее снова нырнуть во мрак.

Возникнув во дворе, он останавливался, не удаляясь от подворотни, и спрашивал глухо, еле слышно, как бы боясь, что его услышат, и желая этого:

— Купить-продать?

Что купить? Что угодно, хоть душу человеческую, хоть старую подметку, лишь бы по сходной цене. Что продать? Да вот хотя бы узел зловонных лохмотьев, приобретенный в соседнем дворе и скрываемый в мешке за спиною. А может быть, пару выброшенных на помойку, разношенных вдребезги валенок. Или — ночной горшок с отбитой эмалью... Или — позеленевший примус, если он вам нужен... Не все ли равно что?

«Купить-продать?!»

Сколько раз у меня почему-то падало сердце, когда до меня доносился в детстве этот негромкий вызов-вопрос: «Купить-продать?!» Сколько раз случалось мне видеть полубродягу этого («Костей, тряпок, бутылок, банок» выглядел английским лордом рядом с ним), когда он, войдя во двор с ухватками пуганого зверя, сначала, как и все, осматривал вопросительно этаж за этажом, потом, воровато оглянувшись, проскальзывал за садик, к помойкам.. Как киплинговская крыса Чучундра, не смеющая выбежать на середину комнаты, он быстро приоткрывал уравновешенные грубыми противовесами скрипучие крышки... Кошки прыскали от него в сторону — похож на кошатника! А он либо мгновенно выхватывал железным прутком из ямы что-то невнятное и молниеносным движением отправлял в мешок, либо так же торопливо захлопывал крышку и стушевывался без добычи...

Было что-то лемурье, что-то особенно жуткое, скользкое в этих серых фигурах. Недаром они сегодня, шестьдесят лет спустя, представляются мне воплощением того мира, в котором я начинал свой жизненный путь. Я думаю о них и о нем, и на меня начинает веять из прошлого тяжкой, приторной гнилью свалки, скрипом смрадных люков на помойках задних дворов... И, как из бездны, доносится сквозь туман времени жадный, горький, бессильный и яростный полукрик, полушепот, полулозунг:

«Купить-продать?!»

* * *

Ну, а теперь — о более веселом.

Когда наша няня или кухарка Альвина вдруг при разборке своих сундуков обнаруживали там чрезмерное множество всякого старья, они начинали особенно чутко

прислушиваться к возгласам и распевам тех, кому «вход во двор» строго воспрещался.

Рано или поздно в форточку доносилось долгожданное: «Халат-халат!» Или няня, или Альвина выглядывали в окно. Среди двора стоял человек, которого нельзя было спутать ни с кем другим: реденькая бородка, на голове серая или черная шапочка-тюбетейка, на плечах — стеганый халат не мышиного, а более темного, так сказать крысиного, цвета. Сомнений не оставалось: это и был «халат-халат». Он смотрел в окна. На руке у него был переброшен пустой мешок. Положение обещало оказаться благоприятным.

— Эй, князь! — доносилось сверху. «Князь» безошибочно определял, из какой квартиры его позвали, и спустя самое короткое время кухонный звонок — не электрический, как на парадной, а простой колокольчик, подвешенный на тугой пружине, — осторожно звонил. Дела, которые здесь затевались, не должны были касаться «господ». Им не для чего было знать о таких визитах.

Я еще не был «барином», а ухо у меня было востро. Обычно я оказывался на кухне как раз в момент появления «халат-халата» и с великим интересом наблюдал происходившее.

Посмотреть на это стоило: соревнующиеся стороны были достойны друг друга.

Татарин опорожнял прямо на пол свой мешок, если в нем уже что-то было. Продавщицы вытаскивали из потайных скрынь своих какой-нибудь ношеный-переношеный плюшевый жакет, древнюю юбку, ветхую шаль времен очаковских. Одна высокая сторона называла цену — скажем, рупь двадцать. Другая — «Ай, шайтан-баба, совсем ум терял!» — давала четвертак.

Татарин сердито собирал в мешок свое барахло, показывая намерение уйти и никогда не приближаться

к дому, где живут такие «акылсыз» — сумасшедшие женщины. Няня гневно кидала свои тряпки в «саквояж», звенела замком сундука. Но «князь» не уходил. Мешок снова развязывался, сундук опять отпирался. И он давал уже сорок копеек, а Альвина требовала восемь гривен. И летели на каком-то славяно-тюркском «воляпюке» самые яростные присловья и приговорки — из-за них-то старшие и возражали против моих посещений кухни.

Няне в это время было за восемьдесят. Полутурчанка, в молодости она была писаной красавицей, прожила достаточно бурную жизнь и на язык была островата. Татарин всплескивал руками и то бил себя в грудь, то швырял на пол тюбетейку, очень довольный, что попал на настоящих продавщиц, с которыми поторговаться — удовольствие. Так или иначе, торг заканчивался. «Князь» уходил, посмеиваясь в усы, покачивая головой: «Совсем шайтан-старуха!» Разгоряченные продавщицы долго еще обсуждали перипетии переговоров, переходя от торжества к отчаянию: «Надул-таки, нехристь, бусурманская душа!» Горничная, в продолжение всей операции картинно стоявшая у дверей в качестве незаинтересованной наблюдательницы, пожимала юными плечиками своими: «Ну уж, ни знаю. Ни в жисть бы ни стала с грязным халатникам торговаться!!» А я, про которого все забыли, сидя на табуретке где-нибудь в углу, смотрел во все глаза, слушал во все уши и запоминал, запоминал...

А бывало иначе. Та же няня (горничные, кухарки менялись, няня пребывала вечно) с несколько виноватым видом заглядывала «в комнаты».

— Наталья Алексеевна! — дипломатически, вроде как бы к случаю, начинала она. — Да разносчик там пришедши... Китаец (или ярославец)... Стоит, ну прямо не выгонишь! Может, мальчикам чесучи (она говорила

«чунчи») купить, рубашечки к лету сделать... Как бы хорошо...

Или:

— Шесть простынь — я вам говорила — совсем прохудивши... Может, посмотрите?

Мама считала никак не достойным согласиться сразу.

— Марья Тимофеевна! — недовольно говорила она (няня некогда была маминой кормилицей). — Сколько уже было по этому поводу разговоров?! Все это можно отлично купить и в Гостином, и в «суровской» на Сампсониевском... Терпеть не могу «коробейников лихих»: не при крепостном же праве мы живем...

Няня не возражала ни слова, но и не уходила. Все знали за мамой одну слабость: «столбовая дворянка», она была «хуже цыганки» насчет поторговаться. Торговаться она могла где угодно и с кем угодно, хоть в «Английском магазине» на углу Мойки и Невского, хоть у «Александра» на Невском, 11. И ведь всегда выторговывала что-то...

— Ну бог с вами, зовите уж... — говорила она после некоторой внутренней борьбы, якобы уступая доказанной необходимости.

И тогда, мягко ступая по паркету войлочными подошвами, в комнату входил вкрадчиво кланяющийся узкоглазый китаец в синей «дабе», или, весело — но в меру весело! — пристукивая крепкими каблуками, появлялся разных лет русачок — иной раз курчавый и разворотливый, как Ванька-ключник, иногда спокойный, но очень быстроокий, все сразу замечающий и учитывающий — и образа в углу, и портрет Льва Толстого на стене, — опытный офеня. И начиналось чудо...

И у китайцев и у ярославцев были за спинами огромные — но все-таки конечных измерений, — необыкновен-

но плотно и аккуратно упакованные, точно машиной увязанные, тюки с товаром.

Они, каждый по-своему — тот как игрушку, этот с некоторой натугой, — сваливали их на паркет посреди нашей «детской» (там было всего больше свободного пространства), опускались рядом с ними привычным движением на колени, быстро, легко, профессионально расстегивали многочисленные пряжки, развязывали узлы, и из кубического пакета вдруг появлялось содержимое вполне приличного небольшого магазина тканей.

Очень мне жаль, что никто тогда не мог заснять этого на кинопленку. В извечном, заученном, десятками лет, если не столетиями, выработанном порядке и последовательности у каждого ярославца из тюка показывались — ни единой складочки, ничего помятого! — синевато-белые, как рафинад, штуки простынного материала, куски ситца всех расцветок и любых узоров... И вот уже — пуговичный товар, подобранный по форме и окраске к той материи, которую покупатель видит. И мотки кружева на разноцветных картонных подкладочках. И — катушки ниток. И кнопки, крючки... И опять мадаполам, и коленкор, и шотландка...

— Эх, да что там говорить, барынька милая! Да разве это — морозовской мануфактуры полотнишко? Морозовы — купчики, они ноньма всякую гнилину в дело пущают... Купеческие руки, как оно говорится, загребущие, купеческая душенька она от веку завидущая... Темное это дело, ваше превосходительство... А у нас товарец — сами видите какой. Это полотнишко мы только с Алафузовской мануфактуры и получаем... И батя мой такое носил, и я такое ношу... Три сына у меня, хорошая барынька, и им завещание дадено: другого — не брать!

Сыпалась быстрая окающая скороговорка; один кусок сменялся другим; мгновенно учитывалось и выражение

глаз, и самая легкая гримаска на лице «барыни». Чистый картуз то снимался с напомаженной аккуратно головы, то опять сам собой оказывался на своем месте...

А комната уже наполнялась. И уже разгорались глаза и у горничной Тани, и у кухарки Альвины, и у бабушки. С вечной своей табачной шкатулкой на коленях, с вечным вязанием (кружево-фриволитэ) в руках, она, иронически усмехаясь, тоже не сводила глаз с волшебного тюка. Невозможно было не поддаться гипнозу этой пересыпанной круглыми словечками тараторливой и продуманной речи, этого магического мелькания белой и цветной ткани, этого пресного и въедливого мадаполамного запаха...

И вот уж няня — ее кровать обычно стояла тут же, у нас в «детской», — кряхтя вытаскивает из-под нее все тот же черный, с медными бляхами по углам, старый «саквояж» и, сердито глядя на говоруна, покупает три или пять аршин «мадаполамчику». И Альвина вертит, прикидывает на себе темно-синий, с мелкими цветочками ситчик. И мама, забыв свои установки, прицеливается к чему-то. И ярославец, лихо орудуя аршином, прихватывая материю для удобства измерения зубами, со свистящим треском раздирает ее по отмеренному, и я в который раз наблюдаю это все с тем жадным интересом, который только и свойствен детству...

А в другие дни бесшумно вползал китаец. И призывали нас с братом. И мои пальцы невольно цеплялись ногтями за неприятную, какую-то оскоминную, поверхность чесучи. С тех годов не могу выносить этого ощущения — ногтями по шелку! — как другие — скрипа пробки по стеклу. Считалось, что это нам покупают на рубашки для лета. Но каждый раз в доме после этого оставался еще кусок какого-то золотистого шелка, маме на капот-кимоно, а на кухне — мелкоячеистые, из аляповато рас-

крашенной папиросной бумаги веера, а у меня в руке — резанная из дешевого жировика, но очень милая обезьянка, а у бабушки — какой-то пряно пахнущий лакированный челночок для кружев из светло-желтого незнакомого дерева...

— Это просто наваждение какое-то! — негодовала мама. — Ничего не собиралась покупать, а — посмотрите только...

Единственный, кто никогда не принимал ни малейшего участия во всех этих коммерческих операциях и увеселениях (каждый такой приход торговцев был, безусловно, помимо всего и хорошо продуманным с их стороны спектаклем), это межевой инженер В. В. Успенский. Впрочем, его никогда и не бывало дома в часы таких постановок.

* * *

Мемуарист всегда мучится: начал вспоминать — и уже немыслимо оторваться от этого «сладкого яда». А удовлетворения нет, — всегда остается что-то, о чем не подумал.

На Выборгской стороне, где мы жили, чуть ли не в каждом третьем доме имелась булочная. Были обыкновенные, русские; были финские, где продавались «финские сэпики», «финский крэкер», выборгские, удивительно вкусные, кренделя — лиловато-коричневые с поверхности, с угольками и соломинками, припекшимися к их нижней светлой стороне...

И тем не менее каждое утро по всем лестницам всех домов мчались вверх и вниз нагруженные громадными, в полчеловеческого роста, прутяными корзинами «булочники».

Смысл их работы заключался в возможности заскочить в каждую кухню раньше, чем горничная или

кухарка успеют, обмотавшись теплым платком, выпорхнуть на морозную или дождливую улицу.

Они ухарски, но и очень легко, скидывали на пол корзину, снимали с нее подбитую для теплоизоляции клеенкой и еще чем-то крышку... По кухне растекался сладкий и теплый тестяной и сахарный дух.

На верху корзины был плоский вкладыш — с пирожными. Ниже — все горя́чее, все с пылу-жару! — лежали мелкие копеечные булочки всех сортов — розанчики, пистолетики, подковки — с тмином и с маком, облепленные сахарной глазурью и присыпанные крупной, как битое стекло, солью. Тесто, возможно, всюду было одно, но испечено и вылеплено все это было так, что у каждого сорта оказывался свой вкус, свой вид, своя примета. На каждый находились любители: всем хотелось именно своего.

Внизу, в тепле, сохранялись крупные изделия — батоны, «домашние» булки, с хрустким разрезом поперек круглого каравайчика, опять же «соленые» (я их очень любил!) и калачи, с сырой мучкой под тестяным вкусным язычком. Были там и сушки — розовые, шафранные, всякие...

И, естественно, заспанной горничной уже никак не хотелось теперь выбегать в такую рань на мороз. И булки покупались тут же: копеечные шли по две штуки на алтын. А барыня, сладко спавшая в этот хлопотливый утренний час, смутно догадывалась об обмане, но не давала себе труда наводить следствие...

В летние месяцы из дворовых окон, а еще чаще с балкона, можно было услышать протяжный, надсадный вопль:

— Моро-о-жин-но! Моро-о-жин-но! Сливошно-фисташково-лимонно моро-о-жин-но!

По мостовой двигалась закрытая тележка-ящик. Ее толкал перед собой дядя в кожаном картузе и белом

фартуке. На локтях у него были черные, тоже кожаные, нарукавники...

Вафли и формочки для них появились много позже; в девятисотых годах были только круглые и грушеобразные ложки на длинных ручках, ими и отмерялись порции. Да ведь стоит вспомнить, что никаких холодильников, никаких «хладокомбинатов» тогда не было. Не было и «сухого льда». Каждый килограмм мороженого вертелся вручную, на посыпанном солью обычном невском льду... А мороженое было вкусно!

Ближе к осени звучала другая песня:

— Арбузы, арбузы! Арбузы астраханские, арбузы!

— Кваску грушевого, яблочного, кваску!

Задержанный окликом сверху останавливался мороженщик, замедляли ход астраханские арбузы. Иногда выбегали на улицу посланные; случалось, сам владелец тележки поднимался наверх. Сейчас меня удивляет: как редко тогдашние питерцы позволяли себе и своим чадам такие плодо-фруктовые удовольствия. За всю мою дореволюционную жизнь — а ведь она тянулась семнадцать лет! — я если и ел арбуз, то никак не больше пяти-шести раз. Никто ничего не слыхал тогда про витамины, никто и не воображал, что фрукты — полезны. «Ахти-матушки! — выражала общее настроение простодушная няня. — Да охота всякую траву жевать? Человек — не корова!»

А дынь в тогдашнем Петербурге и вообще почти никто не ел. В больших гастрономических магазинах продавали их как редкость. Там важно лежали на витринах ребристые, как купола на Василии Блаженном в Москве, «канталупы» — пристрастие и изыск гурманов. Их кушали, посыпая сахарной пудрой несладкую, хотя и очень душистую мякоть. Чарджуйские дыни появились в Петрограде только в дни войны 1914—1918 годов...

* * *

Много о ком я не сумел упомянуть в этой главке, но вот вспомнить точильщиков мне хочется.

— Точить ножи-ножницы! — слышалось во дворе, и я, уже несколько подросший, делал все, что от меня зависело, чтобы оказаться там и, замерев, смотреть — как это делается.

На плече точильщик таскал с собой самый обычный точильный станок... «Обычный»? Я не согласен с таким определением.

Это был почти в точности такой станок, на каком в сытинском издании «Робинзона Крузо» восхитительный герой повести правил и точил свой страховидный режущий инструмент. И я трепетал при одном его виде.

Точильщик, придя, затыкал за всякие железки и жестянки, прибитые к раме станка, множество разных ножей, ножичков, ножищ, от огромных секачей и резаков из мясной лавки до всевозможных «мальчишецких» перочинных. В особом ящике у него лежали бритвы; не только электрических, но даже простых «безопасных» бритв «Жиллетт» в те годы еще не знали, так что эти бритвы были обычными, «опасными», как сейчас у парикмахеров.

На горизонтальной оси точила были насажены разные круги — для точки, для правки, не знаю, для чего еще: розоватого камня и серого, шероховатые и гладкие. Из-под приложенного к быстро вращаемому ножным приводом кругу ножа сыпались кометным хвостом синие, оранжевые, красные искры. Камень свистел, сталь шипела тонким, змеиным шипом... Вытаращив глаза, я следил за этим таинством...

Точильщики — я заметил это очень рано — были людьми совсем другого покроя, чем разносчики и торговцы. У точильщиков вовсе не было ни вкрадчивости,

ни болтливости коробейников, ни грубости старьевщиков, ни елейности китайцев...

Они никому не заговаривали зубы. У каждого из них за плечами было нечто совершенно ясное — ремесло, уменье, мастерство. Те были — пусть хоть вот эстолькими, да — купчиками; эти же — мастеровыми. У них, как у деревенских плотников, бондарей, кузнецов, были своя гордость, свои секреты, свое достоинство. С ними я мог найти общий язык; с теми — никогда.

Мне с ними было весело потому, что им нравилось, как мальчишка пялит глаза на работу: а еще — барчонок! Дашь такому дядьке ножик-складешок, и он его деловито похвалит или, наоборот, скажет, покачав головой: «Ну, паря, и нож у тебя! Таким только кашу-размазню перепиливать, да и то подогревши... Сходи ты, голубь, на Симбирскую улицу в скобяную лавку, купи себе там настоящий нож. Как войдешь, подойди к старику, скажи: «Петр Васильев, точильщик, прислал... Велел мне к вам идти!» Вот то будет нож! А этим твоим отопком и гаманец в чижики играть не вырежешь!»

Скажет — как отрежет, а не обидно: поговорили с тобой, как с человеком. Но есть у меня и еще одна причина любить точильщиков. Судьба свела меня с самым, вероятно, необыкновенным из них.

Зимой 1914/15 года родители мои обнаружили: «Леве грозят тройки по всем математикам! Какой ужас!» Математики и впрямь относились ко мне без приязни; а может быть, это я не любил их.

Волновалась, конечно, больше мама. Отец считал, что я обязан сам выкарабкиваться из трудного положения. Репетитора? Ну, можно, пожалуйста... Но...

Если бы мной занялся он, отец, — репетировать меня, конечно, пригласили бы одного из его учеников с Политехнических курсов, техника. Мамины связи были

совершенно другими. И вот моим репетитором оказался некий помощник присяжного поверенного, т. е. ни с какой стороны не математик.

Звали этого юриста Борисом Устиновым. Он отбывал свой помощнический стаж у известного адвоката Переверзева, человека «левых» убеждений, выступавшего неоднократно на политических процессах. Видимо, именно с этой стороны, по каналам маминых «радикальных» связей, он и был рекомендован нам.

Разумеется, это было несколько странно: помощнику присяжного поверенного если уж и выступать в качестве репетитора, так, казалось бы, по латинскому языку, не по «математикам»... Но вскоре выяснилось, что это ничему не мешает: Борис Эмильевич отлично знал дело и явно обладал педагогическими способностями. Он сумел сделать свои уроки для меня не только полезными, но и привлекательными. Я знал, что если мы с ним как можно быстрее отделаемся от урочного задания, оставшуюся «пустоту» он ловко превратит в очень любопытные рассказы и разговоры. Он много знал, многим интересовался и никогда не затруднялся темой для собеседования с любознательным пятнадцатилетним подростком. А особенно пленила меня следующая деталь его биографии.

Борис Устинов, по его словам, вплоть до самой войны никогда не отдыхал летом на пригородных дачах, не ездил «на кондиции» учителем куда-нибудь в помещичьи имения, не уезжал на юг. Каждый год, заблаговременно выхлопотав себе зимой заграничный паспорт, он садился на поезд и ехал до которой-нибудь из наших пограничных станций: сегодня — до Вержболова, в другой раз — до Волочиска. В багажном вагоне следовал за ним один предмет — точно такого же типа, как у дворовых точильщиков, но облегченной конструкции! — точильный станок.

У границы Устинов высаживался, получал свой багаж и переходил пограничную линию пешком, с этим станком за плечами. И все лето — студент, а затем молодой юрист — путешествовал с ним по «Европам», забредая в этом году в Татры, в следующем доходя до Пиренеев, еще год спустя оказываясь либо в Бретани, либо за Балканами. Он неспешно ходил там, «точа ножи-ножницы», и не только ничего не затрачивал на такую «заграницу», но, напротив того, привозил домой некоторый заработок — во франках, лирах, гульденах и тому подобном.

«Вот, Лева, когда эта несчастная война кончится, и вы вздумаете посмотреть белый свет, — послушайте меня. Не ездите по заграницам в экспрессах, не живите в тамошних отелях... Добудьте себе что-нибудь вроде моего станка, переваливайте рубеж... За один год вы увидите и узнаете больше, чем все эти «экспрессники», вместе взятые...»

Понятно, что я слушал его, разинув рот. Я немедленно рассказал о таком удивительном качестве моего учителя нашим. Между отцом и матерью возникло некоторое расхождение во мнениях. Отец отнесся к моему рассказу с недоверием: «Не знаю... Что же там, за границей, своих точильщиков мало?» Мама склонна была принять все на веру: «Ты же слышал уже, какой это примечательный человек...»

И вот тут-то, при обсуждении примечательных черт моего репетитора, мне и запало в память, что мама назвала его «братом Мейерхольда».

Кем был Мейерхольд, это я отлично знал: мамин двоюродный брат, мой дядя Коля Елагин, студент, занимался именно у Мейерхольда, в какой-то его театральной студии. Когда дядя Коля появлялся у нас, возникали бурные дискуссии между ним и мамою по поводу разных направлений в тогдашнем театре. Он поносил классику,

мама возмущалась «Любовью к трем апельсинам» и прочей театральной «левизной». Фамилия его кумира была мне знакома и памятна. Ну, а что до родственных связей моего учителя с режиссером, то в моих глазах они ему ничего не прибавили: театралом я никогда не был и театром меня пленить было невозможно. То ли дело — Высокие Татры, Шварцвальд, Вогезы... И бредущий по ним с точилом за спиной Борис Эмильевич.

Был такой день, когда Борис Устинов обедал у нас. Папа высказал свое удивление по поводу возможности русскому точильщику за границей находить работу. Куда у них свои деваются?

Борис Эмильевич пригладил волнистые, с проседью волосы; его характерный острый кадык и довольно крупный, тяжеловатый нос внушали доверие, были очень респектабельны и солидны.

— Нет, Василий Васильевич! — подумав, ответил он. — Там точкой ножей занимаются, конечно, не меньше, чем у нас. Но — странный парадокс: это дело взяли в свои руки крупные предприниматели. У них — целые мастерские на колесах... Такие фургоны, с богатым оборудованием, с электромоторами, с отличными станками... Бывают — конные, появляются и моторные. Они обслуживают все страны, придерживаясь, однако, шоссейных дорог (их там не занимать стать). А вот в глухие углы — в горы, в болота, в пески — ну, в ланды какие-нибудь — они не проникают. Фургон к подножью Шварцвальда подберется, а уж до Дикого Гутаха или до Блауэна ему не докарабкаться. И там остаются необслуженные домики, хуторки, деревушки. И там меня — «авекё ма мармоттё» * — знаете, как встречают? Как ангела с небес.

---

* Известный припев из «Маленького савояра» Бетховена: «...И мой сурок со мною».

Заберешься в такую глушь по какому-нибудь там бурливому Дрейзаму, и живи неделями. И вот уж где все красоты осмотришь, весь быт узнаешь... Гостеприимство там, правда, западное: дружба дружбой, а табачок врозь... Но все-таки — отлично! И как только эта кровавая чепуха кончится, я — в первый же год — опять...

Стоит мне теперь услышать слово «точильщик» или увидеть точильщика на своем дворе, мне сразу приходят на память не только те его предшественники, с которыми я так мило и мирно разговаривал на своей Нюстадтской, но и этот — бесспорно самый исключительный из их цеха — адвокат, интеллигент, крутивший ножным приводом колесо своего точила и в Арденнах, и в Нормандии, и у Адрианополя на юго-востоке Европы.

* * *

Главку, которую вы только что прочли, я дописал примерно год назад. Дописал и призадумался. Несколько сомнительной показалась мне ее концовка. В самом деле: я ясно помнил во всю мою жизнь, что моего репетитора по математике дома считали братом Мейерхольда. В свое время я воспринял это сведение без всяких размышлений, и оно меня ничем не поразило. Фамилия «Мейерхольд» воспринималась мною как что-то самодовлеющее, не связанное ни с именем, ни с отчеством.

Но прошло время, и я узнал (точнее, обратил внимание), что режиссера Мейерхольда звали Всеволодом Эмильевичем. И, вспомнив то, что было только что рассказано, я несколько смутился. Странно: если он был моему репетитору родным братом, почему же у них, при одном отчестве, — разные фамилии? Двоюродным? Еще менее вероятно: трудно себе представить двух братьев — Эмилиев; не слишком правдоподобно и существование

двух сестер, которые обе, как одна, вышли бы замуж за Эмилиев... Может быть, я что-то неточно уразумел, там, в 1915 году, когда у нас в семье обсуждалась биография Бориса Устинова? А может быть, — случается и это — я сам позднее присочинил к его истории такое родство, потому что мне это подсказало, с одной стороны, некоторое внешнее сходство черт моего учителя и знаменитого режиссера, а с другой — это самое общее отчество.

Бывает, что человек, сам для себя незаметно, примыслит что-нибудь, стремясь объяснить то, что его почему-либо поразило, а затем, по прошествии многих лет, впадает в соблазн и свой вымысел уже расценивает как открывшуюся ему когда-то правду.

Все это так. Но, с другой стороны, лет пятнадцать назад я как-то упомянул об этом человеке, моем детском учителе, в разговоре с братом. «Ну как же, конечно помню! — сказал мне тогда брат. — Он же был каким-то родственником Мейерхольда, что ли?»

Из этой невнятицы можно было бы и тогда так или иначе выбраться. С одной стороны, Борис Устинов работал помощником присяжного поверенного. В архивах, всего верней, сохранились сведения о нем: адвокаты в те годы образовывали достаточно прочную корпорацию. С другой стороны, можно обратиться к театроведам, занятым жизнью Мейерхольда: уж они-то могли бы рассказать мне, был ли у него родственник с тем же отчеством, но другой фамилией...

Конечно, и то и другое — возможно, но у меня как-то не было желания заниматься такими розысками. Написанная мною главка была главкой из моих воспоминаний. Воспоминания — одно, архивные разыскания — другое. Я ведь не помню в точности ничего, что могло бы разрешить мои собственные недоумения. Так пристало ли

мне, мемуаристу, искать ответа на них на стороне, вне моей собственной памяти? Не лучше ли просто исключить рассказ о моем репетиторе из «Записок», тем более что возник он в них по довольно случайной ассоциации. Я же писал не о моих учителях — о «подснежной клюкве»...

Вполне вероятно, я так бы и поступил. Но совершенно недавно, в одном знакомом доме, я увидел на столе двухтомник с надписью на титуле: «В. Э. Мейерхольд». Издание выглядело как «академическое» — солидно, основательно. Я взглянул на две красивые книжки, и у меня в голове мелькнуло: «Может быть, тут есть примечания, комментарии, списки упоминаемых лиц... А что, если?..»

Я протянул руку и взял одну из книжек — первый томик из двух; ведь вероятнее, что биографические данные окажутся привязанными к началу жизни человека... Я прикинул — такие сведения обычно помещаются в концах книжек, не в середине...

Был когда-то способ гадать по Библии или по любой иной, примечательной в глазах гадающего, книге: раскрыть на случайной странице, наугад и прочесть первые слова ее. Почти так поступил и я.

«Доверившись судьбе», я раскрыл томик на странице 313-й. И, очень удивившись, сразу же прочел:

«Однажды я вызываюсь к директору Театров Теляковскому и он расспрашивает меня о брате моем Борисе Устинове (социал-демократ, преследовавшийся полицией по студенческому движению и находившийся в ссылке в Вологде)».

«Здравствуйте, Борис Эмильевич! — чуть было не произнес я над этой книжной страницей. — Значит, все-таки, я ничего не выдумал и не перепутал. Значит, мемуарист имеет право порою не меньше доверять своей памяти,

чем своим же собственным логическим построениям... Значит, вы были — вы!»

Прочтенная мною фраза была написана В. Э. Мейерхольдом в 1918 году. Она напечатана в его краткой биографии. Данные же о его брате и о вызове к всесильному Теляковскому относятся к несравненно более далеким временам. Тот, кто занимался когда-либо историческими разысканиями, поймет, конечно, что остановиться на одной этой фразе я не мог. Теперь уж мне захотелось разрешить и вторую часть загадки: разные фамилии у двух родных братьев!

На 345-й странице того же томика я нашел ответ и на этот вопрос:

«В «Сведениях о лицах, привлеченных к дознанию», в качестве обвиняемого по делу о преступном сообществе лиц, распространявших в ночь с 17 на 18 августа 1903 года революционные прокламации в Пензе, указано, что ученик реального училища Борис Эмильевич Устинов, живущий у воспитательницы, заменяющей ему мать, Альвины Даниловны Мейерхольд, „обыскан 18 апреля... и отдан под особый надзор полиции"».

Это сказано в примечании. Примечание относится к 331-й странице самого текста. А там Мейерхольд писал вот что:

«Пензенская жандармерия следила за мной, и это косвенно отразилось на моем брате Борисе Устинове (сын моего отца от другой жены), которого, когда он учился в последнем классе, арестовали...»

Все стало на свои места, и я окончательно убедился, что человеческая память является достаточно точным и острым орудием, чтобы ее можно было принимать в расчет рядом со свидетельствами документов. Убедился я также в том, что к 1915 году политические симпатии и антипатии моих родителей мало изменились: иначе по-

чему бы мне в репетиторы был приглашен именно такой человек?

Вот о чем я и сейчас совершенно не могу судить — это об истинных причинах, которые заставляли юриста-студента, а затем и юриста-практика Устинова ежегодно превращаться в точильщика и пускаться по «старым пустырям Европы» пешим ходом, с тяжелым точильным станком за плечами. И если кто-нибудь откроет их мне, я буду очень рад и очень благодарен: гадать о них мне не дано.

ЛОШАДИНЫЕ И ПАРОВЫЕ

Когда вы, прибыв из лесов за Лугой или с Карельского перешейка, вылетаете из электрички и мчитесь в очередь на какой-нибудь 49-й автобус или на станцию метро «Балтийская», ваши легкие впитывают первые глотки городского воздуха, а ваш нос ощущает, что воздух этот — далеко не тот, что в лесу.

Чем пахнет он, воздух Ленинграда?

Ну, химики сказали бы, что этот запах сложен: в нем множество составных элементов. Но нос — лучший химик: множество их или не множество — ленинградская улица 1969 года пахнет прежде всего бензином. Автомобильным выхлопом. Остальное — детали.

Когда, вплоть до самого 1917 года (да ведь, пожалуй, даже и позднее, примерно до конца нэпа), человек приезжал с дачи или из деревни в Петербург (а потом — в Петроград, а впоследствии и в молодой Ленинград) и, выйдя на площадь, скажем — перед тогдашним Царскосельским (теперь Витебским) вокзалом, принюхивался к атмосфере Питера, ему сразу же шибало в нос устоявшимся, двухвековым духом конского навоза. Так сказать лошадиной силой. А теперь...

Поверну дело иначе. Лето, окна — нараспашку, ветер шевелит легкие занавески в них. Ваша жена начинает утреннюю приборку. И сразу же: «Ну, это безобразие! Ну как тут сохранишь полировку? Смотри: вчера только вытирала, а сегодня?..»

Вы видите тряпку. На тряпке — городская свирепая пыль. Мышино-серые, угольно-черные, темно-коричневые пятна. Возьмите микроскоп и изучайте: сегодняшняя наша пыль состоит на какую-то долю из очень мелкого песка, а на большую — из частиц каменного угля и копоти. Это минеральная, неорганическая пыль. Не удивлюсь, если исследование обнаружит в ней и металл — то, что вчера еще было частью трамвайных колес, рельсов, трущихся частей автомобильных шасси... Всякую ржавчину...

А когда мне было десять, и пятнадцать, и семнадцать лет и когда летом в доме открывали форточки, а час спустя я подходил к роялю или к зеркальному трюмо со столиком, — их лаковая поверхность была тоже покрыта хорошим слоем пыли. Но какой? Нежной, канареечно-желтой. И если бы вы подвергли ту пыль химическому анализу, вы бы обнаружили, что на 90 процентов она состоит из органического вещества.

Из растертого в тончайший порошок обычного конского навоза.

Откуда же он брался в городе?

Сейчас разъясню.

Выйдя сегодня из дверей вокзала на улицу, вы слышите прежде всего рычание всевозможных моторов. Шуршат шины. Подвывает на завороте или при торможении трамвай. Многим кажется, что шума на наших улицах — более чем достаточно. Уж во всяком случае — наверняка в десять раз больше, чем пятьдесят или шестьдесят лет назад.

А теперь расскажу вам такую историю. Году в четырнадцатом, весной, мне как-то пришлось поехать к одному моему однокласснику, жившему в Юкках. Мы получили некое задание от естественника: то ли набрать лягушачьей икры, то ли добыть образцы растения-паразита — «Петрова креста», сейчас уж не помню.

Поехали мы туда с ночевкой, в субботу, чтобы провести там и воскресный день. Перед сном, теплым, но еще темноватым вешним вечером, мы вышли подышать на крыльцо.

Вокруг стояла глубокая, спокойная тишина: речку к ночи схватило морозом, ветра не было... Чему же шуметь?

И все же, когда мы тихо постояли на крылечке, до нас стало доноситься откуда-то издали непонятное тяжкое рычанье. Чем дольше мы молчали, тем оно становилось явственней: не то грохот отдаленного водопада, не то могучий прибой, бьющийся за горизонтом о нависшие над морем «скалы грозные». Какой-то стихийный гул, сосредоточенный в юго-западной части небесного свода.

Я прислушивался не без некоторого смущения; мой друг — хозяин — не обращал на шум ни малейшего внимания.

— Слушай, а что это там рычит так? — наконец не утерпел я.

— Вот это? Так: «у-у-у-у»? Да Петербург. Это, когда тихо, всегда слышно... Ну как — почему? Время же позднее, ломовики теперь как раз порожняком домой гонят. Ты же знаешь, какие у них колеса... Обиты шинами по вершку толщиной, дуют по булыге рысцой... Вот и грохочут. Петербург, брат, — это, знаешь...

В 1900 году в Петербурге ломовых извозчиков числилось 26 485. В 1913 году их число выросло вдвое. Более двухсот тысяч пудовых колес, перескакивая по мостовой

с одного гранитного обломка на другой, издавали грохот, который словами не изобразить: где-нибудь на бойкой боковой улице, возле Сенного рынка, у больших мостов, он мог оглушить непривычного человека.

А кроме «ломовиков» с их громадными «качками», с колесами в рост невысокого мужчины, с дугами толщиной в мужскую ногу, с конями-битюгами, важно шествовавшими на мохнатых, обросших по «щеткам» длинной шерстью ногах, — кроме них в городе (в 1900 году) плелись, неслись, дребезжали еще пятнадцать тысяч «легковых дрожек» — «ванек». Их доля в общем шуме была сравнительно ничтожной. Но каждый «ванька» похлестывал кнутиком свою лошаденку. В тринадцатом, предвоенном году их было, по моему впечатлению, на глаз не менее двадцати тысяч — плюс к тем могучим битюгам. И все эти десятки тысяч коней, коняг, кляч, кровных жеребцов оставляли на мостовых следы своего существования. Утром и вечером, днем и до глубокой ночи.

Вот поэтому-то Петербург моей юности и благоухал на всех своих улицах, особенно в жаркие сухие дни, высушенным на солнце, растолченным в порошок, вздымаемым даже легким ветерком в пыльные желтые вихри лошадиным навозом.

Кто этому пел гимны — так это воробьи. Плотными стаями срывались они с крыш, с деревьев, как только по пустынной улочке проезжала лихая упряжка; клубками катались по мостовой, выклевывая из еще теплых кучек помета сохранившиеся в нем зерна овса. Они размельчали навоз; дворники с железными совками лениво заметали его в желтые холмики — до ночной уборки. И запах стоял крепкий! Правда, только на улицах. Во дворах — теперь у нас между дворами и улицами никакой разницы — всегда держался совсем иной, тоже страшно характерный

для того времени, дух. Там остро пахло жареным кофейным зерном.

В каждом доме, в центре и на окраинах, во множестве квартир, комнат, углов обитали тогда сотни тысяч старичков и старушек — заядлых кофейников и кофейниц.

Они презирали готовый размолотый кофе в жестянках и пакетах, будь он там хоть сто раз «Эйнем» или любой другой фирмы. Они, повязав на головы платки и башлыки, в любой мороз тащились кто к «Дементьеву и Сыновьям», кто к «В. Г. Баскову», покупали у них свой излюбленный сорт, и, принеся домой, жарили его в духовках и противнях, и мололи на маленьких кофейных мелёнках, и пили в свое удовольствие. Жареным кофе пахли тогда все питерские закоулки, от Гавани до деревни Мурзинки, от Поклонной Горы до Расстанной улицы. Да что там говорить, вспомним гоголевский «Нос»:

« — Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофию, — сказал Иван Яковлевич, — а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком. (То есть Иван Яковлевич хотел бы и того и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом...). „Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше, — подумала про себя супруга: — останется кофию лишняя порция!"»

Вот вам Петербург, и таким он был еще и в первых числах февраля 1917 года.

Впрочем, все это — в сторону: к «лошадиным силам» оно касательство имеет лишь чисто ассоциативное — по разным запахам.

«На биржу тащится извозчик...» А какой? Легковые извозчики в Петербурге до революции, вообще говоря, были трех категорий: «простые», «лихачи» и «ваньки».

Простой «ванька» часами дремал на козлах своей пролетки, там, где — уже после того, как он заснул, — остановилась и заснула его *«HP»* — «лошадиная сила». Он был

одет в «форменный» зипун не зипун, тулуп не тулуп, но и пальто это было невозможно назвать... Армяк, что ли, синего сукна, туго подпоясанный и достигавший по ногам почти до щиколоток. Что под армяком — бог его знает, а на голове — устройство, которое я не могу живописать словом: возьмите четвертый том Даля, откройте на слове «шляпа» и увидите там «шляпу кучерскую или прямую»; это оно и есть, типичная, как выражается Владимир Даль, «мужская головная покрышка из твердого припаса».

В этой категории извозчиков опять же были свои верхи и низы. Были осанистые бородачи из деревенских середняков, по-хозяйски топавшие на стоянках вокруг сравнительно нового экипажа могучими ногами в крепких валенках. Такой и пыль с сиденья собьет специальной метелкой из конского длинного волоса, и коня нет-нет да почистит скребничкой, достав ее из-под козел.

А были ездившие «от хозяина» заморенные старички, вроде чеховского Ионы. У этих дрожки дребезжали и скрипели на сто голосов; не было ни одной целой медной бляшки на шлее, все половинки; да и ремешки-то все связаны веревочками...

...В десятых годах начальником Главного управления уделов был свиты его величества генерал-майор, князь Виктор Сергеевич Кочубей. Служба его была на Литейном, 39, а жительство он имел на Фурштадтской, 24, ближе близкого. Князю Кочубею было в это время уже не так мало лет; он был высокий, худой — старик не старик, но близко к тому. Каждый день в точно заведенный час он выходил из казенного дома, где правил свою службу, плечистый, в генеральской серой шинели, в фуражке, помоему с желтым околышем. И в тот же миг от Бассейной, от Пантелеймоновской, по обеим сторонам улицы, не считаясь ни с каким «право держи», к садику против Уделов кидалось десятка полтора «ванек». Но — каких!.. Самых

замурзанных, самых худоконных, с ватой, торчащей из зимних тулупов, с чудовищными шапками на головах, с трясущимися руками, в продранных валенках... Князь Кочубей выжидал, пока они выстроятся все вдоль тротуара: «Васятельство, а вот домчу!», «Ваше вяличество — пожалте ко мне!», «Ваше сиятельство, я вас в пятницу вез, довольны остались!»

Он придирчиво шел вдоль ряда «автомедонов» *, оценивая их убожество, выбирал самую страшную пролетку, самые еле живые санки, самого разнесчастного мужичонку (флюс и одного глаза нет!), поднимался на подножку, садился, выставив набок, на ту же подножку, острые колени длинных ног своих, и, спокойно отдав честь любующимся на это зрелище подчиненным, тюкал пальцем извозчика в спину: «Трогай, братец, трогай, что ж стоишь?»

Подчиненные — граф Нирод, камер-юнкер Маврокордато, камергер Муханов, Николай Николаевич, — посмеивались, пеняли ему:

— Ваше сиятельство, ну побойтесь вы бога! С детства читали: «Богат и славен Кочубей... Там табуны его коней...» Неужто же вы, из табунов-то, приличного выезда себе выбрать не можете?

— Не по средствам, господа, не по средствам... Выезд теперь... не то, что когда-то!

— Мотор завели бы себе, Виктор Сергеевич...

— На сей счет, батенька мой, к князю Виктору Викторовичу адресуйтесь. Это им — моторы, шоферы... Молодежь!..

— Ну так хоть велели бы швейцару приличного извозчика подгонять.

---

* «Автомедон» — в греческих мифах возница Ахилла. Здесь шутливо: ямщик, кучер.

— Мне приличного, вам приличного, а на таком, сударь мой, кто же ездить будет? А мне и такой сойдет...

Он не изменял своему правилу, даже когда ездил завозить визитные карточки по табельным дням сослуживцам, что делал неукоснительно. И наш швейцар Алексей совершенно неожиданно для всех проявил широту образования, доложив однажды моей матери и отцу: «Та́к что сегодня их сиятельство князь Кочубей... заезжали на этаком Альдебаране-с... Приказали ихнюю карточку в конверте вам передать-с!»

Таков был князь Кочубей, добрый гений «ванек», а может быть, и просто санкт-петербургский оригинал.

Лихачи — другое дело.

Я как-то недавно прочел в одной рукописи молодого автора о старом времени: «По Невскому сплошным потоком неслись лихачи...»

Ну-с, нет-с, такого быть не могло! Лихач был «avis rara» — птица редкая. Двух-трех лихачей можно было порой увидеть возле Европейской гостиницы; можно было, иной раз, остановиться на тротуаре, где-нибудь против Александринки, у Екатерининского сквера, и не без удовольствия поглядеть, как мимо тебя, выбрызгивая с визгом снег из-под полозьев, жарко, как дракон, дыша густым паром, рвущимся из страстно трепещущих ноздрей, проносится храпящий вороной или буланый красавец. И за ним, окаменев до озверения, на козлах, готовый, если прикажут, не то что раздавить какого-то там чиновника Красинского, как кучер Печорина, а целый департамент таких чиновников, а потом хоть вонзиться на всем бегу в Балабинскую гостиницу, перегораживавшую Невский проспект у вокзала между Гончарной и Старо-Невским — «Знай наших!» — сидит этаким Перуном сам лихач... Это — было. Но чтобы они так уж носились взад-вперед

по Невскому, как нынче такси, этого я что-то не припоминаю.

Один из газетных королей того времени, и едва ли не «сам» Аркадий Руманов, всесильный временщик «Русского слова», по горячей просьбе француза-журналиста, прибывшего в Россию с одной из бесчисленных военных миссий, согласился в дни войны показать ему «настоящую русскую зимнюю езду».

Был вызван — короли тянутся к королям — самый прославленный лихач того сезона, называли его Сорокой, — могучий старик с бородой Саваофа и глазами конокрада-цыгана. Было сказано:

— Прокати-ка, Сорока, французского барина так, чтоб почувствовал! Однако же не до смерти! Но — важные места ему покажи!

«Ce monstre pouffard, cet извостшик» * вывез журналиста на набережную. У Зимнего тот остановил возницу, показывая на великолепное здание.

— Le palais du tsar, n'est ce pas? ** — бормотал он непонятно, закрывая лицо от стужи. — Тсар-батьюшка, oui?

— Верно, верно, ваше-ство! — закивал головой лихач Сорока, соображая, что француз по-русски — ни слова. — Батюшка, как же! Етакого бы батюшку, да к етакой бы матушке, вот бы мы, тогда, француз, перекрестились!

И для наглядности — ну ни в какую ничего не пе́трит по-русски человечина, что дите малое! — он осенил себя широким крестом.

Говорят, неделю спустя не то в «Тан», не то в «Фигаро» появилась корреспонденция об этой удивительной поездке. Автор сообщал, что русская езда на санях—занятие

---

* «Это смешное чудище, этот извостшик» (смесь французских слов с искаженными русскими).

** Это дворец царя? Не так ли? (*франц.*).

для очень крепконервных, но зато сами здешние мужики — люди наивные и патриархальные, сущие дети.

«Я спросил его, живет ли в этом дворце его царь-батюшка? Слезы сыновнего умиления заблестели на его глазах. «Уи, — ответил он мне, — э батюшка́, э матушка́...» И он истово перекрестился...»

Среди лихачей бывали люди страшные; немало преступлений было скрыто навек благодаря их соучастию; немало темных дел — похищений, насилий, крупных краж — прикрывали они своими широченными спинами. Чаще всего они, эти лихачи, бывали и сводниками, и ростовщиками... Зимой они носились на великолепных беговых санках с медвежьими полостями, с фонарями, вмонтированными в торцовые срезы оглобель; летом — ко дням мировой войны — в отличных кабриолетах на пневматических шинах. Их упряжка, их кони по внешнему блеску, по статям, по рысистым качествам порою могли соперничать с самыми лучшими выездами богатейших людей.

Вейки

Слово «ве́йкко» по-фински значит: «брат, браток, землячок» — что-то в этом роде. Русское (точнее петербургское) «вейка» для всех нас полвека назад означало нечто весьма приятное: «веселый масленичный извозчик».

Как только начиналась «мясопустная», предшествующая великому посту, неделя (по замыслам церкви, она, собственно, была уже «постной», мирянам нельзя было «вкушать мясную пищу», но пища «сырная» — масло, сметана, молоко, — хоть и была «скоромной», разрешалась. По древней же народной памяти, этот праздник был веселым, плотским пережитком еще языческой Руси, ликованием в честь древних славянских богов, радостью

вступления в весну, русским карнавалом. Обжоры наши умели и самый пост превратить в подвиги лакомства — с балыками, с семушкой и белорыбицей, с демьяновыми «ухами» и собакевическими «осетрами». Народ помнил еще, что масленичный понедельник — это «встреча», вторник — «заигрыши», среда — «лакомка», четверг — «разгул»... Народ в деревне выезжал на праздничное катанье на доморощенных рысаках. Чем-то должны были замениться эти катания и в хмуром, щепетильном Питере) — словом, как только приходила «широкая масленица», — город существенно менялся. И главным образом «в транспортном аспекте». Обиженные и огорченные «извозцы» вдруг куда-то исчезали. То есть как — исчезали? Конечно, они были тут же, но держались тише воды, ниже травы, радуясь каждому случайному седоку, не рискуя нигде, ниже и с пьяных, запрашивать нелепую цену, только безнадежно отмахиваясь, когда, нанимая, их спрашивали, согласны ли они везти, допустим, в Тентелеву деревню или к Уткиной заводи. «Да, барин, хоть — к шашку!» *

Вместо них на улице с понедельничного утра (а самые задорные — и с воскресного вечера) в великом множестве появлялись лохматые «чухонские» лошадки, запряженные — эта в легковые саночки, та в обычные сельские розвальни, со сбруями, разукрашенными разноцветными ленточками, увешанные — где попало, случалось даже у корня хвоста — голосистыми колокольцами и бубенцами, большими, маленькими, басистыми, дискантовыми... Иная такая лошаденка вся тонула в пестрых тряпочках и в звенящей меди; по тихим улицам уже издали слышался мелкосеченый, жизнерадостный суставчатый звон. У стариков светлели лица — точно так когда-то «мчалась тройка

* Шашко — в псковском говоре «домовой», «черт», «кикимора».

почтовая!», — а ребята с утра до ночи клянчили у матерей: «Мам, на вейке! Мам, хочу на вейке...»

Всюду начинало пахнуть свежим сеном, крепким финским табачком; всюду слышалась коверканная «ингерманландско-русская» речь. И насколько же приятнее было вместо приевшегося: «Да положи́те, барин, четвертак!» — хоть раз в году услышать долгожданное: «Ри́цать копеек — райний сэна́!»

На козлах вейки или в передке саней, на куче сена, сидел, как клуша, закутанный карьяла́йнен *, в кожаной ушастой «финской» шапке с меховым шариком наверху, с короткой трубкой в зубах, молчаливый, мрачноватый, сущий угрюмый «пасынок природы».

Он не реагировал ни на что. В его розвальни могла ввалиться шумная студенческая компания, с «Через тумбу, тумбу — раз!» или с «Выпьем мы за того, кто «Что делать?» писал», — он, не оборачиваясь, через плечо называл свою «сэну» и ударял густошерстую, словно валеную, «шведку» кнутиком по заиндевевшему крупу. Мог сесть, чудачества ради, какой-нибудь накушавшийся блинов почтенный чиновник с молоденькой супругой,—вейка бурчал свое «рицать копеек» и трогал с места. Но он же мог, завернув между двумя седоками к ближнему трактиру, пропустить глоток и вдруг завести на ходу бесконечную, унылую, отзывающую зимней поземкой, замерзшими болотами — свою «чухонскую» песню. Такую, помните, как у Салтыкова-Щедрина:

Была у Давида корова,
    Ах, корова!
Забрал ту корову ленсман,
    Ах, ленсман!

---

* Житель Карельского перешейка (*финск.*).

Остановить его тут оказывалось уже невозможно.

Он мог, сторговавшись за четвертак, повезти вас хоть себе в Парголово, но где-нибудь между Озерка́ми и Шуваловом вдруг остановиться в чистом поле на всем ветру и заявить: «Лезай! Вацать пять копеек — конец был...» И сдвинуть его с места без новой ря́ды было немыслимо.

Над вейками посмеивались, о вейках рассказывали всякие пошехонские истории, но веек любили. Никто не хотел в эти семь дней ездить на скучных извозчиках, хотя самые дошлые из них тоже пускались на хитрости, подвязывая к дуге какой-нибудь жалкий шаро́к или вплетая в лошадиную гриву цветную тряпочку... Нет! Эти номера не проходили!

Но за вейкинским весельем, за всем этим шумом, звоном бубенцов, мельканием ленточек, загороженная ими, шла своя жизнь. И вдруг прорывалась.

Как-то семья наших знакомых — году в двенадцатом, что ли, — взгромоздилась на вейку, чтобы ехать к нам, на Выборгскую. Доехали они благополучно — вейка оказался бодрый, — но и муж и жена были смущены: «Черт его ведает, какой-то ругатель попался!»

Ругатель не задевал седоков; он поносил только своего конягу, но при этом не прибегал к предосудительным, но по крайней мере знакомым русским выражениям, а кричал на лошадь — и с такой злостью! — что-то совсем невразумительное: «Но! Я тебя, раклятый, по́приков!..»

— Скажите мне ради бога, что это «поприков» значит?

А значило это очень простую вещь. Губернатором Великого княжества Финляндского еще в конце прошлого века был назначен генерал-адъютант Н. И. Бобриков, яростный черносотенец и русификатор. В 1904 году его убили. И вот прошло восемь лет, а память об этом ненавистном всей Суоми человеке жила еще даже в душе пригородного питерского «убогого чухонца».

...В 1900 году в Петербурге на «масленой» звенели бубенцами 4755 веек! Это уже не моя память. Это — вычитано из книг.

Конка

Официально этот вид транспорта именовался так: «конно-железная дорога». Теперь только бронтозавры вроде меня представляют себе хорошо, что это такое было.

По улице проложены рельсы — всюду только одна колея. Кое-где эта колея образует «разъезды» с раз и навсегда переведенными стрелками: тут «вагоны конно-железной дороги» встречаются и расходятся на своем пути.

Вагоны эти выглядели внушительно. По длине они примерно равнялись нашим трамвайным — только, конечно, не современным четырехосным, а прежним, двухосным, легким. В высоту же они намного превосходили их.

Вообразите на крыше современного трамвая двойную скамью во всю длину, на которой можно сидеть спинами друг к другу, лицами — к двум противоположным сторонам улицы. По бортикам крыши — легкие перильца, а к ним, с внешней стороны, прикреплены длинные рамки выполненных на жести вывесок и рекламных объявлений: чаще всего восхваляющих «коньяки Шустова» или «швейные машины компании Зингер — лучшие в мире». Все это закрывает ноги сидящих, но не мешает им любоваться поверх рекламы стенами домов и тротуарами. Высота всего сооружения получалась довольно солидная, с теперешние двухэтажные автобусы и троллейбусы.

Вагоны конки были выкрашены все одинаково в синюю — темно-синюю — густую краску. «Моторы» — пара гнедых (или сивых, или вороных, бывало по-всякому) — могли припрягаться к валька́м, укрепляемым у обоих концов вагона. С обеих площадок «на империал», на крышу, вели довольно легкомысленно устроенные полувинтовые

лесенки — находка для карикатуристов лейкинского типа, с наслаждением изображавших ножки поднимающихся на второй этаж красоток, за которыми хищными глазами следят снизу почтенные усачи и бородачи, пузатенькие купчики в картузах, желчные чиновники в форменных пальто, с зонтами и тросточками, озирающиеся провинившиеся мужья с аккуратно упакованными «покупками» в желтой бумаге, подвешенными на деревянных палочках толщиной с основательный карандаш, с рубчиком посредине, дабы бичевка не соскальзывала. Красотки были в юбках, волочащихся по земле и потому кокетливо приподнимаемых, в шляпках, ширина полей которых возрастала от года к году — опять-таки тема для юмористов: им ведь в те годы, бывало, достаточно было палец показать, чтобы они разразились «безумным смехом».

Нам сейчас, может быть, и длиннейшие юбки тех времен, и шляпы, укрепляемые на головах при помощи длиннейших, по пол-аршина (по тридцать с лишним сантиметров) булавок, острые концы которых грозили глазам подростков, тоже показались бы смешными. Но куда смешней было то, что тогда представлялось само собой разумеющимся, мимо чего проходили без улыбки — удивились бы, если бы кто-нибудь засмеялся! Сама конка была сущей уморой, если судить о ней из нашего далека.

Вот она погромыхивает по рельсам где-нибудь на Каменноостровском или на Кронверкском, погромыхивает тяжко и неторопливо: ну с какой скоростью может двигаться огромный железный вагон, влекомый двумя, пусть даже и не извозчичьими, хорошо кормленными лошадьми? Для каждого из граждан 1970 года — я не говорю о мальчишках — не представило бы ни малейшего труда слезть на ходу с этого рыдвана где-нибудь на углу Пушкарской и Введенской, наддать ходу, догнать вагон у Народного дома и снова вскочить в него.

И тем не менее чуть ли не каждый день в дневниках происшествий сообщалось: «Человек под конкой!», «Еще одна жертва городского транспорта». И борзописцы того времени изощрялись: «Пора обуздать наших коночных Гекторов!», «Автомедоны из управления конно-железных дорог становятся угрозой жизни петербуржцев!»

Сейчас представить себе не могу, какую находчивость надо было проявить, чтобы умудриться кончить жизнь под этой добродушной черепахой — тогдашней конкой. А умудрялись!

Конка приближается к мосту — Троицкому, Литейному, Николаевскому. Мост — это гора, и двух лошадиных сил недостаточно для подъема вагона на его выпуклость.

Но проблема хитроумно разрешена.

На подступах к мосту есть маленькие загончики — на этом берегу и на том. Здесь имеют местопребывание резервные *«HP»* — куда более заморенные, более старые ветеранки коночного дела. Они стоят, помахивая хвостами, отгоняя мух и жуя отвислыми губами в мокрых пустых холщовых торбах: им тоже дают овес, но мало.

Вагон подошел. На его передней площадке стоит, держа в руках вожжи, как античный боец на квадриге, не вожатый, не возница, — «кучер». Он действует, как и все кучера, — «браздами», но (это же все-таки — конка, новейший вид транспорта!) по правую руку от кучера — изогнутый штырь с рукоятью. Если вращать его, натягивается цепь, прижимает к колесам колодки, и вагон со скрежетом останавливается.

Рукоять тормоза устроена затейливо. На ней укреплен небольшой (но и не маленький, с хорошую кухонную ступку, похожий на нее и по виду) медный колокол. У него не простой язычок. Он связан с особой муфточкой, движущейся вверх и вниз. Если ритмически опускать и под-

нимать муфточку на ее стержне, язык качается вправо и влево и звонит...

Господи боже мой, как меня поражало в нежном детстве мудреное устройство этого колокола! С каким упоением я тряс — вверх-вниз, вниз-вверх — никелированные шары на тогдашних кроватях, изображая конку; как долго ве́рхом моих честолюбивых мечтаний была завидная карьера коночного кучера. Едет и звонит. Звонит и едет! Что может быть восхитительней?!

...Конка остановилась. Из загородки вывели двух кляч, уже с постромками и деревянными вальками, их прицепили к боковым крючьям передней упряжки, и вагон пополз на мост. Дополз до середины, остановился; дополнительные «двигатели» возвращаются в свою загородку, и громоздкое сооружение начинает — на тормозах — опасный спуск на ту сторону.

Внутри коночный вагон был оборудован двумя длинными крашенными красным маслом скамьями вдоль окон, из конца в конец. Над обеими дверьми висели фонарики; по вечерам в них горели, тускло освещая внутренность конки, свечи. Еще один малюсенький фонарик с рефлектором имелся на груди у кондуктора (никаких кондукторш не было), — без него он не смог бы разобраться в билетах, а они были разных сортов: за пятак — вовнутрь, за три копейки — на верхотурку. Были еще и «пересадочные», на копейку дороже: взяв такой билет, вы могли доехать до пересечения двух линий и пересесть бесплатно в вагон другого маршрута.

Вот на такой конке и ездил в те годы весь демократический, для которого уже «извозец» был великой роскошью, Петербург: рабочие с далеких заводов, если нельзя было пройти пешком, студенты — в дождь или в сильный холод, мелкие чиновники ежедневно, чиновники повыше рангом — от случая к случаю, горничные, модистки,

хористки из мелких театриков, ночные бабочки — возвращаясь домой после нелегкой своей работенки... С раннего утра ползли они по улицам, огромные синие вагоны, зимой — залепленные снегом, с наглухо замерзшими стеклами, настылые, мрачные; летом — пестреющие женскими шляпками, с империалом, то над чем-то хохочущим, то мирно созерцающим окрестный пейзаж... Шляпки, шляпки, черные котелки, мягкие панамы... И вдруг — дождь, и вся конка сразу покрылась множеством черных зонтов, точно на ней вмиг выросло три или четыре десятка грибов.

Смешно все это? Да, конечно смешно. Смешное, старое время, смешная жизнь, медленная, болотистая, тихая...

Но когда я закрываю глаза и передо мной встает в зимнем туманчике, в метели, в питерском июньском дожде высокий призрак дребезжащей на ходу всеми стеклами синей громады, мне приходит в голову, что по ступенькам таких конок поднимался иной раз на империал Александр Блок и оттуда видел свои улицы, свои фонари и аптеки, своих Незнакомок и Фаин; что много раз в их немудрящих кузовах мог ехать и молодой, еще не успевший накинуть на плечи свои будущие богатые бобры, Шаляпин; что — очень вероятно — в таких вагонах промозглым утром или чахоточным, слезливым вечером, куда-нибудь на окраину, на конспиративное собрание, на встречу с вырвавшимся из ссылки товарищем, просто на занятие рабочего кружка, мог, погрузившись в чтение газеты или просто задумавшись за поднятым воротником пальто, добираться и встретиться каждому из нас, тогда уже живших, и помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов. И тут смех уходит в сторону, и на его место встает почтение к прошлому, большая гордость, что оно было и что я его помню.

Каждому овощу свое время. Конке — тоже.

Кончив в таком элегическом роде предыдущую главку, я упустил сказать, что, к примеру, в том же, многократно упомянутом мною, «моем» девятисотом году эти самые конки перевезли девяносто один миллион пассажиров, из общего числа в миллион двести пятьдесят тысяч жителей Петербурга. Каждого петербуржца старуха-конка прокатила семьдесят три с половиной раза; каждый взял семьдесят три билета, семьдесят три раза видел все, о чем я только что вам рассказал. Значит, ее роль в жизни города была весьма и весьма серьезной.

А теперь — о паровиках.

Они, в общем, тоже числились тогда в официальных отчетах как «паровые конные железные дороги»; почему так — не берусь объяснить.

Таких линий было на моей памяти две. Одна — «Клиника Вилье — Круглый пруд» в Лесном — была мне близка и мила в раннем моем детстве. До двенадцати лет, когда закончилось все мое выборгскостороннее житье.

Другая начиналась в странном закоулке у Знаменской площади, за колоссальным и известным всем петербуржцам «домом Фредерикса» (теперь там помещается гостиница «Октябрьская»). Тут прямое продолжение Старо-Невского проспекта выходило к Лиговке сквозь огромные арки этого дома, и почему-то именно оно получило название «Первой Рождественской». На Первой Рождественской и была петля не петля, скорее—тупичок, этой второй городской железнодорожной линии. Она тянулась отсюда до деревни Мурзинки, туда, далеко за Обуховский сталелитейный завод.

Более или менее обычный маленький локомотив был как бы обшит некоей прямоугольной металлической коробкой, превращен в нечто похожее па заводские

«паровозы-танки». Внутри коробки вокруг котла был проход, по которому гуляли важный спокойный механик и всегда черный, измазанный углем молодой помощник — кочегар. Сквозь боковые и передние смотровые окна без стекол можно было так ясно, как никогда на железных дорогах, увидеть внутри тупой торец котла, и топку, и манометры, и слабо поблескивающий замасленной сталью большой рычаг — «ре́верс»; созерцание всего этого завораживало меня, и няня подолгу теребила «мальчика» за руку: «Ну идем, Левочка. Ну и что тут смотреть, Левочка?! Ахти-матушки, черные, грязные, как трубочисты какие!» У нее был один угол зрения на мир, у меня—другой.

По-видимому, управление было с обоих концов локомотива: на тупике он не разворачивался, а просто, отцепившись, уходил на стрелку, со звоном колокола — точь-в-точь такого же, как у конок, — пробегал мимо своего состава и прицеплялся к нему уже с другой стороны.

Вагоны — коночного типа, некоторые — тоже с империалами; но были и открытые, летние. Вдоль этих на всю длину тянулись общие подножки; сиденья на платформах были расположены поперек; стенок не было, а входные проемы задергивались бело-синими занавесами, спускавшимися с крыши. На крышах и в открытых вагонах ездить было приятно, если вам, как мне тогда, в высшей степени безразличны копоть и искры, вылетавшие из короткой черной трубы на крыше коробки локомотива...

Вы садились в самом начале Сампсониевского и ехали по всей его длине — мимо Сампсониевской церкви, перед которой стоял маленький, как куколка, Петр Первый, мимо аптекарского магазина, где хозяйствовал папа Фимы Атласа, о котором я рассказывал во введении к этим запискам, мимо конфетной фабрики Георга Ландрина (теперешняя Первая конфетная), из окон которой всегда приторно пахло каким-то сиропом и сладким

тестом... Потом он, пыхтя, поднимался в гору к Новосильцевской и круто сворачивал вправо, огибая парк Лесного института.

Это было очень интересно, потому что рельсы по узкой Новосильцевской, на ее левой стороне, были проложены у самого желтого каменного забора-стены, и он проходил в пугающей близости от глаз, как скалы на некоторых кавказских дорогах, и я всегда ожидал этого, в семь лет — волнующего, момента. А справа уже зеленели удивительные деревья, на каждом из которых висела табличка с надписью: «Даурская береза», «Клен широколистый», «Лиственница европейская», и это было еще удивительней, ибо я всю жизнь любил, когда мне что-нибудь объясняют. А внизу, в молодой траве, — мы ездили туда чаще всего весной — уже лиловели нежные кисточки хохлаток, солнечно золотились веселые цветки гусиного лука, а кое-где можно было уже разыскать и наивно-синюю печеночницу, которую завтра будут продавать на Невском, называя «подснежником», и чисто-белые чашечки диких, милых анемон-ветрениц...

И вот мы слезаем и проходим в парк, сквозь калиточки, охраняемые только красно-коричневыми крестовинками деревянных турникетов (и я узнаю это слово!), и огибаем белые корпуса института (а я представления не имею, что буду двадцать лет спустя слушать тут Сукачева, Холодковского, Римского, сдавать систематику споровых, указывать в груде лишайников на столе то «Evernia frunnstri», то «Xantoria parietina», а то и плоское слоевище «Cladoniae»), и видим желто-красные домики профессорского состава, и мне говорят, что в одном из них живет сам Кайгородов... И я, раскрыв рот, смотрю на домик с почтением: «Сам Кайгородов!»

Кто теперь, полвека спустя, помнит, кем был Дмитрий Никифорович Кайгородов, деловитый и влюбленный

в свое дело предтеча современной нашей фенологии, упрямо сообщавший во всех газетах, не обращая внимания ни на восстания, ни на войны, о том, что «12 апреля был слышен первый свист скворца», а «5 мая лягушки в Институтском пруду начали икрометание». Над ним посмеивались, на него помещали безобидные карикатуры, а он наблюдал и писал. И если его теперь вспоминают только фенологи, если даже им он порою кажется наивным дилетантом, то — что поделаешь? Все мы — «конки» и «извозчики» на великом пути прогресса. Всем нам, работникам и науки и искусства, кроме разве уж звезд самой первой величины, всем нам приходится через полвека, через столетие выглядеть как нечто устарелое, как нечто давнопрошедшее, милое, но вроде как уже и не заслуживающее внимания.

А ведь это — несправедливо, и не к лицу изобретателю пятикубового экскаватора заноситься перед тем, кто когда-то вытесал из дерева первую лопату.

Очень трудно сказать, кто из них двоих ближе к гениальности и кому человечество — знай оно в лицо, по имени конструктора той лопаты или весла — с бо́льшим основанием водрузило бы памятник.

А впрочем, я, что называется, отвлекся. Буйный дух воспоминаний захватывает в свою власть семидесятилетнего человека, и они начинают ветвиться и шириться уже независимо от его воли, вызывая на свет когда-то не додуманные мысли, все то, что казалось и перестало казаться важным... Вернемся к теме.

С другой, Невской, паровой линией городских железных дорог меня связывают куда более поздние воспоминания, и я еще возвращусь к ним.

Тут все было по внешности точно таким же, как и там: такие же паровички, такие же вагончики; не берусь сказать, были ли среди них открытые летние платформы.

Могло и не быть: маршрут был «не тот». Там в конце зеленели два отличных парка — Лесной и Удельнинский, начинались дачные места... Как это ни странно звучит сейчас, а ведь не только лесковские «совместители» обделывали свои делишки на дачках в Лесном во дни министра Канкрина; в самый год революции у меня было несколько знакомых, выезжавших на лето именно туда и наслаждавшихся природой в радиусе километра от Круглого пруда. На такой линии и вагончики могли уже иметь дачно-пригородный вид.

Здесь же, как только паровозик сворачивал к Неве, оставляя лавру вправо, начинались строгие фабрично-заводские места. Непрерывная цепь предприятий тянулась, как и сейчас, вдоль левого берега Невы. Мельница Мордуха и Невский стеариновый, Фарфоровый заводы, и амбары Невской лавры (лавра тоже была своего рода весьма крупным предприятием), Невский механический и Судостроительный, Невский химический, Главные вагонные мастерские Николаевской дороги, Главные паровозные мастерские Александровского завода, бумагопрядильная и ткацкая фабрика Губбарда, такая же фабрика «Петровского товарищества»... Фабрики, фабрики, заводы... Высокие кирпичные заборы; проходные возле сурово закрытых ворот; металлические вывески на проволочных решетках над ними: здесь — «И. Ф. Губбард и К°», на той стороне реки — «Альфред-Перси Торнтон и К°»... Двуглавый имперский орел — и компания. Да еще какая большая компания!

Казалось бы, и сегодня, едучи по этой «трассе» в двадцать четвертом или седьмом трамвае, вы увидите то же самое: заборы, заводские трубы, рабочих, высыпающих в часы смен на тротуар из проходных. Но...

Да этого, пожалуй, не поведаешь словом; для меня адская разница в атмосфере, в самом воздухе, в самом

духе не столь уж отдаленных наших заводских районов и тогдашних далеких застав. Для меня она лучше всего выражена в песнях тех дней, в шарманочной зáуныви, в оголтелом реве граммофонов сквозь открытые окна трактиров и портерных, в завывании подвыпивших и вовсе пьяных людей на откосах набережных. «Вечер вечереет...», «Маруся отравилась...»

Это очень трудно выразить; но в созданных через много лет песнях для кино — в поразительной «За далекой за Нарвской заста-авой...» — кинематографисты, поэты и композиторы сумели передать и этот душный, горький, этот пыльно-солнечный и чем-то остро хватающий за душу настрой нищей, невыносимой, окраинной городской тоски, которая все-таки была жизнью, где все-таки пробивался зеленый росток надежд...

Да, на этом маршруте, пожалуй, не было оснований пускать по рельсам открытые, праздничные платформы... А впрочем, может быть, их все-таки пускали?..

Сев у дома Фредерикса, вы, если располагали временем и терпением, могли заехать невесть куда. За часовней «Скорбящей», где перед образом со вплавленными в дорогую ризу чудотворными медными копейками и полушками всегда рыдала, крестилась, шептала молитвы толпа, мимо нахмуренных корпусов «Обуховца», вспоминающего прославленную свою оборону, паровозик увозил вас почти за город, туда, где начинались скудные березки, где на другом берегу лепились по горке кулацкие домики немецкой Саратовской колонии, где уже голубела на горизонте «тьма лесов и топь блат», как во дни Петровы, и где по-прежнему там и сям «рыбарь бородатый» вполне еще мог «колотить дырявый челн».

Вас обгоняли парные выезды директоров и членов заводских правлений — господина Гартмана Ричарда Федоровича, управлявшего Невским химическим, господина

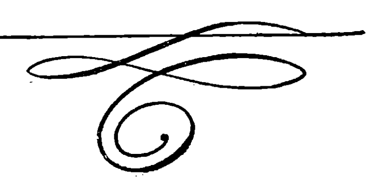
Берхгольца, ведавшего землями богача Паля, чьим именем долго еще назывался нынешний проспект Елизарова, господина Ферветтера с Петровской бумагопрядильной — по большей части все немцев. Но в ваш вагон садились и рабочие тех же заводов и фабрик; могли ехать с вами с самого начала и тихая курсисточка, в порыжелом саквояжике у которой лежала новая брошюра, полученная только что для передачи в собственные руки какого-нибудь «товарища Петра» в желтом домике на третьем Палевском луче, и «гороховое пальто», делающее вид, что с увлечением читает очередной выпуск «Антонио Порро, мускулистого пресгупника», но из-за книжки нет-нет да бросающее быстрый, пронзительный взгляд на списанного на берег матроса с великолепными усами над губой и с надписью «Рюрик» или «Андрей Первозванный» на бескозырке...

Эти ехали туда, те — сюда, но самое удивительное, что господа в экипажах были очень озабочены тем, что в Думе скажут господин Марков-второй или господин Гегечкори, октябрист Гучков или кадет Родичев, и как-то совсем упускали из виду то, что говорилось, о чем думалось вот в этих низеньких домишках, на этих пустырях, переходивших в огороды, на невских песчаных бережках... А ведь то, что говорилось на этих бережках, было куда существеннее для будущего, чем все разговоры на самых лучших пляжах Биаррица и Ниццы, Ялты и Евпатории, Сестрорецка и Териок...

Да, этот маршрут городской железной дороги упирался прямо в будущее, но почти никто в городе — если бы спросить у рядового человека — не сказал бы вам тогда, куда он ведет. До какой-то там Мурзинки, что ли?..

Знали бы вы, какова была уже тогда эта Мурзинка, господа!

НАКАНУНЕ



НЕ ПРИВЫКАЙТЕ!

Чем больше живешь, тем больше неожиданных, странных, удивительных свойств замечаешь у человека. Не у меня, не у вас — у всех людей сразу, а значит — и у меня, и у вас, и у него.

Меня всегда поражает людская способность привыкать.

11 апреля 1961 года миллиарды обитателей Земли не поверили бы, если бы им сказали, что вылет человека в космос состоится вот-вот, не сегодня — завтра. 12 апреля и все человечество, и страна наша, и в частности Ленинград, были вне себя от энтузиазма, восторга, счастья, гордости: «гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин» был в душе, в сердце, на уме у каждого; каждому казалось, что никогда — никогда! — не забудет он этот день и эти впечатления.

Я-то помню — я описал это в эпилоге к «Шестидесятой параллели» — и сияющую счастьем демонстрацию не

демонстрацию (для демонстрации чересчур мало чинности), толпу не толпу (для толпы слишком много умных лиц, великолепных улыбок, гордой радости) студентов-физиков Ленинградского университета. Студенты несли наспех изготовленные, от всей души написанные плакаты. На одном из них: «Гагарин — в космосе!», на другом: «Все там будем!» — и для этого дня нельзя было придумать более дерзкого, более юного, более жизнелюбивого лозунга.

Я помню — и это тоже описано — Александровскую колонну, покрытую надписями в честь Гагарина до такой высоты, что ума было нельзя приложить: кто и как туда мог забраться? Но все только мирно покачивали головами, даже милиция. «Вот эти нарушили так нарушили, товарищ старший лейтенант, а?!» — проговорил не без задней мысли невидный, конопатенький милиционер у подножия колонны, и старший лейтенант очень разумно ответил ему: «Сегодня пусть, товарищ Круглов! Сегодня Гагарин уж до того *нарушил* — на все века...»

Но прошел год, два, три, и люди не то чтобы позабыли это торжество и славу, но им стало как-то казаться, что и космос — в порядке вещей и слово «космонавт» как будто всегда было... «Что летчик-высотник, что космонавт, разница-то относительная...» Привыкли!..

Ах, как не люблю я эту человеческую способность превращать живое дерево в обыкновенный столб, считать — как мне когда-то, еще в семнадцатом году, признался один псковский кулачок, — что, «конечное дело, жареный-то заяц поантиреснее живого». Считать, что все, что есть, вроде как само собой сделалось, и сделалось только на мою простую потребу.

А казалось бы, надо, даже беря в руку простейшую трубку телефона, ощущать благоговение: «Господи боже мой! Ведь сколько потребовалось миллионов людей,

которые родились, жили и умерли, чтобы это чудо оказалось возможным!»

Но этого нет! Люди ко всему привыкают. Да вероятно, так оно и должно быть: даже я сам, при такой повышенной требовательности, не сержусь, если кто-нибудь без особого восторга трясется в наши дни на телеге; а ведь телегу тоже изобрел некогда какой-нибудь удивительный гений...

Почему я сейчас заговорил об этом? Потому что, вот уже много дней и недель с удовольствием ныряя в глубины собственной памяти, я вдруг начал ясно ощущать чудовищно большую разницу между тем, что было, и тем, что есть теперь. Не только социальную, не только политическую — это само собой, а, так сказать, в самой технологии жизни — житейскую. Вот тот же телефон...

Телефон и электричество

Первый телефон я увидел, уже будучи довольно многое изведавшим человеченком XX века. Я шел из приготовительного класса школы и на второй площадке лестницы нашего дома (то есть как — нашего? Дом принадлежал Ивану Поликарповичу Квашнину, владимирцу или ярославцу, разбогатевшему на москательных и малярных подрядах), у самого окна, усмотрел человека, мастерового, который шлямбуром долбил стену, извлекая из нее, голубовато-белой, розовый кирпичный песок. У ног мастера, на полу, стояли сумки и ящички с нехитрым оборудованием, а на подоконнике лежало причудливое сооружение — коричневый деревянный щиток со странной формы коробкой на нем. Над коробкой поднимался марсианского вида никелированный рычаг, оканчивавшийся воронкообразной трубкой. Из бока ящика торчала металлическая вилка. Рядом, из другой круглой дырочки, выходил трех-

цветный матерчатый шнур; у него на конце была закреплена черная, как прессованный уголь дуговых фонарей, эбонитовая толстая и короткая трубка.

— А... А вы что это делаете? — рискнул спросить я. Я был очень смущающийся, конфузливый мальчишка; заговорить с незнакомым было для меня пыткой; но когда передо мной что-то «делали», строили или чинили, да еще «что-то» было мне незнакомо, — никакое смущение не могло меня удержать. И скажу кстати: сколько сотен раз в детстве я ни налетал так, с вопросами, на работающих людей, — не припомню случая, чтобы меня обрезали, шугнули, ответили грубо или вовсе не ответили.

— Телефон вам лестничный ставлю, — сказал мастер, жмурясь и дуя в пробитую дыру. — Будешь теперь по телефону уроки узнавать...

Я влетел в квартиру как сумасшедший: «Там телефон на лестнице ставят!» — швыркнул ранец куда попало и — тра-та-та-та! — скатился снова по лестнице вниз. Меня не задерживали. По моему тогдашнему неистовому интересу к таким вещам можно было думать, что из меня выйдет...

Впрочем, трудно было сказать, кто должен был из меня выйти. Я еще совсем малышом мог часами сидеть рядом с настройщиком, пока он — длинь-длон-дром! — подкручивал своим ключом колки раскрытого пианино. Даже сейчас эти звукосочетания—то в терцию, то в квинту — звенят у меня в ушах. И когда приходили полотеры, производя разруху во всех комнатах, отодвигая мебель, заливая пол мастикой, меня нельзя было вытащить оттуда, где они плясали свой полотерный, скользкий танец. Самим полотерам мое внимание очень нравилось; настолько нравилось, что однажды их артель подарила мне малюсенькую щетку, зеленую суконку и кусок желтого воска: «Вот, Левочка, видать, уж больно из тебя добрый полотер выйдет... Спытай свой талан, трудись с нами...»

Мама с одной, дворянской, стороны своей была слегка задета этим гороскопом: «Из Левки — полотер»; но с другой, демократически-радикальной, вроде даже и польщена. Полотеров отблагодарили, и я, вероятно с год, всякий раз — левая рука в бок, правая — маятником на отлете — отплясывал с ними самым серьезным образом и, по-видимому, наловчился прилично протирать уголки, тесные места, куда взрослому было не забраться. Хорошие были люди те полотеры!

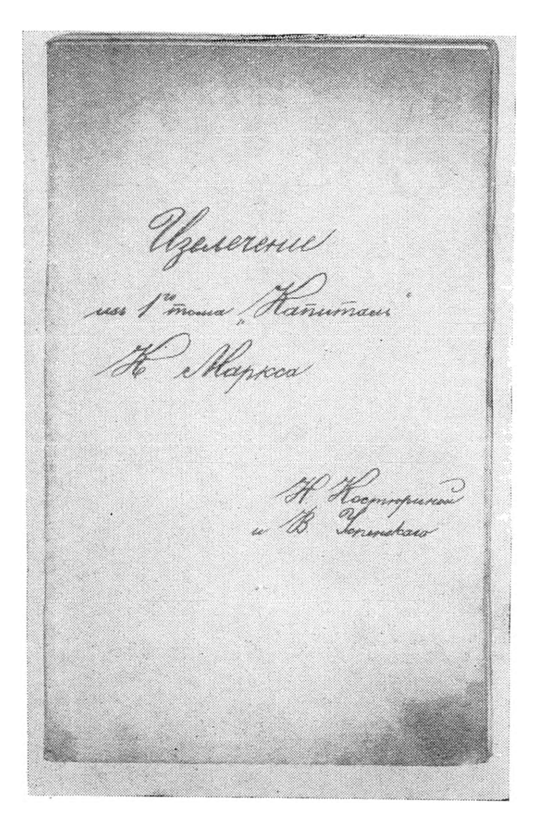
Так вот! Этот квашнинский телефон, группа «А», 1-20-57, и был тем самым, по которому мне довелось впервые разговаривать. Не могу передать вам, как это было неправдоподобно, странно, фантастично, когда мне сказали: «Поди позвони папе, рано ли он сегодня придет?» — и я попросил барышню дать мне нужный номер, и вдруг, за тридевять земель, с Литейного, дом 39, услыхал не слишком довольный звонком папин голос: «Да, я слушаю» — и завопил: «Папа, это я, это Лева... Я по телефону говорю!!.» Это было сущее чудо...

Мне жалко, что теперь я не испытываю особых переживаний, даже если мне говорят в трубку: «Ответьте Адлеру!» или «Вас вызывает Пржевальск!» Грустно как-то, что первая свежесть и сила впечатлений так быстро изглаживается...

Те первые телефонные аппараты — выпускала их фабрика «Эриксон», тут же, на «шведо-финской» Выборгской *, — с нашей нынешней точки зрения, показались бы необыкновенными страхидами. Они висели тяжкие, крашенные под орех, похожие на тщательно изготовленные скворечники. Микрофон у них торчал вперед чуть ли не

---

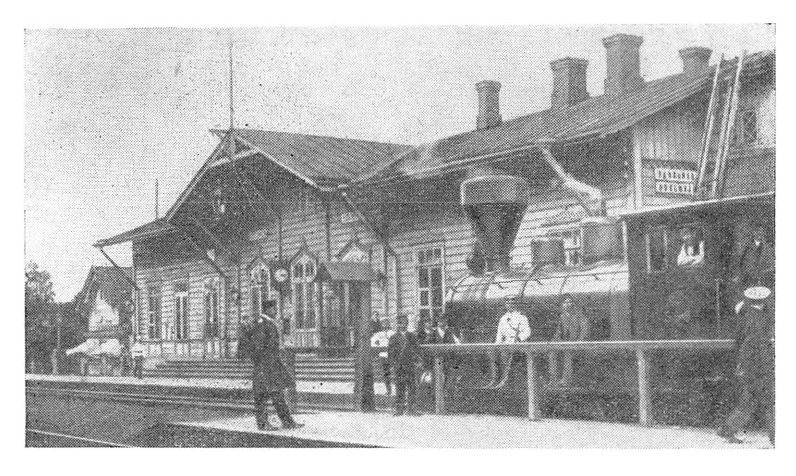
* На Выборгской стороне, вокруг Финляндской железной дороги, заводов Эриксона, Нобеля, во множестве оседали финны и шведы.



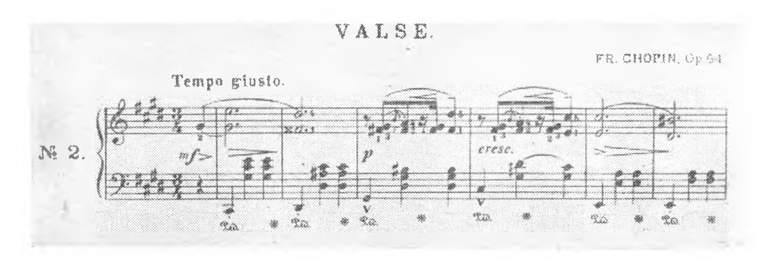
Я бережно храню эту старую тетрадку. Как резко и точно отразились в ней и люди, и эпоха...



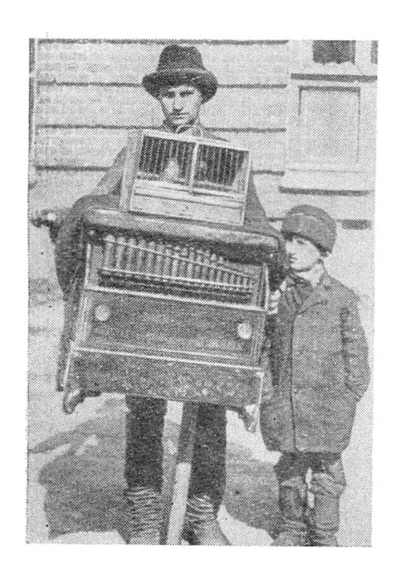
И тут — в платье, в позах, в выражении лиц — как бы написано: «900-е годы...»



Вот так все и было. И «финский» паровоз с трубой-котлом, и вокзальный колокол у входа, и часы фирмы «Винтер» рядом.



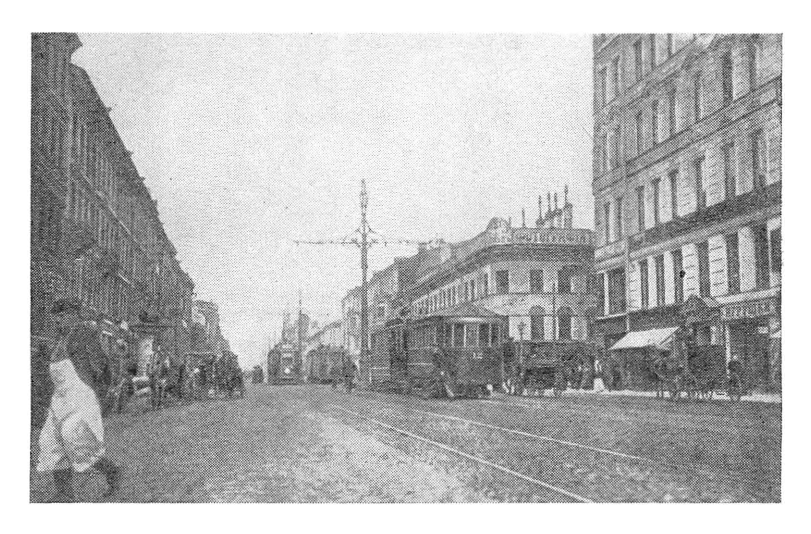
Мое светлое раннее детство звучит для меня в первых тактах этого вальса.



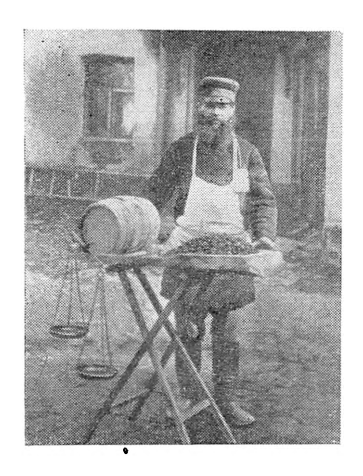
Я писал, не видя этой фотографии. Ее нашли позднее...



Это — не совсем то... Это не «халат-халат». Этот торгует новым, не старьем... Но тоже «князь».



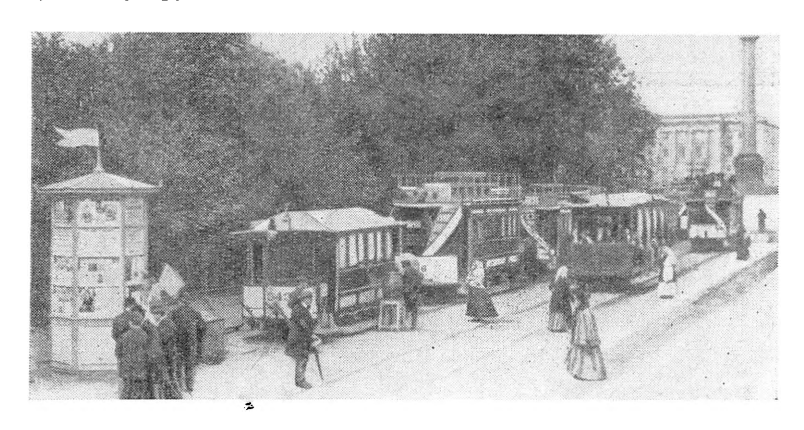
Слева впереди — Главное управление уделов. Направо — Бассейная, где я родился. На углу — магазин Черепенниковых; тут Стаклэ выручила Бирзнека



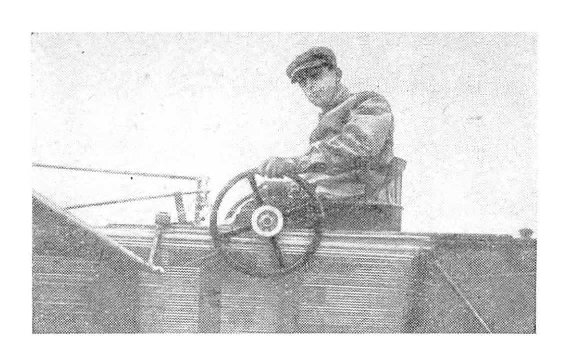
Квасники любили места возле бань. Хорошо после парной хлебнуть кваску, закусить «размоченной посушеному грушей»...



Это не чеховский Иона, но и не лихач. Князь Кочубей к такому извозчику не сел бы.



Вот они, конки... И «империялы» на крышах, и лесенки наверх. Тут была «петля» — пересадочная остановка.



Точно такая открытка была у меня в 1910 году. Латам в «Антуанетте».



Моим «лётным богом» был Ефимов. Врангелевцы расстреляли Михаила Никифоровича Ефимова в 1920 году в Севастополе.

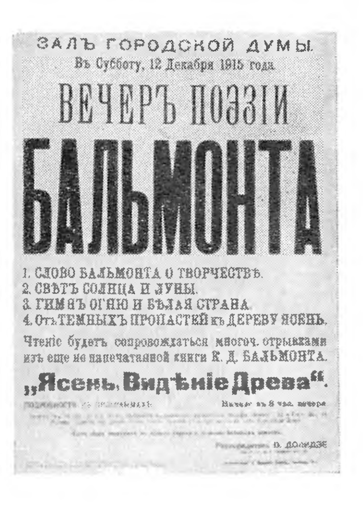


Надо было быть героем, как Лев Мациевич, чтобы подниматься в воздух на таком сооружении.

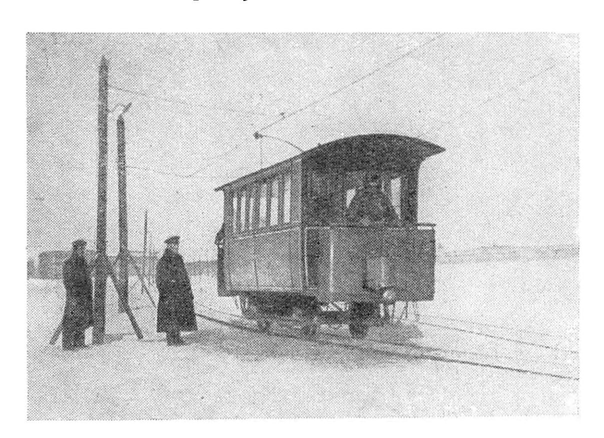
Белый снег, аквамариновые ледяные призмы... Красив, наверное, был петербургский «Ледяной дом» на Неве!

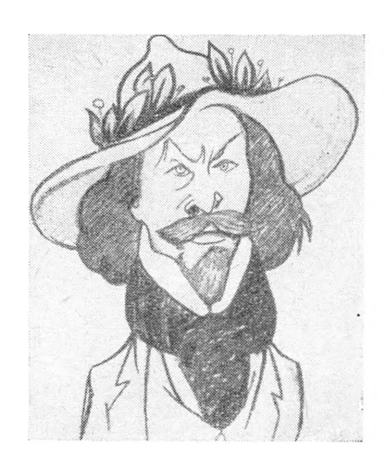


Был я и на этом вечере. Вечер был другой, а дух его остался тем же.



Вот так и бегали здесь «ледовые трамвайчики» — выдумка какого-то находчивого предпринимателя.

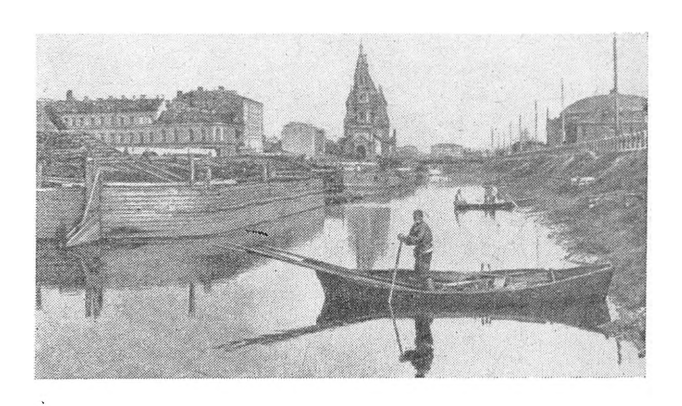




Я — изысканность русской
медлительной речи.
Предо мною другие поэты —
предтечи!
К. Д. Бальмонт.



Было такое время, когда даже Амфитеатров казался витязем, поднявшим меч против «господ Обмановых».



Обводный... Справа — газовый завод, слева — церковь Мирона-мученика. Впереди — железнодорожный мост.



КРЫМ

Продае

ЮРИСТЪ, Б

Бѣдная женщина желаетъ отдать совсѣмъ своего сына. Александра, 5 мѣс. Екатер. кан., д.

ОПЫТ

приход
ст., Лах
швейкѣ

ПРОШ

Богород

Мо

конторщ
занятій.
домъ №

ЖЕЛ

пріемщ
3 линія,

ЖЕЛА

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА-УСАДЬБА.

Земли 5 десят., барскій домъ съ полной обстан., водоп удобств. Два дворныя пост садъ, въ земл та. Отъ Петр шоссе, сообщ. Поповка. За с тора «Самопо ламандра» С. тутъ же можн дажѣ другихъ

ПРОДАЕТСЯ ИЛИ СДАЕТСЯ каменный, 3-эт. домъ, годный для фабрики и завода, площ. болѣе 300 кв. саж. Земли 576 кв. саж. половина земли сво-

КУРО

3 дома продаютъ

за 35,000 руб., земли фасадъ, доходъ 3,35 Сердобольская ул.,

ХИРОМАНТКА

А. К. САВИНА

принимаетъ отъ 10 ч. у. до 7 ч. веч. Николаевская, 33, кв. 7, парадная.

СДАЕТСЯ

для малаго семейства по Варш. ж. д., Дудковская, сообщ. ехтежскій пр., домъ

ТАНЦЫ

БЕЗПЛАТНО

РАЗВОДЪ

ИВАНОВСКАЯ, 16, кв. 24

2266 кв.

Преображенск лѣво», бл. р Суворовская

ВЪ ФИНЛ

въ 10 минут. ходьбы продается за новая зимняя дача

ОПЫТНЫЯ ЮРИСТЪ

ЛИГОВСКАЯ, 51, КВ. 24.

Отъ 50 коп. СОВѢТЫ ПРОШЕНІЯ. ЗАЩИТА. Дѣла

КУПИТЬ ДОМЪ

на окраинѣ гор. жел. (можно дерев), съ камен. флигелемъ или сараемъ. Письм. предл. вкр.: Экспедиція объявленій. Эд. Петцгольцъ Невскій, 13, г. Фомину, № 5246.

ясная по
саж., берег
3, кв. 9. Те

айцахъ,

РАЗВОДЪ

ЮРИСТЪ

Воистину, как сказано в «Писании»: «Пили, ели, веселились, дондеже не пришел потоп...»

ЭТЮДЫ.

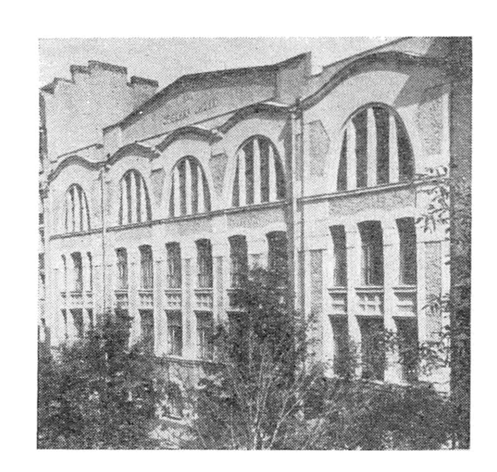
VI.

«Рысистая ѣзда шагомъ», или труспой—есть ледяное непоколебимое общественное настроеніе... И, охъ, чтобы его, милое, пошевелить или сбить, адская твердость нужна, едва ли завтра явиться предсказуемая!

Робкая, еле движущаяся, вялость, «ахрезиство» рабское, идольская тупость, едва ползущая новости, а архивъ цѣлей, если не жовомъ урядника рекомендованныхъ, артистически бѣгущая елико заполнымк обходами. Безмѣрная растрепанность азбестовая

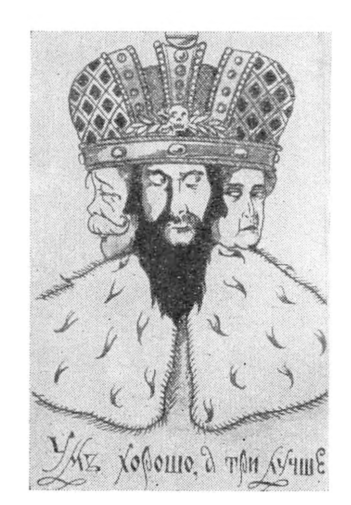
такъ, какъ подобаетъ осторожному, добродѣтельному, опытному, безпорочному, новообщественному мужу... Уже сколько разъ: едва достукаюсь сѣсть твердо въ «уважаемые»—обличителемъ безвредности, щегловато-егозливымъ, неунывающимъ, играющимъ литарно, скорописцемъ веселья,—ахъ, мнѣ именно на оный, чертовски трудный, отбой противопоставляютъ отпоръ. Дескать, если ловокъ авторъ ехидно шалить, ущемляясь закономъ,—ну, и кряхти, ворочай, тяни юдоль, рокомъ мысли ехидной присуждаем-

Так и начинался этот «торопыга»...

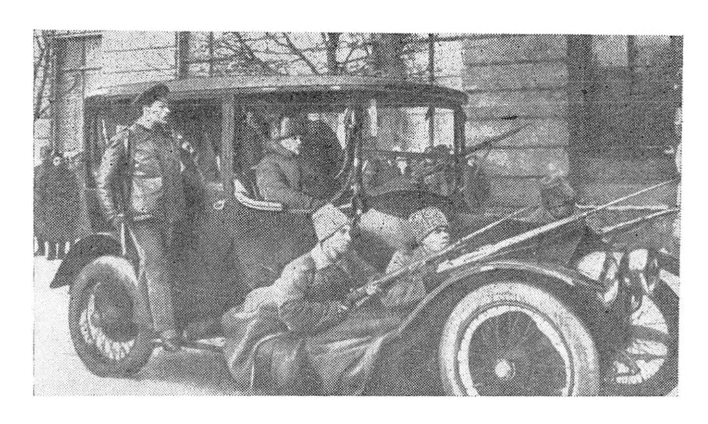


Все бывшие «майские жуки» доныне помнят и любят это здание. Теперь тут школа № 5 Василеостровского района.

С именем Протопопова соединялось понятие «прогрессивный блок». В начале семнадцатого — «прогрессивный паралич». Это был паралич всего режима.



Офицеры с фронта привозили такие, от руки рисованные и снятые фотоаппаратами, картинки уже в 1916 году...



Этим повезло... Я ездил не на легковушке...



ИЗВѢСТІЯ ПЕТРОГРАДСКАГО СОВѢТА Рабочихъ депутатовъ.

№ 1—28 февраля 1917 года. № 1.

Къ населенію Петрограда и Россіи.

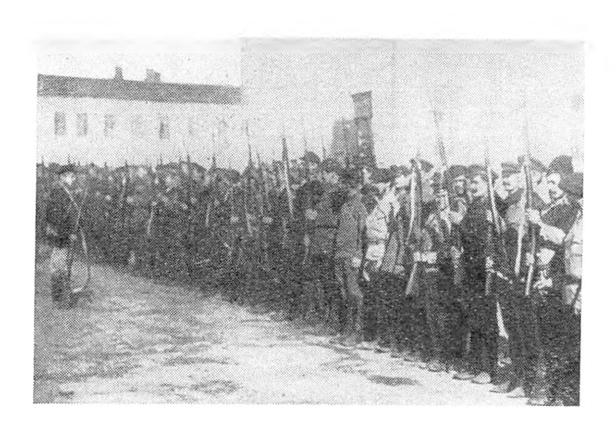
Отъ Совѣта Рабочихъ Депутатовъ.

Совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ.

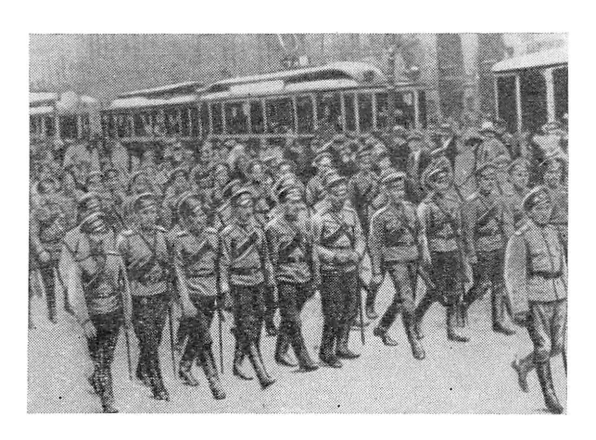
...В столице образовался Совет Рабочих Депутатов...



Вот такими сосунками в кожанках оказались мы
лицом к лицу с Революцией.



Красные... «Еще нет выправки...»



Завтрашние белые. «А выправочка-то уже не та!..»

на полметра. Говорить надо было, дыша в его тщательно заделанный медной сеточкой раструб, а звук доходил до уха через тяжелую трубку, которую, совсем отдельно, нужно было приставлять к нему рукой.

И были две кнопки — левая «а», правая «б». Левую надо было нажимать, вызывая номера до 39 999; правую — если нужный вам номер начинался с четверки.

Отвечала «барышня». Барышню можно было просить дать разговор поскорее. Барышню можно было выругать. С ней можно было — в поздние часы, когда соединений мало, — завести разговор по душам, даже флирт. Рассказывали, что одна из них так пленила милым голоском не то миллионера, не то великого князя, что «обеспечила себя на всю жизнь».

Словом, вот какая была чудная архаика; теперь даже самому не верится. А ведь — было!

А электрический домашний свет?

Выборгская сторона в этом смысле значительно отставала от левобережного города: там, в «городе», не только на улицах на много лет раньше загорелись электрические фонари (на целую эпоху раньше!). На Выборгской вплоть до самой Революции царствовали еще газ и керосин, и в домах здесь «электричества» долго не было.

Кстати — вот и само это слово. Как просто мы говорим теперь «свет», «энергия»; а ведь тогда бы никто этого не понял: «Какой свет? Какая энергия?» Теперь же могут и не понять, если спросить: «Электричество у вас есть?» А в те годы даже поэты ставили это слово в строку и понимали под ним «электрическое освещение», «свет»:

Мы выключили электричество, —
Луна в стекле,
И ваше светлое владычество,
Моя Ойле!

Так еще у Игоря Северянина, в десятые годы века...

Ну так вот, с электрическим светом... Мне было, вероятно, лет между четырьмя и пятью, или пятью и шестью, когда у двух моих родичей, живших на «городском» берегу Невы, он был проведен в квартиры. Это был и тот самый дядя Саша, генерал Елагин, который был мне явлен мамою как «хороший генерал», и брат отца, «американец» по натуре и ухваткам, дядя Леля, Алексей Успенский. Про обоих я уже упоминал.

С тех пор как я впервые попал к кому-то из них со взрослыми в гости, я пришел в неистовство. Чудо поразило меня.

Ну еще бы! Я отлично знал, какая возня поднималась всякий раз, когда требовалось привести в действие обычную нашу «выборгскую» керосиновую лампу. На кухне, на высоком ларе, установленном там благотворительным обществом для сбора в его пользу всякого, теперешним словом говоря, «утиля», всегда обреталась целая нянина керосиновая лаборатория. Стояли коробки с фитилем, другие — с хрупкими ауэровскими колпачками; хранились специальные ламповые ножницы. Там именно няня — и она видела в этом важную свою прерогативу — ежедневно утром «заправляла» лампы: наливала в резервуары керосин, ровно обрезала нагоревшие фитили, если нужно было — вставляла новые. Потом тщательно обтертые лампы разносились по местам, вмещались в специальные подвесные устройства на крюках с медными и чугунными «блоками», наполненными дробью (в одной из моих комнат и сегодня висит такой «подлампник» с синим стеклянным абажуром), в торшеры, в настольные цоколи.

Вечером надо было все их зажигать, а если фитиль был неточно отрегулирован, лампа начинала коптить, шарообразное вздутие на стекле замазывалось язычком припеченной сажи, по комнатам летала, мягко садясь на

скатерти, жирная керосиновая сажа. Поднимался крик, нам, детям, вытирали и мыли почерневшие ноздри... Хлопот — полон рот!

А тут — дядя Саша, поманив меня пальцем: «Ну, отпрлыск, смотрли... Техника на грлани фантастики! Рлаз, два, трли!» — повернул медную ручечку на таком же медном выключателе, и я не поверил своим глазам: под потолком зажглась лампа. «Эйн-цвей-дрлэй!» — лампа потухла...

Я ведь пишу это не для того, чтобы зафиксировать забавный анекдот из собственной своей биографии. Я пишу для того, чтобы можно было понять, что, вероятно, где-то в палеолите были мальчишки, которым доставляло тревожное, радостное наслаждение зажигать о горячие угли травинки, гасить их ударами толстокожих пяток, снова зажигать, восторгаясь своей властью над духом огня, испытывая счастье от собственного всесилия.

Наверное, в течение года от меня можно было добиться всего, пообещав мне поездку к дяде Леле или дяде Саше. Я ехал присмиревший, предчувствуя такое великое удовольствие, согласный даже на «вести себя вполне прилично» ради него. А там мне разрешали в течение получаса или сорока минут с визгом бегать по всем комнатам, поворачивая выключатели даже в ванной комнате, даже в уборной. И затем расширенными глазами вглядываться в неправдоподобное: есть маленькая спиралька света — нет этой спиральки... Есть — нет...

Сейчас я подумал: что́ равноценное можно предложить моему внуку, чтобы вызвать подобную же реакцию восторга? Просто уж не знаю что! На настоящих машинах, держась за баранку, он сидел; как ночью, между редких звезд лета, ползет, то вспыхивая, то умирая, — точь-в-точь кавказский летающий светляк лючиола — какой-то там двести пятидесятый или триста седьмой

спутник — видел... По телефону с бабушками привык разговаривать уже с двух лет...

А тогда — тогда ничего этого не было. Не только спутников, телевизоров, носящихся по Неве катеров на подводных крыльях, — но ни телефонов, ни электрического света, ни трамваев, ни кино...

„Синематограф“

В кино первый раз я ходил тоже, вероятно, в те же годы — не то в 1905-м, не то в 1906-м.

До этого мне уже случалось видеть многократно «туманные картины». Теперь нынешние всезнающие младенцы сплошь и рядом с полным равнодушием созерцают их у себя на дому: есть и проекционные аппаратики, есть и диафильмы.

Тогда, помню, и на туманные картины мне пришлось идти в Нобелевский народный дом, где «известная путешественница» по фамилии, по-моему, Корсини устроила для рабочих «чтение» с «волшебным фонарем» на тему «Италия».

Я был географ заядлый; я, так же как и няня, сидел на «чтении», не отрывая глаз от слабенько освещенного экрана, где вид на Везувий сменялся Лазурным гротом, Лазурный грот — раскидистыми пиниями, а пинии — все той же скорченной гипсовой помпейской собакой, отлитой по сохранившейся в толще пепла пустоте, которую я уже много раз видел в книгах. А брат мой — он же был на два года младше меня — довольно мирно проспал все туманные картины.

Впрочем, няня, выйдя из дома на морозную Нюстадтскую, тоже удивила меня. «Ахти-матушки! Только деньги выманивают!» — махнула она рукой, этой короткой формулой сразу подытожив свои впечатления.

Поэтому, когда вместо «туманных» бабушка вознамерилась повести меня на «живые картины», я не проявил сильных чувств. Живые так живые, какая разница?

На Невском, между Владимирским и Николаевской, на нечетной стороне проспекта, был тогда открыт первый то ли «синематограф», то ли «иллюзион», а может быть даже и «биоскоп», — слово еще не утряслось, не кристаллизовалось. Имя ему было — «Мулен-Руж». Я знал французский и не удивился, когда над подворотней увидел красный черепичный куполок-рекламу с небольшими крыльями. Ветряные мельницы я тоже уже много раз созерцал в Псковской губернии по летам. «Мулен-Руж» — «красная мельница»...

Вместе с другими мы, не задерживаясь ни в каких фойе, были приглашены в крошечное зальце, расселись, успокоились. Бабушка, видимо что-то зная, волновалась.

Мы сидели. Впереди белел экран. Потом погас свет. Экран вдруг затрепетал, замерцал, полился... По нему, сверху вниз, понеслись водянистые искорки, черточки, та самая кинематографическая дрожь первых десятилетий «великого немого», с которой для нас, стариков, связалось вскоре самое прелестное ощущение «синематографа»... Поперек него протянулись четыре линии, четыре проволоки. Справа появилась вершина телеграфного столба с фарфоровыми изоляторами. За столбом скруглилось белое пышное облако. «Туманные картины»?!. И вдруг...

Весь зал громко вздохнул: «Ох!» — потому что из-за столба, из-за края кадра, вылетела птица, ласточка. Часто дрожа крыльями, она вцепилась в проволоку, дернула головкой. И вот — вторая, третья, пятая... Целая стайка ласточек расселась на четырех телеграфных проводах. В мерцании экрана они вертели круглыми головами, теснили друг друга, взмахивали крылышками, сохраняя

равновесие. Ласточки! Самые настоящие ласточки! Совершенно живые, действительно живые...

Одна из них вспорхнула и улетела; потом — три, потом — десять... Провода опустели. Столб с изоляторами был на своем месте, но облако, медленно меняя форму, плыло теперь уже на середине светлого поля...

И тут публика зашумела, заговорила, раздались аплодисменты, люди стали вставать... На экране побежала черная надпись: «Конец».

Да, на этом и кончился сеанс, и зрители, громко обмениваясь впечатлениями, пораженные и потрясенные, вывалились на Невский. Но у меня есть смутное подозрение. Иногда мне начинает казаться, что я успел прочесть надпись до конца, что там было еще написано и что-то вроде «Глупышкин в кафе-шантане» и что это не сеанс кончился, а бабушка, ужаснувшись, схватила меня за руку и увела от соблазнов...

Теперь, задним числом, я все время удивляюсь, с какой чудовищной быстротой эти смешные «живые картины» (неважно: если не ласточки, так был паровоз, накатывающий на зрителей, какие-то дамочки в юбках до пят, которые немилосердно трепал ветер, морской прибой, бьющий о каменистый берег) выросли в настоящее «кино». Ведь уже через какие-нибудь шесть-семь лет почти не было в Питере улицы, на которой не светились бы составленные из желтоцветных «угольных» лампочек рекламы бесчисленных «видовых», под разбитое фортепиано шли уже и комедии Макса Линдера, и «тяжелые драмы» с мировой красавицей Франческой Бертини, и исторические (что это была за история!) постановки с силачом Мацисто...

И уже запестрели заглавия самого сногсшибательного сорта. В «Ниагаре» могла идти «Обнаженная наложница», а в «Тип-Топе» — «В лапах развратника» или «В когтях

негодяя». Еще все было неопределившимся и неустоявшимся, но впереди уже ощущалось киноискусство, кино — соперник и литературы и театра, кино двадцатых годов.

Быстрее и неожиданнее его за те же годы возникла, выбросила первые побеги и вдруг стала расти не по дням, а по часам еще только одна отрасль всей видимой техники — авиация.

ЗА ПОЛВЕКА ДО ГАГАРИНА

Насколько я теперь припоминаю (может быть, и ошибаюсь), первым «авиатором», иностранцем, продемонстрировавшим в России, в Петербурге, настоящий, хотя и очень коротенький, полет, был француз Леганьё. По-моему, летал он на биплане «Вуазен» — странной продолговатой матерчатой коробке с несколькими сплошными вертикальными стенками между двух плоскостей, с кубической формы тяжелым рулевым оперением за спиной, на конце решетчатой фермы, и с рулем высоты, вынесенным, наоборот, вперед, на нос удлиненной «гондолы»-лодочки.

Я не видел его полета, да и мало кто из петербуржцев удостоился этой чести. Леганьё обосновался по понятным причинам не в Питере, а в Гатчине: там тогда стояли воздухоплавательные части, был большой эллинг для дирижаблей у деревни Салюзи; там и был проведен первый полет. Но должен прямо сказать, что, еще не видя ни разу человека, поднявшегося в воздух, я как-то заранее ощутил трепет приближения этой новой, крылатой эры.

Уже в 1908 году былое мое увлечение — паровозы — потускнело в моих глазах. На витринах писчебумажных лавчонок начали появляться открытки, изображавшие полеты первых аэропланов за границей. В газетах замелькали имена авиаторов и изобретателей, теоретиков и

практиков полета. Появились портреты интеллигентного француза в котелке — это был инженер Луи Блерио. Два американца смотрели на меня со страниц «Огоньков» и других иллюстрированных журналов: Вильбур Райт походил на типичного пресвитерианского пастора — сухое лицо фанатика, впитавшее в себя даже что-то от индейцев, какими мы их представляли себе по Куперу и Майн-Риду; Орвил был совершенно не похож на брата — черноусый южанин, не то француз, не то итальянец.

Прославился маленький бразилец Сантос-Дюмон, построивший во Франции аэроплан-лилипутик, способный поднять в воздух только своего, весящего чуть ли не сорок кило, строителя: смелый конструктор сидел на этой «Демуазелль» («Стрекозе») у самой земли, между колесами хрупкого шасси. Журналы веселились: «первую вспышку в цилиндрах своего доморощенного мотора Сантос будто бы вызывал, поднося к нему тлеющий фитиль, привязанный к каблуку собственного ботинка». Впрочем, не верить было трудно: еще один француз, сотрудник Вуазенов и Фарманов, художник — кто только не шел в авиацию! — Делегранж сам писал по поводу одной из своих машин, что отдельные части в ней держались только «логикой рассуждения».

В эти первые дни газеты еще ничего не писали о русских летчиках; я ничего не слыхал ни о Ефимове, ни о Попове, ни о Рудневе или Мациевиче. Но я уже всюду ловил брошюры и книжки, посвященные летному делу, знал наизусть и статьи Вейгелина, и переводные писания капитана Фербера. Немцы умели рекламировать свое: их цеппелины заполнили рынок открыток; отовсюду смотрели на вас сигарообразные тела огромных воздушных кораблей, и рядом с ними — до предела немецкое, седоусое и седовласое, розовое лицо самого графа Цеппелина, которого так легко было спутать на плохих клише не то

с Бисмарком, не то с Мольтке — с любым из «великих немцев» прусского периода Германии.

Среди других имен дошло до меня и имя Губерта (т. е. Юбера) Латама. Про него писали: аристократ, прославленный охотник на львов; увлекся авиацией, связался с фирмой Левассёр, строящей монопла̀ны «Антуанетта», и вот теперь ставит на них рекорд за рекордом.

Горбоносый щуплый француз в пестром плоском «кепи» — тогда они впервые появились у нас, эти будущие самые обыкновенные кепки, и я не отстал от матери, пока мне не купили такую «авиаторскую фуражку», — пленил мое сердце, стал моим фаворитом (ну как же! «Охотник на львов»!). И когда я увидел где-то на городской стене первую афишу, извещавшую петербуржцев, что на Комендантском скаковом поле за Новой Деревней в 11 часов утра 21 апреля 1910 года знаменитый французский авиатор Губерт Латам продемонстрирует желающим свое удивительное и героическое искусство, — всем окружающим стало сразу же ясно, что в этом особом случае удерживать меня нельзя. Не пустить меня на этот «полет» — значило бы буквально убить меня. Пустить же — означало поехать туда со мной: по всем признакам, дело пахло сенсацией, и позволить девятилетнему толстому мальчишке-школьнику отправиться одному туда, где может собраться невесть сколько народа, мама никогда не рискнула бы.

И вот свершилось. Было заранее известно: полет состоится только при ясной погоде. Я дрожал всю ночь, проснулся чуть ли не до солнечного восхода. День — весенний день, радостный, чистый, — выдался лучше не надо!

Мы ехали со своей Выборгской по Каменноостровскому, но я ничего не запомнил из этой поездки, кроме одного: у Строганова моста были — я заранее знал об этом —

водружены высокие разубранные лентами мачты: если полет состоится, на них должны быть подняты флаги; если нет — флаги будут приспущены. Почему не состоится? Мало ли... Например, из-за ветра...

Чуть живой от волнения, я вылетел пулей на переднюю площадку вагона: флаги на обеих мачтах слегка полоскались в легком ветерке, а по мосту в сторону Новой Деревни текла никогда еще мною не виданная до этого дня толпа.

Поразительно, как глубоко врезаются в память, какими острыми невытравимыми бывают детские впечатления. Сколько бы я ни прожил, никогда не забуду этого дня. Не забуду светлого весеннего солнца над бесконечно широким и зеленым скаковым полем; не забуду высоких, многоярусных, увенчанных веселыми флагами, кипящих целым морем голов трибун на его юго-западном краю; и мальчишек (да и взрослых людей), гроздьями повисших на еще не одетых листом березах за забором. Не забуду меди нескольких оркестров, вразнобой игравших — тут «На сопках Маньчжурии», там «Кек-уок», в третьем месте «Варяга» или «Чайку», и краснолицых «капельмейстеров» в офицерских шинелях, управлявших этими оркестрами... И синей каймы деревьев Удельнинского парка на северо-восточной границе поля, и домишек деревни Коломяги, еще дальше и левее, и — прежде всего, главнее всего — маленького светло-желтого, «кремового цвета», самолетика, окруженного горсточкой хлопотливо возившихся с ним человечков, да, на некотором расстоянии, зеленовато-серых солдат, оцепивших его редким кольцом.

Самолет стоял прямо перед нами, но довольно далеко; только в мамин бинокль можно было видеть, как ползают под ним и по нему черненькие фигурки, как кто-то садится, как в ванночку, в его пилотскую «гондолу», что-то

делает в ней, крутит колесико штурвала, укрепленное на левом борту, опять выскакивает, опять садится... Время от времени одна из фигурок подходила к поблескивающему на носу полотняной воздушной лодочки «пропеллеру», бралась за него, делала резкое усилие. «Пропеллер» (слово «винт» тогда никем не употреблялось, и я не знал его) вздрагивал, судорожно раскачивался, сливался вдруг в прозрачный круг и снова останавливался, делая два-три таких же спазматических движения — как маятник, качающийся с упором, с надсадом... Над машиной поднималось легкое облачко сизоватого дыма, до трибун сначала доходило всем знакомое уже по автомобилям фырканье мотора, а потом легкий, теплый ветер доносил до нас запах — странный, пресный, не поймешь, то ли тошный, то ли чем-то очень приятный — запах горелого касторового масла. Вокруг, принюхиваясь, морщили носы дамы в огромных шляпах; почтенные мужчины в котелках и в офицерских фуражках пожимали плечами: «Н-да-с, душок... Крылатые люди-то... Припахивают какой-то сатанинской гарью! Ну что же, полетит он или не полетит?»

И вероятно, только в носах таких мальчишек двадцатого века, как я, этот сладко-пресный касторочный смрад отлагался уже основной «нотой» будущих воспоминаний: сто́ит только мне услышать или произнести слово «авиация», и запах этот через полстолетия возникает во мне — неотразимый и неотвратимый, притягательный, тревожный. Запах марсианского мира техники, каким он явился мне тогда, в тот незабываемый день моего детства...

Прошел полдень. Заполненные до отказа трибуны гудели, как целая пасека титанических ульев. Вдоль нижних первых рядов, счастливые такой нежданной коммерцией, катали свои голубые, зеленые, темно-синие ящики на колесах мороженщики. Разносчики лимонада, булочники с корзинами, поскрипывающими за плечами или чудесным

образом, без всякой поддержки, в волшебном равновесии установленными на специальных кожаных бубликообразных подушечках на голове, поверх картуза, торговцы мелким кондитерским товаром собирали обильный урожай. Мама скормила нам невесть сколько пачек шоколада «Гала-Петер», поила нас то нарзаном, то грушевой и лимонной шипучкой, подзывала продавцов, находчиво доставивших сюда уже и бутерброды с семгой, с кетовой икрой... Несколько раз она уже порывалась сказать: «Ну, дети, довольно», но, посмотрев на меня, ясно видела, что брата еще можно увести, а меня — только унести трупом.

Да надо сказать, и трибуны не пустели. Может быть, кто-то уходил, но появлялись новые. Шумела, посвистывала, изощрялась в добродушных насмешках «та» публика, на заборах и деревьях... Где-то сломался сук, где-то затрещала изгородь. Туда рысью пробежал околоточный с несколькими городовыми — «Ого! Эти уже — полетели. Видишь, разбег берут!»

А уйти было и немыслимо, потому что желтая полотняная птичка «Антуанетта» (это был очень неудачный по конструкции, но очень изящного очертания аэроплан, похожий в полете — у меня было несколько цветных открыток с ним — сразу и на стрекозу и на какого-то птеродактиля, с остроугольными, причудливой формы крыльями и хвостовым оперением; он мне очень нравился по открыткам), — эта птичка не оставалась ни минуты спокойной.

Два или три раза Латам, в своей «фирменной» мягкой шахматной кепке (вроде как у Олега Попова через шестьдесят лет), садился на пилотское место, давал газ... Под нарастающий гул трибун «птеродактиль» все быстрее и быстрее пускался бежать туда, к Коломягам... Вот сейчас, вот еще чуть-чуть...

Стоп! Покачиваясь, машина (эти полотняные штучки трудно было и тогда назвать машинами, говорилось «ап-

парат»; а уж особенно — из нашего теперешнего представления о «машинах») останавливалась. Солдаты, стоявшие у начала пробега в таких позах, что казалось, каждый из них сам готов был взлететь, — кто впробежку, кто с ленцой шли туда, где она замерла. Ее разворачивали, волокли обратно, и было видно, как сам Латам и французы-механики сначала болели душой за свой «аппарат», как потом они удостоверились, что руки русских людей могут и не такую вещь доставить куда угодно в полной «нерушимости», и уже спокойно, не вмешиваясь в дело, шли по траве за «Антуанеттой» своей. И опять все начиналось заново...

Я больше всего опасаюсь, вспоминая, принять за воспоминания свои же более поздние примыслы к тому, что было. Но мне представляется совершенно ясно, что и мы с мамой, и десятки, если не сотня, тысяч петербуржцев — этих самых флегматичных, сухих, «ни на что не способных отозваться душой, вроде даже как и не русских по натуре, людей» — досидели там, на трибунах скакового поля, до вечера. «Антуанетта» все фыркала, облачка дыма все голубели, запахом горелой касторки совсем забило запах мыла «Ралле и Брокар», благоухание одеколонов «Четыре короля» и «Царский вереск», а бесчисленное множество народа — того народа, которого кабинетные умники все еще хотели бы считать «народом-богоносцем», хотя в толще его уже росли в эти годы, уже жили будущие Графтио и Ветчинкины, Чапаевы и маршалы Малиновские, главные конструкторы космических ракет и победители Перекопа и покорители Берлина, — бесчисленное множество этого народа — от студентов до подмастерьев, от светских дам до белошвеек — ворчало, поругивалось, острило над французом, над самими собой, над авиацией и техникой, вспоминало, кто пограмотней,

горбуновское пресловутое «от хорошей жизни не полетишь» и — не расходилось!

И вот солнце пошло к закату. В Удельнинском парке под его лучами выделились красные стволы сосен. Налево, к Лахте, над травой болот начал тянуться чуть заметный туманчик. И вдруг желтый беспомощный аэроплан заревел по-новому, мужественным, решительным рычанием. Как и во все предыдущие разы, он, подпрыгивая на неровностях почвы, побежал туда, на запад, в сторону заката. Дальше, дальше... И вдруг между его колесиками и травой образовался узенький зазор. Он расширился. Под машиной открылись холмы у Коломяг... Сто ли там было нас тысяч или восемьдесят, не знаю, но вздох вырвался один: «Летит! Батюшки, летит!», «Ма шэр, иль воль, иль воль, донк!», «Мама, мама, мама, ну смотри же — полетел!»

Это продолжалось считанные секунды, не больше одной или двух минут. Силы природы возобладали над силами человеческого гения; возобладали — *пока что!* Латам поднялся не знаю на какую «высоту» — может быть, метров на двадцать, — пролетел наверняка не более ста или полуторасот метров (что я, метров! Саженей, конечно; какие же тогда были метры!) и вдруг — потеряв летучесть, но не присутствие духа — «планирующим спуском» (я-то ведь все это уже знал!) вернулся на землю. И как вам кажется, что тогда случилось?

Само поле было отделено от трибун и от ворот традиционной в те времена препоной: бело-красно-черным, как на караулках XIX века, как на Марсовом поле, шнуром-канатом, натянутым на такие же полосатенькие короткие столбики, за которыми похаживали взад-вперед в черных шинелях хорошо кормленные усатые городовые.

И вот — в один миг — ничего этого не стало: ни ограждения, ни городовых. Десятки тысяч людей, питерцев, с

ревом неистового восторга, смяв всякую охрану, неслись по влажной весенней траве, захватив в свою вопящую, рукоплещущую на бегу массу и солдат стартовой команды, и горстку французов, и русских «членов аэроклуба», и разнаряженных дам, и карманных воришек, чистивших весь день кошельки у публики, и филёров, и разносчиков съестного, — неслись туда, где торопливо, видя это приближение и еще не понимая, к чему оно, то выскакивал наружу, то вновь испуганно вжимался в свою маленькую ванночку-гондолу сам мсье Юбер Латам.

Я был тогда в общем довольно «законопослушным» мальчишкой; от меня не приходилось ожидать существенных нарушений установленного требования: от мамы «далеко не отходить!». Но тут все правила упразднились на корню. Я верещал несусветное и мчался вместе с другими сверстниками, самыми разными — и гимназистами, и учениками городских училищ, и «вовсе поулочными мальчишками», — опережая взрослых тяжеловесов. И мне до сих пор непонятно (а может быть, теперь уже и понятно! Я же тоже был потом отцом!), как мама моя — женщина много выше среднего роста, настоящая «дама» в бальзаковском возрасте, с прекрасной молодой фигурой, но все же скорее полная, чем худая, в тогдашней безмерно длинной юбке, в тогдашней шляпе, укреплённой на ее белокурой голове длиннейшими булавками, — как она, влача за ручку братца моего Всеволода, домчалась до самолета почти одновременно со мной. Я все-таки считаю, что один материнский инстинкт не дал бы такого спортивного эффекта; тут проявилась, видимо, и ее страстная любовь ко всему новому, «передовому», прогрессивному, небывалому...

Конечно, хотя мы, мальчишки, финишировали первыми и я вдруг увидел совсем близко от себя горбоносый профиль маленького Латама, растерянную, не без примеси

страха улыбку на его лице, — взрослые, пыхтя догнавшие нас, оттеснили нас от авиатора. Они подхватили его на руки. «Качать» тогда не было принято, а то бы плохо ему пришлось; но вот «нести на руках» — это полагалось. Латама понесли на руках, и мы были бы безутешны, если бы студентам — политехникам, технологам, лесникам, военно-медицинским, да даже и голубым околышам — универсантам — не пришла в голову блестящая идея: нести на руках и «аэроплан». И тут я восторжествовал. Я так ухватился за изогнутый, светло-желтого дерева, напоминающий хоккейную клюшку костыль машины, что если бы все сто тысяч начали оттаскивать меня от нее, оборвались бы либо мои руки — по плечо, либо хвостовое оперение «Антуанетты».

Налево был, вылепленный темными, вечерними «обобщенными» массивами, как на одной из картин Левитана, лес — Удельнинский парк. Направо — полупустые теперь трибуны. Впереди, как победителя-спартанца, на составленных в «черепаху» щитах несли на руках не совсем понимающего, за что ему такая честь в этот, не вполне удачный, день *, львиного охотника. Сзади неспешно двигался аэроплан. Вокруг юлили чернявые французики-механики, но опять-таки они скоро махнули на все рукой и отдали свой аппарат на волю русского народа. И я, счастливый, гордый толстый мальчишка, держался за свой отвоеванный костыль.

И хорошо они сделали, что отдали: донесли в полной целости!

* В газетах 1910 года пестрели заголовки: «Неудачный полет», «Фиаско Латама» и т. п. Российский Императорский аэроклуб по договору должен был выплатить авиатору большую сумму денег, при условии, что тот продержится в воздухе 120 секунд. Латам оторвался от земли на 100 секунд и оплаты не получил. Опасаясь претензий с его стороны, импрессарио мобилизовали прессу, чтобы создать впечатление провала.

Мы подзадержались из-за всего этого, и тоже на свое благо: не попали в самый трам-тарарам разъезда. Но и сейчас, конечно, за воротами поля было жарко.

Трамваи «двойка» и «тройка», отчаянно звоня, обвешанные до крыш, еле пробирались в возбужденной, невесть чему радующейся людской реке. Кучера собственных выездов только головами тростили, сидя на высоченных козлах: куда тут сдвинешься! Полный затор!

Но... Мы жили в мире частного предпринимательства. Все извозчики города, чуткие, как барометр, к любой возможности подзаработать, таинственными путями — и с неменьшей точностью, нежели нынешние американские Геллапы, учитывавшие ритм общественных движений, — разведали, что́ готовится и что может произойти. С вытаращенными глазами, яростно нахлестывая запаленных кляч своих, они рвались к скаковому полю со всех возможных сторон; не по забитому Каменноостровскому только, но и по Выборгской и Строгановской набережным, и по набережной Черной речки... Некоторые, самые инициативные и бойкоконные, не задумывались даже хватануть в объезд, через Сампсониевский, по Флюгову, по Языкову переулкам, по Сердобольской улице, даже по Ланскому шоссе... Стоя над потрепанными передками своих дрожек, обалдевшие от азарта, с красными лицами и ухарски сдвинутыми на одно ухо своими синими извозчичьими шапками, рыжебородые, черные как цыгане, седые, кроя последними словами соперников, они рвались встречным потоком к воротам, в надежде подхватить ближнего седока, сгонять с ним в город и вернуться по второму заходу... И уже, конечно, в веселой толпе появились то ли с утра принесенные, то ли где-то на месте обретенные косушки. И уже подвыпившие мужья сопротивлялись своим женам, и те костыляли их по затылку:

«Иди, иди, латам проклятый... Ты у меня дома полетишь с третьего этажа! Ты у меня полетаешь!»

Мама наша не имела соперниц в двух видах «спорта»: лучше ее, как уже говорилось, никто не умел торговаться и нанимать извозчиков.

К тому же мы были выгодными пассажирами: нас можно было везти не по «самому бою», а спокойно, по сравнительно свободной трассе — через Ланскую и прямо на нашу Нюстадтскую.

Так мы и поехали...

...Все первоначальное развитие авиации потом прошло у меня на глазах. Я видел, как М. Н. Ефимов ставил рекорды высоты и продолжительности полета. Я видел, как улетал в свой победный полет Петербург—Москва А. А. Васильев. Много-много лет спустя я имел радость присутствовать и при прилете и при дальнейшем отлете в бесконечно длинный рейс одного из последних цеппелинов с доктором Гуго Эккенером в качестве командира. Я стоял в толпе, когда к Северному полюсу отправлялась в первый рейс экспедиция Амундсена—Нобиле и изящная «Норвегия», старшая сестра злополучной «Италии», разворачивалась в ленинградском небе.

Но никогда я не испытывал такой полноты счастья, такой гордости за человека, как в тот незабываемый день, когда Юбер Латам подпрыгнул саженей на десяток над свежей травой поля за Новой Деревней и, пролетев сотни три шагов, снова опустился на ту же траву.

Я счастлив, что через полвека после этого мне довелось испытать еще один такой же душевный толчок: на этот раз на экране телевизора по ковровой дорожке к трибуне правительства шел совершенно неправдоподобным по четкости шагом неправдоподобно обаятельный молодой советский офицер, и в комнате, где стоял тот телевизор, было слышно только, как, задыхаясь, ста-

раются мужчины не всхлипывать и не уподобляться в голос ревущим от счастья и умиления, от гордости и восторга женщинам. Это было 13 апреля 1961 года.

Marcia funebre *

Нет, был — и на том же самом Коломяжском скаковом поле, кажется уже успевшем превратиться в Комендантский аэродром, — еще один вечер, которого не забудешь, — теплый вечер осени того же 1910 года.

Шел «Праздник авиации»; не в пример первым «Авиационным неделям», его участниками были по преимуществу русские, отлично летавшие пилоты — военные и «штатские». Михаил Ефимов, про которого летчики долго говорили, что «Миша Ефимов может и на письменном столе летать», А. Попов, почему-то крепко державшийся за довольно неудачный и устарелый самолет братьев Райт (его запускали в воздух без колесного шасси, на своеобразных полозьях по рельсу и при помощи примитивной катапульты), двое моряков — капитан Лев Макарович Мациевич и лейтенант Пиотровский, поручик Матыевич-Мацеевич, капитан Руднев... Были и другие.

Мне было уже десять лет; я теперь ходил на «Праздник» сам, один, не пропуская ни одного дня, и все с тем же энтузиазмом «нюхал свою касторку».

В тот тихий вечер летало несколько авиаторов; даже незадачливый поручик Горшков и тот поднялся несколько раз в воздух. Но героем дня был Лев Мациевич, ставший вообще за последнюю неделю любимцем публики.

---

* Имеется в виду марш из «Героической симфонии» Бетховена: «Márcia fúnebre sulla mórte d'un éroe», т. е. «Похоронный марш на смерть героя» (*ит.*).

Лев Макарович Мациевич летал на «Фармане-IV», удивительном сооружении, состоявшем из двух, скрепленных между собой тончайшими вертикальными стойками, желтых перкалевых плоскостей: в полете они просвечивали, были видны их щупленькие «нервюры» — ребрышки, как у бочков хорошо провяленной воблы. Между стойками по диагоналям были натянуты многочисленные проволочные растяжки. Сзади, за плоскостями, на очень жидкой ферме квадратного сечения летели на ее конце два горизонтальных киля и между ними два руля направления; руль высоты был вынесен далеко вперед на четырех, сходящихся этакой крышей, кронштейнах: длинный, узкий прямоугольник, такой же просвечивающий в полете, как и сами плоскости этой «этажерки».

Внизу имелось шасси — четыре стойки, поддерживающие две пары маленьких пневматических колес, между которыми, соединяя их со стойками, проходили две изогнутые лыжи. Это все также было опутано многочисленными стальными тяжами-расчалками.

На нижнюю плоскость, у самого ее переднего края (ни про какое «ребро атаки» мы тогда и не слыхивали), было наложено плоское сиденье-седельце. Пилот садился на него, берясь рукой за рычаг руля высоты, похожий на ручку тормоза у современных троллейбусов или на рукоять перемены скоростей в старых автомашинах. Ноги он ставил на решетчатую подножку уже за пределами самолета, вне и ниже плоскости, на которой сидел: ногами он двигал вертикальные рули, рули поворота. Снизу было страшно смотреть на маленькую фигурку, чернеющую там, на краю холщовой, полупрозрачной поверхности, с ногами, спущенными в пространство, туда, где уже ничего не было, кроме незримого воздуха, подвижного, возмущаемого и ветром и поступательным движением аэроплана. В тридцатых годах я некоторое время занимался

планеризмом — очень живо вспомнил я, подлетывая на учебных планерах, героев, летавших на «Фарманах»...

Мотор, пятидесяти- или стосильный звездообразный «Гном», бешено вращавшийся на ходу вместе с укрепленным на его валу пропеллером, был расположен у летчика за спиной. «Фарманисты» хвалили это расположение: перегоревшее масло с цилиндров летело в струе воздуха назад, а не плевалось пилоту в лицо, как было на монопланах «Блерио». Но была, как выяснилось, в этой установке мотора сзади, как бы в клетке из тонких проволочных тросиков, натянутых тендера́ми, и большая, коварная слабина.

Я уже сказал: в тот день Мациевич был в ударе. Он много летал один; ходил и на продолжительность, и на высоту полета; вывозил каких-то почтенных людей в качестве пассажиров...

Летный день затянулся, и я, разумеется, все сидел и сидел на аэродроме, стараясь, как метеоролог, вернее, как пушкинский «рыбак и земледел», по никому из непосвященных не понятным приметам угадать: уже конец или будет еще что-нибудь?..

Мотор Мациевичева «Фармана» — «Гном» в сто лошадиных сил! — заревел баском, уже когда солнце почти коснулось земли. Почерк этого пилота отличался от всех: он летал спокойно, уверенно, без каких-либо фокусов, «как по земле ехал». Машина его пошла на то, что в те времена считалось «высотой», — ведь тогда даже среди авиаторов еще жило неразумное, инстинктивное представление, что чем ближе самолет к земле, тем меньше опасности; так, вероятно, — держи ближе к берегу! — понимали искусство навигации древние мореплаватели.

«Фарман», то, загораясь бликами низкого солнца, гудел над Выборгской, то, становясь черным просвечивающим силуэтом, проектировался на чистом закате, на

фоне розовых вечерних облачков над заливом. И внезапно, когда он был, вероятно, в полуверсте от земли, с ним что-то произошло...

Потом говорили, будто, переутомленный за день полета, Мациевич слишком вольно откинулся спиной на скрещение расчалок непосредственно за его сиденьем. Говорили, что просто один из проволочных тяжей оказался с внутренней раковиной, что «металл устал»... Через несколько дней по городу поползли — люди всегда люди! — и вовсе фантастические слухи: Лев Мациевич был-де втайне членом партии эсеров; с ним должен был в ближайшие дни лететь не кто иной, как граф Сергей Юльевич Витте; ЦК эсеров приказал капитану Мациевичу, жертвуя собой, вызвать катастрофу и погубить графа, а он, за последние годы разочаровавшись в идеях террора, решил уйти от исполнения приказа, решил покончить с собой накануне намеченного дня...

Вероятнее всего, то объяснение, которое восходило к законам сопротивления материала, было наиболее правильным.

Одна из расчалок лопнула, и конец ее попал в работающий винт. Он разлетелся вдребезги; мотор был сорван с места. «Фарман» резко клюнул носом, и ничем не закрепленный на своем сиденье пилот выпал из машины...

На летном поле к этому времени было уже не так много зрителей; и все-таки полувздох, полувопль, вырвавшийся у них, был страшен... Я стоял у самого барьера — и так, что для меня все произошло почти прямо на фоне солнца. Черный силуэт вдруг распался на несколько частей. Стремительно черкнул в них тяжелый мотор, почти так же молниеносно, размахивая руками, пронеслась к земле чернильная человеческая фигурка... Исковерканный самолет, складываясь по пути, падал — то «листом бумаги», то «штопором» — гораздо медленнее, и, отстав

от него, какой-то непонятный маленький клочок, крутясь и кувыркаясь, продолжал свое падение уже тогда, когда все остальное было на земле.

На этот раз солдаты аэродромной службы и полиция опередили, конечно, остальных. Туда, где упало тело летчика, бежали медики с носилками, скакала двуколка «Красного Креста»...

...Поразительно, как по-разному заставляет действовать людей их подсознание. Где-то рядом со мной бежал в тот вечер к страшному месту мой будущий одноклассник, а в еще более отдаленном будущем инженер-авиастроитель, Борис Янчевский. Он кинулся — уже тогда — не к месту, куда упал человек, а туда, где лежал, еще вздрагивая и потрескивая, разрушенный самолет. Оборванные толчком, тут же на траве валялись два куска проволоки, стянутых особым винтом-тендером. Никто не интересовался такой чепухой. Одиннадцатилетний мальчуган подобрал эту проволоку и эту двойную винтовую муфточку — тендер.

Как-то, в тридцатых годах, инженер Янчевский показал мне свою замечательную коллекцию — много десятков, если не сотен, всевозможных тендеров; первым среди них был тендер от «Фармана» Мациевича. Такой коллекции не было больше ни у кого в стране, и какие-то конструкторские организации засылали к Б. А. Янчевскому своих доверенных с предложениями уступить им его коллекцию — нужную им «до зарезу». Видимо, уже в то время, когда первоклассник Янчевский представления не имел, что́ выйдет из него четверть века спустя, было, жило в нем что-то, что отлично предвидело его будущий путь, его интересы, дело его жизни... Он и должен был стать инженером.

А мне — по-моему, это тоже ясно — как я тогда ни увлекался авиацией, паровозами, техникой, с каким

упоением ни читал книги Рынина, Рюмина, Перельмана,— мне всем душевным строем моим был преднамечен другой путь (я еще не подозревал об этом).

Я даже не подошел к остаткам самолета. Я, подавленный до предела, совершенно не понимая, что же теперь будет и как надо себя вести, — это была вообще первая в моей жизни смерть! — я стоял над неглубокой ямкой, выбитой посреди сырой равнины поля ударившимся о землю человеческим телом, пока кто-то из взрослых, увидя мое лицо, не сказал мне сердито: «Детям тут делать нечего!» Но я все стоял и смотрел. Видно, мне «было что тут делать».

Потом, еле волоча ноги, я ушел. Но я тоже унес с собой и сохранил навсегда запах растоптанной множеством ног травы, мирный свет очень красного в тот день заката, и рычание мотора в одном из ангаров — его, несмотря ни на что, «гонял» кто-то из механиков, — и ту вечную память о первом героически погибшем на моих глазах человеке, что позволила мне сейчас написать эти строки.

Льва Макаровича хоронили торжественно. Я поднял весь свой класс; мы собрали деньги, ездили к Цвернеру, под «Пассажем», покупать венок и возложили его на еле видный из-под груды цветов гроб в морской церкви Спиридония в Адмиралтействе. Девочки — я учился в «совместном» училище — плакали; я, хоть и трудно мне было, крепился.

Но потом мама, видя, должно быть, что мне все-таки очень нелегко, повела меня на какое-то то ли собрание, то ли утренник памяти погибшего героя, «Первой Жертвы Русской Авиации» — так неточно и нечисто писали о нем журналисты, как если бы «Русская Авиация» была чем-то вроде разъяренной тигрицы или землетрясения, побивающего свои «жертвы». Я не помню, что это было за собрание и где оно происходило: то ли в Соляном

городке, то ли, может быть, в Петровском коммерческом училище... Где-то на Фонтанке.

Все было бы ничего. Я бы выдержал и речи, и некрологи. Но устроителям пришло в голову завершить церемониал «гражданской панихиды» траурным маршем, а музыканты вместо обычного, хорошо мне знакомого, так сказать «примелькавшегося», шопеновского марша вдруг обрушили на зал и на меня могучие, гордые и бесконечно трагические вступительные аккорды Бетховена: «Márcia fúnebre sulla mórte d'un éroe...»

И вот этого я не вытерпел. Меня увели домой.

Ах, какая гениальная вещь, этот погребальный и торжествующий бетховенский марш; как я всю жизнь слышу его при каждой высокой смерти, и как всегда его звуки как бы смывают все реальное перед моими глазами и открывают им Коломяжское поле, лес на горизонте, низкое солнце и «листом бумаги» падающий к земле самолет...

ДОБРЫЙ, СТАРЫЙ ТРАМВАЙ

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы:
Передо мною летел трамвай!..

Н. Гумилев

Хочется мне рассказать, какие воспоминания возникают у меня всякий раз, как передо мной, изгнанный с шумных и людных главных магистралей, устарелый, мало кому теперь милый, катится старик-трамвай. Ведь я-то вырос рядом с ним; он моложе меня всего лет на восемь, и я прекрасно помню время, когда он не мне одному казался знамением прогресса, примером сверхсовременного транспорта, своего рода представителем нашего питерского Завтра.

Мне было без малого восемь лет, когда от Финляндского вокзала начали совершать регулярные рейсы трамвайные вагоны 1-го маршрута («Финл. вокз. — Нарвск. вор.») и 10-го, совсем коротенького: «Финл. вокз. — Михайл. площ.». У «первого» были лиловый и оранжевый сигнальные огни, у «десятого» — оранжевый и лиловый.

Не приходится удивляться, что все мы, тогдашние мальчишки, в первые же дни потребовали причастить нас к этой сенсации. Тем более это было естественно для меня: я учился в Выборгском коммерческом, Финский переулок, 5, у самой петли обоих маршрутов.

Помню остро пахнущий свежий лак скамеек — желтых и нарядных, тянущихся по обеим сторонам вагона во всю его длину; помню новенькие кожаные ремни-держатели, свешивающиеся с медного прута (до этих держателей-ремней мне было тогда и став на скамейку не дотянуться; то ли дело потом, когда я, если и брался за один из них, то только у самого прута, наверху. Вот как, согласно римской пословице, «меняются времена и мы сами вместе с ними»!).

Помню, как я — до чего же был жадный до всего невиданного мальчишка! — толкая всех, кинулся «в самый перёд» и укрепился там, прижавшись носом к стеклу, выходившему на площадку.

Много лет затем я правдами и неправдами, садясь в трамвай, овладевал этим местом, так внимательно следя за каждым действием вожатого, так пристально вглядываясь в тысячекратно виденные предметы, надписи, движения, что в мозгу моем, как на дагерротипе, отпечатались на век все они. И сердитое «воспрещается разговаривать с вагоновожатым» наверху во всю ширь окна. И короткое «вкл.-выкл.» у рубильника предохранителя на потолке площадки. И рельефное: «О-во Динамо» или «О-во Вестингауз» — на верхней крышке контрóллера.

Скоро я не хуже самих вожатых знал всю последовательность их поступков во время хода вагона. Я знал, что, пуская вагон в ход, они короткими движениями переводят ручку контроллера влево на две-три зарубки, дают вагону развить небольшую скорость, затем резко возвращают рукоять в нулевое положение и так же резко перекидывают ее на полный ход...

Я следил за ними неотрывно. Когда данный «глубо́коуважатый» казался мне добродушным (женщин-вожатых не бывало до самой войны, до 1914 или 15-го года), я, делая вид, что на дверном стекле нет матовой надписи: «Выходить на площадку до остановки вагона запрещается», пробирался туда и противозаконно вступал в чрезвычайно обогащавшую меня беседу.

Спустя год я уже великолепно знал, что к чему на этой волшебной площадке. Знал, как надо тормозить воздушным и как ручным тормозом. Знал на глаз, за сколько сажен до остановки надо начинать притормаживать. Знал, как вышибает, когда внезапно, взрывом, возрастает сила тока, поступающего в мотор, автомат-рубильник над головой вожатого. Знал даже, что есть и электрическое торможение: надо только ту же ручку контроллера так подать влево, чтобы зубчик-указатель на ее втулке установился правее и выше первых выпуклых индексов на крышке. И два раза в жизни это знание принесло мне вполне весомую пользу.

В 1909 году я с матерью отправился в город покупать какие-то школьные пособия. Верная «десятка» везла нас по Литейному. Публики было немного. Я, разумеется, сидел на своем «плацкартном» личном месте, прижав нос к переднему стеклу; мама поместилась рядом со мной.

Вдруг, при переезде Кирочной, в контроллере что-то вспыхнуло, и над ним взвилось буйное, коптящее (резина

же загорелась), зловонное пламя. В долю секунды все сорвались с места, ринулись вперед. Вскочила, охваченная паникой, и мама. И она кинулась бы на площадку, если бы смятение не прорезал мой яростный визг:

— Не надо бежать, он сейчас автомат вырубит!

Чепуха, что я не испугался: я — очень испугался. Но моя вера в технику была так сильна и безгранична, что меня глубоко возмутило общее невежество: надо же спокойно ждать, пока вожатый, приподнявшись, не вырубит ток, хлопнув по рукоятке на потолке.

Вожатый вскочил со своего хлипкого стульчика, хлопнул по рукоятке, и огонь мгновенно погас.

— Мальчик-то смелый какой! — покачивая головами, удивлялись, сразу успокоившись, пассажиры. — Как завизжит!

А мальчик не был никаким особо смелым. Он был убежден, что надо делать так. Вот он и визжал.

Прошло восемь лет, и я уже потерял способность визжать так пронзительно, как в детстве. Но знание трамвайных дел сохранил.

...Не скажу уже сейчас точно, когда это могло быть: 23 или 24 февраля 1917 года. В двадцатых его числах.

Да, начиналась революция. Но она была первой революцией, которую я видел в своей жизни. Если старшие и те как-то не заметили, как «продовольственные волнения» переросли в восстание, если генерал Хабалов упустил этот очень важный для него момент, то что же удивляться, если я даже представления не имел, что́ в городе начинается и чём может кончиться? Я не видел причин отказываться от задуманного.

Я задумал вот что. Все те годы я был совершенно помешан на живописи Левитана. В грабаревской монографии я впервые увидел цветную репродукцию «Вечернего звона» и потерял покой: мне хотелось посмотреть

на саму картину. Я и сегодня так же влюблен в нее, как тогда.

В справочной части монографии (или на паспарту самой репродукции) я вычитал, что подлинник «Звона» является «собственностью Ратькова-Рожнова».

Не могу уж сейчас установить, какие неточные указания привели меня к уверенности, чтот этот «Вечерний звон» находился в 1917 году в Лесном, на Старопарголовском проспекте, на одной из принадлежавших Ратьковым-Рожновым дач.

Разумный и взрослый человек быстро пришел бы к мысли, что, кому бы из многочисленных носителей этой сановной фамилии картина ни принадлежала, ее надо искать скорее на Мойке, 1, где жительствовали сразу четыре брата Рожновы, или в Мраморном и Чернышевом переулках, где процветали еще другие важные Ратьковы (почти все — действительные статские советники), но не в захолустье Лесного...

Но я не был ни разумным, ни взрослым. Мне кто-то сказал — я свято поверил, и в тот самый февральский день не нашел себе более уместного занятия, как с утра отправиться в Лесной. (Может быть, это было уже воскресенье 25-го, но я не уверен: занятий в школах не было тогда и в будние дни.)

Туда-то я и проследовал самым обычным способом — на трамвае «шестерке» до Нижегородской, на 21-м до Спасской в Лесном. И очень быстро убедился, что там действительно есть два участка «наследников Ратькова-Рожнова», но ни о каких дачах и картинах на них и слыхом не слыхано. Нет так нет; я пустился в обратный путь.

И вот тут-то и началась одиссея.

Трамваи стали: в городе началась забастовка. День был ветреный, далеко не теплый, с метелью. Пешком

я добрался до Лесного проспекта, где-то у Батениной; это был не нынешний, густо застроенный городской проспект, — это было почти что загородное шоссе, с рельсами по одной стороне, с поземкой, метущей поперек, с занесенными снегом пустырями за канавами. И вот на нем, между Флюговым и Бабуриным переулками, я добрался до спокойно стоявших на путях двух или трех трамвайных вагонов.

Они были пусты: ни вожатых, ни кондукторов; я это видел впервые. Какие-то незадачливые путники вроде меня, грустно посмотрев на них, закрываясь от ветра, брели дальше. Но меня потянуло к вагонам: а нельзя ли их пустить в ход? Я-то — смог бы...

Нет, нельзя: умные вожатые сняли и унесли с собой рукоятки контроллеров и даже малые ключи, которыми включался ток тут же на крышке контроллера справа. Ну что же, ничего не попишешь...

И вдруг, сойдя с площадки переднего вагона, я увидел на панели водопроводчика, с ворчанием тащившего за спиной на ремне деревянный ящик, из которого торчал здоровенный гаечный ключ. Вот-то кстати!

Мы договорились мгновенно. Ему было нужно на Малый Васильевского, мне — на Зверинскую. Мы поднялись на площадку, сначала включили мотор. Ток еще был! Тогда тот же ключ перенесли на главную ось барабана, и, хотя контроллер принял из-за него варварский вид, вагон пошел...

Как только вагон двинулся с места и — шаг за шагом (я не собирался лихачествовать, да и пожилой мой напарник еще умерял мой пыл) — стал двигаться к городу, за нами погналось множество народу. На каждом шагу мы останавливались, кого-то забирали, кого-то ссаживали... Уже люди висели на подножках. И уже шел спор — куда же нам ехать? Многим надо было через Литейный мост,

а нам — мне и водопроводчику — это было совершенно не с руки.

На углу Боткинской чуть не вышло распри: здесь была развилка пути. Но набежали новые попутчики, жаждавшие попасть на Петроградскую, да и вагон-то этот был бесспорно «наш» по праву захвата. Мудрый водопроводчик (я долго помнил его фамилию и адрес) мгновенно сбегал в ближайший двор и принес оттуда ржавый ломик, без которого нам было бы никак не перевести стрелку. Перевели и поехали; и, так же неторопливо, уже к сумеркам, добрались до Тучкова моста. Вести вагон дальше мне не было никакого интереса, и я, под клики всеобщего неодобрения, малодушно смылся.

Вагон так и остался стоять тут, в самом неожиданном месте, на выезде с Большого проспекта на узкую тогдашнюю дамбу Тучкова, прямо против часовни Владимирского собора. Часовня и сейчас стоит там; в ней торгуют цветами.

Я ушел к себе домой, но через двое или трое суток, проходя по этому месту, «своего» трамвая уже не обнаружил. «Угнал» ли его так же, как и я, какой-нибудь другой дилетант или забрала полиция — не знаю. До сих пор поражаюсь: каким образом изо всего этого не вышло для меня какого-нибудь конфуза; почему никто не согнал меня, юнца, с той вагонной площадки еще по пути? А вот — не согнали!

Если прикинуть все это, думаешь: что же удивительного, если во мне с весьма ранних лет к петербургскому трамваю сложилось очень приязненное, почти «родственное», отношение?

Город наш не напрасно с давних лет именовали Северной Пальмирой. Не напрасно Пушкин любил «зимы

твоей жестокой недвижный воздух и мороз». Не случайно сохранились до наших дней с XVIII века удивительные описания петербургского неслыханного чуда — Ледяного дома.

Не приходится удивляться, что по-настоящему первый электрический трамвай у нас тоже оказался все-таки не «сухопутным», а «ледовым трамваем». Чтобы рассказать о нем, надо сначала поговорить о питерских зимах начала XX века: во многом, очень во многом они отличались от нынешних.

Уже давно — по моему счету, примерно с 1929 года — мы позабыли о былых «жестоких зимах» Петербурга: они стали намного мягче, чем были тогда — в десятилетия моего детства, отрочества и юности.

Помню, в январе двадцать девятого года я в последний раз, стоя на набережной Васильевского острова, наблюдал зрелище, ранее бывшее довольно обычным. От места стоянки на Неве своим ходом, без всяких буксиров — что могли в этой обстановке буксиры? — уходил в море который-то из наших ледокольных флагманов: то ли «Ермак», то ли «Красин».

Огромный корабль, двигаясь то вперед, то назад, то кормой, то носом, не без труда пробивал себе путь по узкой для его арктических масштабов, закованной в тяжелую зимнюю броню Неве. И невский лед уступал напору богатыря не без мрачного сопротивления. Под давлением чудовищной тяжести судна ледяной покров вспучивался до самых берегов. Слышался грозный гул. Деревянные плашкоуты невских пристаней содрогались и как бы приподнимались у гранитных набережных. Бревна, которыми они были связаны с берегом, скрипели и стонали. Но за кормой ледокола открывалось уже все большее пространство черной воды, все больше ледяного крошева вскипало и ныряло в струе могучих винтов, все

дальше и дальше расходились закрайки причудливой «майны».

Много народу стояло рядом со мной на берегу. И все покачивали головами: «Да, вот тебе и — далеко от Арктики... Вот тебе и — у себя дома! А не так-то просто и этот лед разворотить: Нева!»

Невский лед был в те годы большой силой, и я присутствовал при подлинной битве великанов...

В десятых годах питерская зима начиналась в ноябре, тянулась до марта, бывала ровной, крепкой, пробирающей до костей. И температуру мы мерили тогда не медицинским «Цельсием», как сейчас, а суровым, «уличным» «Реомюром». Если ртуть падала до 25 градусов, на пожарных каланчах поднимались на высокие железные развилки круглые кожаные «шары», и это означало, что «дети, в школу собирайтесь» отменяется впредь до... И неудивительно: ведь, чтобы получить из этой цифры наши теперешние градусы, надлежало 25 разделить на 5 и частное умножить на 6. Получится 30 градусов, — уж какая тут «школа»!

На всех уличных перекрестках загорались костры: кое-где — по полной простоте, так сказать, — дикие, бивачного лесного типа; в большинстве же своем — в специальных железных круглых цилиндрических жаровнях на ножках.

Стояла на мостовой такая железная, закоптелая и пережженная, корзина, и вокруг нее с раннего утра (да нередко и всю ночь) темнела небольшая «толпучка»: городовой в башлыке, с заиндевевшими усами и бровями, простирающий над огнем длани, «как жрец взыскующий»; дворники, оставившие в сторонке снежные лопаты и мётлы; газетчик с ближнего угла. Его занесенные легким сухим снежком «Пинкертоны» и «Газеты-Копейки», притиснутые, чтобы их не раздул ветер, кирпичами

и железками, пестрели на каменной ступеньке у входа в еще не открытый с ночи магазин или в угловую табачную лавочку... Отплясывал декабрьское «холодно, братцы, холодно!» извозчик в тулупе — лошаденка его, понурясь, дремала у ближнего фонаря; колотился посиневший нищий (а может быть, не нищий, а золоторотец из «Вяземской лавры», с каким не приведи господь встретиться в темном переулке в другую ночь); около полуночи могла подбежать погреться и какая-нибудь местная Сонечка Мармеладова... Жарко пылали березовые дровишки — «швырок», угли шипели на снегу, под жаровней темнела протаявшая за много дней ямка...

Отколе дровишки? По городу непрерывным потоком двигались ломовики с дровяных складов. Им тоже было не жарко; они всё понимали. И каждый ломовик, проезжая мимо такого костра, сбрасывал на общую пользу одно-два звонких, наскозь промерзших, с лупящейся берестой полешка; тем более — городовой стоит! Да и сам «ломовой» соскакивал на три минутки поплясать у костра, потопать валенками, поколотить над огнем друг о друга обшитые грубым холстом или кожей варежки...

Словом, вот как было прохладно:

Заинька под елочкой попрыгивает,
Лапочкой об лапочку постукивает:
Экие морозцы, прости господи, стоят;
Лапочки от холоду совсем свело...

Зимно было в тогдашнем Питере: стужи были не нынешние!

Да и вид улиц был не нынешний. Снег, как теперь, под чистую,— не убирался даже и на Невском. Его и нельзя было убирать: движение-то повсюду было санное, на полозьях; лихачи летели, «бразды пушистые взры-

вая»... В глубоком снегу, в тяжком инее стояли скверы и сады; Исаакий «в облаченье из литого серебра» сурово, месяцами, смотрел на заваленный снегом город, на белые поля Невы и Невок...

Но и Нева — я возвращаюсь к трамваям — жила тогда, в те месяцы, своей совсем не похожей на нынешнюю, зимней жизнью.

Тут и там (и почти везде) на широком речном просторе, на льду, достигавшем арктической, чуть ли не метровой, толщины, чернели очерченные прямыми линиями, огороженные веревочными оградами квадратные и прямоугольные проруби. Целыми днями мужики с пешнями высекали из речного льда огромные, метра полтора длиной, сантиметров семьдесят — аршин! — в толщину, аквамариново-зеленые, удивительно нежного тона, как бы лучащиеся изнутри, ледяные призмы. Подъезжали, пятясь, обмерзшие дровни; их задние копылы уходили под лед, на санки баграми втаскивалась такая прозрачная драгоценность, лошаденка выволакивала сани прочь из воды, ледяной параллелепипед сбрасывали на снег и устанавливали рядом с десятком других таких же, солдатиками торчащих над полыньей, глыб.

Новые и новые призмы извлекали из воды; за ужо обсохшими непрерывным потоком подъезжали из города новые и новые извозчики... Ведь никаких холодильников нигде; ни признака «хладокомбинатов», вся торговля держалась на ле́дниках, на невском голубоватом льду. Светло-прозрачные призмы соскальзывали с саней; они падали порою на уличный снег и — поднять такую один возчик не мог! — лежали или стояли там уже до весны, постепенно обтаивая, как увеличенные копии уральских камней из ювелирного магазина Денисова на Морской.

Память — странная вещь. Вот вошла в нее, столько лет назад, одна такая прямоугольная красавица между

Зимним и Адмиралтейством, на съезде с теперешнего Дворцового моста (он строился, но не был открыт)...

Весенний день, яркое, умытое солнце. Льдина стоит, вся светясь; около нее, высунув завитком язык, сидит чья-то рыжая, чистенькая собачка в ошейнике, а мальчишка лет пяти, выкручивая руку своей «прилично одетой» маме, все смотрит на собаку, все вглядывается в нее: «Мама, ну мама же! Зачем эта собака на меня так сильно язык разинула?»

Он льдины не видел; а мне она запомнилась, и хоть ей уже считанные дни оставалось тогда жить, я рад, что она воскресла теперь в этих строчках.

Зимой лед на Неве бывал тогда столь мощен, что кому-то в конце прошлого века пришла в голову удачная мысль: проложить по нему трамвайную линию от того невского спуска у Адмиралтейства, где теперь красуются два бронзовых льва, к Зоологическому саду на Петроградской, к похожим на какой-то муляж из папье-маше «американским горам» над Кронверкским каналом.

Так и было сделано. В каждый ледостав поперек широчайшего плеса у моста, где расходятся две Невы, Большая и Малая, на льду укладывались шпалы, настилались рельсы. Привозились два маленьких трамвайных вагончика — не с обычными, как у сухопутных трамваев, фигурными «дугами» над крышей, а с такими похожими на шесты бугелями, как у нынешних троллейбусов; только, конечно, по одному на каждом вагоне.

Челноками, расходясь друг с другом на «разъезде» посреди реки, эти вагончики бегали взад и вперед через нее и, вероятно, приносили барыш кому-то (не думаю, чтобы это было городское предприятие). Очень похожие на них зеленые трамвайчики ходили потом от Нарвских ворот до Стрельны. Они-то дожили до конца двадцатых годов.

* * *

То, о чем я хочу теперь сказать несколько слов, не укладывается ни в рубрику электрических сил, ни в раздел лошадиных. Речь пойдет о силах «человечьих».

Были ли в Петербурге рикши?

Э, нет, я говорю не о тех забулдыгах, которые еще и во времена нэпа, да и в первые годы после войны, подгоняли к вокзалам тележки и саночки, рассчитывая на малоденежных приезжих с тяжким провинциальным багажом. Я имею в виду таких рикш, которые возили бы людей.

Были у нас такие рикши! Я вспомнил о них потому, что стал рисовать себе зимнюю Неву моей юности.

На той Неве, кроме мостов, были еще и «перевозы». Летом кое-где вы могли, чтобы не ползти по берегу до ближнего моста, переправиться через реку на ялике или на совсем крошечном пароходике «Финляндского общества»: водяными жучками они так и бегали поперек Невы в двух или трех местах. Ну, а зимой как же?

А зимой через замерзшую реку то тут, то там разметали широкую, обвалованную по грудь человеку сыпучим снегом дорогу. Снег убирали; открывался гладкий, как зеркало, лед. Не могу сказать, устраивалось ли это только в те годы, когда Неву не забивало торосистыми верховыми льдинами, а она замерзала сама в тишине и ровности, или же были способы залить торосы водой, расколоть их и спустить подо льдом вниз... Чего не знаю, того не знаю; но такие дороги бывали.

В снежные валы втыкались веселые мохнатые елочки. На обоих берегах возводились времянки — кассы и места ожидания и отдыха — в затишке. Подвозились своеобразные, точно бы из жюль-верновского «Гектора Сервадака», с кометы Галлии выписанные, экипажи: покрытые пестрыми ковриками и полостями кресла, к ножкам которых

были приделаны полозья. Прибывали дюжие молодцы на коньках и начинали нести службу.

Вы не хотели идти ни на Николаевский, ни на деревянный Дворцовый мост, что против Медного всадника. Вы шли к перевозу между Замятиным переулком и Сенатом. Вы платили пятак в кассу, садились в кресло. Ноги вам предупредительно — особенно если вы барышня или почтенная дама — укутывали меховой полостью; за спинку кресла становился лихой удалец, и — ух-ты, ну! — как визжали санки-кресла по льду, как резал лицо встречный ветер, как горел на солнце коврик и как весело мелькали зеленые елки на снежном валу. Минута — и вы уже там...

Каждому из нас сегодня показалось бы, пожалуй, как-то не совсем удобно, чтобы вас, здорового и сильного, вез на себе чужой дядя, «рикша»...

В те годы это мало кому даже и в голову приходило. И гимназисточка, чуть привизгивая, неслась на Васильевский в полном восторге от быстроты движенья, и сама «человечья сила» не казалась ни удрученной, ни оскорбленной своим родом деятельности... Да по правде сказать, этим северным рикшам было, конечно, куда легче, чем их юго-восточным коллегам в Гонконге или на Цейлоне — в поту, на тропической жаре. Чистый воздух, быстрый бег, почти никакого трения под острыми полозьями... Хорошо!

* * *

Чтобы покончить с трамвайной темой, расскажу еще один эпизод, с нею связанный, хотя он рисует уже не столько городской транспорт сам по себе, сколько удивительную память одного, очень мне дорогого и, к сожалению, погибшего в блокаду, человека. Человека не ма-

ленького, талантливейшего математика, некогда моего однокольника, а затем профессора университета и Института инженеров железнодорожного транспорта, Сергея Аркадьевича Янчевского (я упоминал его имя во вступительных главках книги).

Сергей Янчевский обладал совершенно феноменальной, может быть именно математически организованной, хотя она охватывала вовсе не только математические предметы, памятью. Он помнил и мог запомнить решительно всё.

Он, например, держал в уме фамилии и имена всех римских пап на всем протяжении истории, с точными данными о том, кем именно был этот папа до избрания на «престол святого Петра» (и, конечно, с датами рождения, избрания и смерти).

— Климент Девятый? Избран в 1667-м, помер в шестьдесят девятом. Джулио Роспильози? Был нунцием в Испании, потом секретарствовал — ну как же ты не знаешь? — у Александра Седьмого; такое надо знать! Иоанн? Их было всего двадцать два... Одиннадцатый? Сын гетеры Марозии и папы Сергия Третьего: 931—932... Он был мальчишка и погиб в тюрьме...

— Зачем тебе это, Сергей Аркадьевич?

— Ну мало ли? А может быть, и пригодится...

Он помнил в последовательном порядке названия всех станций и полустанков на всех железных дорогах России. После гражданской войны я как-то упомянул — как место, где мне пришлось воевать, — разъезд Нахов, в самой глуши Полесья...

— Знаю, знаю: Василевичи, Нахов, Голевицы, Калинковичи, — тотчас перечислил Сергей Аркадьевич. — Ну и что там случилось?

Так вот, немного рисуясь своими возможностями (а может быть, и просто по ненасытимой потребности такой

памяти в упражнении), он неведомо когда и как запомнил попарно все номера трамвайных вагонов, моторных и прицепных, как они были в те времена сцеплены в поезда. Не маршрутные номера, а «индивидуальные», те, что написаны на передних и задних стенках вагонов над буферными фонарями.

Стоило вам заметить на улице двухвагонный поезд, у которого на переднем вагоне стояло 1311, и сказать это Янчевскому, он тотчас же говорил: «Прицепка — 723. Это — четверка». Не было смысла идти проверять его: эта фирма работала со стопроцентной гарантией, и другой мой друг говаривал в таких случаях: «Не понимаю, Сергей Аркадьевич, зачем ты путаешься с этой своей профессурой? Я бы на твоем месте — в цирке выступал. „Скажите мне ваш номер телефона, и я скажу, кто вы и где живете"». И он бы это, наверное, смог, потому что вот что с ним однажды произошло.

В конце двадцатых годов (трамвайщики меня поправят, если я ошибаюсь: я — не профессор Янчевский) по разным соображениям было введено некое усовершенствование в работу подвижного состава городских линий: трамвайные поезда были превращены в трехвагонные; мощности мотора оказалось достаточно, чтобы тащить две прицепки вместо одной.

Так, вообще, это не произвело на меня и моих близких никакого особого впечатления: нам-то не все ли равно? Но жена моя сразу ахнула: «А как же Сергей Аркадьевич теперь? Ведь у него же все перепутается?»

И я испугался, а верно, как же? При первой же встрече я адресовался к нему.

— Лев, это — ерунда! — небрежно махнул он рукой. — Я уже перестроился. Неделя, и буду знать все их по тройкам. Ну вот: моторный 1004, средний 1121, зад-

ний 467. Это — двенадцатый, парк Калинина... Пожалуйста, проверяй...

И — так оно и вышло. Через месяц его уже нельзя было поймать ни на одной ошибке.

Ну что ж? О трамваях — всё...

ПОЭТ ГЕРАСИМОВ-ПРОСТОЙ

Ах, нет: вспомнилась мне и еще одна давняя история, связанная, пусть косвенно, с ленинградским трамваем.

Не знаю, в котором году, но во время первой мировой, меня послали по какому-то делу к родственникам на Царскосельский проспект. Удобнее всего попасть туда было от Обводного, а по Обводному ходила «шестерка».

У этой «шестерки» был, пожалуй единственный в Петрограде, «круговой» маршрут, как у московской прославленной «Аннушки». Он пролегал от Финляндского вокзала к Варшавскому, по Лиговке и Обводному, затем через Николаевский мост на Васильевский, по Большому, Петроградской, по Архиерейской у Вульфовой, через Сампсониевский мост и снова к Финляндскому вокзалу. Колечко — крупного радиуса!

Со своей Восьмой линии (мы тогда жили еще там) я мог добраться до цели хоть «посолонь», хоть «противосолонь»: по часовой стрелке и обратно. Почему-то в тот день я отправился «левым плечом вперед».

Был мокрый весенний день, то ли мартовский, но в самом конце, то ли апрельский, тогда — в начале. Природным питерцам по душе эти приморские, немного сумасшедшие, неуравновешенные дни.

...По небу бегом бегут легкие рваные облака — все с запада, с запада. Вдруг солнце, вдруг хмурая тень. То

чуть не жарко, то сечет реденький снежок. Тени тучек мчатся по красным петербургским крышам, поперек вспухшей, бело-сизой Невы... То закроют Исаакий, то откроют... Ох, как вспыхивает он тогда влажными искрами золотого купола... Петропавловский шпиль пять минут упирается в чистую голубизну, а в следующие пять над ним плачет, закрывая ангела, слезливая дымка...

И воробьи подчиняются этому ритму: то смолкнут, словно и не было их в городе, то — как солнце выглянуло — возятся, дерутся, верещат на каждом карнизе, на обтаявшей панели, где девчонки уже начертили кое-где свои вечные «классики», на деревьях бульвара... Сущие «воробзаготовки», если вспомнить злой фельетон Михаила Кольцова, очень смешной... Очень хорошо, зверски хорошо, по-животному — щеками, легкими, лбом...

И — до чего люди способны по-разному воспринимать все в мире! Сколько написано, наговорено, напето про Петербург серо-дымного, мясно-красного, туманно-фантастического, трагедийно-жуткого... Как только не называли его: и каменным Вавилоном, и столицей гнилых лихорадок, и туберкулезной резиденцией русско-немецкой вельможной скуки... Его рисовали чиновным, чванным, надутым городом превосходительных сухарей, больницей, мертвецкой... И видели его таким.

А мне всю жизнь было свойственно преимущественно иное — пушкинское, светлое, торжественное, жизнерадостное и озаренное — восприятие его. Не знаю, как вам, мне мой город — Петербург ли, Ленинград ли — всегда был зрим с этой его стороны — одновременно величавый и родной, строгий и ласковый, до боли прекрасный. Весь город, не только ни с чем не сравнимое великолепие центра, ядра, — нет, и самые дальние — еще питерские, такие болезненно-унылые, такие до песенности кирпично-протяжные — былые окраины.

Ах, какой город! Вот так пахнёт западным мартовским ветром — и все забродит в балтийской приморской текучести, как, бывало, бродило в моем детстве, как бродило во дни пушкинские, и раньше, при «Арапе Петра Великого», и еще раньше, в ту далекую пору, когда «из тьмы лесов, из топи блат» впервые поднялся над волнами невскими «город как город еще невелик, но уже во всей обыкновенности»... Превосходно, так точно сказал об этом становлении Алексей Николаевич Толстой.

И когда это случится, станет как-то по-особенному, по-прибрежному легко и светло и над тобой и в самом тебе... И — что удивительно — не только в ясные, благополучные дни так ощущалось, но, бывало, и в самые черные годины Ленинграда, даже в смертном кольце блокады...

* * *

Так вот, поехал я тогда, пятьдесят пять лет назад, правым кругом, через Финляндский вокзал. Конечно, я скоро занял свое обычное вагонное место — у площадки; как всегда, следил за действиями вожатого.

Вожатый на сей раз попался немолодой, усатый, в осоюженных красной резиной хороших валенках, в теплой барашковой шапке... Строгий такой, коренастый брюнет между сорока и пятьюдесятью...

Вел он вагон обычно, как все водят. Но скоро мне бросилась в глаза одна странность. На ребристом полу площадки, в правом переднем ее углу, под грубо крашенным колесом ручного тормоза стояла у него какая-то укладка не укладка, ящичек не ящичек. И мне было видно, что под приоткрытой крышкой внутри этого сундучка как будто лежит много пачек одинаковых тоненьких книжек, в розовых, канареечно-желтых, тускло-синих, кисло-зеленых бумажных обложках.

Хотя я такого никогда еще не видел, особой сенсации в этом не было: почему бы вожатому не могли поручить довезти до парка или увезти из него и такой казенный груз?

Сенсации начались у Введенской. На площадку вышел подышать воздухом плотного сложения человек — похоже лавочник. У Матвеевской он заинтересовался багажом, спросил что-то у его хозяина. Тот ответил. Произошел весьма оживленный, и явно удививший пассажира, разговор. А на Архиерейской, на нынешней Льва Толстого, возле Женского медицинского, вожатый, прежде чем тронуть с места вагоны, нагнулся, достал одну брошюрку, вручил ее тому человеку и, выразив живейшую благодарность, получил от того какую-то мзду — несколько мелких монет, а может быть уже и военного времени бумажных «марок».

Это меня уже озадачило. Я углядел, что на тоненькой «папиросной» обложке брошюры что-то было напечатано, какая-то фотография. Впервые я наблюдал такую торговлю... Вожатый распространял свои брошюры вполне открыто, не таясь: значит же, не «политика»? Может быть, это «челышовец», член Общества трезвости? Они постоянно всучивали каждому встречному и поперечному свою поучительную литературу... А возможно, он какой-нибудь охтинский «братчик», этот вожатый; были тогда такие, полупризнанные, полугонимые, сектанты...

Так я ломал голову вдоль Вульфовой, по Дворянской, на Сампсониевском мосту, на Финляндском проспекте, где господа «Ферштадт и Сын» торговали всякой дрянью в лавчонке с надписью: «Удивительно все дешево!»: любая вещь у них стоила ровно полтинник; если же сказать правду, не стоила она и четвертака. Я миновал Клинику Вилье; тут, на углу Сампсониевского, по старому питерскому правилу был «Шитт на углу пришит» —

помещался винный погреб Шитта. Я проехал по Боткинской и остановился у вокзала. И там все мои догадки рухнули.

У вокзала было «кольцо»; трамвай задерживался на запасном пути, вожатый, как это всегда бывает, забежал в какие-то таинственные, неведомые пассажирам, станционные помещения.

Потом он появился вновь, но не сел на свой круглый стульчик на трех железных ножках, а достал из рундучка с десяток брошюр и вступил вовнутрь вагона.

— Господа почтенные! — совсем неожиданно заговорил он в полупустом «салоне» (это теперь говорят «салон»; тогда этого слова в таком употреблении не знали). — Господа почтенные! Вот перед вами является вагоновожатый, хоть и вагоновожатый, но в ето же самое время и другой человек: поѐт Герасимов-простой. Ездит Ваня Герасимов по Питеру, крутит цельный день свой контроллер, смотрит туды-сюды, а в его голове словцо к словцу собирается стишок...

— Вот напечатал он на свои трудовые деньги тоненький-маленький сборничек. Кому его стишки — не ндравятся, а простым людям очень даже ндравятся. Об чем стишки? А вот не поскупитесь, купите, тогда узнаете... Вам тридцать копеек не разорение, Ивану Герасимову — большая помощь... Не желает ли кто?..

Мог ли я не пожелать такого дива? Я ведь — тоже «писал стишки». Я неотрывно разглядывал своего усатого собрата в подрезиненных валенках. Заинтересовались им — каждый по-своему — и другие пассажиры. Кто-то из них сердито отвернулся: «непорядок»! Два юнца взяли по книжке, бросили взгляд на обложку, поморщились, пролистали брошюрку, пожали плечами и вернули ее автору. А я... Я, каюсь, огляделся — а вдруг едет кто-нибудь из знакомых? — но вынул то ли четвертак, то ли

полтинник, сейчас уж не скажу сколько, и приобрел канареечно-желтый «сборничек»...

Сразу скажу: это не было творением высокого таланта. Это не были стихи самоучки-пролетария, пусть несовершенные, но сильные. «Поёт Герасимов» не выражал больших идей, ничего не проповедовал, ни к чему не звал. Ему было как до небес до Ивана Белоусова, Спиридона Дрожжина, Ивана Сурикова. Ни скорбей народных, ни гнева против угнетателей, ничего такого. Многое в его «сборничке» отзывало наивным графоманством. Он очень слабо владел размером и рифмой. Образцом ему был скорее «дядя Михей», чем кто-нибудь из классиков. Стихи были убоги по форме, случайны и примитивны по содержанию. А все-таки...

Я принес тоненькую книжонку домой, и надолго мы с братом впились в нее. Она доставила нам немало веселых минут. Но видимо, была же в ней какая-то внутренняя цепкость, если даже в пятидесятых годах мы все еще нет-нет да и прибегали к цитатам из «Герасимова-простого», как к цитатам из Кузьмы Пруткова, по самым разным житейским и литературным случаям.

Когда нас постигало неожиданное и огорчительное стечение обстоятельств, мы, разводя руками, вспоминали его:

Получилась драма:
На Николаевском мосту
Разводная рама!..

Когда нам приходилось сообразовывать свои ежедневные наблюдения с ходом великих исторических событий, внезапно приходило на ум простодушное герасимовское повествование:

Раз в тринадцатом году,
Перед самою войною,
Город весь заполнен был
Летящей стрекозою...

Ведь всего удивительнее, что такой казус и на самом деле был.

Был однажды в предвоенном Петербурге летний денек, когда и мы наблюдали то, что иной раз случается в мире: каким-то ветром, неведомо откуда, на город нанесло мириады самых обыкновенных стрекоз — прозрачнокрылых, радужноглазых, почти таких, какие «летают и пляшут» там, «где гнутся над омутом лозы». Стрекозиные тельца сухо шуршали под ногами; дворники сметали насекомых в копошащиеся кучки. По Неве плыли зыбкие пятна — плотики из легких утопленниц. И старушки шептались, что это — не к добру. И в «Биржевке» что-то писали об этом, вспоминая дожди из крыс и другие столь же неприятные явления из учебников и популярных журналов. Но наверное, один только «поэт Герасимов-простой» решился «увековечить» это редкое происшествие в стихах. Я рад, что мне сейчас дано хоть на пятьдесят лет продлить существование его стихотворной пометы летописца...

Иван Герасимов помогал нам и в литературных оценках. У нас выработался специальный термин, употреблявшийся в отношении бездарных, «проходных» стихотворных посланий, какие иной раз печатались в тогдашних журналах (да нет-нет встречаются и сейчас). Они именовались у нас «Братский стишок из Тамбова».

Вдохновленные высоким дарованием старшего брата, его многочисленные родичи (в сборнике имелась семейная группа: человек шесть-семь крепко скроенных, основательно сбитых бородачей и усачей сидели и стояли рядами, положив дюжие руки на плечи таких же квадратных жен и сестер), оставшиеся на родине поэта в Тамбове, отвечали на его поэтические письма еще более простодушной версификацией. Один такой семейный опыт удачливый обитатель столицы великодушно предал

тиснению среди своих творений, наименовав его именно так: «Братский стишок из Тамбова».

Даже наша реакция на те рецензии и критические заметки в прессе, которые касались нашего собственного творчества и не устраивали нас, нет-нет да и брала за образец достойное отношение к критике того же Герасимова.

Трамвайный поэт попытался в недобрый день пробиться в большую печать. Если не ошибаюсь, он избрал для этого «Петербургский листок». «Листок», хотя был и не слишком взыскателен к своим авторам, отверг устами некоего «критика» домогательства Гомера с трамвайной площадки.

«Гомер» очень остро пережил неудачу, но поступил в лучших классических традициях. Он не стал жаловаться, не пошел сводить счеты с «зоилом» лицом к лицу. Он ответил ему саркастической эпиграммой.

В сборнике было стихотворение, кажется так и называвшееся «Ответ критику». В нем рассказывалось — всем, всем, всем, — как после лицеприятного отзыва, преградившего поэту путь к славе, они все-таки столкнулись на улице — обиженный и обидчик.

Иван Герасимов хотел подойти к врагу и покончить дело миром. Но знавший, чья кошка мясо съела, критик «согнулся, маленький квадратик», и ускользнул от своей жертвы.

Бывали в нашей литературной жизни такие случаи, когда возникало взаимное непонимание между нами, авторами, и критической мыслью, и как было приятно в каждом таком случае применить это выпуклое и динамичное описание: «согнулся, маленький квадратик...»

Я вспомнил — и ведь совсем случайно — весь этот любопытный эпизод (мне не удалось добыть в библиотеках экземпляр герасимовского «Сборника»), вспомнил

курьезную книжку эту, вспомнил клише на ее обложке (тот же черноусый работяга был изображен перед его моторным вагоном), и пришли мне на память стихи, завершавшие его труд. Напечатаны они были на четвертой странице обложки. Добрый наездник «заблудившегося трамвая», прощаясь с читателем, сообщал ему, а через него и всему миру, — где, в какой обстановке и как он жил и работал:

Порт-Артур — Кондратьев дом, —

эпически повествовалось там, —

Его мы — крепостью зовем.
Живет много в нем жильцов.
И детей и стариков.

Коридор у нас большой,
Гуляем все мы в нем толпой,
Детишки бегают гурьбой...
Так кончаю сборник свой.

Смейтесь, но почувствуйте и описательную силу этого подлинного документа времени. Ведь в нем нет ни слова вымысла.

Жил в Питере тех дней архитектор и домовладелец дворянин В. П. Кондратьев. Видимо, он умело приобретал недвижимость: на Провиантской и Грязной улицах (это Петроградская сторона), на Прядильной и Псковской (это Коломна), на Садовой, в Упраздненном переулке стояли его доходные дома. Были у него три дома и на захолустной Лубенской, за Обводным каналом, в 3-м Александро-Невском участке. Один из них, самый удаленный от центра, возвышался на углу Смоленской, в краю пустырей и пригородных огородов, представлял собою не знаю что, — может быть, был просто порожним местом. Он и два других — дома № 3 и 5 по Лубенской, огромные, мрачные кирпичные громады —

строились в расчете на городскую бедноту, на рабочих ближних фабрик — Газового завода, парфюмерной фабрички Келера, городских боен, стрелочников и путевых рабочих Николаевской и Варшавской дорог, трамвайщиков — кондукторов и вожатых ближнего Московского трамвайного и коночного парка. Одно из этих битком набитых зданий — которое именно, не скажу — и было в те дни «Порт-Артуром — Кондратьевым домом».

Владимир Кондратьев не был «вдовцом», как герой «Трущоб» Бернарда Шоу. У него была жена, звалась она Марией Всеволодовной и тоже числилась в справочниках «домовладелицей», правда не такой мощной, как ее супруг. Но, безусловно, методы, которыми эта супружеская пара выкачивала деньги из кошельков несчетных герасимовых разного сорта и ранга, совпадали с методами английского «вдовца». И шутки шутками, а если бы у меня были такие возможности, я точно дознался бы, который из рядом стоящих корпусов носил в те годы свое ироническое и отпугивающее название, и укрепил бы на его заслуженной стене мемориальную доску:

**Здесь в 1913—1914 годах
жил и творил стихи
поэт Иван Герасимов-простой**

Потому что этот Герасимов в моих глазах был и остается очень точным знамением своего времени. Его, так сказать, индикатором. И вот в каком смысле.

Перечитайте два беспомощных, неуклюжих, неталантливых четверостишия, которые я привел чуть выше. Если вы — старый человек, если вы, как я, жили в то время, разве сквозь их строки не проступит перед вами одна из сторон облика тогдашнего Петербурга? Этот Обводный канал, с его страшной водой, в которой, медленно, колыхаясь, плывут огромные пласты какой-то черной гнилой

плесени, зловонные, а ведь живые. Его откосы — смертно-пустые, заваленные битым стеклом, ржавым железом, угольной и коксовой щебенкой, дохлыми кошками; мусорные скаты, на которых то тут, то там буйно густятся пыльная, ржавая лебеда, лопухи и крапива... И — здесь, поодаль, еще и еще, головой с колтунами в эти лопухи, в чудовищных отрепьях, — нога в неслыханном опорке, вторая — босая (и лучше бы не видеть такой босой человеческой ноги!) — валяются, припеченные солнцем или дрожащие от утреннего озноба, босяки: запрокинутое горло шевелится, рот раскрыт, и около поблескивает сороковка, выпитая еще вчера... А еще на двадцать саженей дальше, на заботливо разостланном по колючему коксу половичке, «отдыхают» люди, вышедшие из ближних домов: парень со свалявшимися светлыми кудрями бренчит на балалайке или перебирает лады утлой гармошки; другой обнял подвыпившую, зевающую, но жаждущую любви местную вакханку... Вторая компания, повыше, режется в «очко». И молчит, смотря на медленное течение вод шалыми глазами, какой-то тип в новом еще, но то ли пошитом у здешнего портного, то ли купленном недавно на Александровском рынке и потому сидящем на нем как жестяной «спинжаке»... И из жилетного кармана у него свешивается «накладного нового золота цепочка», которые лодзинские фирмы высылают по газетным объявлениям в составе набора «необходимых каждому ста предметов за один рубль почтовыми марками». И на конце этой цепочки нет никаких часов, а где они — кто теперь скажет? И в руке он держит наполовину пустую бутылку. А перед ним на корточках уселась девчонка лет тринадцати, наверное ночевавшая вон там, под «Газовым мостом», и смотрит на бутылку страстными глазами, и скулит, как щенок: «Хорошенький, дай глонуть! Мужчина, дай глонуть...»

Было это? Ох, было!

А солнце палит, и по обеим набережным канала, не останавливаясь ни на миг, грохочут, как идолы, могучие колеса ломовиков, везут мешки муки, рояли, какие-то колоссальные шестерни, жернова, булыгу, песок, гигантские катушки кабеля, что-то запакованное, затюкованное, стóящее сотни, тысячи, миллионы рублей. И над каналом стоит никогда, кроме как в ненастье, не спадающее облако сухой пыли, навозной и угольной. И с обоих берегов отражаются в стоячем зеркале этой жижи дома, дома, дома — «Порт-Артуры», «Порт-Артуры», «Порт-Артуры»...

«Коридор у нас большой, гуляем все мы в нем толпой...»

Сто лет назад такой дом действительно могли с горькой иронией назвать «Вяземской лаврой» — теперь его назвали «Порт-Артуром»... Разве не слышится в этом имени все сразу: и оскорбление национальной гордости, нанесенное проклятой японской войной, и напрасная попытка спасти народный, народу понятный престиж («Ура генералу Кондратенко!»), и едкая издевка над верой, царем и отечеством, и злая насмешка над счастливой жизнью в таких вот «Кондратьевых домах»: «Живем, что в том Порт-Артуре!»

Казалось тогда близорукому, поверхностному взгляду, что все в этих кирпичных муравейниках идет, как шло полвека назад, что ничего в них не меняется и измениться не сможет. Э, нет, не так оно было!

Вяземская лавра... Хитров рынок... Порт-Артур... Ничего не слышите вы, господа депутаты Государственной думы, в сопоставлении этих названий? А надо было бы слышать!

За стенами таких «Порт-Артуров» протекали тогда нежданные процессы, сложные, важные и далеко не каж-

дому заметные. О них знали те, кто руководил подпольной работой на заводах, рабочими кружками окраин. О них знали кое-что Зубатовы и Рачковские, Курловы и Манасевичи охранки. О них почти ничего не знал его величество средний интеллигент. Он все еще твердил свое «Верую!». Он веровал, что именно на нем, как на подпятнике, утверждена великая Ось Истории, что все зависит только от него. А от него уже ничего не зависело.

Все менялось в те годы, все необыкновенно быстро менялось. Вширь и вглубь.

В те годы псковский «обыкновенный мужик», какой-нибудь Василий Курносов из Мешкова или Алексей Дмитриев из Юткина, вдруг снимал у божницы сто лет висевшую там репродукцию «Святой Николай, Мир Ликийских чудотворец, останавливает усекновение главы злодея» и вешал на ее место только что купленного — весь в золоте и орденах — Горацио-Герберта лорда Китченера: «Видать, Лев Васильевич, теперь новым богам молиться приходится!» И неудивительно: и Василий Курносов, и Алексей Дмитриев уже подписывались на газетку «Совре́менное слово» (так произносили в западных губерниях) и, сидя под окошечком, морща лбы, читали ее.

В девятисотом году не мог коночный кучер начать ни с того ни с сего сочинять стишки, да еще — тем более! — печатать их на «свои кровные». А в девятьсот четырнадцатом вагоновожатый напечатал их целый сборник, да еще вступил в спор с критиками... Все переменилось, все...

Может показаться, что этот вагоновожатый участвовал активно в том процессе изменений или хотя бы сознавал его. Так нет же, ни в какой мере! Были в мире прямые «действователи». Иван Герасимов не принадлежал к ним. Он мало что видел кроме своего «большого коридора». Ему немногое было заметно в Питере, если не говорить

о «разводной раме Николаевского моста» и «летящей перед войной стрекозе». Он не был ни «действователем», ни теоретиком. Но историческая судьба сделала и его и ему подобных индикаторами происходившего в мире независимо от них. И я рад, что моя «трамвайная тема» заставила меня вспомнить среди других и этого маленького человека в усах и барашковой шапке вагоновожатого.

РОЗЫ, ТУБЕРОЗЫ, МИМОЗЫ...

В 1913 году мне минуло тринадцать лет. Все, впервые увидев меня, давали мне пятнадцать: меня выгоняло вверх как на дрожжах. На мое счастье, ширина тоже не отставала.

За год до этого, однако, мама, как все матери, взглянув на меня пристрастным оком, ахнула: «Бледен, худ, ему грозит чахотка...»

Она повела меня срочно к преподавателю кафедры терапии Военно-медицинской академии доктору Гладину.

Доктор долго мял и выстукивал меня. «Да-с, сударыня, — проговорил он наконец, смотря на маму сквозь пенсне строгими глазами. — Не могу скрыть: ваш сын серьезно болен. У него начинающееся ожирение сердечной мышцы...»

С этого же дня я был посажен на простоквашу без сахара, на черные сухари. Страдал я апокалиптически, и год спустя Гладин, снова осмотрев меня, сказал так же строго: «Сударыня, в медицине никогда не следует чрезмерно усердствовать. Если мы будем столь успешно бороться с полнотой, вашему сынку, при его протяженном сложении, будет грозить уже туберкулез...»

К новому, тринадцатому году эти резкие колебания закончились и я пришел в некую среднюю норму.

Мама, которая к членам своей семьи всегда относилась в некоторой мере, как к фигурам на шахматной доске ее сложных планов, и полагала, что игроком за этой доской может быть только одна она (кстати, она и впрямь отлично для женщины играла в шахматы), позвала как-то меня в гостиную, внимательно оглядела, поставив против света, и немедленно решила сделать и этой смиренной пешкой первый ход. Так сказать, мое личное e2 — e4...

Надо заметить, что к этим годам мамина общественная активность не только не спала, — наоборот, возросла и продолжала возрастать. Однако от радикальных настроений ранней молодости она незаметно переходила к «просвещенному либерализму». Папа, став из коллежского надворным, из надворного статским советником, не изменился ни на единую йоту: он был и оставался в первую голову отличным инженером и только уж затем — делающим сносную карьеру чиновником. Мама же, по женской слабости, с каждым годом чувствовала себя все ближе к положению «статской генеральши», которой уже ни возраст, ни общественное место больше не разрешат некоторых безумств юности.

Из радикального Выборгского коммерческого она перевела нас в отличную, которой я по гроб жизни благодарен за великолепное обучение, но уже явно только либеральную, гимназию Мая. С рабоче-студенческой Выборгской стороны мы перебрались на основательный и академический Васильевский. От спорадического и веселого участия в студенческих благотворительных вечерах и концертах, где она была и швец и жнец и в дуду игрец, мама поднялась теперь — ей в тринадцатом году должно было исполниться тридцать семь лет — до председательствования и заместительствования в разных весьма уже солидных обществах и лигах: то в Лиге равноправия

женщин, под главенством этакой русской полусуфражистки, Поликсены, да еще Несторовны, Шишкиной-Явейн; то в Обществе содействия внешкольному образованию, где председательствовала Анна Сергеевна Милюкова, супруга самого «туркобойцы» Павла Николаевича Дарданелльского, лидера конституционно-демократической партии, а проще говоря — «первого кадета» *. И наша жизнь, жизнь маминых сателлитов, значительно изменилась.

Теперь, обозрев мою отроческую длинноватость, она задумалась. Именно в качестве заместителя председательницы упомянутого Общества она была обременена добычей средств для него. Помнится, год назад она устраивала лекцию на модную музыкальную тему — об «Электре» Рихарда Штрауса. Лекция принесла известный барыш.

Был организован также очень модный в те годы общегородской кружечный сбор: по улицам ходили добровольцы со щитами, на которых были наколоты значки на булавках, и с кружками для пожертвований. Началось это с международного дня «Белого цветка» — ромашки, а потом всевозможные «цветки» посыпались десятками. Редкая неделя проходила без щитов, значков и кружек. «Белый цветок» в 1912 году собрал много, что-то около 200 тысяч рублей; следующие, нарушившие мудрое римское правило «Не бей дважды по одному месту», имели куда меньший успех. Мамино Общество (и мы, два брата, в числе сборщиков) торговало на стогнах и улицах Санкт-Петербурга «Цветком вереска» (узнаю мамин выбор и вкус), но, видимо, без потрясающего успеха, потому что

* П. Н. Милюков много шумел тогда по поводу необходимости раздела достояния «больного человека» — Турции — с переходом Константинополя и проливов под власть России. Карикатуристы именовали его то «Милюковым-Босфорским», то «Дарданелльским».

в тринадцатом году Общество обратилось вновь к идее платных лекций.

В те дни из далеких краев вернулся на родину Константин Бальмонт — фигура, которая вполне могла дать «битковый сбор»: у мамы было верное чутье на такие вещи. Общество пригласило прославленного поэта прочесть в Соляном городке публичную лекцию «Океания» — он побывал и там. Билеты шли нарасхват: одни жаждали послушать новые стихи того, кто написал «В безбрежности» и «Под северным небом»; другие рвались хоть взглянуть на человека, на весь мир прокричавшего в русском стихе, что он «хочет зноя атласной груди» и намеревается «одежды с тебя сорвать». Он кричал, а мир в почтительном смущении внимал этому крику: крик казался «contemporain» *: «За что-то же его прославляют??!»

Я стоял перед мамой, а мама рассматривала меня. Потом она вздохнула: «Да, придется уже настоящий... Светло-серый! Одевайся, поедем к Мандлю. Нет — к Эсдерсу-Схефальсу...»

Ей хотелось вывезти меня в свет в виде юного «распорядителя» на бальмонтовской лекции. Уже была придумана кем-то изящнейшая распорядительская розетка; к розетке был теперь необходим высокий мальчик в сером костюме. Мама льстила себя надеждой, что меня еще можно будет выпустить именно мальчиком, в таком детском, подростковом пиджачке, при галстуке, но в коротких штанишках «а-ль-англез». Бойскаутиком! Но, оглядев меня, она огорчилась: мальчик крепко вырос из таких одежек!

К Мандлю? К Мандлю меня водили в одиннадцатом году, когда папа был еще надворным. Теперь он стал статским, а это требовало уже Эсдерса и Схефальса

* «Соответствующий духу времени, современный» (*франц.*).

у Красного моста. И зачем все-таки эти мальчишки растут? Зачем идет время?!

У Эсдерса (там теперь швейная фабрика имени Володарского) я, от досады сутулясь и делая глупый вид, стоял перед гигантским зеркалом. Уже тогда — да и всю жизнь потом — передо мной маячили две самые страшные угрозы: а что если меня начнут кормить молоком с пенками? Или — еще тошнее — если меня заставят все время «примерять» какую-нибудь одежду?! Я был (да, грешным делом, и навсегда остался) совершенно равнодушным ко всяким одеяниям и стремился воочию показать это миловидным, но презренным барышням, поворачивавшим меня так и сяк перед тройным зеркалом.

Впрочем, мама довольно скоро — это-то она умела! — призвала меня к порядку. Я выпрямился, и продавщица, легонько проведя у меня между лопатками нежной ручкой, дабы «придать линию», сделала экстатическое лицо:

— Как сидит, мадам?! Молодой человек — брат мадам?

Да, тогда умели обольщать покупательниц! За этого «брата» мама моя — умная, самостоятельная в суждениях женщина — могла взять в придачу и два таких костюма...

Бальмонт дал согласие прочесть одну из трех подготовленных им лекций, предоставив устроителям выбирать тему. Лекции были «Океания» (он намеревался рассказывать о своих впечатлениях от Полинезии, а точнее — от маориек и самоанок, так как, по его собственным словам, «во всех краях вселенной» больше всего и прежде всего его «привлекала женщина»), «Поэзия как волшебство» и «Лики женщины».

Поразмыслив и опасаясь скандала — «Лики женщины?.. Гм-гм! О чем же это?», — устроительницы остановились на первой.

Поэт высказался в том смысле, что это ему — решительно все равно; он потребовал только — странно! — чтобы в момент начала лекции на кафедре перед ним лежали цветы: «Мои цветы! Дьяволоподобные цветы: розы, туберозы и мимозы!»

На скромных интеллигенток-устроительниц пахну́ло таким изыском, такими «безднами», что все было брошено на добычу «дьяволоподобной» ботаники. Помню, как из дому, где повсюду уже и без того валялись грудами пестрые афиши, билеты, программы с отпечатанными на верхней страничке синим цветом по кремовой бумаге маорийками, трущимися носами вместо приветственных поцелуев, — меня неустанно гоняли по маминым ретивым помощницам — то к некоей Марии Ивановне Стабровской, жене политкаторжанина, жившей в лихой студенческой нужде, но бодрой женщине; то к могучей, черной, басистой и непрерывно курившей Верочке Вороновой, эсдечке, в конец Пятой линии; то к некоему Стасю, студенту-юристу, который «для дела все может». Наконец и с цветами все оказалось в порядке.

В назначенный день я, в новом костюме, — дылда дылдой, но великолепно натренированный на поведение «приличного молодого человека», — с пестрой розеткой на отвороте пиджака, в жилете, в манишке «Линоль» («не имитация, не композиция, а настоящее белье „Линоль“», как было написано на всех брандмауэрах города), в таких же, как бы жестяных, линолевых рукавчиках, был приведен, как охотник при облаве на «номер», на главную лестницу Соляного городка (на Фонтанке у Цепного моста) и поставлен там на пост. Я понял из разговоров, что избран занимать именно этот пост билетера потому, что, поставь сюда кого-либо из студентов, он пропустит уйму своих коллег, «а у Льва, слава богу, пока еще никаких таких знакомств нет», и Лев будет

беспристрастным и бдительным. Я намеревался это мнение всецело оправдать. Тут, в узком проходике между перилами и деревянным барьером, преграждавшим путь толпе, я и утвердился во всей своей тринадцатилетней беспощадности.

Народу было великое множество; прямо-таки «весь город» возжелал видеть и слышать Бальмонта. Я надрывал билеты, свирепо отвечал, что никакие записки и контрамарки недействительны, и, поглядев на мою тринадцатилетнюю физиономию, даже самые дошлые проникалы видели, что перед ними не юноша, а мальчишка, что мальчишке всё — трын-трава, и что, как какой-нибудь бультерьер, он костьми ляжет, но без билета (или двоих по одному билету) никого не пропустит. Ни са́мого бородатого профессора, с золотой цепочкой по жилету. Ни нежнейшую деву. Ни опытную дамочку, у которой в прошлом сотни прельщенных контролеров. То-то мне было дело до самых выразительных взглядов таких дам!! И профессоров я видел дома, за чаем, десятками!

Так я и стоял, как утес среди разбивающихся волн, пока снизу прямо на меня не пошел очень свирепого вида кривоногий полицейский офицер с маленькой черной бородой на желчном скуластом личике, с маленькими, крепкими, тоже желтыми, кулачками и с полковничьими погонами на плечах.

Полковник этот направился, ничтоже сумняшеся, прямо в мой проходик.

— Пардон! — протянул я руку. — Ваш билет?

Он остановился в недоумении.

— Я полковник Шебеко! — проговорил он, криво, как собака, поднимая верхнюю губу.

Ох, как меня выдрессировали; о главном только не предупредили!

— Очень приятно: Лева Успенский! — воспитанно ответил я, шаркнув каблучком. — Попрошу ваш билет...

Полицейский полковник отступил на шаг, чтобы пропустить даму, имевшую билет, и, видимо, впал в некоторую растерянность.

— Но... Но меня всегда пускают без билета, молодой человек... Я — полковник Шебеко! — нервно поглаживая жесткие усы пальцем с длинным горбатым ногтем, настаивал он.

Два или три студента остановились уже пониже, выжидая, чем кончится дело с полицией. Полковнику это не понравилось...

— Да позвольте, в конце концов, молодый человек, это же безобразие, — начал было он повышать голос, но в этот острый момент я увидел внизу свое спасение.

По лестнице, приволакивая ножку, распушая на ходу рыже-седую бороду с фасоткой — с пробритым подбородком, — ведя под руку свою пышную Стасю-Настеньку, неторопливо поднимался генерал-лейтенант Елагин, мой дядя Саша. Он сразу увидел меня, увидел разъяренного полковника, оценил трудность ситуации, в которую мы оба попали, и подал голос еще на расстоянии:

— Отколе ты, прлелестное дитя, дорлогой внучатый племянничек? Ты что же это туг неистовствуешь? Крламолу сеешь? Да ты знаешь, чей путь ты дерлзостно прлесек? Тата! Поди-ка сюда! Твой перлвенец зверлствует! Он не допускает на лекцию — кого бы ты думала? Полицеймейстера горлода! Ты вырластила санкюлота!!. Давайте, давайте, полковник! Все улажено: юнец борлз, но какова дисциплина?! Как Леонид спарлтанский: один прлотив всей полиции... Прлопусти, Левушка, полковника, прлопусти, имей совесть! Таких полковников задерлживать не положено: такие полковники сами кого нужно задерлживают!

Полковник Шебеко, как крупный и злой пес, показывая желтые зубы из-под губы, задранной в мою сторону в свирепой собачьей улыбке, проследовал, сделав дяде Саше ручкой, дальше. Мама, которой уже успели сообщить, что я собираюсь лечь костьми, шурша шелком спускалась мне на выручку. Между нею и дядей Сашей я воспрянул духом.

Вот маме, той, как всегда, было не просто со мной. Что она теперь должна была сказать мне? Что полицеймейстеру, как городничему, место в церкви всегда должно найтись? Это нарушило бы все принципы воспитания, заложенные ею же в мою душу.

Сказать: «Молодец, Лев, так всегда и действуй»? За этим должно было следовать: «И все порядочные люди тебя поддержат». А — все ли? А — поддержат ли?

Мама поколебалась, но недолго. Заведя меня за какую-то дверь, она вдруг взяла меня за уши и крепко поцеловала. «Ты — мой сын! — шепнула она. — Иди, зверствуй дальше!»

Должен признать, именно Бальмонт, а не Пушкин, не Лермонтов, не Некрасов, вдруг года два назад до этого вечера за какие-нибудь пять минут показал мне, что такое поэзия.

Я до того читал множество всяких стихов. Я сам «сочинял стихи», и не так уж плохо. Но мне и в голову не приходило, что существует нечто огромное и великолепное, имя чему — поэзия.

Мне купили какую-то новую хрестоматию по литературе. Там среди других были напечатаны два стихотворения Бальмонта: «Свеча горит и меркнет» и «Все мне грезится море, да небо глубокое». Первое мало чем отличалось от многих прочих стихов; хотя все же — я запомнил его с первого же прочтения. Дочитав до конца второе — «и над озером пение лебедя белого, точно сердца несме-

лого жалобный стон», — я вдруг раскрыл глаза и рот и — замер. Я не могу объяснить, что со мной в этот миг случилось, но я вдруг все понял. Понял, что стихи и проза — это не одно и то же. Понял, что поэзия — трудное и страшноватое дело. Понял, что она — прекрасна и что с нею в душе можно жить.

Я через всю жизнь пронес благодарность Бальмонту за это странное откровение, за первое пробуждение моей души к поэтическому слову: он открыл мне и Некрасова, и Лермонтова, и Тютчева, и всех вплоть до самого Пушкина. Так маленький ключик может отомкнуть огромную, тяжелую дверь.

Мне было обидно, когда о Бальмонте перестали говорить, а только махали рукой: «Топор зажаренный, вместо говядины!» Я радуюсь, что его вспоминают теперь, потому что я вижу: из фолиантов невыносимой толчеи слов можно и нужно выбрать у него сто, сто пятьдесят, двести великолепных стихотворений. И это будет он. А разве сто хороших стихотворений — мало?

В 1913 году я очень любил Бальмонта. И вот теперь я могу рассказывать дальше!

Когда зал был заполнен и переполнен, меня сняли с поста, и я ринулся на отведенное мне приставное место. И присоединился к собравшимся, потому что до начала лекции остались уже считанные минуты.

Однако моя торопливость оказалась напрасной: Бальмонт не появлялся. Правда, я мог с самым пристальным вниманием, не спеша рассматривать публику. Я видел передние ряды, почти сплошь заполненные молодыми дамами и девами. Я думаю, это все были «дьяволоподобные дамы и девы»; можно было решить, что они принадлежат к какому-то единому ордену или батальону красавиц.

У подавляющего большинства были пышные, всякого оттенка рыжины — золотистые, медно-рыжие, каштановые, с бронзовым отливом, лисьего цвета, почти латунные, — декадентские волосы, уложенные в необыкновенно замысловатые прически. У очень многих были серо-зеленые, просто зеленые, цвета кошачьего гла́за глаза́; они «носили» их как знак принадлежности к касте.

У них были полупрозрачные свободные рукава, по большей части цвета нежно-фиолетового или «морской волны»; большие серьги с зелеными, с аметистово-лиловыми камнями.

— Это всё его поклонницы, — на ухо мужу, без всякого удовольствия, но голосом, который можно было услышать и в задних рядах, сказала немолодая дама с резким лицом аристократки, сидевшая рядом с моим приставным стульцем.

Заметив, что я могу ее слышать, она недовольно перешла на французский:

— Dévergondeés jusq'aux limites! * — Она покосилась на меня и — кто знает: может быть, я говорю по-французски? — быстро и зло добавила a parte **: — Wie diese Eure unverschämte Сонечка... ***

Муж, полный, благодушный, с аккуратной седой бородкой, спокойно бросил в рот пеперment ****.

— Vous éxagérez comme toujours, Marie! ***** — безмятежно пожал он плечами, пристально вглядываясь, однако, в этих «унфершемтых», а я подумал, что слово «девер-

---

* Развращены до предела! (*франц.*).
** Обращение «в сторону», не «на публику» (*ит.*).
*** Как эта Ваша бесстыжая Сонечка... (*нем.*).
**** Мятная лепешка, конфета для уничтожения запаха изо рта.
***** Вы преувеличиваете, как всегда, Машенька (*франц.*).

гондэ́» мне незнакомо и что надо будет его отыскать в словаре Макарова. Я не любил слышать слова и не понимать их.

Поклонницы время от времени начинали аплодировать мягкими ладошками, покрикивать: «Ба́льмонт, Ба́льмонт!» Сзади студенты уже пробовали постучать ногами. Вышла очень взволнованная Мария Ивановна Стабровская; дрожащим голосом сообщила, что, по ошибке, шофер таксомотора, посланного за поэтом, подвез его не к тому подъезду; что его ведут сюда «по зданию», что он сейчас появится.

И вот в дверях, в торце зала против эстрады, показалась удивительная процессия. Впереди, и намного обогнав остальных, шествовал студент Станислав Жуковский, высокий, прыщеватый, с маленькой всклоченной бородкой; он быстро шел, неся перед собой, как какие-то странные знаки «грядущего вослед», две неожиданно большие резиновые калоши на красной байковой подкладке. Он нес их на вытянутых руках, на его лице было отчаяние. Он умирал, по-видимому, от сознания комичности своего положения и мчался весь красный, торопливым шагом. За ним бежала как-то оказавшаяся уже там Мария Ивановна, таща тяжелую мужскую шубу, меховую шапку и, поверх них, еще дамскую шубку. Далее, сердито насупясь, следовал маленький человек в черном то ли фраке, то ли смокинге — не скажу сейчас, — с красным вязаным кашне вокруг горла, концами по фраку, потом тоненькая женщина, потом два или три человека из растерянных устроителей...

Поднялся шум; ряды вставали — не из почтения, — чтобы увидеть этот крестный ход; послышались приглушенные смешки, но кто-то захлопал в ладоши, и смешки «перешли в овацию»...

А я, пораженный до предела, ел глазами Бальмонта.

У папы в кабинете стоял книжный шкаф с застекленными створками дверец. Мама придумала за эти стекла вставлять, по два друг над другом, портреты поэтов и писателей. Надо прямо сказать, как и в выборе горничных, она руководствовалась при этом больше формально-эстетическими соображениями, чем содержанием.

Из-за стекол смотрели на меня поэтому, каждая в течение отведенного ей мамою времени, литературные четверки, к которым мама по своему усмотрению добавляла иногда «вне абонемента» и плана какого-нибудь философа, композитора или художника; ученых на этом иконостасе подвижников духа я что-то не помню. Не было их!

Из года в год, сменяя друг друга и возвращаясь в разных комбинациях, на нас, детей, смотрели из-за стекол то лорд Байрон и юный Алексей Толстой, то Гете и философ Владимир Соловьев, похожий на Христа, то Шопен и Александр Блок, Шелли и тропининский Пушкин... Помню там сочетания неожиданные: Веневитинов и Мирра Лохвицкая, Мария Башкирцева и Франц Лист; или, наоборот, естественные: Аврора Дюдеван и Альфред Мюссе.

Я видел там и серебряноволосого, благообразного Тургенева, и — такого ласкового, такого умницу, что о его внешности как-то даже и вопрос не мог встать, — Чехова; постоял там сколько-то времени — и, должно быть, только «за красоту» — и Семен Надсон... У меня составилось не совсем реалистическое представление о том, как должен выглядеть поэт. Одухотворенным, по-особому красивым я ожидал увидеть и Бальмонта: сама фамилия его звучала как гонг; каким же должен был быть ее носитель?

А теперь по бесконечно длинному проходу между креслами и стульями главного зала Соляного городка

сердито шагал маленький человек с огромной головой. Она казалась огромной, потому что над его розовым, как телятина, лицом странным зонтом расходились далеко вниз и в стороны длинные, рыжие, мелко гофрированные волосы. Маленькие глаза смотрели гневно вперед; крошечная ярко-рыжая бородка под нижней губой обиженно и капризно подергивалась... А впереди плыли сквозь море аплодисментов большие добротные калоши фабрики «Треугольник»...

Я не знал, что и подумать и куда девать себя...

Но еще минута-другая... Аплодисменты подействовали. Бальмонт, явно умягченный, появился на кафедре, заметил лежавшие там «дьяволоподобные цветы», улыбнувшись понюхал по очереди и розы, и туберозы, и мимозы... Лекция началась.

Странное и зудящее произвела она на меня впечатление. С одной стороны, все в ней волновало, все живо затрагивало меня. Этот рыжий чудак только что плавал по Тихому океану, между похожими на райские сады островами. И «самоанки с челнов» возглашали в его честь: «Ба́льмонт, Ба́льмонт!» (он сам тоже делал ударение на «а»).

А я увлекался до осатанения географией, да нет, не географией — образом мира, космоса, вселенной; как я мог не восхищаться им? Я и про Полинезию уже читал книжку Бобина; миловидные таитянки и маорийки давно восхищали меня.

В то же время человек этот читал стихи, значит, бил меня по самому чувствительному нерву. И читал он отлично, невзирая на ужасную картавость, на то, что не произносил ни «эр», ни «эль», вместо «эль» выговаривая «у», а из «эр» делая нечто громоподобное, скрежещущее... Что́ там Васька Денисов у Толстого с его «Гей, Ггишка, тгубку!».

Он прочел тогда, между другими стихотворениями, удивительную «Пляску»:

Говорят, что пляска есть молитва,
Говорят, что просто есть круженье,
Может быть — ловитва или битва, —
Разных чувств движеньем выраженье...

Говорят — сказал когда-то кто-то, —
Пляшешь, так окончена забота...
Говорят...
    Но говорят,
    Что дурман есть сладкий яд,
И коль пляшут мне испанки, —
    Счастлив я...

Трудно было в те годы указать другое стихотворение, в котором так свободно, с такой откровенной радостью, техникой стиха поэт передавал бы технику танца, ритмом слова — ритм пластический... Я не умел тогда говорить подобные слова, но ощущать удивительное владение звуком, пляшущим и раскачивающимся, я уже мог.

Убеганьям кончен счет, —
  Я — змея,
Чет и нечет, нечет-чет...
  Я — твоя...

Зал грохотал. Кто-то «возглашал»: «Ба́льмонт! Ба́льмонт!», «дьяволоподобные» девы ломали под сиреневой кисеей рукавов декадентски мягкие и полные, как бы бескостые, руки, и герой дня быстрыми шагами, так сказать «на бис», вышел уже не к кафедре, а к краю эстрады:

Рхтом, от бетеля кхасным...

Маленький, в черном, таком не самоанском, не индонезийском, таком среднебуржуазном своем костюме,

краснолицый, с волосами совершенно неправдоподобными по «устройству» своему, над протягивающими к нему руки упитанными молодыми женщинами он думал, что может силой слова превратиться в «жреца», в первобытного даяка, в сверхчеловека, для которого «пол — это всё». Картавость его усилилась: слова вскипали на губах почти неразборчиво:

Рхтом, от бетеля кхасным,
Рхтом, от любви заалевшим,
Рхтом, в стхастях полновуастным,
Рхтом, как пуодом созхревшим, —

Она меня напоиуа.
Она меня заласкауа.
И весь я — гохрящая сиуа,
И весь я — «Еще! Мне мáуо!»

Девицы и дамы в угаре рвались на эстраду. Кто-то нес ему цветы. «Горящая сила», сам загипнотизированный своим успехом, стоял, странно миниатюрный на сцене, смотря в зал. Ему явно «быуо мáуо», а я сидел как пришибленный.

Я, разумеется, не мог сказать тогда по поводу этих стихов и всего этого привкуса радения то, что сумел бы сказать теперь, 57 лет спустя. Я даже не был способен отдать себе отчет, что меня вдруг (или — не вдруг?) так покоробило. Я запутался в этих калошах, несомых перед человеком, в этих «розах, туберозах и мимозах», без которых он не мог приступить к чтению собственных стихов, в этих фиолетовых прозрачностях платьев, в этом публичном половом хвастовстве, во «ртах» и объятиях... Я очень любил вот этого Бальмонта; так почему же мне было так тошно?

Но... тринадцать лет — это тринадцать лет. На Пантелеймоновской и на Фонтанке было морозно, за рекой,

весь в инее, как риф из белых кораллов, стыл Летний сад... Мы приехали домой. Папа готовился к завтрашней лекции на курсах Шуммера, ждал нас с чаем; бабушка раскладывала пасьянс. С мамой в дом, как всегда, ворвалось оживление, шум, разговоры. «Лев-то как отличился — полицеймейстера не пустил!»

Папа посмеивался так, как если бы это все было не его дело, как если бы он, инженер, во всей этой современной поэзии, в ее «бледных ногах» ничего не понимал... Неправда, он отлично понимал все, хитрец; он только приглядывался ко всему, хотел во всем как следует разобраться...

...Года через два после этих событий, когда уже вышел в свет первый «опоязовский» сборник * и среди нас, гимназистов, склонных к поэзии, распространилось увлечение «огласовкой», «аллитерациями», подсчетом гласных и согласных, мой товарищ по школе — Винавер, сын известного кадетского адвоката, объявил свой «доклад» о поэзии Блока.

Винавер был крепко ушиблен опоязовским анализом «инструментовки» стиха. На меня очень большое впечатление произвела та уверенная ловкость, с которой он выуживал из живых стихов точные схемы звуковых повторов и связывал с ними эмоциональный строй стихотворений. «Поэзию Александра Блока характеризуют типичные сочетания звуков, — утверждал он. — Блок любит согласный «к» между двух стонущих «а»: «Пл-ака-ть, з-ака-т...» В этих сочетаниях есть что-то надрывное...»

Утверждение это произвело на меня сильное впечатление. Дома, за обедом, я с великим апломбом излагал

---

* ОПОЯЗ — «Общество изучения поэтической речи», организованное молодыми филологами при Петроградском университете. В нем принимали участие многие молодые ученые: Ю. Н. Тынянов, Б. В. Шкловский и др.

винаверовскую гипотезу. Меня слушали с интересом. Папа как будто не слушал; он с аппетитом ел свою любимую гречневую кашу (она у нас подавалась на стол ежедневно, кроме воскресений, отец не мог без нее), проглядывая газеты — ему это разрешалось, потому что после обеда он сразу же уходил на Политехнические курсы или в Землемерное училище преподавать, — и, казалось, был далеко от всяких аллитераций. Но вдруг он поднял голову:

— Погоди-ка, кто это так сказал? Винавер? Это — что? Сын этого... кадета? Присяжного поверенного? А что ж, он прав... Кому и знать, как не ему. Папа-то у него — адв-ака-т! «Что л-ака-л, адв-ака-т? Где ск-ака-л, адв-ака-т?» В адвокатах есть что-то надрывное! Есть!

Может быть, позднее, в двадцатых годах, я и соблазнился бы формальным методом, но очень уж у меня в мозгу застрял этот отцовский «надрывный адвокат»! Я дружил с тогдашними «формалистами», с интересом следил за их экспериментами, но уверовать в их метод так и не смог.

„ТОРОПЫГА ОБЩЕСТВЕННЫЙ“

Тысяча девятьсот семнадцатый год, как и все годы, начался праздником.

В великом множестве состоятельных петербургских домов поздним вечером и ночью 31 декабря он был отпразднован почти по-старому. Это было далеко не так просто, как два, три, четыре года назад.

Теперь — увы! — отнюдь не каждый мог и правдой и неправдой добыть традиционный окорок, чтобы, напустив благоухание на весь дом, запечь его в румяной хлебной корке. Теперь счастливцы, как-то связанные

с деревней и вырвавшие оттуда гуся или четверть телятины, числились единицами, да и насчет спиртного, черт его возьми, стало тоже очень сложно — в сатирических листках давно уже печатались лихие стишки, вложенные в уста подвыпивших гимназистиков:

Веселись моя натура, —
Мне полезна политура:
Мама рада, папа рад,
Коль я пью денатурат!

Но все-таки в семьях нашего круга все как-то доставалось и появлялось...

В одной семье кто-то то ли работал, то ли «попечительствовал» в каком-либо из бесчисленных госпиталей,— значит, была возможность заполучить бутыль спирта. В другой — были связи с виноторговцами.

Чиновникам Удельного ведомства выдали к Новому году из необъятных запасов казны какое-то количество всей стране известного «удельного» вина с изображением сургучной печати на этикетке (еще Чехов описывал эту этикетку в одном из хозяйственных писем своих к Ма-Па, к сестре Машеньке).

Хозяйки исхитрялись неимоверно: помню, как раз к этому Новому году я перенес тяжелое испытание. Мне вдруг было приказано:

— Лев! Поезжай сейчас же на Офицерскую... Знаешь — «Дом-Сказка»? Повернешь по Английскому, пройдешь два дома, там аптекарский магазин. Войдешь, спросишь Наума Семеновича. Скажешь: «Меня к вам прислали за кетовой икрой»...

Мне в те годы даже касторку спросить в аптекарском магазине было мучительно, а тут — «кетовой икры»... «Десять фунтов»!!!

— Мама, ну что ты?.. Да он же меня на смех поднимет! Не хочу я идиотом выглядеть...

Никто меня на смех не поднял, и я, весь красный от стыда, благополучно привез домой стеклянную банку для варенья, полную вожделенной икры.

Махнув на все рукой, я уже более спокойно ходил потом и за маслом «Звездочка» из «парижских сливок» в сенную лавку, и за тетерками с заднего хода в игрушечный магазин Дойникова в Гостином дворе. Все мне стало — трын-трава. Я понял: война; во время войны — все возможно.

В тысячах квартир в ту новогоднюю ночь «ели, пили, веселились», звенели бокалами, возглашали тосты... Тосты были — самые разные.

Павел Александрович Зарецкий, пристав Спасской части, пришел встретить Новый год к даме сердца своего, Марии Лукинишне, имея в виду — вдовец! — сделать ей предложение, ибо ему стало ясно, что к марту месяцу он наконец получит желанное повышение и может теперь уже заняться устроением своей вдовецкой старости...

Леночка Пахотина, барышня, только что кончившая Екатерининский институт, сияла: она сидела с блестящим, хоть и не военным, с «земгусаром» *, — богатейшим человеком, нажившимся на каких-то подозрительных поставках персидской ромашки, с таким милым, таким щедрым Вано Гургенидзе из Кутаиси — стройным, черноусым, пламенным; почти без акцента. Кавказцем!.. Все уже договорено: мамочка и папочка согласились, свадьба назначена... А потом... А потом — роскошь, потоп денег, своя машина, Дарьяльское ущелье, Тамара и Демон!..

«Ваше здоровье, Вано!» — «Будьте здоровы тысячу лет, моя Лена, моя красавица!»

* «Земгусар» — ироническое и пренебрежительное определение служащих снабженческих общественных организаций—Союза земств и Союза городов. Получив право на ношение офицерской формы (без погон), они не призывались в действующую армию,

Как могли они знать, что их ожидает?

Не видел полковник Зарецкий впереди темной улицы, по которой его, сняв с крыши дома на Малом Царскосельском, без всякой вежливости — «А, фараон проклятый, попался!» — потащат неведомо куда уже через пятьдесят шесть коротких дней солдаты без погон.

Не думала Леночка Пахотина, мамина любимая дочурка, что, не пройдет и двух недель после свадьбы (свадьба-то все-таки состоится, вот ведь что ужасно!), она придет в свой номер «Астории» и не увидит там его... И ей скажут, что гражданин Гургенидзе, не заплатив за номер, срочно выбыл неведомо куда... И она бросится искать его по всему городу. И один из его близких дружков, тоже «земгоровец» *, но русский, Панкратов, — толстый, небритый, пахнущий как старая пепельница перегорелым табаком, — сжалившись, скажет ей наконец:

— Да не ищи ты его, дуреха! Ну где ты его будешь искать? Он теперь, милая ты моя птица, уже не то в Гельсингфорсе, не то — в Стокгольме... И очень умный поступок поступил Ванька, даром что кавказец... Чего теперь нам, торговым людям, в этой богом проклятой стране делать? Спрятал золотишко-камешки в чемоданчик, сел на «ту-ту́» и покатил в Европы... Тебя ему, что ли, с собой туда тащить? Ищи теперь другого...

Боже мой, боже!

Все эти благополучные люди тогда чокались, смеялись, чего-то «желали» на краю своего мира, и никто из них не видел бездны, которая уже разверзлась под их

* «Земгоровец» — то же, что и «земгусар», но без оттенка насмешки. В условиях полного банкротства снабженческого аппарата Военного министерства Союзы земств и городов в какой-то мере способствовали материальному обеспечению армии. Среди «земгоровцев» было немало честных патриотов, но еще больше рвачей и мародеров.

ногами. Смешно и жутковато теперь, через пятьдесят с лишним лет, читать объявления в тогдашних газетах... Назначались торги с переторжками — на март, на апрель, на май месяц. Рекламировались поездки на Черное море — в середине лета, по ласковой южной синеве. Кто-то продавал дачу в Алупке. Кто-то, собравшись с силами, выплачивал последние проценты по банковской закладной и, потирая руки, мечтал, как уже с весны полновластным хозяином приедет в свое, вырванное из лап заимодавцев, именьице... Словом, Новый год прошел, как и все другие Новые годы.

А двадцать третьего числа в мою дверь постучал «Торопыга общественный».

* * *

В моей семье тогда «получались» две газеты — солидная «Речь», официоз кадетской партии, и желтый листок «Вечерние биржевые ведомости» — они со всеми новостями обгоняли остальных чуть ли не на сутки. Была, правда, газета левее «Речи» — меньшевистский «День», но у нас не симпатизировали ее направлению и тону. Я читал и «Речь» и «Биржевку»: мои собственные политические взгляды были довольно невнятными. Единственное, что их тогда определяло, — с молоком матери впитанное, нерассуждающее патриотическое обожание России, родины... Дальше я не шел.

В семнадцатом году я еще свято верил в Справедливость идущей войны. Я мечтал через год оказаться сначала юнкером, потом — офицером. Я верил в святость союзнических взаимных обязательств. Я читал «Тень птицы» Бунина и грезил о том, что Босфор, Царьград, Айя-София станут «нашими». Зачем? Наверное, для того, чтобы можно было из Петербурга, как в Териоки, ездить

в Скутари или любоваться Ылдыз-Киоском у самого Стамбула...

«Великодержавные» наклонности эти из меня так и перли, хотя были они не столько политическими, сколько «поэтическими». Я прочитывал все выходившие в те годы книги поэтов. Я сам писал множество стихов.

Не представляя себе жизни без вояжей в тропики, без жирафов над озером Чад, я с тринадцати лет начал копить деньги на «куковский билет» * кругосветного путешествия. Накопить надо было четыреста рублей, и к семнадцатому году я уже наскряжничал двести пятьдесят. Я даже давал уроки, чтобы заработать «на Кука». «Месье Альбер», учитель французского языка у Мая, объявил на одном из уроков, что он может, если кто-либо из нас кончит тут, в Питере, первый курс Лесного института, устроить тому льготный перевод на второй курс в «Акадэми́ фо′рестье́р» в Лионе, на очень выгодных условиях, с пансионом в отличной семье. А тот, кто кончил бы эту лионскую Лесную академию, мог, по словам миляги Антуана Ивановича, спокойно выбрать место работы по вкусу: угодно — французское Конго, угодно — Аннам...

Я затрепетал, услышав про это: Аннам! Конго! Да я...

Мне, молокососу, и в голову не приходило, что добрый, милый француз, может быть сам того не подозревая, просто вербовал белых рабов для парижских колонизаторов; если бы кто-либо поддался на его сладкие посулы, несомненно через два-три десятилетия, больной и ограбленный, он валялся бы, подобно Артюру Рембо, на одной из

---

* «Куковское агентство путешествий» — компания, продававшая билеты на поездки по всем странам. Поездка в приличных условиях стоила несколько сот рублей.

страшных коек в малярийных палатах Африки или Азиатского востока... Наивен, очень наивен в жизни был тогдашний Левушка Успенский — в теории способный рассуждать о чем угодно, и притом с видимой самостоятельностью ума.

Читать какую именно газету? Это для меня определялось лишь традициями семьи. Но — строго!

В только что истекшем шестнадцатом году появился на питерском горизонте еще один печатный орган, «Русская воля», листок без направления, чуть припахивавший уже не «кадетством», а скорее «прогрессивным блоком», — так именовали тогда временный союз думских партий «центра», от «левых октябристов» до «трудовиков». Бульварная газетенка!

Эту «Русскую волю» в нашем доме просто презирали.

Тем не менее утром 23 января, в понедельник, встав, чтобы идти в гимназию, я на розовой скатерти чайного стола увидел именно эту самую «Волю» — вчерашнюю, воскресный номер. Может быть, вчера почему-либо ее занесли к нам по ошибке почтальоны, а еще вероятнее — принес с собой и оставил за ненадобностью кто-либо из гостей.

Вкусы и симпатии у меня были железные, как у каждого семиклассника. Заинтересоваться чужой газетой мне и в голову не пришло бы. Но она была развернута, и на ее второй полосе я заметил подпись: «Александр Амфитеатров». Вот это было — не фунт изюма! Через стакан с какао я потянулся за газетным листом.

Амфитеатров был мне хорошо известен — и «Господами Обмановыми», и «Марьей Лусьевой», и вообще — как совершенно беспринципный, но безусловно талантливый журналист из самых бойких, в силу своей бойкости проявлявший иной раз, журналистского блеска и сенсации ради, даже незаурядную смелость.

Так, так, так, ну что же?.. Чего же сия «Воля» волит?

В «Музыкальной драме» вчера шли «Черевички», в «Интимном театре» — «Нахал», — это я знал и без «Воли». На Семеновском плацу, как всегда по воскресеньям, с половины одиннадцатого утра состоялись бега... Германия объявила жесткую блокаду Атлантики; президент Вудро Вильсон совещался с сенаторами по этому поводу. Сводка: «К югу от Кеммерна бомбами с самолета ранено 10 нижних чинов. На румынском фронте — перестрелка...»

Раз уж газета в руках, я прочитал и про то, что О'Бриена де Ласси, отравителя, хотят то ли выпустить из тюрьмы, то ли смягчить ему наказание: хитрый О'Бриен заявил по начальству, что им сконструирован какой-то удивительный аэронавигационный прибор. Я прочитал, что «инт. барышня (интеллигентная? интересная? — понимай, как тебе нравится), знающая бухгалтерию, ищет подходящих занятий», что «студент-классик Л. Я. Драбкин возобновил подготовку желающих на аттестат зрелости», что «в Териоках продается великолепная дача», что вчерашний день в Питер прибыл камергер А. Н. Хвостов из Орловской губернии, а выбыл на Кавказ лейб-акушер ее величества Д. О. Отт. Я проглядел не больно-то смешной фельетон Аркадия Аверченки про «героического» земгусара — Мишеля Прикусова и приступил к десерту — к Амфитеатрову.

Над двумя полуколонками его опуса было написано: «Этюды». Отлично, посмотрим, что за этюды...

«Рысистая езда шагом или трусцой есть ледяное непоколебимое общественное настроение...» — прочел я первую фразу и остановился. Как? Позвольте... Что? Да, именно так и было напечатано:

«Рысистая езда шагом или трусцой есть ледяное непоколебимое общественное настроение... И, ох, чтобы его, милое, пошевелить или сбить, адская твердость нужна, едва ли завтра явиться предсказуемая...»

В полном недоумении я смотрел на газетные строки и ровно ничего не понимал. Ну да, теперь, конечно, можно прочитать на бумаге все что угодно — «Садок Судей», крученовские «дыл-бул-щыл — убещур!», всякую заумь... Но то — футуристы, а это же — Амфитеатров; он-то к зауми не имеет никакого отношения!

Я посмотрел вокруг: часы идут — двадцать минут девятого. Самовар — кипит, на кухне ругается кухарка Варвара с горничной Машенькой, своей племянницей. Обе — белорусски; так и летят гортанные «Хха! Хха! Хха!» Там — все нормально, а тут?

«Робкая, еле движущаяся вялость, «ахреянство» рабское, идольская тупость, едва ловящая новости, а ярких целей, если не зовом урядника рекомендованных, артистически бегущая елико законными обходами...»

Из «детской» вышел хмурый, как всегда опаздывающий брат Всеволод:

— Ты уже пил?

— Пью! Слушай-ка! Статья Александра Амфитеатрова: «Безмерная растрепанность, азбестовая заледенелая невоспламеняемость, исключительно чадная атмосфера, этическая тухлость, чучела ухарские, дурни-Обломовы, волки и щуки наполняют общество...» Ты понимаешь что-нибудь?

— Не понимаю и понимать не желаю! — сурово ответил брат, не отличавшийся большой общественной возбудимостью. — Где сыр?

— «Полно рыскать, о торопыга общественный! — с удовольствием возразил я ему не своими, а непосредственно следовавшими за сим амфитеатровскими слова-

ми. — Покайся, осмотрись, попробуй оглядись, вникни, запахнись...»

— И не подумаю! — еще более сердито отрезал Всеволод и углубился в своего Киселева *.

Времени было — половина девятого: пора выходить; Вовочка — пусть петушком-петушком поспевает!

В трамвае я снова уставился в газету: ну и статья!!

«Фельетон едва льется — йовлевым елейным тоном, осторожный, неуклонный, извилистый, степенно тянущийся...»

«Йовлевым» — да нет же такого слова! Что все это значит? Что он хотел этим сказать? Чушь какая-то!

В гимназии главные классные мудрецы в полном смущении то разводили руками, то чертыхались, стараясь найти «в этом» хоть какой-нибудь смысл.

— Благоглупости какие-то! — пожал плечами Павел Кутлер.

— Выжига этот ваш Амфитеатров... — неопределенно, хоть и сердито, сказал Коломийцов.

— А может быть, в наборе перепуталось? — не очень разумно предположил первый ученик — Федя Евнин.

Обратиться к кому-либо из преподавателей было, разумеется, ниже нашего семиклассного достоинства.

Нелепая околесица тянулась два столбца: «И шут его толкает гражданским демоном изувеченного человека! Ему, милому, молча оглядываясь, жевать жвачку... ей-ей, тепло!» Васька Ястребцов выпучил глаза, дойдя до этого места.

— Похабно и непонятно глаголет святое писание! — склонил он к плечу лукавый горбоносый профиль свой.

---

* Все мы учили алгебру и геометрию по учебникам талантливого педагога Киселева. Переработанные учебники эти были приняты и в советской школе.

Алгебра... Немецкий язык... Психология... Геометрия... Я ничего не слышал, ничего не видел. Я читал, перечитывал, пытаясь ухватить хоть в начале, хоть в середине, хоть в конце хотя бы крупицу смысла.

В конце! И конец был неописуемым...

«Ох, вот область, которой альманах — ценам и ярлыкам, регистрирующий его возлюбленных людей — юрких, ценных, и обуянных нахрапом наживы, атаманов государственного обобрания — уже растерял «акконты»...

Гениальные артисты! Несравненные антихристы!»

И — всё. И — конец! То есть такая чертовщина, с ума сойти можно... И подо всем этим подпись: «Александр Амфитеатров».

Александр Валентинович Амфитеатров, как сказано было в словаре Брокгауза, родился в 1862 году. В семнадцатом, сегодня, ему пятьдесят пять. Всероссийская знаменитость, король фельетона... И вдруг — такая галиматья! Что сей сон значит?

Я сидел, сидел, уставясь в газетную, многократно сложенную, чтобы не очень бросалась в глаза учителям, страницу, думал, думал... Постепенно у меня не то глаза стали слипаться, не то перед ними поплыли радужные кружки... И вдруг...

«Полно рыскать, о торопыга общественный! Покайся, осмотрись, попробуй оглядись, вникни...» Да нет же, нет!

«Полно Рыскать, О Торопыга Общественный! Покайся, Осмотрись, Попробуй Оглядись, Вникни...» «П-Р-О-Т-О-П-О-П-О-В...»

— Это — акростих! — громко ахнул я и зажал себе ладонью рот: Леонид Семенович Ярославцев, чертивший на доске лемму о равенстве призм, обернулся ко мне:

— Вам что-то неясно, Успенский?

Нет, теперь мне как раз все стало ясно, все!..

И поторжествовал же я на перемене! В старшеклассную курилку, на верхней площадке лестницы, у чердачной двери (я не курил, и курить вообще-то не разрешалось, но «зальные надзиратели» только для проформы раз в день подходили к лестнице: «Господа, что там за смешение одежд и лиц? Пожалуйте в зал!»), собрались все хоть сколько-нибудь интересующиеся миром «ма́йцы». Не только гимназисты — и реалисты. Не только семиклассники, а и из восьмого класса. Они стояли и благоговейно слушали, а я читал.

— «Решительно ни о чем писать нельзя, — точно чудом выходило по первым буквам. — Предварительная цензура безобразничает чудовищно. Положение плачевнее, нежели тридцать лет назад. Мне недавно зачеркнули анекдот, коим я начинал свою карьеру фельетониста. Марают даже басни Крылова. Куда еще дальше идти? Извиняюсь, читатели, что с седою головой приходится прибегать к подобному средству общения с вами, но что поделаешь: узник в тюрьме пишет где и чем может, не заботясь об орфографии. Протопопов заковал нашу печать в колодки. Более усердного холопа реакция еще не создавала. Страшно и подумать, куда он ведет страну. Его власть — безумная провокация революционного урагана. Александр Амфитеатров».

Да, вот так оно и было написано: «Гениальные артисты! Несравненные антихристы!»... «ГА-Н-А...»

Когда я дочитал до конца, никто не проронил ни слова тут, в курилке. Все стояли молча, насупившись; кто опустил глаза долу, кто шевелил губами, точно повторяя про себя последние слова. Холодновато как-то стало всем нам от этих последних амфитеатровских слов...

Что сказать про нас, тогдашних? Как мы видели совершавшееся вокруг нас в последние годы? Мы были «ма́йцами», учениками гимназии К. И. Мая на Четырна-

дцатой линии Васильевского острова. Гимназия считалась (да и была), по тогдашним понятиям, «либеральной».

«К Маю» отдавали своих детей состоятельные, но числившие себя «в оппозиции к правящему режиму» люди. Учились у нас сыновья банкиров, вроде Эпштейна, Каминки, Бюлера. Учились дети сановников и аристократов — Черевины, Абаза, князья Васильчиковы... Но большинство составляли, определяя лицо школы, мальчики и юноши из интеллигентской, творческой элиты Петербурга...

Одновременно со мной — классом ниже, классом выше — сидели за партами, бегали по «младшим», чинно гуляли по «старшему» залу два или три брата Добужинские, маленький Рерих, Коля Бенуа, как две капли воды похожий на «портрет г-жи Бенуа» в грабаревском издании В. Серова. Учился сущий маленький негритенок Володя Мунц — сын известного архитектора и в будущем тоже известный архитектор. Учились сыновья Льва Владимировича Щербы — большого языковеда, дети или внуки Потебни и Булича, тоже всем известных филологов... Много, много таких... Именно эта прослойка определяла лицо школы. Родители наши знали, что, за редчайшими исключениями, у Мая нет и быть не может педагогов-мракобесов, учителей-черносотенцев, людей «в футлярах», чиновников в вицмундирах. Преподаватели, поколение за поколением, подбирались у Мая по признаку своей научной и педагогической одаренности. Даже приготовишек было принято именовать на «вы». Не существовало обязательной формы одежды. В старших классах было организовано «самоуправление»: был случай в моем классе, когда по настойчивому нашему требованию вынужден был уйти от Мая присланный сюда министерством чиновник — преподаватель «психологии и философской пропедевтики», — он не удовлетворил уче-

ников, и, после прослушивания его урока, педагогический совет согласился с нами...

Школа была отличной; политические взгляды и учащих и учащихся по тем временам казались довольно «левыми». Да уже одно то, что на ежегодном «торжественном акте» директор, Александр Лаврентьевич Липовский, неизменно начинал свою речь словами: «Майцы! Primum amare, deinde docere! (Сперва любить, потом — учить!)», — ставило гимназию под подозрение. И министр просвещения Лев Аристидович Кассо, и попечитель округа Сергей Прутченко видели в здании на Васильевском, где над входной дверью красовалось рельефное изображение «майского жука» («Жука! Придумают же!») — пристанище крамольников, рассадник вредного свободомыслия. Да так оно в какой-то степени и было.

Выученики «майской школы», мы стояли на том, что «все кончится революцией» и что это — там, когда-то, в неблизком теоретическом будущем! — будет и естественно и прекрасно.

Мы от души и от ума ненавидели правительство горемыкиных и штюрмеров. Мы презирали династию. И дома и в школе мы — давно уже не таясь — пересказывали друг другу самые свирепые, самые оскорбительные анекдоты про «Александру», про ее мужа-полковника, про тибетского врача-шарлатана Бадмаева, про темного мужика Григория Новых — Распутина, сидящего на краю царской постели. Протопопов — перебежчик из «прогрессивного блока» в лагерь охранки, ренегат, изменник — вызывал у нас брезгливую дрожь.

Но чего мы, в связи с этим всем, опасались? Того, что он и ему подобные приведут к проигрышу войны. Что они, разрушив армию и военную промышленность, сдадут Россию — бесснарядную и безвинтовочную, голую и босую — на милость Вильгельма Гогенцоллерна. «Протопо-

повы, — думалось нам, — могут навлечь на нас немецкое нашествие, обречь нас на поражение, на измену «союзникам», на позор сепаратного мира...» Вот что казалось нам самым страшным...

А сегодня Амфитеатров заставил нас увидеть другое. Если верить ему, выходило — дело не только в этом. Получалось, что идиотическая и мерзкая деятельность и Протопопова и всех протопоповых может (и не когда-то там, в далеком будущем, — сейчас, завтра) обрушить на нас, кроме всего этого, еще и революционный ураган. Ураган! Друзья мои, всё ли мы хорошо продумали?

Никто за последние два-три года, с начала войны, не произносил вслух таких слов, похожих на внезапно прорвавшееся сквозь туман иносказаний зарево, сполохи далекого пожара. То есть, может быть, их и повторяли, и нередко, но — люди другого, не нашего, лагеря — всякие там Дурново, разные Пуришкевичи — черносотенцы, мракобесы, ненавистные и презренные.

Теперь об этом — и как? — тайнописью, прикровенно, значит уж — вопреки тому, что дозволялось говорить правительством, вопреки тому, что думали эти мракобесы, — закричал на всю страну «благим матом» не доктор Дубровин, не член Союза Михаила-Архангела, не гостинодворский купчик и не охтенорядский молодец, — Амфитеатров; пусть шатущая душа, да «наш», свой, который, в общем-то, думает так же, как и у нас дома принято думать. Этот человек написал такую сатиру на царствующий дом, что газета, ее напечатавшая, была закрыта, а сам он выслан в Минусинск. И вторично он был выслан в Вологду, а литературная деятельность ему была вообще запрещена. И сняла этот запрет только революция пятого года. Он-то — знает, о чем говорит. И — рискует: его же могут опять выслать в Минусинск.

— Теперь — не те времена! — сказал Винавер, сын адвоката.

— Теперь — военное положение! — хмуро возразил Павлуша Эпштейн, толстый астматический юнец, знаменитый тем, что, по его утверждению, он с десяти лет был «сговорен» с семилетней дочерью чайного фабриканта Высоцкого, и теперь — пожатие не по-юношески пухлых плеч, — теперь: «Да, конечно; придется жениться. Интересы фирм...»

— Нет, но все-таки... Я не понимаю, как же редакция пропустила? — сказал еще кто-то. — Раз Успенский заметил, как же они не заметили?

— Редакция все знала... Успенский, Успенский... Наверняка уже весь город сообразил...

Снизу позвал Александр Августович Герке, историк:

— Что молодые люди делают на чердаке? Пусть молодые люди немедленно идут в зал...

В зале Герке прогуливался по средней линии, под руку с Федором Лукичом, математиком, похожим на Бакунина. В одном из концов зала мельтешили приготовишки, гулявшие тут на переменах, чтобы первоклассники и прочая мелочь не задирала их. Надежда Баулер — самые красивые глаза во всем женском персонале гимназии — пасла их, стройненькая и чуть-чуть всегда чем-то испуганная, в своем темно-синем фартучке. На стенах висели три портрета в деревянных рамах: ныне благополучно царствующий, Александра Федоровна и хорошенький мальчик — наследник престола, атаман всех казачьих войск, гемофилик, пациент Бадмаева и Распутина. Всё, как всегда.

И в то же время — «Гениальные артисты! Несравненные антихристы!» — «провокация революционного ураГАНА!»

Мы подошли к учителям — несколько человек «лучших».

— Александр Августович, вы читали эту статью?

Голая, как колено, голова Герке слегка покраснела.

— Нет, еще не читал... — как-то неуверенно проговорил он. — Видите, Федор Лукич, уже разобрались... Или — дома им разъяснили...

— Это Успенский догадался...

— Это же — акростих. А он — стихи пишет... — зашумели вокруг мои.

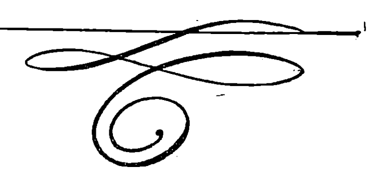
— Ну вот, тем более... Уже к вечеру вчерашнего дня половина страны знала! Сегодня — вся страна... А вы — говорите!.. Успенский, вы мне не одолжите вашу газету... до последней перемены?

Впоследствии стоило только представить себе слова «Февральская революция», как мне рисовалось низкое желтое здание с колоннами — может быть Таврический дворец? — и над входом в него черная пляшущая надпись:

Полно рыскать, о торопыга общественный!
Покайся, осмотрись, попробуй оглядись, вникни!

Пустобрех, легкомысленная личность, газетный щелкопер — а вот ведь увидел и предупредил своих. Но — не вняли! И не покаялись... Да ведь уж и поздно было!

НАЧАЛОСЬ



ТОТ ФЕВРАЛЬ

Когда сейчас, после стольких лет и такого в с е г о, вспоминаешь ту короткую зиму, создается совершенно вещественное ощущение тьмы, низкой, душной пещеры последних месяцев шестнадцатого года, из которой все мы вместе и каждый из нас порознь — как какие-нибудь спелеологи — продирались, сами не зная куда, и вдруг вырвались на свет, на весну, на солнце. Прямо в Революцию.

Конец шестнадцатого года... Это значит — задохнувшееся брусиловское наступление, в которое все мы, интеллигенты-оборонцы, вложили столько надежд (а многие и отдали свою жизнь в тех боях). Задохнулось? «Глупость или измена?»

Конец шестнадцатого? Это — «Императрица Мария», взорванная в Севастополе на рейде. Один из наших «дредноутов» взлетел на воздух, а их всего было пять или шесть. «Глупость или измена?»

Последние месяцы шестнадцатого... Распутин, Распутин, Распутин... Как в адском калейдоскопе мелькающие идиотические лица: гофмейстер Штюрмер с длинной бородой; про него говорили, что «когда-то, лет сорок назад, Борис Владимирович был отличным распорядителем на балах»... Горемыкин... Военный министр генерал Поливанов приехал к нему, премьеру Российской империи, на прием; премьер все что-то бормотал непонятное, тряс дряхлой головой, задремывал. А когда стали прощаться, он вдруг поймал руку генерала и, в полусне приняв его за даму, чмокнул эту руку.

«Меня, — рассказывал Поливанов, — охватил могильный ужас. Я не знал, что делать... В растерянности — все это видел лакей — я наклонился и как бы поцеловал премьера в плечико...» «Глупость или измена?»

И тут же — этот самый Протопопов, вчерашний думец, вроде октябрист не октябрист, вроде близок к «прогрессивному блоку», и вдруг оказывается, что куда ближе он к прогрессивному параличу... И светский поэт Мятлев (нет, не тот, — другой, новый), а может быть и сам «Володя Пу» — прославленный карикатуристами Пуришкевич, — пишет про него стишки:

У премьера старого
В клетке золоченой
Есть для блока серого
Попугай ученый.

Кто про что беседует,
Кто кого ругает, —
Про то попка ведает,
Протопопка знает...

«Хорошенький юмор, господа, так сказать мрачной бездны на краю, но притом — без всякого упоенья!»

«Глупость или измена?»

Все время в каждую такую семью, как наша, приезжали с фронта молодые офицерики, вчерашние «констопупы», «михайлоны» и «павлоны» *. Давно ли их, хорошеньких, розовеньких, — «До победы! До Берлина!» — провожали на войну. Тогда они все хрустели портупеями, все блестели лаком новеньких голенищ, все горели патриотизмом, распевали: «Мокроступы черной кожи не боятся аш-два-о!», одобряли в восторге верноподданнических чувств даже «цуќанье» **.

Теперь они приезжали с фронта землисто-бледные, с обозначившимися скулами. По ночам они кричали непонятное: «Пулемет справа, справа... Да добей же ты его, чтоб тебе!» Их дергал тик. Они, мальчики, пили, когда могли достать, водку стаканами... Они отмалчивались, ничего не рассказывали, не хотели говорить с папами-мамами, собирались с такими же, как они, фронтовиками в подозрительных гостиницах, с девицами, которых и подозрительными нельзя было назвать, до того все ясно...

Вот вернулся — на побывку — Ваня Бримм, сын, внук, племянник Бриммов-профессоров, сам без пяти лет профессор. В либеральной семье устроили либеральный, за крахмальными скатертями, торжественный ужин: десять курсисток сверлят восторженными глазами героя; старые статские советники и генералы от науки почтительно прикасаются к беленькому крестику пальцем...

За столом барышни стали, сияя глазами, умолять:

---

* Жаргонные офицерские наименования юнкеров по училищам. «Ко(н)стопупы» — юнкера Константиновского, «михайлоны» — Михайловского, «павлоны» — Павловского юнкерских училищ в Петербурге.

** «Цука́нье» — жестокая и издевательская муштра, которой младшие юнкера подвергались со стороны старших. Будучи совершенно незаконным, «цука́нье» поощрялось начальством, как «благородная традиция».

— Ваня, а вы ходили в атаку? И — была рукопашная?! Ой, расскажите — это такой ужас!

Иван Бримм — «мой лучший ученик по латыни за все время, что я преподаю», как аттестовал его наш латинист, — сморщился, начал открещиваться:

— Да, боже мой, да ровно ничего тут нет... Да нет там никакой романтики: грязь, сырость, крысы...

— Нет, расскажите, расскажите...

Ну, как-никак хоть легкого винца, но было сколько-то выпито. И потом — юношеское опьянение — от света, от шума, от чистых скатертей, от девических глаз... «Это после т о г о окопа, за озером Мядзиол, помнишь, Петя?..» Ну, не выдержал...

— Ах, все это — совсем не так, как кажется... Ну, прибегает адъютантик, кричит: «Что ж вы тут... застряли? Вторая рота пошла, а вы... болтаетесь? Немедленно выгоняй всех...»

Я к солдатикам: «Братцы, давайте!» А «он» — режет над самыми окопами, мокрая земля летит, дерн... Никто не хочет первый... жмутся в норы, не выходят... Тимофейкин — мой друг милый, унтер, животное — шепчет: «Вашеродие, наган-то лучше с кобура выньте. Мало ли?» А я...

Ваня Бримм, бывший филолог, вдруг оглядел стол и застольников такими глазами, что холод по спинам прошел. Нет, он уже не видел ни этих девочек с Высших курсов или от Шаффé, ни Давыд Давыдовича, ни Эрвин Давыдовича, ни Овсянико-Куликовского... Он видел окоп и солдатские лица в окопе, т у высотку, впереди, за дождем, и бурый фестон дыма — разрыв снаряда на ней...

— А я, — свистящим голосом, судорожно сжимая челюсти, не то громко заговорил, не то шепотом закричал он, — а я вдруг вижу этого моего ненавистного... купчика,

Карякина, который всякий раз, как атака, — прячется, сук-кин сын, куда-нибудь... Я вижу, как он и сейчас весь скривился: «Ты, мол, лезь на пулю, благородие, коли тебе надо, а я, мол, и тут посижу...» И вот я выскакиваю на ступеньки: «Мать вашу...»

Нет, он докричал все до конца. Потом понял, ахнул, закрыл глаза рукой. Потом быстро, ощупью, вышел из комнаты... На следующий день Ваня Бримм уехал обратно на фронт...

Что же это, в конце концов, было все: глупость или измена? Кто изменял? Кому? Не надо было ни листовок, ни лекций, ни статей. Достаточно было один раз увидеть такие глаза, услышать такой голос, как тогда у этого Вани, чтобы сразу почувствовать: нет, это вам не «Полтава» по Пушкину, не «Бородино» по Лермонтову. Это даже не толстовский Шенграбен, не лермонтовский «Валерик»; это — что-то совсем другое; из этого надо выходить, выползать, вырываться... А как?

В городе с полночи становились очереди за хлебом — злые, крикливые, уже ничего не боящиеся. Но и к ним как-то начинали привыкать.

Не было мяса, круп, масла, сахара, дров, керосина. Ничего не было! У министра Шаховского корреспонденты спросили: как же быть? Сахара нет, а народ привык пить чай вприкуску...

Министр не растерялся. «Можно завязывать ложечку сахарного песку в тряпочку и присасывать ее...» — ответил он. Но и к глупости министров привыкли. Министерское: «Сосите тряпочку» — показалось даже смешным. Милым!

А в общем — я ведь могу говорить только о своем тогдашнем ощущении — все было так, как если бы на тебя каждый день с утра наваливали всё новые и новые пласты земли. Точно хоронили тебя заживо — все темнее,

все невозможнее дышать, все бездыханнее, как в страшном сне...

И вот Павел Милюков уже спрашивает с думской кафедры то самое знаменитое: «Глупость или измена?» И вот уже утром 18 декабря все бегут и едут на Малую Невку к Петровскому мосту и видят там черную полынью, и снег вокруг нее, истоптанный сотнями сапог. И узнаётся, что туда убийцы (герои?) бросили, как приконченного бешеного пса, крестьянина Тобольской губернии Григория Иванова Новых.

И вот уже ползут слухи: царица, «государыня», — немка проклятая! — перевезла тело этого бешеного мужика в Царское Село и похоронила в царском саду, бегает, стерва, со своими псицами — с Анной Вырубовой, с Пистолькорщихой, с другими — выть по ночам над иродской этой могилой... Вот тебе «и вензель твой, царица наша, и твой священный до-ло-ман!» *. Что же это такое, господа офицеры?

Вспомнил сейчас, и — дрожь по спине. Ну, времечко было!.. А ведь, конечно, жили рядом со мною, с нами впередсмотрящие, которые знали, что приближается, откуда оно идет, к чему приведет... Ну, пусть не в подробностях, пусть — в общем, но знали, где выход из пещеры, где стена породы тоньше, куда надо бить кайлом. И били.

Помню вечер; в феврале темнеет все еще рано. Я иду из гимназии: должно быть, там какой-то кружок был. Иду пешком: от Четырнадцатой линии до Зверинской не так уж далеко, а садиться в трамвай — вон какое мучение: надо висеть на подножке; едут даже между вагонами,

* Строчки из песни одного из «Ея величества» полков.

с руганью, с толчками. Недавно на такой же подножке у меня свистнули кошелек с мелочью. Лиловый такой был кошелечек! Жалко!

Пеших, вроде меня, на темных улицах маловато, фонари горят тускло и далеко не все. Я шагаю по Первой линии к Тучкову мосту и останавливаюсь. В уличной тьме по мостовой движется на меня нечто огромное, черное; вроде как лошадь, но высоко над этим черным чуть-чуть светились какие-то два маленьких остреньких язычка, как бы мерно покачивающиеся в слякотном зимнем воздухе зеркальца...

Я чувствовал себя всегда старым петербуржцем, все на питерских улицах было мне знакомо и привычно. Но тут я несколько оторопел. Было в этом двойном темном призраке, безмолвно надвигавшемся на меня, что-то таинственное, неестественное, тревожное...

Ближе, ближе... На пути стоял фонарь. И в слабенькое поле его света вдруг въехали из тьмы два казака на темно-гнедых, вовсе небольшеньких мохноногих лошадках. Тесно, стремя к стремени, сами всего побаиваясь, они ехали шагом по старой василеостровской линии, должно быть неся патрульную службу. Оба круглолицые, оба совсем еще ребята, без усов, они осторожно сидели на низких седлах своих, недоверчиво вглядываясь во встречных, а над их головами, высоко в тумане, двигались на длинных древках голубовато-серебряные ланцетики четырехгранно-плоских лезвий—пик.

Я неожиданно появился перед ними в фонарном свете. Лошади насторожили уши, прянули прочь от тротуара... И ночной патруль этот так же быстро расплылся во мраке между ближним фонарем и следующим...

Я пошел на Тучков мост. Сердце у меня постукивало. Почудилось мне в этой встрече что-то опасное, какое-то обещание грозы. Сам я еще не знал — что?

Дома я рассказал о своей встрече. Отец хмуро выслушал, хмуро пожал плечами...

— Идиоты! — проговорил он, отвечая скорее себе, чем мне. — Хлебную очередь казаками не разгонишь!

Но я отлично знаю, что и он, отец, не представлял тогда себе, что произойдет через два, через три дня.

Через три дня — а как прошли эти три дня, я просто совершенно не знаю, начисто забыл; не помню даже, ходил ли я в гимназию или сидел дома, если она уже была закрыта, — через три дня кухарка Варвара, выйдя на разведку утром в булочные, прибежала в страшном волнении:

— Каки там булочны, барыня! Что делается! Ой, барыня, что делается! С ума сошел народ... На Александровском участок жгут, до неба огонь!.. Около Татарского поймали офицерика — погоны сорвали, пустили: только левольвер отняли... Так плакал, так плакал, бедный! Солдатишки кокарды красным тряпочкам обвязавши ходят, песни поют...

В моей жизни есть несколько событий, которые я не до конца понимаю, не могу объяснить себе полностью.

У меня — как у очень многих незрелых юнцов в то, ставшее даже и нам самим уже трудно восстановимым в самой психологии своей, время — была дома австрийская винтовка: мне прислал ее в подарок, как трофей, дядя Миша, артиллерист, командир батареи в Карпатах. Была винтовка, и было около сотни австрийских же патронов, с тупоносыми, не похожими на наши пулями.

Это все по тем временам было совершенно естественно: трофей! Но вот как мне — мне только что ведь стукнуло семнадцать — позволили, как меня выпустили с

этим вооружением из дому собственные мои родители, как мне не возбранили идти с ним «делать революцию», почему, когда я, уйдя утром, явился домой уже в сумерках, никто не сказал мне ни единого слова, почему никогда потом ни мама, ни отец ни разу не намекнули на то немалое волнение, которое они — иначе быть не могло! — весь день испытывали, — вот что для меня до сих пор непостижно. Я много раз спрашивал их потом об этом; они, сами удивляясь, пожимали плечами. Они тоже не могли объяснить.

Я думаю теперь, что в такие мгновения, когда в самом начале всенародных катаклизмов вдруг взрывается весь привычный уклад мира, — образуются в людях этакие психологические вакуумы. Сразу меняются все мерки, все критерии, все оценки. То, что вчера казалось немыслимым, внезапно становится вроде как само собою разумеющимся. То, от чего накануне кровь застыла бы в жилах, встречается нервным смехом... Ничего нельзя, и все можно... «А, да делайте, как знаете, сыновья! Вам виднее!» Вчерашнего уже нет, завтрашнее еще не родилось. Пустота. Вакуум!..

Все пошло колесом для меня, понеслось, закрутилось — невиданное, небывалое, неправдоподобное: поди вспомни через полвека детали!

Где-то у Биржевого, где посреди мостовой стояло тогда небольшое сооруженьице, которое я теперь даже не умею и назвать настоящим словом — не часовенка, нет, а этакий каменный «голубец», какая-то икона в серо-мраморной раме на таком же мраморном постаменте, — я наткнулся на грузовик, полный солдат, студентов с винтовками, каких-то вообще не известных никому граждан. Большинство были молоды, хотя и старше меня; но были там и два старика — самых, надо сказать, свирепых из всех: усатых, решительных, неутомимых. Меня охотно

подсадили на грузовичок: винтовка! Мы покатили к нынешней площади Льва Толстого.

Там, на углу Архиерейской, где теперь кино «Арс», уже образовалось что-то вроде Революционного комитета Петроградской стороны. По комнатам бегали люди, было страшно накурено, звонили два телефона... Один маленький закоулочек был выделен и охранялся. Я спросил, что происходит там, за дверью, в филенку которой было врезано матовое стекло. Мне сказали, что там находится временный комиссар района товарищ Пешехонов: да, да, этот самый, трудовик!.. *

Я заглянул в какое-то другое помещение и удивился. Его никто не охранял, но в совершенно пустой комнате на полу лежала тут огромная груда винтовок, револьверов, офицерских шашек, а у столика сидел и что-то писал на больших листах бумаги очень черный студент в необыкновенно толстых очках. Он наклонился к самому листу, а две худенькие девушки, ходя по комнате, перекладывали оружие из угла в угол, очевидно считая его, и возглашали: «Револьверов — семь, сабля — одна!..»

Близорукий не столько увидел, сколько почувствовал мое присутствие на пороге.

— Коллега! Коллега! — оторвался он от своих бумаг. — Вы — работать хотите? Пойдемте тогда к Пешехонову, я передам вам эту контору... Не хочу я считать тут дурацкие бульдоги эти... Несут, несут... Откуда несут? Коллега, давайте на мое место...

Я сообразил, что дело становится нешуточным. Я тоже ничуть не хотел считать «бульдоги», раз они — дурацкие. Да я, по правде сказать, и ужаснулся, увидев такую уйму оружия. Что я с ней буду делать?

* Трудовики — небольшая группа депутатов Государственной думы, придерживавшихся народнического толка и являвшихся как бы легальными представителями запрещенного эсерства.

— Ну надо же все-таки, чтобы кто-нибудь считал! — сердито сказала одна из девушек. — Это оружие, отобранное у офицеров на улицах, в казармах... Никакие это не «бульдоги», как вам не стыдно, коллега Нейман...

Дальнейшего я не слышал. Я ретировался. И тут оно и началось... Кто-то снова увидел меня с винтовкой. «Товарищ с винтовкой, что же вы? Там уже грузятся!» Я снова оказался на автомобиле между солдатами, рабочими, студентами... Машина рывком взяла с места: не теперешняя машина на пневматических шинах, — тогдашняя, с колесами, обутыми в литые страшные калоши. И ехали мы не по асфальту, — по булыге... Куда мы ездили? Теперь уже не скажу. Я мало что мог запомнить. Я был взвинчен до предела. Твердо помню, что каким-то образом уже на закате я оказался — с этой ли машиной или уже с другой — на Обводном, у высоченной церкви Мирония, за Царскосельским вокзалом. Тут был тогда газовый завод. Откуда-то была получена весть, что на колокольне засели «фараоны», что у них — пулемет и что они намерены поджечь газгольдеры и вызвать взрыв.

Из-за каких-то заборов мы с четверть часа стреляли по колокольне — она, черная, длинная, жутко рисовалась на алом закате, — потом пошли на штурм церкви. Я не уверен сейчас, но как будто наверху уже никого не оказалось; однако пулеметные ленты и круглую зимнюю шапку городового мы нашли у колоколов... А я испытал совершенно небывалое и упоительное для семнадцатилетнего юнца: в городе, на знакомых улицах, прятаться за дощатым забором и — стрелять. Да — стрелять, невесть во что! Да еще чувствовать себя при этом почти героем.

Восприятие-то мира у меня и таких, как я, было — книжное, литературное... Революция — это «История двух городов», это «Боги жаждут», это Гаврош на баррика-

дах... В тот день я не ощущал реальной России, своего Петрограда. На меня нахлынул исторический роман, и я с восторгом барахтался в его волнах.

Поздно вечером я пришел домой. Тем вечером еще не было людских толп на улицах, не было множества машин с солдатами, несущимися невесть куда с криками «ура», не было человеческих бурных потоков, в волнах которых каждый был украшен красным бантиком... В тот вечер еще дело было не решено окончательно. Думается, все это происходило до 28 февраля.

А вот на следующий день все определилось и оформилось.

Следующий день был солнечным, ярким. Снег на мостовых сразу залоснился. Теперь стоило дома открыть фортку, и откуда-нибудь уже доносилось «ура-а-а!», и рычание мотора, и грохот мчащейся грузовой машины. Теперь удержать меня дома было и вовсе немыслимо. Да никто и не держал.

Уже совершенно спокойно (но все-таки с той же винтовкой за плечами) я прошел, впивая в себя мартовский ультрафиолетовый свет, общее ликование, и в то же время — общее недоумение, по Зверинской на Большой. Тут мне вздумалось досягнуть до Каменноостровского и посмотреть: что получилось там, в помещениях кинотеатра? Продолжает ли черненький коллега Нейман, в очках с могучими стеклами, регистрировать поступающее оружие, или там уже ничего этого нет? Но сделать так мне не удалось.

Ни трамваи не ходили... Я начал так: «ни трамваи» — и вдруг сообразил, что это «ни» — напрасно: кроме трамваев, никакого другого транспорта и не было, ибо извозчиков уже давно почти не осталось. Война!

По Большому сплошной рекой — двумя реками: туда и обратно — тек народ... Очень жаль, что как будто ни

один кинооператор не догадался заснять — так просто — вот эту толпу первых дней той, Февральской революции, очень уж характерно для нее было отсутствие какого-бы то ни было членения, буквально несколько дней сохранявшаяся аморфная «всеобщность». С кипящего котла вдруг сняли крышку, открыли клапан, давление сразу упало: клубится пар, бурлят пузыри, но взрыва-то уже не последует — по крайней мере немедленно... И не различишь, что там кипит, — щелочи, кислота, все вместе! Трудно было поверить, что я иду по революционной улице, — она казалась скорее карнавальной.

...Карнавальной-то карнавальной, но — на грани, на острие... Я был уже за тогдашней Матвеевской улицей, когда где-то хлопнул выстрел... Другой...

Та же толпа кинулась врассыпную... Мгновенно возник слух: «Городовые на Матвеевской церкви!» — «Ну мы их сейчас!!»

Откуда ни возьмись — солдаты с винтовками: побежали туда... Я бы в восторженном упоении тех первых дней тоже побежал, но в этот самый миг со мной грудь с грудью столкнулись два обуреваемых революционным восторгом паренька, с какими-то цветными повязками на рукавах пальто.

— Товарищ! Коллега! Вы — гимназист? — уже издали кричали они мне. — Идите вон в тот подъезд! Там сейчас происходит общее собрание. Учеников, гимназистов. Вы какой гимназии? Мая? Это — на Васильевском?.. Не играет роли: важно начать; потом уже разберемся кто откуда!

Какую-то секунду я колебался. Совершенно честно говоря, я в те времена (точнее, до того времени) был «отдельным» юношей, подростком-одиночкой. Я был чрезвычайно, я сказал бы — до болезненности, стесни-

тельным и конфузливым существом, чего никак не могли предположить — глядя на мою кожанку, на мою австрийскую винтовку за плечами, на мой, очень много выше среднего, рост — эти юные агитаторы.

Заговорить на улице с незнакомым? Нет, этого я категорически не мог! Спросить у встречного, который час, — и это было для меня истинным мучением. Если со мной заговаривали, я краснел, сбивался в ответах, старался смыться в сторону, стушеваться. Я совершенно уверен, что еще неделю назад, еще вчера, я так и поступил бы — вспыхнул бы, замялся и, пробормотав: «Да нет уж, знаете... Я — потом...», — улизнул бы в какую-нибудь Покровскую или Бармалееву узенькую улочку.

А тут что-то необыкновенное вдруг произошло со мной.

— Общее собрание? — переспросил я. — Тут? — И снял винтовку с плеча (не так же, не с ней же за спиной идти!).

И, влекомый неведомой силой, сам себя еще не вполне понимая, открыл дверь (мои искусители уже кричали каким-то девочкам на улице: «Коллеги, коллеги, вы — гимназистки?») и вступил на темноватую, выбитую множеством ног лестницу «Частного Среднего Учебного Заведения без прав В. К. Иванова», или бывшей «Мужской Гимназии Л. Д. Лентовской», помещавшейся тогда в доме № 61 по Большому проспекту Петроградской стороны.

И тут вот, по волшебству, конфузливый юноша Левочка исчез. С этого мгновения меня понесло. Надолго. На годы!

На втором этаже по всем коридорам не слишком приспособленного для своего назначения здания шумело великое множество таких же не мальчиков — не юношей, не девчонок — не девушек, каким был и я. Никогда до

этого мне не приходилось видеть ничего подобного: ой-ой-ой! Я как-то сразу понял, что тут уж ты — либо пан, либо — пропал. И в то же время почувствовал: поздно! Пропадать нельзя. Это будет настолько нелепо при моем росте, при моих широченных для мальчишки плечах, при том, что я вломился сюда не каким-нибудь скромным шестиклассником, а таким вот человеком с баррикад, с австрийской винтовкой за спиной, — что я не имею не то что права — возможности не имею допустить отступление!

На мою фигуру уже смотрели с недоумением и почтительно. Я увидел стол, за которым две гимназистки в фартучках и с косами очень важно и очень ловко регистрировали прибывающих; можно было подумать — они всю жизнь только этим и занимались. Подойдя, я как можно басистее спросил у этих косаток: «А куда идти?» Обе подняли на меня южные, весьма темные глаза. Я удивился: девиц было две — и в то же время вроде бы одна. Потом выяснилось: они были близнецами, две сестры-украинки с какой-то «речной» фамилией — Псиол, Хорол — как-то так...

Я проследовал, куда мне вежливо указали два мальчика — в небольшой и уже до отказа набитый зал. Там как раз начиналось, а через десять минут пошло полным ходом, нечто мною никогда доныне не виданное: первое в Петрограде «инициативное собрание учащихся средне-учебных заведений Петроградской стороны».

На том собрании было много шуму. На кафедру взбегали мальчики и девочки — почти мальчики, чуть что не девчонки — и вдруг произносили речи, как самые опытные думские краснобаи. Другие выступали этакими пламенными монтаньярами, этакими Маратами и Дантонами, о каких мы читали в учебнике Виноградова. Свершилось истинное чудо: за два или три дня из

серенькой, казалось бы вполне «приличной», массы аккуратненьких гимназистиков и гимназисточек выпрыгнули не только маленькие копии отцов, миниатюрные керенские, некрасовы, аджемовы, чхеидзе и родзянки, — это было бы не странно: дети всегда подражают отцам. Но тут было и другое: внезапно начали, пока еще никем не разгаданные и не понятые, проступать черты людей нашего самого близкого, но пока еще прикрытого мглой будущего, — черты таких людей, о самой возможности появления которых у нас, в либеральной России тех дней, почти никто не задумывался...

«Россию-матушку» тогдашние интеллигенты — во всяком случае, большинство их (конечно, не теоретики и не практики революции) — пытались все еще видеть по старинке — рыхлой, медлительной, пошехонцами и головотяпами населенной страной.

Для этого было немало оснований. В XIX веке Россия мысли ушла, может быть, далеко вперед по сравнению с другими народами и странами. Она породила и Толстого и Достоевского, и Лобачевского и Менделеева, и нигилизм и народничество, и целый ряд других явлений общественной жизни, до которых еще и Западу было далеко как до неба.

Но вот Россия действия — так, по крайней мере, казалось многим — плелась в хвосте у истории. Маленькая Норвегия рядом с Ибсеном и Бьернсоном молилась на Нансена и Амундсена — людей дела, людей могучей воли, викингов и берсеркеров нашего времени. Мы, русские, почти и не слышали о своих Седовых, Брусиловых и Русановых. Не знали их. Самая идея сорваться с места и плыть на полюс, подниматься на Эвересты и Гауризанкары, ставить рекорды высоты полета выглядела в глазах тогдашнего общества нерусской, несерьезной идеей. Все то же обывательское «от хорошей жизни

не полетишь» тяготело над нашей действительностью. Пожимая плечами, русский «образованный человек» читал, что вот миллиардер Рокфеллер до старости лет играет в гольф; нелепо было представить себе какое-нибудь русское «высокопревосходительство» или «степенство», Победоносцева или Викулу Морозова сбивающими городки и гоняющими мячи на теннисном корте. Что мы, митрофанушки, голубей гонять? Пусть Англии и Германии лезут куда-то в тропики, опускаются в глубины океанов, мечтают о полетах на Луну и на Марс, нам бы свои «тутошние», истовые дела закончить... Да не «закончить», хоть так по-хозяйски «не упустить»...

Вспоминалось, что ведущим персонажем литературы нашей был вот уже сколько времени «лишний человек». Нет, не Рудин — Обломов, прекраснодушный бездельник, ничтожество.

Начинало казаться — многим, очень многим, — что если и были у нас когда-нибудь могучие характеры, железные люди, фигуры шекспировской трагичности и великого напряжения воли, то там где-то, за гранью веков — во дни Степана Разина, во времена протопопа Аввакума, при Петре Первом, в крайнем случае — при Екатерине-матушке... Ну, в самом крайнем случае — в восемьсот двадцать пятом, на Сенатской площади, в рядах декабристов... А теперь? Да где они? Покажите вы их нам в могучей толще народа-богоносца, народа-страстотерпца. Где они, эти единицы? Нет их, и не может быть. Ни светлых героев, ни мрачных злодеев... Не наше все это, «не при нас об этом писано...». Народовольцы? Савинковы? А — знаем мы этих «коней бледных»! Игра!

А ведь на деле — уже в эти самые дни, в марте 1917 года, — между нами ходили никому неведомые агрономы, земские учителя, счетоводы, унтер-офицеры,

которым через год-два предстояло оказаться действующими лицами величайшей из драм истории, разойтись по двум ее лагерям, схватиться в яростной, невиданной доныне по масштабу и напряжению борьбе...

Ведь уже жили рядом с нами и Чапаев, и Щорс, и Маркин, и Железняк, и Фрунзе, и Лазо... Жили, существовали, копили ненависть и Петлюра, и Махно, и Тютюнник, и Шкуро, и адмирал Колчак, и мягкий генштабист полковник Деникин...

Как-то на днях, копаясь в старых газетах, я прочитал репортаж самого продувного из журналистов тех дней Николая Брешко-Брешковского о каком-то авиационном празднике (еще там, до войны). Брешко описывал впечатления от первого своего полета. Перед полетом один из молодых военных уступил ему свою теплую шапку: наверху-то холодно!!

«Вернувшись, — рассказывает Брешко-Брешковский,— я отдал эту шапку кавалергарду, барону Врангелю; Врангель должен был летать вслед за мной...»

Я убежден, что, если бы в тот миг ему сказали, к о м у он любезно передал головной убор корнета Подгурского, если бы он мог подумать, к а к а я судьба ожидает этого молодого и любезного д л и н н о г о П и п е р а (такова была полковая кличка Петра Врангеля в те дни), он пошел бы к врачам и попросил: «Поместите меня в психиатрическую клинику! Смотрите, какая несообразица стала мне мерещиться!» А ведь именно эта «несообразица» и осуществилась.

Астрономы утверждают: при запуске космических кораблей на Венеру и Марс приходится выдерживать скорость выхода на орбиту — а она измеряется десятками тысяч метров в секунду! — с точностью до одного метра. Один метр отклонения в начале пути дает многие т ы с я ч и к и л о м е т р о в промаха у цели.

Так вот и при любых построениях исторического характера то же. Стоит «вспоминателю» допустить самую малую неточность, смешную, ничтожную, казалось бы не могущую иметь ни малейшего значения «тут», сегодня, когда это говорится или пишется, — и «там», через годы и десятилетия, когда кто-то другой на этой фактической записи будет основывать свои, нам неведомые, выводы и расчеты, она может отозваться чудовищной ошибкой... Вот почему я и задерживаюсь, казалось бы, на пустяках.

...Я, наверное, с час или два сидел со своей винтовкой между колен где-то в задних рядах, исподлобья приглядываясь к происходящему. Все было мне внове; все казалось странным, непонятным, непостижимым... Но, видимо, сама атмосфера гигантского переворота воздействовала на каждого из нас. И настал миг, когда я, совершенно неожиданно для себя, вскочил и, обливаясь холодным потом, выбежал на импровизированную кафедру. И — заговорил...

Очень слабо помню, о чем именно я говорил. Вероятно, о том же, о чем и все — о срочной надобности для нас, учащихся, создать свою организацию. Наверное — о Революции. Возможно, о том, что она не должна помешать доведению войны до победы. Безусловно о свободе: все тогда говорили о свободе; неясно было одно: кто какое представление вкладывал в это слово?

Конечно, я говорил то же самое, что и другие. Но ростом я был на голову выше любого из присутствовавших (во мне тогда уже было около 185 сантиметров). У меня была буйная, взлохмаченная шевелюра, был громкий голос. На мне была кожанка и обмотки, а в руках я держал не что-нибудь — винтовку, австрийскую! Боевую!

Вот почему, когда стали выбирать делегатов на тут же намеченное общегородское собрание учащихся и во «Временную Управу» будущей организации, этот лохматый верзила с винтовкой прошел и туда и туда. Я стал ОСУЗЦЕМ.

И, хотя ОСУЗ (Организация средних учебных заведений) вполне закономерно оказался (не мог не оказаться) мыльным пузырем, организацией липовой, игрушечной, временной (он не намного пережил Временное правительство), хотя он очень мало чего внес в жизнь страны, — в моей личной жизни роль его оказалась чрезвычайной.

ОСУЗ сразу, «одним махом» сделал меня если не взрослым, то, во всяком случае, подготовленным к поднятию по ступеням этой странной штуки — овзросления.

Надо сказать, что и вообще он был чрезвычайно характерным порождением своего — очень короткого, но многозначительного — момента.

Это дает мне право и повод сказать о нем в дальнейшем несколько слов.

Так я собирался закончить главку о первых, февральских днях Февральской революции. Но, заговорив о трудностях выбора «жизненных линий» в тот момент, я вспомнил одну, такую же «жизненную» историю. Трудно было ориентироваться и выбрать дальнейший верный путь не только таким, как я — семнадцатилетним. Может быть, много труднее пришлось — и тогда, и в долгие дальнейшие годы — старшему поколению интеллигенции.

На следующий день после собрания у «Лентовской» мне, в радостном, светлом — даже слегка восторженном —

настроении, вздумалось заглянуть к моему школьному другу К.

Семья К. была стародворянской и крупночиновничьей семьей, из очень крепких и очень известных. Они — по женской линии — были в родстве с Протасовыми, а через них — с Ганнибалами. Два брата К. перед революцией по-разному определили себя в старом мире. Один из них, Николай Николаевич, придерживался правокадетских взглядов. После пятого года он короткое время побывал даже министром, по-моему — земледелия.

Второй брат, Павел Николаевич, был и остался убежденным консерватором, «правым», монархистом. В его доме запросто бывали такие киты черносотенства, как пресловутый Н. Е. Марков-второй, мишень карикатуристов, злая ненависть всех, кто стоял на позициях хотя бы относительно прогрессивных, или как не менее известный министр внутренних дел Николай Маклаков, брат кадета и прославленного адвоката Маклакова Владимира.

Сын Павла К., мой одноклассник и друг Павел Павлович К., не придерживался взглядов родителей, но и не возмущался ими. Он был самостоятельно — и очень интересно — мыслящим юношей, тяготел к философии, был отличным музыкантом, интересовался уже — по примеру дяди и отца — экономикой и финансовым делом, но к вопросам «чистой политики» был равнодушен. Старше меня на год или полтора, он даже среди учеников гимназии Мая выделялся и образованностью, и самостоятельностью взглядов и вкусов. Я его очень ценил тогда, да и на протяжении всей моей последующей жизни. Вплоть до кончины своей он оставался лучшим из моих друзей. Но сейчас не о нем.

На Пятой линии Васильевского открыла дверь (первые же дни; ничто не успело измениться) знакомая мне

горничная. Сняв с меня пальто, она показала на — тоже отлично мне известную — дверь:

— Павел Павлович у Павла Николаевича в кабинете.

Я пошел было привычным путем, но вдруг замер на месте. Из-за двери кабинета я услышал голос хозяина дома. Павел К. старший — рыдал.

— Ах, Пашенька! — донеслось до меня сквозь тяжелые, трудные всхлипы. — Что ты меня успокаиваешь? Всё, всё — хинью пошло! Монарх, — он сильно грассировал, — вера, родина... Всё — прахом! Погибло всё, за что была отдана жизнь такого множества лучших людей... Слышать не могу этот счастливый Колечкин голос по телефону... Конец, конец всему!

— Папа, — взволнованно перебивая отца, уговаривал мой друг, — ну полно! Ну что ты, папочка?! Нельзя же так отчаиваться: перемелется...

— Ничто не пеле... не перемалывается в истории, мой дружок! Она все ломает! Все рухнуло. Конец... Нет престола... Нет правды... А для чего же тогда жить? Для чего?

— Папочка! Ну, ради мамы... Ну успокойся, папочка...

До крайности потрясенный, я отступил в прихожую, снял с вешалки пальто и, буркнув горничной, с любопытством смотревшей на меня: «Я передумал, потом зайду!», очень расстроенный ушел из темной этой квартиры, от этой, как бы тяжко придавленной свершившимся, семьи на улицу, на свет, на вешнюю капель, на грохот и гомон мира. Вот так было тогда.

Прошло, вероятно, лет семнадцать, может быть — девятнадцать. В Москве, как и в каждый мой приезд туда, я зашел к Павлу Павловичу К., давно уже крупному советскому работнику-финансисту. Прожив нелегкие

десятилетия, побывав во всяких передрягах, он по-прежнему оставался умницей, тонким человеком, лучшим из моих друзей.

Я пришел, когда он собирался пойти к отцу. (Павел К. старший, насколько я представляю себе, тогда уже прекратил работу по банковскому делу и доживал жизнь на покое где-то в Палашовском переулке, около рынка). Я отправился с ним.

Я с удовольствием просидел у стариков К. весь вечер, — с Павлом Николаевичем всегда было о чем поговорить: видел и помнил он много и разное.

Время в этот момент было очень неспокойное. Мир накалялся от года к году. Итальянские бомбы уже гремели в Абиссинии. Гитлер набирал чудовищный разгон. И в Европе, и за ее пределами становилось все тревожнее. Об этом заговаривали, встречаясь, все советские люди.

Уже прощаясь в прихожей, Павел Павлович-сын вдруг еще раз обернулся к отцу.

— Нет, ну а все-таки, папа? — словно обращаясь не к человеку, а к оракулу, снова спросил он. — Да, тревожно, очень тревожно... Да, есть признаки прямо зловещие, я согласен... Ну, а все же, как, по-твоему? Выход-то — есть? В чем выход?

Никогда я не забуду этого. Павел Николаевич К. — бывший друг Маркова-второго, бывший директор департамента Государственного казначейства Российской империи, бывший орловский помещик, тот самый, что плакал в марте 1917 года в Санкт-Петербурге над крахом монархии, как Марий на развалинах Карфагена, — все еще крепкий телом, все еще бодрый умом, строго посмотрел на сына через очки и, как бы в некотором раздумье, развел перед собой сильные короткие руки.

— А выход, Пашенька, — без тени сомнения твердо проговорил он, — а выход я теперь могу тебе указать

один-единственный. Мировая революция! Иначе — фашизм. А это было бы — гибелью человечества.

Мы с Павлом Павловичем переглянулись.

КОНЦЕРТ-МИТИНГ

Накануне семнадцатого года жил в Петрограде, на тихой Петроградской стороне, ученый. Геолог Петр Казанский. Будучи уже человеком в возрасте, он продолжал свято хранить эсеровские взгляды и симпатии студенческих времен. В молодости — там, на рубеже веков, — он и сам был как-то причастен к народовольческому движению и женился на девушке, «замешанной» в нем. Звали эту девушку Анной Георгиевной Кугушевой — княжной Кугушевой! Но между «своими» она была всегда известна просто как «Егоровна».

Надо прямо сказать, в семнадцатом году бывшая княжна ничуть не походила на «сиятельство», а выглядела именно совершенной Егоровной. Небольшого ростика пожилая женщина, со старозаветным узелком-просвиркой полуседых волос на затылке, с древними, связанными ниткой очками на остром носу, с утра до ночи хлопотала в большой и бестолковой квартире ученого. Если она не возилась с внуками (внуки тоже звали ее Егоровной), не стряпала, не обшивала семью, то читала свое «Русское богатство» или занималась делами постоянных и бесчисленных «гостей» — никому не известных, но остро нуждающихся в помощи молодых парней, прибывавших на Петроградскую со всех концов страны с рекомендательными записками от старых друзей по студенческим кружкам, по тверскому или самарскому революционному подполью, по давним, так за всю жизнь и не порвавшимся, молодым связям.

Приезжали какие-то «ломоносовы» — мрачноватые поморы или сибиряки, намеренные поступить в университет, в Техноложку, в Политехнический, — без гроша в кармане, но с твердым указанием: «Найди Егоровну, Егоровна поможет». Прибывали отбывшие сроки ссыльные — «от товарища Найденова», «от Марии Ивановны», «от Лизы Беркутовой»: «Егоровна, помогите!» Некоторые возникали на один день и исчезали, куда-то с рук на руки переданные. Другие месяцами жили на одном из трех диванов этой необычной квартиры, где на половине стен обои были оборваны неутомимыми руками малышей и где на открывшихся частях штукатурки были масляной краской написаны разные «устрашители»: тут — разинувший пасть тигр, там — страшного вида дикарь, в третьем месте — для самых маленьких — злая собака... «Чтоб не так обои драли!»

У четы Казанских была дочка, Сонечка. Она рано вышла замуж за художника, Александра Боголюбского. В двадцатых годах мне довелось работать с Александром Васильевичем Боголюбским в Комвузе, в мастерской наглядных пособий.

Тогда-то он и рассказал мне эту трогательную и поучительную историю.

* * *

Четвертого апреля семнадцатого года Егоровна попросила зятя пойти с ней за покупками (извозчиков никаких не было; в переполненные трамваи — они и ходили-то еще совсем нерегулярно — попасть не было никакой мыслимости): «Помогите, Сашенька!»

Они вышли и пошли по Геслеровскому; жили они на Петрозаводской, 10, посреди Петроградской стороны. Егоровна, в обычном своем обличии — в шляпке начала

века, в старенькой шубейке, в мужского покроя ботинках — поспешала, как все хозяйки, впереди. Художник, приглядываясь к окружающему, к невиданным доныне жанровым сценкам, шествовал сзади.

Завернули за угол Широкой, и Егоровна вскрикнула:

— Анечка, милая! Вы откуда тут?

— Егоровна, дорогая... Господи, вот неожиданность!

Женщина, с которой они столкнулись на улице Широкой, была помоложе Егоровны, но тоже среднего роста, тоже одетая без всякого щегольства, — учительница или земский статистик.

Художник Боголюбский по опыту предвидел, что сейчас произойдет: начнутся объятия, поцелуи, шумный обмен новостями: «А где теперь товарищ Андрей?» — «А вы слышали — Лена Бутова уже едет из Нерчинска сюда...» — «А вы давно видели такого-то?»

Зная, что так бывает всегда, художник Боголюбский отошел на два шага и, как подобает художнику, — пока суть да дело — занялся зарисовками того, что его окружало: революция же, каждый штрих дорог! Он набрасывал людей, читающих по складам какую-то листовку или приказ... Грузовик с солдатами, у которого заглох мотор... Двух женщин, озираясь продающих или покупающих что-то друг у друга...

Наконец до него донеслось:

— Так, милочка, что же это получается? Живем почти рядом... Анечка, родная, да заходите к нам в любое время, запросто... И Петя будет рад, и я...

— Егоровна, дорогая, прямо не знаю... В ближайшие дни — никак... У нас такая радость! Ведь Володя вчера приехал.

— Ну, что вы говорите? Поздравляю, от души поздравляю... Ну, тогда — потом, когда все успокоится...

Отойдя на полквартала, немногословный Боголюбский спросил мимоходом:

— Знакомая?

— Да, конечно... Я ее еще с пятого года помню... Правда, встречались мы редко...

— Кто-то к ним приехал? Из Сибири?

— Да нет, это — Володя, ее брат, Ульянов-Ленин. Известнейший социал-демократ. Из эмиграции...

В двадцатых годах, вспоминая эту встречу, А. В. Боголюбский всякий раз до слез сердился на самого себя, на Егоровну, на весь мир: «Нет, ну вы только подумайте — бытовая сценка! «Володя приехал!» Ну... Знал бы я в тот миг, кто такой этот Володя, разве бы я так к этому отнесся? Просто самого себя стыдно: солдатиков зарисовывал! И Егоровна хороша: «Когда все успокоится», а?!»

Но ведь в том-то и была загвоздка, что не только он «не знал». Все мы еще не знали. Мир не знал.

Петербург, рабочий Петербург, встретил Ленина с великой радостью и надеждой, но какое множество остальных его жителей — его «обывателей» — даже не подозревали, кто, какой человек вчера ступил на тротуары и мостовые города? А так, собственно говоря, бывает и всегда.

* * *

ОСУЗ, членом Управы которого я уже был, в эти первые дни пытался еще стоять на «чисто академической, аполитичной платформе»: «Мы учащиеся. Чтобы разбираться в политических задачах, нам надо прежде всего закончить наше образование. Это — единственное, чем мы можем принести пользу народу, Родине. Так давайте же думать о наилучшем, наибыстрейшем, наибо-

лее прогрессивном обучении. О том, чтобы наладить Новую Школу в Новой Стране. А политику оставим старшим...»

Не очень оригинальная позиция эта тогда казалась нам государственной, мудрой, взрослой. Мы в нее верили. Первые десять, может быть пятнадцать, дней. А потом...

В начале второй половины апреля меня спешно — «Экстренно! Ваша явка обязательна!» — вызвали на внеочередное заседание Управы ОСУЗа; на этот раз — в женскую гимназию Болсуновой, на углу Введенской и Большого. Что случилось? А вот что.

Наша «надклассовая» платформа вдруг лопнула. У нее обнаружились недоброжелатели, враги. В тот момент, как это ни странно, — не слева, а справа; но тем не менее — враги и противники с политической окраской. Сердитые. Злые.

В гимназии Видемана на Васильевском процветали два не избранных в осузские «органы», но энергичных старшеклассника. К моей досаде, одного из них звали Воскресенским, другого Богоявленским, так сказать — в «панда́н» мне, Успенскому.

В эти дни камерное, домашнее «Володя приехал» обернулось уже всероссийским грозным «приехал Ленин». Две недели назад о Ленине слышали лишь некоторые; теперь его имя было на устах у всех. У одних — «наш Ленин», «Ленин приехал, он теперь возьмется за дело». У других — «приехал в запломбированном вагоне», «немцы его пропустили — вы думаете — так, зря?».

Воскресенский и Богоявленский принадлежали к этим «другим». К «другим» из наиболее распространенных газет. К «другим», шумящим и шипящим на летучих митингах, которые с каждым днем больше, словно размножаясь,

почкуясь, заливая толпами все перекрестки, потом — все площади, потом — все улицы из конца в конец, заполонили уже и всю Северную Пальмиру и все время петербуржцев.

Вознесенский и Богоявленский кликнули по школьным партам клич: «Долой немецких шпионов — большевиков! Мы, учащиеся средних школ, должны вслух на весь мир выразить свое русское мнение. Мы — за войну до победы! Мы — за верность союзникам! Мы против пораженца Ленина и его группы. Все — на антиленинскую патриотическую демонстрацию у дворца Кшесинской!» И, как вскоре выяснилось, среди учащихся у них нашлось немало последователей! Как же быть и что должен делать теперь ОСУЗ? Что должна делать Управа? Как поступать нам, мудрым, взрослым, государственно — как нас учили в гимназиях! — мыслящим папиным и маминым сынкам?

У «Болсуновой», на углу Большого и Введенской, закипели страсти. Я не знаю, где вы теперь, тогдашние мои «со-управцы», куда занесли вас бури тех лет. Но если кто-нибудь из вас: очкастый белорус Синеоко, единственный из всех нас носитель аккуратной рыжеватой бородки, стройный, в полувоенной форме Дéбеле, деловитая и романтическая «болсуновка» Вера Либерман, лохматый рослый Севка Черкесов — будущий палеонтолог, наш «король репортеров» — редактор осузской газеты «Свободная школа» — чернявый Миша (кажется, Миша?) Сизов и многие другие, — если вы сейчас живы и прочтете эту страничку — вы подтвердите: так все оно и было.

Мы кричали и спорили далеко за полночь. Очень нам было трудно. С одной стороны — свобода слова, свобода демонстраций!!. Не могли же мы с первых же шагов нарушать эти священные принципы! Казалось — мы, конеч-

но, должны предоставить Воскресенскому — Богоявленскому и всем их единомышленникам возможность свободно выражать их свободные убеждения...

Но с другой-то стороны — только совсем наивный дурачок мог бы не понять: что такое наши василеостровские деятели? К чему они стремятся, о чем мечтают? Да ведь — именно наложить полный, окончательный запрет на антивоенную пропаганду, на рабочие демонстрации, на Ленина и его партию, на то, на чем стоят Советы, на все, что живет во дворце Кшесинской... Уничтожить эту самую свободу!

Они рвутся стать силой, способной такой запрет сделать действительностью, а вернее — проложить дорогу такой силе... Начать. Стать застрельщиками. За этими василеостровскими юнцами чувствовалось присутствие притаившихся пока что, примолкших завтрашних кавеньяков и тьеров... Так что же, мы должны распахнуть перед ними двери? Как же быть? Куда ни кинь — все клин!

После долгих прений мудрецы пошли на паллиатив. Было решено, что в столь важных вопросах право судить — не за Управой, исполнительным органом, а — хитро придумали! — за общим собранием всего ОСУЗа, делегатов от всех районов города.

Мы и собрали его через два или три дня на Выборгской стороне (видимо, мы потянулись к рабочему району, инстинктивно ища там себе поддержки), на Выборгской же улице, в актовом зале 11-й казенной мужской гимназии.

Лиховато мне пришлось на этом общегородском собрании!

Председательствовали на нем поочередно наши самые крепкие мастера ведения собраний — Иван Савич, красивый, мрачноватый, со сросшимися черными бровями и трагическим лицом, похожий на Ивана Грозного в юности, «маец» (он был инвалидом — ходил на протезе —

в результате какой-то спортивной катастрофы), и головастый, с хитрым утиным носиком, с тоненьким пучком волосков над задним концом по линейке выверенного пробора, скрипучеголосый, до неправдоподобного спокойный и властный Юра Брик из реального училища Штемберга на Звенигородской. (Этот Юра, собственно, был уже на вылете из школы, как и большинство управцев-восьмиклассников. Он уже осознавал себя не сегодняшним реалистом — юнкером. Он уже и говорил и вел себя как завтрашний «констопуп» или «михайлон».) Им бы и книги в руки на этом собрании. Так — нет же!

Встал вопрос — кому из управских краснобаев выступить с докладом, а потом с заключительным словом (а может быть, и с ответом нашим противникам в прениях?) и добиться, чтобы собрание выразило вотум доверия нам, чтобы нас, управцев, уполномочили установить линию поведения в намеченный василеостровскими кавеньяками день антиленинской демонстрации. Всем стало не по себе; все — даже главный осузский Демосфен Лева Рубинович — стали лукаво уклоняться от этой чести. И вот тут-то и было сказано... Так, в шутку:

— Слушайте, коллеги... Да здесь и спору быть не может. Выступать против кого? Против Воскресенского и Богоявленского? Так уж, разумеется, — Успенскому: пусть три «священнослужителя» таскают друг друга за волосы, как на Вселенском соборе...

Острое слово — вещь подчас решающая. И выбор пал на меня.

Было жарко. Собрание затянулось до позднего вечера. На нем присутствовали не только учащиеся, — пожаловали и некоторые педагоги; им все это было «очень любопытно»: это их же питомцы «выходили в люди».

Прения докипели чуть ли не до рукопашной.

Но удивительно, как все мы — подростки — сразу,

за́ несколько недель, наловчились тогда, натренировались «на парламентариев». Вся заседательская терминология была нами освоена назубок. Мы лучше, чем в Думе, умели уже требовать слова «по мотивам голосования», запрещать его, «гильотинируя список ораторов». Мы знали, как и когда можно «лишить слова» и когда получить его «по процедурному вопросу».

Мы, «управцы», в этом отношении намного превосходили наших яростных, но простоватых противников. И ораторами мы, очевидно, оказались более искусными.

Весь в поту, озверев, уже себя не помня, я брал слово множество раз. Мне свистали и шикали, аплодировали и кричали: «Правильно!» Маленький белокурый Воскресенский, весь дрожа, со слезами на глазах, вопиял о «солдатской крови, которую вы хотите втоптать в землю», о «славе и позоре родины», до которых нам, по его словам, дела не было. Но вдруг он сорвался.

— Делайте, как хотите, господа осузцы! — яростно застучал он кулачком по кафедре. — Армия встанет, как один человек, и в бараний рог скрутит ваш дешевый, нерусский, чуждый народу русскому, интернационализм...

И мне стало, собственно, нечего делать... Раскрыв карты, он погубил себя: «Вандеец! Завтрашние шуаны! Долой!»

На улице была весна. На фоне рыжего апрельского заката искрилась и лучилась влажная, точно бы тоже слезливая, Венера. Я и Александр Августович Герке — мой, Савича и Янчевского учитель истории, не поленившийся прийти на Выборгскую послушать своих учеников, шли мимо церковной ограды Иоанна Предтечи, по той самой панели, с которой семь лет назад, такой же весной, я, десятилетний, с восторгом и благоговением

взирал на комету Галлея, запутавшуюся меж куполов и крестов... Он, покачивая головой, не вполне одобрял мой ораторский пыл...

— Как-то все-таки, Успенский... слишком уж это вы резко!.. Я не уверен, что этого, как его... Воздвиженского, следовало называть «союзником»... Если, конечно, вы имели при этом в виду Союз русского народа, черносотенцев... Не кажется ли вам, что следовало бы все же быть немного объективнее, мягче?..

Но мы были довольны. Общее собрание выразило нам полное доверие; оно уполномочило Управу ОСУЗа принять все необходимые меры, чтобы не допустить участия гимназистов Петрограда в уличной демонстрации против одной из революционных партий. Была, правда, проведена важная оговорка: «не допускать» мы имели право, действуя исключительно путем убеждения. Нам поручалось о т г о в о р и т ь коллег-учащихся от выхода в назначенный день на улицу. Убедить. Подавить доказательствами. Тогда это было модно: ведь и Керенский слыл «Главноуговаривающим» на фронте...

Мы понимали, что добиться этого будет не легко... И вот тут-то кончается присказка и начинается сказка.

* * *

Итак, решено: мы, Управа, должны идти несколькими путями. Во-первых, надлежит устроить по школьным районам целый ряд собраний, но каких? С участием видных политических деятелей. Надо добиться, чтобы к нам приехали и выступили перед учащимися, разъясняя происходящее в мире и в стране, всем известные люди — члены Государственной думы и ее вновь созданных комитетов, лидеры различных — конечно, «левых» — партий, крупные прогрессивные журналисты, адвокаты, по-

чем мы знаем — кто? Кто угодно! Знаменитости — от вчерашних октябристов, членов бывшего «Прогрессивного блока», до большевиков!

Как добиться? Добиться! Поехать к ним, улестить их, упросить, убедить, заставить... рисуя перед ними жуткие картины: школьники — «ваши дети!» — соблазненные безответственными агитаторами, выходят на улицы, составляют ядро шумной манифестации, сталкиваются со сторонниками прямо противоположных взглядов... Начинаются стычки. Строятся баррикады. Теперь у всех есть оружие. Возникают перестрелки, рукопашные... Вы хотите этого?

Мы должны разбросать по городу множество своих приверженцев, устраивать повсюду летучие митинги, ловить «наших», молодежь, убеждать ее в нелепости, несвоевременности подобных методов воздействия... «Революция закончена, коллеги! Строить новую жизнь надо не в шумных столкновениях, а в работе. Не демонстрировать, не митинговать: учиться, выступать в печати».

Надо доказать учащимся, что правы — мы. Ведь будет же Учредительное собрание: оно и решит всё...

Мы должны также — и как можно быстрее! — организовать в городе мощный центральный митинг. Роскошный, шумный, с участием звезд и светил, широко разрекламированный!!. Митинг и для школьников и для родителей. Такой митинг, на который явились бы уж самые крупные фигуры — министры Временного правительства, его комиссары; но чтобы рядом с ними выступали там и лучшие ораторы Петербурга, и его знаменитые актеры, музыканты, певцы... «Знаете, — не митинг, а, так сказать, «концерт-митинг». Очень точное определение, черт возьми!»

Самое удивительное было то, что мы не только поставили перед собою задачи, — мы так и поступили и

устроили все это. Даже — «концерт-митинг» в Михайловском театре.

Мы начали с того, что учредили в центре города как бы «главный штаб». Очень просто как. Явились четверо гимназистов — я в том числе — в один из апрельских дней с утра в 3-ю гимназию, в Соляном переулке, и заявили ее директору, что мы оккупируем здание, отменяем занятия на три дня и будем отсюда «руководить всем».

Смущенный действительный статский советник сначала недоуменно развел руками, потом побагровел и, хотя не очень уверенно, затопал на нас козловыми сапожками:

— Мальчишки... Не потерплю!..

Это было ошибкой. Мы арестовали директора домашним арестом, заперли его в его же кабинете и наложили «осузскую печать» на телефон. Заняв канцелярию и закрыв двери здания, мы приступили к оперативным действиям. Посадили дежурных, вызвали «курьеров», установили прямую связь со всеми районами... Главой связистов — причем отлично все организовавшим — был назначен, если не ошибаюсь, курчавый, подвижный и в то же время «задумчивый» (юнец, совсем еще зеленый, моложе нас всех) Сережа Ольденбург — то ли сын, то ли племянник, то ли внук академика-ориенталиста. Колеса закрутились.

Час или два спустя кому-то из нас пришло в голову:

— Коллеги! А директор?

Мы заглянули в щелку. Директор, совершенно усмиренный, сидел в глубоком вольтеровском кресле и внимательно читал толстенный «Вестник Европы». Впрочем, иногда он вставал, потягивался, подходил к окну, смотрел в него, покачивал головой, пожимал плечами, двусмысленно ухмылялся и снова возвращался в кресло.

Потом оттуда раздался стук.

— Молодые люди, я есть хочу... Арестованных обычно кормят! — жалобно сказал директор через дверь.

Возникло некоторое замешательство, из которого, однако, был найден выход. Мы выбрали самую эффектную из наших барышень, Лялю И. Вдвоем с другой девушкой они сбегали в ближайшую кондитерскую, купили печенья, пирожных. У гимназической швейцарихи был добыт чайник; стаканы имелись в шкафчике возле канцелярии: педагоги любили и в мирные дни побаловаться чайком. «Brzuszek pogrzać» * — как говорят поляки. С подносом в руках наши «belles chocolatières» ** вступили в директорский кабинет.

Действительный статский советник очень внимательно посмотрел на них, снял очки, протер их платочком и поглядел вторично.

— Ну — вот... Это совсем другое дело! — с явным удовлетворением произнес он. — Теперь, юные тюремщицы, можете даже не запирать меня. Зачем же мне отсюда уходить?

Спустя некоторое время Ляля И. вызвала туда кого-то из нас. Директор, веселый, довольный, предлагал мировую.

— Вы меня убедили, — сказал он. — Нет, не в ваших... м-м-м... методах! В разумности ваших конечных целей... Не вижу для вас никакой надобности тратить силы — такие прелестные силы! — на задержание одного спокойного старичка в этих стенах. Если вы меня выпустите, я пойду домой... Я — капитулировал, черт с вами! Только найдите способ держать моих педагогов в курсе

---

* «Погреть животик» (*польск.*).

** «Прекрасные шоколадницы» (*франц.*). Имеется в виду картина Ж. Лиотара «Шоколадница».

событий: они-то не должны же бегать поминутно в гимназию, чтобы устанавливать — школа она или все еще штаб?..

Это все было уже давно предусмотрено, и мы его отпустили. На нас надвигались другие хлопоты и волнения.

Так, например, буквально только что, и в непосредственной близости от «штаба», милиция, в свою очередь, арестовала нашего «управца» Дёбеле и увела его в неопределенном направлении.

Прибежал кто-то из наших «курьеров» — добровольцев-младшеклассников — и рассказал, как это случилось. На углу Пантелеймоновской собрался небольшой митинг. Агитаторы василеостровцев действовали энергично. Выяснилось, что они проникают в казармы питерских полков, призывают и солдат демонстрировать со школой. Один из них завел споры на эту тему у фонарного столба возле самого училища Штиглица, насупротив 11-й гимназии. Проходивший мимо Дёбеле вмешался в дело. Чтобы овладеть вниманием толпы, он вскарабкался на фонарный столб и с этой трибуны стал возражать вообще против всяких манифестаций.

Все это происходило не на Выборгской, не за Нарвскими воротами, а в самом центре города. Здесь сочувствие слушателей оказалось не на стороне Дёбеле. «А, что с ним разговаривать! Он, видно, сам — из пораженцев! — крикнул кто-то. — Милиция, чего смотрите? Может быть, это — шпион! Сведите его, куда следует...»

Дёбеле совлекли со столба и потащили...

Возник переполох: как теперь быть? Тревожно, конечно, но... Отвлекаться от прямого дела даже ради таких происшествий было недопустимо: нас ожидали свершения чрезвычайные...

Кому-то поручили выяснить «это недоразумение», а мы — столпы Управы — двинулись по разным маршру-

там — приглашать властителей дум столицы заняться нашими трудностями.

Ивану Савичу, Льву Рубиновичу, Севе Черкесову, Синеоко и мне выпало на долю сначала посетить в его министерстве на Фонтанке министра путей сообщения Н. В. Некрасова. Некрасов был левым кадетом; мы точно учитывали, что любой левый лучше, чем правый, на наших митингах и собраниях. Потом надлежало изловить министра народного просвещения Мануйлова — этот не обладал никакими особыми достоинствами с точки зрения митинговой — средний профессор-либерал! — но был как-никак *нашим* министром. И, наконец, — добраться до «самого». До Александра Федоровича! До Керенского... В его согласии прибыть к нам мы далеко не были уверены — слишком уж важная персона, — но поручение досягнуть до него у нас было.

«Справились у швейцара, доложились дежурному чиновнику, а тот привел их в приемную директора департамента общих дел. Пришлось ждать долго...»

Нет, это — не про нас! Это — за много лет до нас — по коридорам того же огромного казенного здания на Фонтанке, 117, бродили в поисках службы только что окончивший Путейский институт Тема Карташев — он же инженер Михайловский и писатель Гарин — и его друг Володька Шуман.

Теперь мы тоже шли по бесконечным переходам, устланным ковровыми дорожками. В коридорах было пусто и прохладно. Кое-где в открытые двери были видны кабинеты, тоже пустые и прохладные. Нас, покашливая, вел старичок-служитель — и он был пустым и прохладным. «Так — прямо вас к самому министру? —

задумчиво переспросил он нас. — А, скажем, к его превосходительству господину Войновскому, товарищу министра, — не желаете? Ну-с, вам виднее-с...»

«Ждать долго» нам не пришлось: министр явно скучал в полном безлюдье и безделье. Кабинет министра был необозримо громаден. Стол в кабинете был так обширен, что, как шепнул мне на ходу Лева Рубинович, было «странно видеть столь просторную площадь без надлежащей полицейской охраны. До революции-то в середине стола небось — городовой стоял!»

Член Государственной думы от Томской губернии Николай Виссарионович Некрасов, сам путеец, очень благообразной внешности, очень приятно одетый человек — лет тридцати пяти, но уже давно профессор, — благовоспитанно поднялся нам навстречу из-за этого стола. И тут выяснилось, что все-таки мы еще — мальчишки. Возглавляя нашу делегацию, впереди нас, опираясь на палку, резко хромая на своем протезе, шел Савич Иван, сын банкира и домовладельца, юноша запоминающегося вида, тоже прекрасно воспитанный, но — все-таки — юнец. По-видимому, он разволновался перед лицом предержащей власти. Прямо по дорожке, насупив густые, черные брови, он подошел к столу — решительно, твердо, слишком уверенно.

— Здравствуйте, товарищи! — сделал общий приветственный жест Некрасов. — Чем могу служить? Что случилось?

— Дебеле арестован! — вдруг свирепо и непреклонно бросил ему в лицо Савич.

Приятная физиономия кадетского министра на секунду дрогнула:

— Так... Значит — Дебеле арестован? Это возмутительно! Но не могли ли бы вы мне все же сообщить: кто он такой, этот Дебеле?

...Нет, после переговоров Николай Виссарионович Некрасов под всяческими предлогами уклонился от участия в наших делах:

— Простите, коллеги, но мне представляется, что в данный момент я не та фигура, какая вам нужна. Я — кадет.

— Левый, — ловко вставил Лева Рубинович.

— Левый, правый... Разница не всем заметна... да и не столь уж велика... Мой совет ангажировать кого-либо более... бесспорного. Ну, если не Александра Федоровича, то, может быть, Савинкова?.. Вот это — звезды первой величины. Они подойдут для — как вы сказали? — «концерта-митинга»?.. В первый раз такое слышу!.. Что-то, простите меня, вроде «шантан-парламент», разве не так?

Когда мы вышли на солнечную, весело пахнущую грязной водой и конским навозом Фонтанку, Лева Рубинович толкнул меня локтем.

— Как ты думаешь, Лева, — спросил он доверительно, — кроме нас кто-нибудь был у него сегодня на приеме?.. Ты знаешь, что: ничего, по-моему, у них не выйдет, у этого Временного, а?

...От Некрасова мы поехали в Мариинский дворец: нам стало известно, что в тот день и час там будет заседать Совет министров. Мы решили, что нет более удобного случая, чтобы понудить министров и комиссаров выполнить наши постановления. И ведь — не ошиблись!

Шло заседание Совета министров. Шел апрель 1917 года. К зданию дворца подъезжали и от него отъезжали машины — много всяких тогдашних автомобилей, в том числе автомобили дипломатического корпуса. Машина Бьюкенена — посла и полномочного министра английской короны. Машина господина Мориса Палеолога,

посла Франции, — в тот день в ней приехал во дворец господин Альбер Тома́ — министр-социалист...

В приемных околачивались корреспонденты парижских, лондонских, нью-йоркских и десятков других газет. Они были готовы передать к себе на родину каждое слово, сказанное тут, в зале заседаний. Весь мир вглядывался и вслушивался в то, что делают, на что надеются, чего боятся, чем заняты господа русские министры, на плечах которых лежала в те дни такая великая тяжесть, такая страшная миссия: спасти или погубить страну? Продолжить или закончить войну с Германией? Сохранить власть в своих руках или — уйти?!

А четверо или пятеро семнадцатилетних школяров спокойно и настойчиво сидели в одной из комнат дворца и требовали, чтобы — вот сейчас же, немедленно! — к ним вышел если не сам князь Львов, если не Милюков, то уж по крайней мере министр народного просвещения Мануйлов.

И Мануйлов вышел. У профессора Мануйлова было в тот день воспаление надкостницы, небольшой флюс. Плохо было профессору Мануйлову — и от политики, и от болезни; а тут еще какие-то непонятные юноши!

Мануйлов, держась рукой за щеку, смотрел на нас грустными глазами больного сеттера и внимательно слушал все, что ему втолковывали.

— Да, да... Я понимаю. Вы правы: не следовало бы это допускать... Конечно: зачем же втягивать... во всю эту... невнятицу... школу?.. Лучше бы — без этого... Да, но — как?

Мы прямо сказали ему, что хотели бы, чтобы он, как и другие крупные деятели, члены правительства, помогли нам. Чтобы кто-то встретился со школьниками на районных собраниях. Чтобы кто-то из министров или, на худой конец, комиссаров правительства, согласился вы-

ступить у нас на общегородском митинге... Нет, не прямо на тему... Поговорить о патриотизме, о свободе слова, о положении страны...

Мануйлов вздохнул еще раз, еще безнадежней, еще откровенней:

— Понимаю, понимаю... господа... Но — я? Не-ет, знаете: это — не из той оперы! Кто же будет у вас слушать меня? Что я собою представляю? Это ведь не совет по делам высшей школы... Знаете что? Я вот сейчас пройду... туда... Попрошу выйти к вам... Нет, зачем вам Павел Николаевич, да он и не пойдет! Я попрошу лучше Александра Федоровича...

И Александр Федорович не заставил себя ждать.

В те дни рука у него еще не была на перевязи, как потом, но весь он был уже как бы на некой декоративной перевязи. И его топорщащийся бобрик над вытянутым, длинным лицом, и собачья старость переутомленных висячих щек, и тяжелый грушеобразный нос, и нездоровый, серо-желтый цвет кожи — все это было поставлено на службу одной иллюзии — величия. Я не знаю, заметил ли это кто-нибудь еще, но я положительно утверждаю: этот человек, разговаривая с вами, не смотрел вам в глаза. Нам, осузцам, и в этот день, — во всяком случае! Он то смотрел выше нас, как, вероятно, должны были бы смотреть в будущее Дантоны и Бабёфы. То, заложив руку за борт френча, начинал глядеть в сторону, повернувшись к собеседнику в три четверти... Корсиканец, что ли?

Да уж кто-кто, а мы его ничуть не интересовали. Но за нами стояли — кто? Школьники старших классов? Ага... Так...

— Короче! — недовольно бросил он, прерывая кого-то из нас на полуслове. — Все вполне ясно. Ваш план мне кажется — гм! — разумным. Большой митинг? Где?

В Михайловском? Очевидно, вам нужна какая-нибудь достаточно популярная фигура... Переверзев? Нет, это — не то... Пешехонов? Его мало знают! Да, Борис Викторович... Это было бы очень неплохо. Но он — сегодня тут, завтра... Когда это у вас состоится? А — час? Хорошо, я приеду сам... До свиданья... юноши...

«Бальзаколетняя» дама, сидевшая тут же за столиком, благоухая резедой, благоговейно записала на перекидном календаре названную дату, час, телефон нашего «штаба» в 3-й гимназии, все наши домашние телефоны.

— Мы твердо надеемся! — не без дерзости процедил ей в лицо Лева Рубинович. — Говорят, что точность — вежливость королей...

Она без слов окинула его свысока долгим снисходительным взглядом, и мы ушли. И прибыли в свой «штаб».

Там было шумно. Поминутно возвращались такие же уполномоченные для переговоров. «Винавер категорически отказался...» «Я был у Аджемова. Он согласен и, помоему, очень обрадовался...» «Карабчевский согласился охотно, но требует не меньше четверти часа...»

Я всю мою жизнь удивлялся, не понимал и завидовал людям, умеющим что-либо организовывать. А тогда среди нас — мальчишек и девчонок — такие вдруг обозначились откуда ни возьмись.

Уже кто-то договорился с администрацией Михайловского театра: зал есть! Уже нашли типографию, которая отпечатает афиши: давайте твердый список участников! «Товарищи! А вы представляете себе ясно? Мы же должны привезти и увезти их всех, и не на извозцах, конечно...» — «Деньги найдутся!»

Нужны были цветы — для подношений артисткам и вообще выступающим... Цветы? В жизни бы не догадался! Нужно, чтобы действовал буфет, и — приличный

буфет... «Хорошо, я поговорю с мамой, мама это умеет...» А кто будет подносить букеты? Ну, Ляля И., но не одна же она...

На улицу я вышел вместе с Юрой Бриком. Он был что-то хмуроват сегодня.

— Ты что пригрустнул? — спросил я его.

Как раз в это время ворота, ведущие во двор Соляного городка насупротив гимназии, распахнулись, и оттуда неторопливо выехал, пошевеливая невысокой башней, защитно-зеленый, сердитого вида броневик. Как он попал туда — кто его ведает...

— Видел? — спросил меня Юра, пройдя несколько шагов. — Вчера я был около дворца Кшесинской. Там во дворе таких... не один. И — матросы — ух, ну и народ!.. Тебе-то что, семикласснику. А мне не сегодня — завтра в юнкерское. Пригрустнешь тут... Ну, аривидерчи!

Надо сказать, что среди членов Управы ОСУЗа уже с начала апреля появился один более взрослый человек — только что вернувшийся из ссылки «витмеровец», эсер и поэт, Владимир Пруссак.

Что значит — «витмеровец»?

Несколько учеников одной из питерских гимназий во главе с юношей по фамилии Витмер были два или три года назад арестованы по обвинению в принадлежности к партии эсеров. Их судили и выслали на поселение в Сибирь.

В ссылке молодые люди эти попали под крыло старой эсерки, «бабушки русской революции», как ее именовала партийная пресса, Екатерины Брешко-Брешковской.

Владимир Пруссак, юноша из интеллигентской семьи, не то докторской, не то инженерской, еще до всего этого

выпустил небольшой сборник стихов под замысловатым, «бодлеровским» заглавием — «Цветы на свалке». Стихи — что и понятно — были еще совсем не самостоятельные, подражательные. Образцом был — никак не гармонируя с названием сборника — Игорь Северянин. Шестнадцати- или семнадцатилетний гимназист В. Пруссак рассказывал в северянинской лексике и ритмике о том, как он (они — такие, как он) после очаровательно проведенного дня «развратно поаскетничать автомобилят в „Метрополь“» и т. д. и т. п. Критика отнеслась к выпущенному на собственные средства автора белому сборничку, пожалуй, иронически. Публика им не заинтересовалась...

Уж очень много таких «развратно-аскетничающих» юнцов появилось на ее горизонте. Она не верила в их изыски, и правильно делала...

Как совмещались в голове и в душе юного поэта северянинские эксцессы с эсерством, я сейчас уже не берусь растолковать ни читателю, ни даже себе. Воображая теперь психологию тогдашней интеллигенции, мы невольно стараемся рационализировать (и — схематизировать) ее странную противоречивость. Нам все кажется, что такой причудливой двойственности быть не могло, что это — либо полная беспринципность, либо камуфляж, либо... А на деле все обстояло вовсе не так, и тот же Пруссак был совершенно искренен в обеих своих ипостасях — и когда переносил с одной конспиративной квартиры на другую эсеровскую литературу, и когда наслаждался «бронз-оксидэ, блондинками — Эсклармондами» Северянина, его распутными «грэзэрками», его «принцессами Юниями де Виантро» и пытался — в стихах, конечно, только в стихах! — изобразить и себя удачно «смакующим мезальянсы» с различными «напудренными, нарумяненными Нелли».

Никаких Нелли не было; не было и доступных гимназисту «Метрополей». И как только постановлением суда В. В. Пруссак был отправлен по этапу в Сибирь, он забыл о «двенадцатиэтажных дворцах» своего кумира, об «офиалченных озерзамках» Мирры Лохвицкой и всей душой переключился в иную тональность.

В сибирском издательстве «Багульник» вышел второй сборник стихов В. Пруссака, с совершенно иным настроем. Назывался он «Крест деревянный» и был полон не очень определенными, но скорее блоковскими, чем северянинскими, реминисценциями. Этот сборничек был замечен и получил совсем другую оценку. И стихи стали много серьезнее, самостоятельнее (среди них — несколько просто превосходных), и — отчасти — сыграло свою роль положение автора: «витмеровцев»-гимназистов защищал чуть ли не сам Керенский, процесс был «громким», осужденные в глазах общества стали жертвами и героями. Стихи такого начинающего поэта невольно производили впечатление...

В ссылке «витмеровские» связи с эсеровской (правоэсеровской) группировкой укрепились. Вернувшись из Сибири в первые же дни свободы, и Пруссак, и его единомышленник, друг и «сообщник» Сергеев оказались в центре внимания старшего поколения эсеров — Пруссак стал своим у Савинкова, у приехавшей в Петроград «бабушки», в семье Керенских.

На одно из осузских заседаний они — он и Сергеев — явились вдвоем. Ореол вчерашних ссыльных осенял их. Под гул всеобщей овации оба героя были «оптированы» в состав Управы в качестве ее почетных членов. Сергеев после этого сразу же исчез с нашего горизонта, а Владимир Владимирович Пруссак оказался деятельным нашим сочленом, интересным и приятным товарищем...

Да и неудивительно: вчерашний «каторжанин», «кандальник», овеянный романтикой следствия, суда, ссылки «в места отдаленные», и в то же время — поэт с двумя книгами! Он пленил ОСУЗ, осузцы пленили его... увы ненадолго: летом 1918 или 19-го года он скончался от аппендицита.

Я вспомнил Владимира Пруссака потому, что его эсеровские связи повлияли на наш «концерт-митинг». Он таки состоялся 19 апреля в Михайловском театре. Однако если вы возьмете газеты тех дней, вы не найдете там упоминания об ОСУЗе в связи с этим фактом. Вы увидите всюду — и в газетах, и на театральных афишах Государственных (вчера еще — Императорских) театров — объявления, что такого-то числа «имеет быть «концерт-митинг» в пользу раненых и солдат на фронте, каковой будет проходить под верховным шефством и эгидой Ольги Львовны Керенской». Сло́ва «ОСУЗ» там нет.

Такая высокая патронесса была необходима для дела, и Владимир Пруссак сумел поставить ее имя на нашем осузском мероприятии, как вензель высочайшей особы. Ну как же: супруга «самого»!

Разумеется, никто не пошел бы на гимназический «концерт-митинг» (это странное словосочетание набило уже оскомину; оно заполняло тогда всю печать и все зрелищные учреждения), и ОСУЗу —имея в виду свои деловые цели — надо было привлечь публику звучными именами и лозунгами.

Наш «концерт-митинг» состоялся и «прошел с большим успехом».

Все определилось составом выступавших. Я совершенно не помню, на ком была построена программа «концерта», — пели певцы и певицы, кто-то из актеров (помоему, чуть ли не Тиме) что-то читал, декламировали что-то патриотическое. А вот в митинговой части было

много чрезвычайно привлекательного для тех, кто тогда мог и желал посещать подобные «форумы».

Гвоздем программы был, само собой, Керенский («Послушайте, молодые люди, откройте секрет: как его вам удалось заполучить?»). Но значились в ней и другие крупные фигуры. Например, уже упомянутый мною, похожий по внешности на коренастого, бородатого русского мужика, министр-социалист Франции, хотите — товарищ, угодно — господин, Альбер Тома. Тома? «Социалист-реформист», профессор истории, про которого теперь в БСЭ сказано, что он «приезжал в Россию для агитации за усиление участия в войне и содействия контрреволюции»? Да, да: вот этот самый. Посмотреть на живого французского министра?.. Ну что ж, на это тоже нашлось немало любителей... Конечно, теперь, через пятьдесят с лишним лет, я уже не могу вспомнить всех участников «митинга». С очень уверенной, очень спокойной и толковой речью о международном положении — толковой, разумеется, в плане его политических позиций — выступил Моисей Сергеевич Аджемов, весьма образованный армянин, юрист и врач, депутат Думы, как и Некрасов, и, как и Некрасов, левый кадет.

Блеснул красноречием признанный питерский златоуст, любимец публики, адвокат во многих сенсационных процессах, защитник Бейлиса, Николай Карабчевский. Бурную, раскатывавшуюся по всем ярусам театра речь, насыщенную пламенными французскими картавыми «эр», бурлившую и клокотавшую у него в горле, выраженную не столько в словах, сколько в непривычной для русского глаза яростной жестикуляции, в выкриках, в смене интонаций произнес Альбер Тома.

О чем он говорил?

Да конечно, о том, с чем он приехал в эту страну-загадку, на которую он и его собратья привыкли смотреть

как на «паровой каток», призванный миллионами жертв расчистить путь к победе для «Entente Cordiale» — для «Тройственного Согласия». Этот «паровой каток» внезапно оказался живым и страдающим. Он восстал против предназначенной ему роли. Он бесконечно устал. А без него — что будут делать без него Франция, милая Франция; «несчастная, маленькая Бельгия», благородная страна мореплавателей, но не воинов — Британия?

Тома напоминал о великой помощи русских в роковой момент Марнской битвы, когда судьба Франции висела на волоске. Он заклинал Россию проявить свое, воспетое поэтами и философами, «долготерпенье» и выдержать еще год, еще два года, но не отступить. Он взывал к памяти той революции, французской; к тем вчерашним санкюлотам, которые потом шли воевать с врагами Родины на бесчисленных фронтах и прославили Францию не только Конвентом, но и великими воинскими победами... Он умолял и пугал; он указывал, как на буку, на Вильгельма Гогенцоллерна. Он взывал к старому братству русского и французского оружия, закрепленному сегодня на окровавленных полях под Верденом. Вот о чем и для чего он говорил тут.

А — другие? Откровенно говоря, я не берусь воспроизвести их речи. В них звучало, конечно, то же самое: призывы к верности делу союзников, красивые слова о самопожертвовании, об исторической роли России, множество раз спасавшей своей кровью европейскую цивилизацию от варварства... Были и горькие слова о тех, кто отдал уже свои жизни за будущую победу, чью память мы можем оскорбить сепаратным миром или капитуляцией...

Нет, я не хочу сказать, что говорившие были неискренни или что они цинически торговали чужой кровью, чужими страданиями. У многих из них сыновья, братья,

близкие люди на самом деле уже погибли в огне войны. Другие по-настоящему готовы были, если понадобится, идти на фронт и отдавать свою жизнь за то, что они понимали как народное дело...

Но все-таки между их словами и их делами лежала пропасть. Речи сбивались на красноречие. Между этим ярко освещенным залом и тем, что происходило в эти самые времена где-то там, в непредставимой дали, в окопах, было чудовищно огромное, ничем не прикрываемое пространство. И именно поэтому теперь, вспоминая прошлое, я не могу почти ничего сообщить: что же на том митинге было сказано? То самое, о чем писали ежедневно буржуазные газеты. То самое, о чем говорили мы, интеллигенты, дома, в своих семьях.

На нашем митинге не было другой стороны. Между ораторами и слушателями не было глубоких расхождений. Митинг шел как по-писаному, и, думается мне, если бы у меня в памяти осталось стенографически точное воспроизведение всех речей — мне было бы горько и странно, перечитывая их стенограммы, сознавать, что ведь тогда мне они представлялись выражением правды.

Впрочем, я не очень внимательно слушал говоривших, — рыдающих, поющих и бьющих в литавры. Мне и без того было нелегко.

Я лучше других моих «коллег» (мы все еще предпочитали звать друг друга этим академическим словцом) мог болтать тогда по-французски. Поэтому именно меня, выражаясь нынешним языком, «прикрепили» к господину Тома. А кроме того, не знаю уж по каким соображениям, на меня возложили обязанность «занимать» присутствовавшую в одной из лож патронессу нашего митинга — Ольгу Львовну Керенскую. Хорошо еще, что их поместили в соседних ложах: я мог перебегать из

одной в другую, стараясь, насколько это было возможно, не уронить в грязь лицом ни себя, ни свой ОСУЗ.

С высокопоставленной дамой мне, семнадцатилетнему, было не так-то просто, — по отношению к женщинам я полностью сохранял еще свою чрезмерную отроческую стеснительность и робость. Ольга Керенская была, кроме того, в особом положении: милое лицо, большие грустные глаза, как у дамы на том серовском портрете, взглянув на который известный психиатр Тарновский сразу же определил тяжелую судьбу и душевные недуги женщины, послужившей художнику моделью... Была в этих ее глазах какая-то тревога, смутный испуг, страх перед будущим. В городе много говорили — правда, без особой точности — о неверностях внезапно взлетевшего на высоты славы «Главноуговаривающего», о каких-то его романах, о том, что он «забросил семью»... Мне никогда еще не приходилось сталкиваться ни с чем подобным; я, с одной стороны, неуклюже усердствовал, развлекая настоящую взрослую даму, с другой — непростительно робел... Нелегко мне было...

Вот с мсье (или «камара́дом», — его можно было именовать и так и этак, по желанию; он улыбался в ответ все той же парламентской французской улыбкой; он же был и профессором истории, и министром республики, и социалистом!) — вот с мсье Тома было проще. Мсье Тома от меня не нужно было ничего, кроме самых элементарных услуг переводчика, если он внезапно сталкивался с не говорящими по-французски. Он держал себя с милой простотой, был даже несколько «жовиален» * в манерах и обращении. Стоило мне что-либо произнести, он схватывал как клещами мою руку своими руками — крепкими, короткопалыми, мужицкими, по самое запястье

---

* Грубовато-шутлив (*франц.* jovial).

волосатыми — и яростно тряс ее в порыве истинно галльской приязни: «О, мой дорогой юный друг!», «О, спасибо, спасибо, достойный русский юноша!» Можно было подумать — я каждый раз изрекал великую мысль.

Золотисто-желтый зал Михайловского театра был переполнен 19 апреля теми, кто через два-три месяца уже обречен был получить звание «буржуёв недорезанных». Поглазеть на своего кумира явилось великое множество дев и жен, как когда-то на Бальмонта. Было совершенно ясно, что́ именно пленяет их в Керенском. Им — и этим дамам, и их мужьям, этим женам офицеров и чиновников, профессоршам и «советницам», содержанкам нуворишей и шиберов военного времени — и, рядом, вполне почтенным врачихам, учительницам, содержательницам пансионов, старухам, жившим на пенсии и эмеритуры * мужей, — было страшно одно: перемены! Страшно, что начавшееся не остановится на уже совершенном, а пойдет нарастать и развиваться, увлекая за собой их жалованья и оклады, их акции и облигации, их пенсии и эмеритуры куда-то в неведомую, непредставимую пропасть — в будущее, в незнаемое... А он казался им якорем надежды, оплотом, залогом остановки, передышки, постоянства, возврата к привычному. Ведь он — против этого страшного Ленина, с его пораженчеством. Он — против рабочих демонстраций, которые ходят по городу, подняв над головами ужасные, мелом по кумачу намалеванные — еще с привычными ятями, с «i» с точками и твердыми знаками, — но уже явно грозящие гибелью всему святому лозунги: «Долой войну!», «Долой министров-капиталистов!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Вся власть Советам!»

* Вид пенсионного обеспечения.

С тех пор как Саша Боголюбский спрашивал у своей тещи: «Кто это приехал?» — прошло только две недели, а имя Ленина уже закрыло собой все горизонты; раздражая и волнуя, оно звучало на каждом шагу... Оно пугало одних, оно окрыляло самые, казалось еще вчера, несбыточные грезы других. Этим оно представлялось отнятым навсегда имением, упраздненной профессурой, национализированным банком, разрушенной жизнью. Для тех оно с каждым днем становилось все более несомненным синонимом самых заветных, самых страстно нашептываемых слов: «мир», «земля», «свобода» — да и просто «жизнь, жизнь, жизнь» в конце концов!

Зал — если смотреть на него сверху, из ложи — был еще обычным «императорским» залом — меха и плечи дам, белые манишки и защитные френчи мужчин... Зал боялся слова «Ленин», ненавидел человека Ленина. Залу — этим только что произведенным поручикам, этим вчера лишь сделавшим «выгодные партии» институткам, этим уже достигшим тихой пристани лысинам — было нужно какое-то сильное противоядие от ночных кошмаров. Слова «Милюков» и «Гучков», «кадеты» и «октябристы» перестали действовать на них. А тут — все говорят: «Керенский! Патентованный препарат! Он даст вам спокойный сон, исцелит больные нервы...» Они ухватились за Керенского. Мужчины — не без скепсиса; женщины — с абсолютной верой.

Он сделал все, что мог, чтобы именно так случилось. Он держал себя, с одной стороны, как Робеспьер, как Кромвель... Кто хотел не Кромвеля, а Кавеньяка, мог разглядеть за этим насупленным лбом и Кавеньяка.

Но рядом с Кавеньяком (на роль Тьера претендовать, конечно, мог лишь Павел Николаевич Милюков) проступал, как тень, и первый любовник. Актер, «тэно́ре ди гра́чиа», «душка-Керенский»...

Он вдруг оказался романтической, с драматическими обертонами, фигурой.

— Ах, его так обожают в армии: солдатские рукопожатия переутомили его правую руку; ему пришлось по требованию врачей подвесить ее на черную шелковую ленту!

— О нет, не говорите: в этом что-то есть! В Зимнем дворце комендант (ах, ну конечно — и х, нынешний) отвел для него комнату, совершенно не зная, что́ в ней было раньше (откуда им это знать?). Оказывается, что это — спальня Александры Федоровны... Понимаете: Александра Федоровна и Александр Федорович... Тут, душенька, что-то есть!

— Бедняжка, вы знаете, у него только одна почка... Он тяжело болен: обычная эсеровская болезнь — туберкулез... Его дни сочтены, но он поклялся последние месяцы жизни отдать России...

Последние месяцы жизни! Смешно и жутковато, что и сегодня эта «одна почка» еще блуждает, как фанто́м, где-то там, в Штатах, и все еще пытается внушить своим содержателям, что если бы ему тогда, пятьдесят с лишним лет назад, дали волю, он сделал бы русский народ, Европу, весь мир счастливым...

Я и до этого митинга терпеть не мог Керенского; после — возненавидел его. То была в те дни нерассуждающая, бездоказательная, брезгливая ненависть без всякой политической окраски, но и сейчас я рад, что о н а — б ы л а.

Он, разумеется, запоздал, доставив нам, организаторам, немало тревожных минут. Но тем не менее он явился.

Никогда не забуду этого. Две наши девушки — такое поручение было чем-то вроде приза на конкурсе «мисс ОСУЗ» — с огромным букетом красных ранних роз

(добыли же их наши «доставалы» в апреле!) встретили его на сцене, в буре аплодисментов, в реве «Керенский, Керенский!» и, трепеща от благоговения, вручили цветы этому воплощению «нашей революции». Человек в полувоенной форме с бобриком принял букет и — вот он каков! — галантно поцеловал дарительницам руки.

Ах, Ляля И., Ляля И! Сколько раз потом, в двадцатых, в тридцатых годах, я дразнил напоминанием об этом случае ее, рабкора «Петроградской правды», «Красной газеты», «Гудка», заведующую женотделами, члена большевистской партии, до мозга костей преданного ее идеям: «А помнишь, Ляленька, тот митинг? Сколько дней вы с Верой Алексеевой не мыли потом руки, чтобы не стереть трепетный след этого лобзания?»

В сорок третьем году Ляля И., после бесчисленных дежурств на крыше одного из домов блокадного Ленинграда, после голода скончалась в эвакуации на Урале от обострения легочного туберкулеза. Она похоронена в предгорьях, на маленьком кладбище, среди полей колхоза, в котором она все же успела поработать в последние месяцы жизни...

А он, лет на пятнадцать старше ее, все еще скрипит там, в Америке, все еще шарлатанствует, отсидевшись от всей тяжкой и славной истории родины за прошедшее полустолетие... Несправедлива к людям их судьба!

...Керенский принял цветы. Держа их, как веник, вдоль ноги, он подошел к рампе, сипловатым голосом (ах, бедняжка: ему столько приходится говорить! Ему грозит туберкулез гортани!) произнес двадцать, ну, может быть, сто, ничего не обозначающих, звонких слов и, резко кивнув в театральном поклоне обремененного высоким долгом героя, пошел не за кулисы — в зал.

Поднялась буря. Сотни людей окружили его, требуя автографов. Наскочили репортеры. Моя собственная тетка, жена полковника, дама очень респектабельная и спокойная, прорвалась сквозь толпу и принесла-таки домой, помятая, но довольная, клочок бумаги в клетку, с размашистым «А. Кер...» на нем.

В Октябрьские дни тетя Женя гневно выкинула бумажку. Во мне уже и тогда, наверное, жил архивист: я подобрал листочек. Но потом он, конечно, затерялся, да и — вот уж не жалко.

...Мне не пришлось принимать участия в этом нелепом шабаше. Ольга Львовна тяжело дышала; на ее красивых, трагических глазах были слезы глубокого волнения... Я проводил ее вниз и сдал с рук на руки супругу: он все еще подмахивал десяток за десятком свое «А. Кер...».

Потом витийствовал Карабчевский; суховато, одновременно умно и пусто, в сущности — ни о чем, говорил Аджемов. Пела какая-то оперная певица, кто-то что-то декламировал... Мне было не до них: я был приставлен к Альберу Тома.

Когда митинг кончился, я пошел провожать француза в «Европейскую», тут же рядом. Но в вестибюле он доверительно взял меня за руку.

— Мой дорогой юный друг! — раскатистым, бурлящим баском проговорил он. — В такие весенние вечера у нас, во Франции, молодые люди не торопятся домой... Проведите же меня в какое-нибудь прекрасное место вашего прекрасного города. Подышим воздухом севера...

Мы прошли через Марсово поле к Троицкому мосту, потом — по набережной мимо Зимнего дворца. Мы долго стояли там, где некогда, судя по его собственноручному рисунку, стоял с «месье Онегиным» Александр Сергеевич Пушкин. За Невой, на фоне меркнущей зари, как и тогда,

рисовалась твердыня «власти роковой», только власти этой уже не существовало. Над нами нависал мясно-красный «Палэ́ д'ивéр» — Зимний. По Неве тоже бродили кровяно-красные от зари и — рядом — холодно-голубые блики. С залива дул вечный наш, питерский, петровский, морской ветер...

Видимо, что-то из суровой прелести этого колоссального пейзажа, из панорамы этой дошло до француза, не знаю только, что именно: моего французского языка не хватало на психологические тонкости.

— Ah, mon cher ami! * — как-то вдруг потускнев и осунувшись, проговорил этот быстрый крепыш, исподлобья поглядывая на чуждые ему чудеса. — Да, все это formidable, beau, excellent, parfait **. Да, да, я согласен. Но в то же время comme c'est sévère tout ça! Comme c'est rude et inconnaissable pour un européen! *** А впрочем — история непостижима всюду и везде, мсье Леон... Хотя мы и тщимся управлять ею... Conduisez moi jusqu'à mon hôtel ****, мсье Леон: иначе я заблужусь в этой каменной громаде. Et pardonnez moi *****: я от души желаю вам и вашему отечеству как можно удачнее выбраться из вашего Мальстрёма.

Домой я добрался поздно, но теперь уже никто не обращал внимания на такие пустяки...

Да! А как же все-таки с демонстрацией «василеостровцев»?

---

* Ах, мой дружок! (*франц.*).

** Величаво, прекрасно, великолепно, отлично! (*франц.*).

*** Как сурово это все! Как жестоко и непостижимо на взгляд европейца! (*франц.*).

**** Доведите меня до моей гостиницы... (*франц.*).

***** И простите меня... (*франц.*).

Утром того дня город был распределен между нами, «управцами», на участки. Каждой паре (а кое-где и большему числу: все зависело от наших ораторских и агитаторских возможностей) было отведено место, держась на котором она должна была, как охотники на «номере», перехватить зверя и обезвредить его.

Участки были нами тщательно отобраны по плану города; они кольцом охватывали ту цель, к которой Воскресенский и Богоявленский намеревались привести своих адептов, если, конечно, те поддадутся на их призывы. Целью этой был дворец Кшесинской, а поддавшихся на призывы оказалось если не так уж много, как рассчитывали инициаторы дела, то и не столь уж мало.

Мне и Сереже Ольденбургу в качестве адъютанта достался пост у Троицкого моста: стало известно, что демонстрация с Васильевского острова — а ведь я был василеостровцем — направится ко дворцу Кшесинской в обход, через Дворцовый мост и по набережной. Осмотрев еще с вечера поле действий, я избрал для себя в качестве трибуны каменный постамент решетки Мраморного дворца. Я — даром что юнец — сообразил, что, как бы ни была малочисленна толпа демонстрантов, я не смогу овладеть ее вниманием, если не буду виден всем сразу. Ближние отгородят от меня дальних, дальние ничего не услышат, поднимется шум, и — мое дело пропало...

Я занял свой пост с самого раннего утра. Я шел по городу, не метенному дворниками, засыпанному по щиколотку всевозможными бумажками, листовками разных партий и, главное, подсолнечной, пружинящей под ногами шелухой, вылущенными семечками.

Об этих семечках я читал во многих воспоминаниях, но еще никто не объяснил мне причину того подсолнечного

потопа, который затопил тогда столицу. Мое любопытство может показаться непонятным только тому, кто сам этого не видел. Подсолнечные семечки лузкали всегда; на юге больше, чем на севере, хотя и на севере их любили тоже. Пользуются они людским вниманием и теперь. Но нет никакой возможности сравнить количество их, уничтожаемое в обычные годы, с теми кубическими километрами подсолнечной шелухи, которыми был завален, запорошен Петроград летом 1917 года. Откуда взялись такие горы ее? Ведь нельзя же сказать: шелуха была и до этих дней, только ее раньше убирали; вовсе нет — ни в шестнадцатом, ни в тринадцатом, ни в десятом годах ее не было видно даже на окраинах. Почему она исчезла год спустя — понятно: голод, разруха, отпадение Украины, казацкая Вандея на Дону... Везли-то семечки с юга... Но ведь все эти трудности кончились. Почему же ни в годы нэпа, ни потом этот подсолнечный ливень, это стихийное бедствие не повторилось?

По-видимому, тут сработали какие-то неясные психоэкономические причины. Какие? Как говорится: «вопрос ожидает своего исследователя...»

Демонстрация должна была направиться к месту что-то часов в десять или одиннадцать; я был на своем постаменте уже с семи утра. Стояло очень веселое утро. Набережная была пуста, — в те годы еще не родилась привычка гулять по набережным: дворцы, особняки! Ведь еще вчера человека, непышно одетого, могли очень мило попросить «для прогулок подальше выбрать закоулок...».

Но вот, наконец, младшеклассник-вестовщик примчался, язык на сторону: «От Зимнего — идут!»

Я и сейчас без всякого удовольствия вспоминаю свое тогдашнее душевное состояние. Идут! А сколько их идет? С каким настроением идут? Кто их ведет? А я тут, если не считать Сережки — совсем уж подростка, — один. Один

против множества... Все вылетело из головы. Все смешалось в ней...

Демонстрация показалась из-за мостика на Зимней канавке.

Много! Идут и — молчат... Идут с плакатами, с флагами, как все теперь ходят. Но те ходят — мне прямого дела до них нет; а эти... Там, дальше, они, возможно, пойдут «против большевизма», когда минуют меня; это — их забота. Но тут-то, пока? Тут они идут — против меня... Жутковато!

Ближе, ближе... Кажется, будь дождь, снег, буря — было бы легче. А так вот, ярким солнечным утром... Но...

Погодите! Постойте-ка!

Неслыханная, небывалая удача!

В голове колонны движутся гимназия Мая и реальное училище Мая! Моя гимназия и мое реальное! На голову надо всеми возвышается длинный, худой, как складной аршин, Нарышкин, мой одноклассник: он-то и несет красное знамя. А вот за ним — Федя Евнин, вон Яковлев, Гурий Голов... Мой класс! Я — спасен!

Так оно и случилось. Стоило мне с моего возвышения махнуть рукой: «Стойте!» — как «майцы» остановились: мое появление было совершенно неожиданным для них.

Вполне возможно: окажись на моем месте кто-то иной, «чужой» — не я, а другой, им неведомый «управец», — все пошло бы иначе. Его не стали бы слушать, начался бы спор, крик, возражения, «митинг»: «Как так: мы — василеостровцы, а нас останавливает какой-то там «выборжец» или «петроградец»?! Не потерпим! Пойдем!»

Даже если бы в голове колонны оказались не «майцы», а 8-я или Ларинская гимназия — да пусть какая-нибудь, почти своя, женская гимназия Шаффé, — мне пришлось бы куда труднее. А тут все было решено в первую же секунду.

Седьмые и восьмые классы Мая остановились у моих ног, как у пьедестала монумента. За ними — целым цветником — эта самая «Шаффе́»: у нас с «шаффистками» были и общие преподаватели, и вечные родственные связи: там учились сестры, тут — братья, дети одних семей...

Не берусь передать содержание моей тогдашней страстной речи. Не «зажигательной», отнюдь, скорее огнетушительной: «Стойте! Никуда не ходите!»

Скажу одно: это случилось в двадцатых числах апреля, а еще в мае я говорил полушепотом: на вешнем ветру, от мальчишеского стремления как можно лучше выполнить порученное, я так кричал, что совершенно потерял голос.

Так или иначе, меня выслушали — хмуро, но внимательно. Долговязый Нарышкин — из «тех самых» Нарышкиных, петровских, — смотрел мне в глаза не отрываясь. Он уперся древком своего флага в торцы мостовой и удивительным образом словно завязал вокруг него непомерно длинные ноги. И вот выражение его лица начало меняться. Его мягкая серая фетровая шляпа стала как бы надвигаться сама собой на лоб. На минуту мне показалось, что я не то чтобы убедил, но вроде как загипнотизировал его, этого смешного жирафа...

И вдруг он распрямился.

— Так что ж, Успенский? Значит, считаешь, не надо идти? — спросил он меня вот так, как одноклассника, как будто речь шла — готовиться к алгебре или нет?

— Считаю, что не надо! — честно ответил я.

Нарышкин опустил знамя, взял его под мышку, скрутил полотнище и решительно повернулся:

— Пошли домой, майцы!

Я никак не могу себе самому разъяснить: были ли при этом Вознесенский и Богоявленский, эти шуаны с Де-

вятой линии? Должны были быть, но сделать ничего не смогли...

А впрочем, видимо, это было закономерно. Демонстрации не состоялись ни в одном районе города. Нигде не произошло никаких столкновений. Всем самим не хотелось идти.

Стоял апрель. Апрель 1917 года.

Полуправда

Работая над этими моими «Записками», я в «Книжной лавке писателей» на Невском наткнулся на небольшую книжку эмигрантских воспоминаний. По-моему, кто-то указал мне на нее: «Не читали? Посмотрите: очень любопытно...»

На титульном листе книги была, естественно, указана фамилия автора: Д. Мейснер. Я взял книгу, и вдруг, совершенно неожиданно для меня, эта, словно бы довольно обычная русско-немецкая фамилия задрожала в моих глазах, поползла в сторону как занавес, затуманилась... И за ней мне увиделся среднего роста аккуратно одетый юноша, скорее светлый шатен, нежели блондин, гимназист с манерами взрослого, по меньшей мере — студента-первокурсника... Этим манерам несколько противоречил его профиль — с остреньким, как бы лисьим, носом, всегда с чуть заметным непорядком в конце весьма тщательного пробора. Гимназист — не в тогдашней форме, а в хорошо сшитой серой паре — значит, из частной гимназии. Очень милое впечатление производивший молодой человек, предельно скромно державшийся, чуть-чуть вкрадчиво вступавший в беседу, но затем ведущий ее основательно и уже не по-первокурсному, а, я бы сказал, по-приватдоцентски, как имущий если еще не самую власть, то ясное понимание путей к этой

власти... С нами — своими ровнями, со взрослыми — одинаково.

Я очень давно не сталкивался с этой фамилией, можно сказать — нацело забыл ее. А тут она явилась передо мною из небытия, словно на глазах материализуясь из тумана далекого прошлого...

Д. Мейснер... Дима Мейснер был у нас в ОСУЗе представителем учащихся Петроградской стороны. С самых первых дней революции он вошел в нашу среду, обладая уже тем, чем мы в большинстве своем не обладали, — совершенно точной политической позицией. Он сразу же заявил себя и все время с большой уверенностью продолжал думать, говорить, поступать как хорошо определивший свои взгляды юный кадет.

В эти дни, собственно, уже нельзя было бы называть кадетов «кадетами»: «ка-дэ» значило ведь «конституционный демократ»... С момента Революции смысл этих слов утратился: «конституционность» предполагала наличие монархии: какая же может быть «неконституционная республика»? Но — то ли по языковой инерции, то ли в силу смутных надежд на Учредительное собрание, которое авось да вернет в Россию монархический, на английский манер, строй, — и они сами, и окружающие продолжали именовать этих «конституционалистов» по-старому. Кадетом не без гордости считал и звал себя и Дима Мейснер.

Он был кадетом не только по настроению и верованиям. Он, как теперь мне представляется, был лично связан с Павлом Милюковым, являлся при нем чем-то вроде «адъютанта по молодежным делам». Когда я восстанавливаю сейчас в памяти его образ, он рисуется мне стопроцентным милюковцем, одним из тех кадетских деятелей — правда, в те времена только «in spe», в зародыше, — у которых и во внешности, и в жестах, и в

«способе держать себя с окружающими» все было пропитано «кадетизмом».

Что такое был истинный кадет? Прежде всего, все они были до мозга костей интеллигентами, даже интеллектуалами: полуполитическими деятелями, полупрофессорами. Настоящий кадет выглядел, да и в глубине своей был, человеком хорошо образованным, человеком с хорошими теоретическими познаниями по части истории страны, Европы, мира... Среди них были англофилы, подобные В. Д. Набокову, и галломаны, подобные, пожалуй, Ф. И. Родичеву... Все они были несомненными западниками... Всюду — и на кафедрах университетов, и на думской трибуне — они стремились быть прежде всего «джентльменами». Одни из них как бы подсознательно ориентировались на Кондорсэ или на Тьера, другие — на английских вигов — на Питта, на Гладстона... Но при этом все они, начиная со своего идейного вождя и учителя Милюкова, оставались, если вспомнить меткое слово Александра Иванова, художника, обращенное к позднему Гоголю, «прекрасными теоретическими человеками»... Они превосходно разбирались в политике Древнего Рима, в эпохе Кромвеля, во всем том, что рассказывали о прошлом их современники — историк Сеньобо́с или наши профессора-сеньобо́сы Виноградов и Платонов. Они были до предела «подкованными» (употребляя не тогдашнее, — нынешнее словцо) во всем, что касалось прошлого — далекого и близкого. Но у них не было ни малейшего представления о реальных закономерностях современной жизни...

Джентльмены, они и выглядели и держали себя как джентльмены. Даже такие бурнопламенные, как Федор Родичев или Василий Маклаков, они умели «трибунствовать», так сказать, «не повышая голоса», не выходя за рамки приличия. Выдерживая все правила парламен-

таризма. У кадетских лидеров, начиная с Милюкова, было «влеченье, род недуга» к Министерству иностранных дел, к дипломатии высшего полета, к изяществу и изысканному лукавству послов, посланников, полномочных министров, к закулисным переговорам — на том же «джентльменском» уровне, к самому́ тону дипломатических приемов, конференций, раутов...

Таким, конечно в уменьшенной копии, сохранился в моей памяти и Дима Мейснер тех дней.

Он не шумел, не потрясал аудиторию юнцов дантоновским красноречием. Но, как начинающий Кондорсэ, он говорил всегда умно и убедительно и, может быть, предпочитал вести свою линию защиты и пропаганды кадетских взглядов не с высоких кафедр, а в кулуарах, неторопливо, вкрадчиво, понемногу...

И вот теперь я увидел его фамилию на обложке эмигрантской книги, изданной, однако, у нас, в СССР. Еще не вполне уверенный, что Д. Мейснер это и есть наш, осузский Дима Мейснер, я быстро полистал ее и довольно скоро попал на слово «ОСУЗ». Это был — он!

Я прочел затем всю его хорошо написанную, пропитанную искренней горечью книгу — исповедь гражданина, по-своему (и по-настоящему, только не так, как следовало бы!) любившего Родину и по своей собственной вине-ошибке потерявшего ее. Человека, всю долгую жизнь по доброй воле добросовестно крутившего на полный ход тяжкий привод огромной эмигрантской машины и под конец убедившегося, что все многочисленные шкивы, ремни и шестерни этого механизма кончались ничем, были ни к чему не прилажены, ничего и никуда не двигали... Что крутил он их — впустую...

Я пожалел Дмитрия Мейснера — умницу, человека настоящей культуры и настоящей души, совершившего такую большую ошибку: очень печально, когда ты соб-

ственной рукой неправильно перевел перед собой стрелку в самом начале жизненного пути — и вот, пройдя много сотен верст, прожив много десятилетий, видишь, что избранные тобою рельсы привели твой эшелон в тупик...

Но, читая его книжку, я обратил внимание на то, что было для меня всего ближе: на тогдашние наши осузские дела. А он их поминает, и даже уделяет ОСУЗу довольно много внимания. И рассказывает он о нем как об организации, созревшей в недрах кадетской партии, возникшей по инициативе руководителей этой партии, в ее центральном клубе на Французской набережной, и по этой причине оставшейся верной платформе и программе своих созидателей.

Из всего, что я уже написал, можно без труда понять, что я не переоцениваю «революционность» ОСУЗа, и особенно его Управы первого созыва. Плоть от плоти буржуазно-интеллигентской столичной средней школы, мы были — я в этом вполне уверен — примерно такими, какими я тут этих «нас» нарисовал. Мы довольно много знали о мире, но не знали о нем главного, того самого, что нужно было знать. Мы считали себя прогрессивной частью молодежи; нам представлялось, что начавшаяся революция породит на долгие годы, может быть даже на вечные времена, такую передовую, такую «демократическую» республику, образцы которой мы видели в республиках уже существовавших, в первую голову — во Французской.

Мы думали о том, как пойдет жизнь этой республики, каждый по-своему. Многим из нас казалось, что она покатится по отличным от европейских образцов, как бы «улучшенным», как бы «исправленным», рельсам. Потому что ведь нам не был заказан критицизм по отношению к западным формам государственности.

Но в общем-то мы отталкивались от ненавистных и нашим родителям и нам черт царской России, черт самодержавной монархии, и полагали — скорее интуитивно, нежели рационально, — что первым и долговременным этапом преобразования русской жизни будет — догнать западные страны.

А уж о том, станем ли мы их перегонять, явим ли миру новый образец общества, нам — осузского образца молодым людям — и во сне не виделось. Самое понятие социальной революции не фигурировало в программах нашего обучения. Мы — я говорю именно о большинстве «управцев» первого созыва — просто о нем почти ничего не слыхивали. И те из нас, которые представляли себе значение слова «социализм», видели его в утопическом, реформистском, обескровленном и обезжиренном виде. Я думаю, что многие из нас были тогда несомненными фабианцами.

Но кадетами мы — за редким исключением — не были и возникли вовсе не в утробе кадетского клуба.

Мне кажется, что отчасти Д. Мейснер рисует события так, как ему представлялось когда-то, что они идут, или так, как ему, «кадету всей душой», хотелось бы, чтобы они шли тогда. Отчасти же ему просто иной раз изменяет память.

Это с ним случается. Так, скажем, он упорно именует нашу тогдашнюю организацию ОУСУЗом, составляя это словечко из первых букв словосочетания «Организация учащихся средне-учебных заведений». Но мы всегда звали ее ОСУЗом (Организация средне-учебных заведений) и себя звали «осузцами», а наших «барышень», членов ОСУЗа, (увы) — «осýзками». Чтобы не быть голословным, приведу здесь не бог весть какое талантливое, но доказательное четверостишие, сочиненное в те дни кем-то из осузских рифмачей:

Депеша на Землю

«Парнас, алтарь Эвтерпы,
Одной из девяти, прекраснейших из муз.
Успенский, гордый бард! Ты вдохновенье черпай
Отныне лишь в словах, рифмующих с ОСУЗ...»

Эвтерпа, как известно, муза лирической поэзии... Кто это сочинил и по какому точному поводу, я теперь уже сказать не могу, но самые стихи запомнились мне, и они ясно свидетельствуют о том, что Д. Мейснер ошибся в слове.

Могла бы послужить доказательством того же и так называемая «Осузиада» — своего рода «ирои-комическая драма», тоже сочиненная в недрах ОСУЗа. Ее у меня, увы, давно уже нет.

Но это все пустяки: «ОСУЗ» или «ОУСУЗ». Существенно другое. Дмитрий Мейснер не может не помнить, что после того, возможно первого в ряду, собрания учащихся Петроградской стороны, о котором я рассказал в главе «Тот февраль», вскоре состоялось другое, уже общегородское, собрание в зале Тенишевского училища на Моховой. Оно было несравненно представительнее, многочисленней, красочней. Именно там была избрана первая Управа ОСУЗа.

В состав этой Управы вошло немало учащихся — в том числе многие ученики «Тенишевского». Среди них были молодые люди самых различных — в определенных границах, конечно — взглядов и политической ориентации. К ним присоединились ученики других гимназий и реальных училищ, и состав Управы от этого стал еще много более пестрым и разноликим. И судьбы — будущие далекие, тогда еще невидные нам самим, судьбы — этих юношей и девушек оказались очень непохожими друг на друга, одна на другую.

Да, конечно, были среди нас юнцы, которых несколько лет спустя вихрями бурного времени нашего занесло далеко за границы Советской страны. Мейснер называет фамилию Николая Быстрова, «управца второго созыва», говоря о русских, которых он встречал в пражской и парижской эмиграции. Все мы знали Колю Быстрова, высокого и плотного англизированного юношу, со стриженной под «первый номер» головой, не без театральности курившего «кепстен» в трубке, носившего на близоруких глазах не вульгарные очки, а изящное пенсне в золотой оправе, цитировавшего Киплинга, стрелявшего у себя в комнате в карточные двойки и тройки из «монтекристо» — для киплинговского же колорита. Я могу назвать Ивана Савича — он был даже председателем первой Управы — позднее профессора в Сорбонне. Но ведь не они же одни были с нами тогда, и не они делали погоду.

Несколько раз я уже упоминал умницу и обаятельную девушку Лялю И., признанную «мисс ОСУЗ» тех дней. Ляля И. уже в начале двадцатых годов стала членом партии, работала и на транспорте и в газетах; в тридцатых годах авторствовала на радио, была работницей облпрофсовета... Я помню блокадную крышу сорок первого года и еле живую, исхудавшую до скелетообразности Елену И. на этой ленинградской крыше — в качестве смелого и находчивого бойца противовоздушной обороны.

Кладбище у деревни Даньки хранит по сей день прах этой нашей осузки, этой беззаветно преданной идеям коммунизма партийки, этого до кристальности честного человека... Нет, никогда Ляля И. не была кадеткой, и, как бы ни был уверен в своей правоте Д. Мейснер, она стояла не на одной с ним платформе в 1917 году, а на прямо противоположной.

А лучший осузский оратор, с бурного выступления которого началось наше «основоположенное» собрание в тенишевском зале, сам «тенишевец», сын врача-дантиста, необыкновенно одаренный человек — Лев Александрович Рубинович-Рубинов?

Про жизненный путь Левы Рубинова можно написать книгу, и она читалась бы как приключенческий роман. У меня нет сейчас в руках документов, которыми я смог бы подкрепить и подтвердить его биографию, но ведь мне это пока что и не нужно. Достаточно двух фактов.

В дни гражданской войны коммунист Лев Рубинов пошел добровольцем на фронт и сражался там до тех пор, пока тяжелая болезнь не вывела его из строя. Он тогда был девятнадцатилетним юнцом с гимназической скамьи. А в 1941 году Лев Александрович Рубинов, вчерашний юрисконсульт мощных ленинградских предприятий, аттестованный по военной линии на интенданта первого ранга, в первые же дни войны, не ожидая мобилизации, пошел в дивизию народного ополчения рядовым. В первый же день на фронте, у станции Сольцы, он был тяжело ранен во время бомбежки, эвакуирован в Сибирь, вернулся оттуда полным инвалидом и все же до самой кончины своей работал, думал, писал, жил полной жизнью... Как ни старайся насиловать свое воображение, никак не представишь себе Льва Рубинова — прокурора и следователя в начале двадцатых годов, адвоката-защитника в их конце, юрисконсульта учреждений и заводов в годах тридцатых, воина гражданской и Великой Отечественной войны, до мозга костей советского человека — кадетом, по Дмитрию Мейснеру. Да он никогда и не был им. Наверняка и сам Мейснер помнит Л. Рубиновича семнадцатого года.

Я мог бы назвать немало фамилий тех моих товарищей по первой и второй осузским Управам, которые

еще живы сегодня и вершат свои — большие и малые — советские дела в Советской стране. Им не в чем упрекнуть себя на всем протяжении их жизней, и, я уверен, задай им Дмитрий Мейснер вопрос — понимали ли они себя как «кадетов» в 1917 году, — они пожали бы плечами, улыбнулись бы в ответ и сказали бы: «Если бы это было так, мы не были бы теперь теми, кем мы ныне являемся!» Я не удивлюсь, если получу, когда эта книга выйдет в свет, весточку от Э. М. Арнольди, кинематографиста и ученого, теоретика советского кино — нашего осузца.

Если бы она была жива, она ядовито посмеялась бы над ошибкой Мейснера — осузка не петроградская, а киевская, но все-таки осузка, — писательница и сказочница Ирина Валерьяновна Карнаухова, книги которой бурно расходились среди советских ребят, которая много лет работала в советской детской литературе, которую («Сказки бабушки Арины») знала вся наша страна.

А Вероника Браун?.. Я потерял ее очень давно из вида, но до меня доходили слухи, что в двадцатых годах Ника Браун была прокурором на Урале — и в те горячие, бурные, непримиримые годы... Кадетка?

Отнюдь не кадетом был и Владимир Владимирович Пруссак, о котором я уже достаточно рассказал раньше.

Годы, которые неслись над нами, непосредственно вслед за тем разбросали нас в разные стороны, и я потом лишь изредка, то там, то здесь, встречал своих осузцев. Да, надо сказать, самый «разброс» этот проходил тогда нередко весьма странно, причудливо, неожиданно. Теперь, вспоминая, тоже нелегко понять — каким движением переводились в те бурные, нелегкие и такие памятные, такие дорогие всем нам годы стрелки наших рельсов то в одну, то в другую сторону...

Вот какая, в теперешнем моем представлении — почти гротескная история разыгралась в 1918 году на нашем осузском фоне.

Когда возник ОСУЗ, я был семиклассником. Почти все мои сотоварищи по первой Управе были учениками восьмых классов, кончали курс в мае 1917-го. Осенью была избрана вторая Управа ОСУЗа. Ее состав был несравненно левее, нежели предыдущий, хотя большевиков я там не помню. Меня избрали и в этот второй состав Управы: я-то должен был кончить гимназию весной следующего года, восемнадцатого. Председательницей новой Управы оказалась белокурая, голубоглазая решительная Нина Г., дочка известного военного хирурга.

Этот ОСУЗ, новый, уже не открещивался от практических дел: был образован, например, «ученический кооператив». Стали мы иначе относиться и к происходившему вокруг нас: помнится, когда после Октября на дальних подступах к городу начались схватки с подходившими с юга казачьими частями генерала Краснова, была сделана попытка сформировать и отправить на фронт гимназический летучий санитарный отряд ОСУЗа. Не могу сейчас утверждать точно, но кажется, она была осуществлена. Отряд выехал на гатчинское направление, однако красновцы так быстро были разбиты и сдались, что, как будто, осузским санитарам почти не пришлось поработать в боевой обстановке.

ОСУЗ и в эти времена, да и всегда, начиная с момента своего образования, был организацией, существовавшей, так сказать, «на фуфу». Никаких источников денежных средств, никаких финансовых фондов у него не было. Он был на сто процентов общественным органом, а в то смутное «временное» время, по-моему, никому даже и в голову не приходило как-то в плановом

порядке кредитовать, принимать на снабжение, на «бюджет» такие, возникавшие на каждом углу и по самым неожиданным поводам, органы.

Я не помню также, чтобы существовал какой-то постоянный порядок внесения членских взносов; никаких членских билетов ни у кого из нас не было.

Не было, откровенно-то говоря, и крупных «расходных статей», а если они возникали, то средства на их погашение образовывались, так сказать, «вскладчину»: мы сами предлагали себе внести по такой-то сумме на такую-то надобность — ну, скажем, на тот же кооператив при его организации, на тот же санитарный отряд.

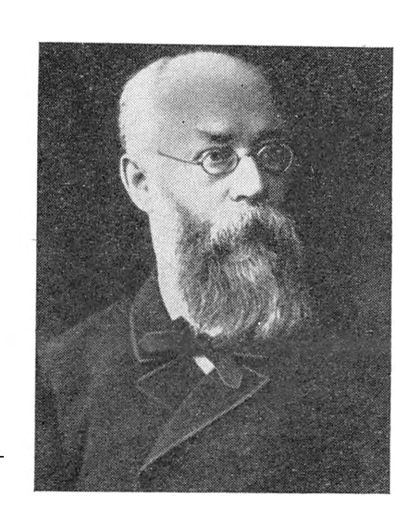
Кроме того, существовала резервная возможность выклянчить какую-нибудь небольшую дотацию у того или другого из располагавших деньгами многочисленных эфемерных, то возникавших, то исчезавших общественных и государственных учреждений Временного правительства... Надо было только уметь клянчить. Или — «ловчить».

Мне ни разу не попалось за все эти долгие годы ни одной работы, которая была бы посвящена проблемам экономической и финансовой практики Временного правительства. Но я не сомневаюсь, что, если бы кто-либо занялся такой темой, выяснились бы обстоятельства фантасмагорические.

У второй Управы ОСУЗа был чудесный председатель. Девушка решительная и категорическая в суждениях, быстрая если не «на руку», то на словесное воздействие на «управцев», да к тому же обладавшая весьма на них влиявшей внешностью, Нина Г. тогда напоминала то ли персонаж из скандинавских саг и преданий — юную кайсу, то ли этакую григовскую Сольвейг. Пшенно-



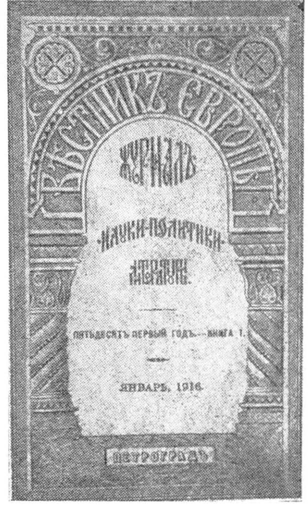
Я думаю, тут Д. Н. Овсянико-Куликовский еще в приват-доцентском возрасте.

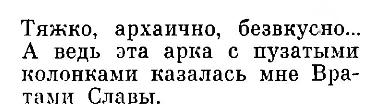


К. Арсеньев—кормчий «Вестника».



Из-за этой тоненькой книжки меня укусили!





Тяжко, архаично, безвкусно... А ведь эта арка с пузатыми колонками казалась мне Вратами Славы.



Это было в 1914 г.

I 0020 ELT – LEV USPENSKY

17

K C Baci

W342-29 LONDON 18II 29 1704–

LONDON JUNE 1942 – DEAR COMMANDER USPENSKY COMRADE LITERATURE AND IN OUR FIGHT FOR AMPLE LIFE FOR ALL MEN COMMA YOUR WONDERFUL LETTER BEYOND MY PRESENT POSSIBILITIES OF RESPONSE STOP HAVE HAD BREAKDOWN THROUGH OVERWORK AND THOUGH BODILY HEALTH RETURNS CAN ONLY WRITE IN SHORT SPELLS AND WITH EFFORT. STOP YOUR KNOWLEDGE OF MY WRITINGS IS DAZZLING STOP TO GRASP SOME OF YOUR ALLUSIONS HAVE HAD TO REREAD MEN LIKE GODS STOP REREADING ONE THESE BOOKS SURE WAY OF DISCOVERING MISPRINTS AND UNSATISFACTORY PHRASES STOP

Начало телеграммы Уэллса.

Ленинградский Государственный Театр МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

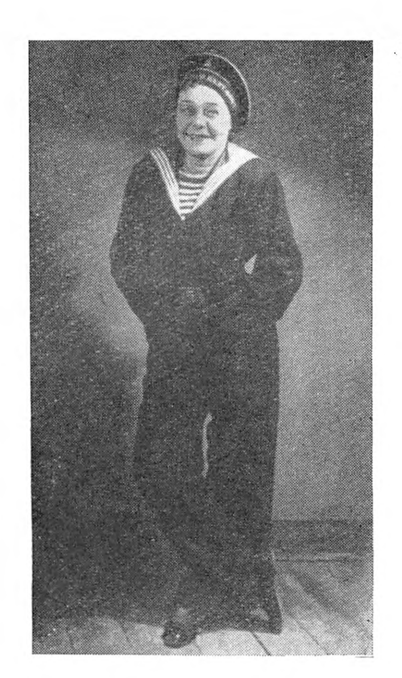
ПРЕМЬЕРА! 7, 8, 10, 12, 15 Ноября 1942 г. ПРЕМЬЕРА!

РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО

А вот — была же эта афиша, было это все...



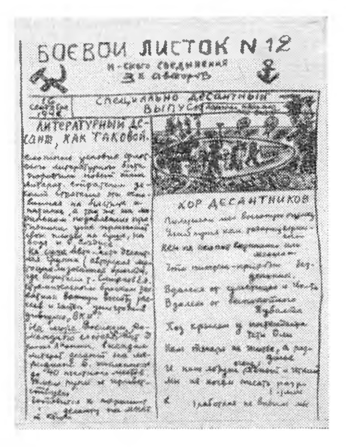
И я был на первом представлении «Моря», и Нина Пельцер плясала матлот, и на улице гремел обстрел...



Нелегко поверить, что это — 1942 год, Ленинград, блокада...



В артистических уборных стояла почти такая же температура, что и на улице.



БОЕВОЙ ЛИСТОК N 12

СПЕЦИАЛЬНО ДЕСАНТНЫЙ ВЫПУСК

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕСАНТ, КАК ТАКОВОЙ.

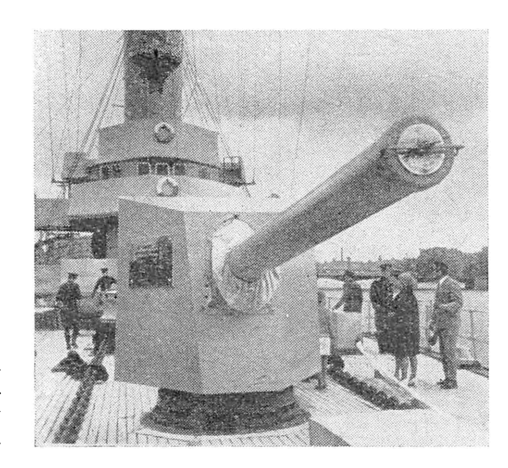
ХОР ДЕСАНТНИКОВ

Да, театр этот и стал «соединением». И юмор авторов стенгазеты — особый юмор. За такой душевный настрой в такое время — низкий поклон вам, товарищи!

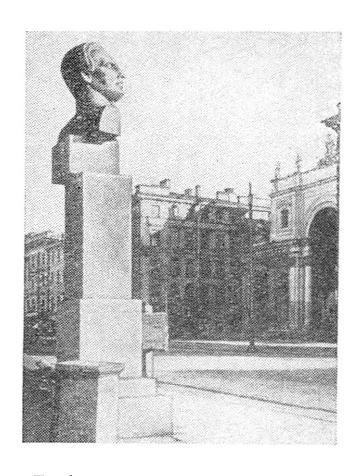


Весь «мозговой трест» Бориса Петровича. Второй справа — Стукалов, третий — Аблин. Второй слева — Пермский.

Это — «Челитта», какой зарисовал ее командир «соток» архитектор Пермский.



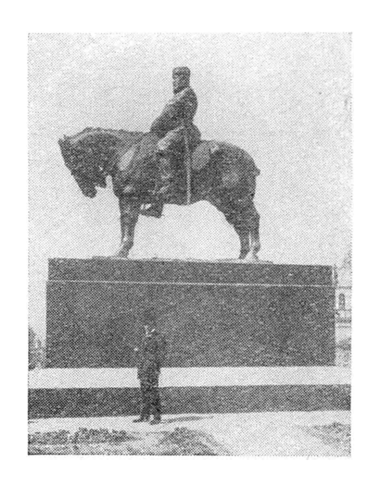
Как и в те дни, орудие «Авроры» говорит сегодня новым поколениям: «Враг не прошел и не пройдет никогда».



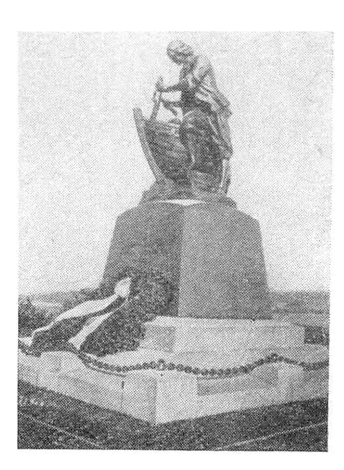
«Рабочий»—памятпик Лассалю.



Хорошо стоял этот Петр— у правого крыла Адмиралтейства.



«Первый городовой мира». У подножия памятника — его автор.

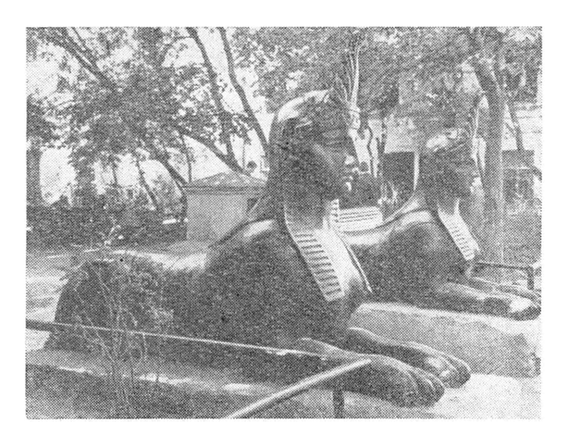


Он стоял на набережной, у левого крыла Адмиралтейства.

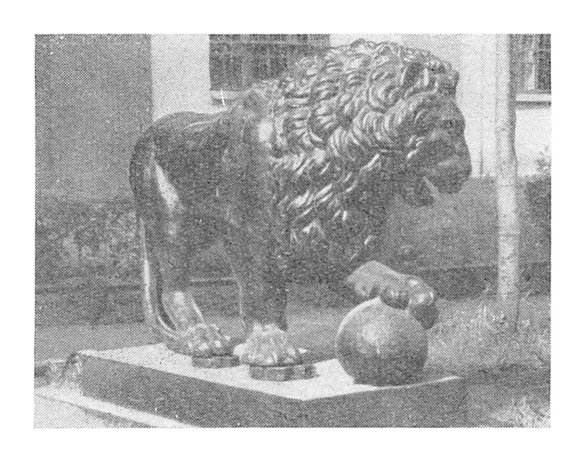


Это памятник не личности, а боевой части русской армии. Лейб-гвардии саперный батальон был создан в 1812 году.

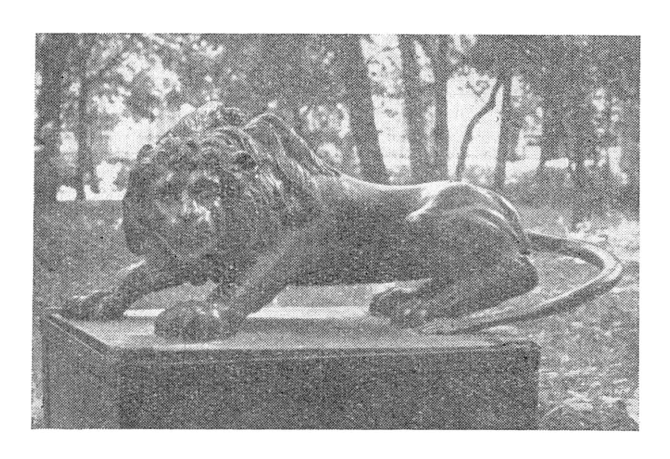
Сомнительно, чтобы где-либо еще можно было видеть сразу более двадцати выстроившихся в шеренгу чугунных львов...



И лежат эти бронзовые пенсионерки во дворе. А ведь могли бы еще поработать!



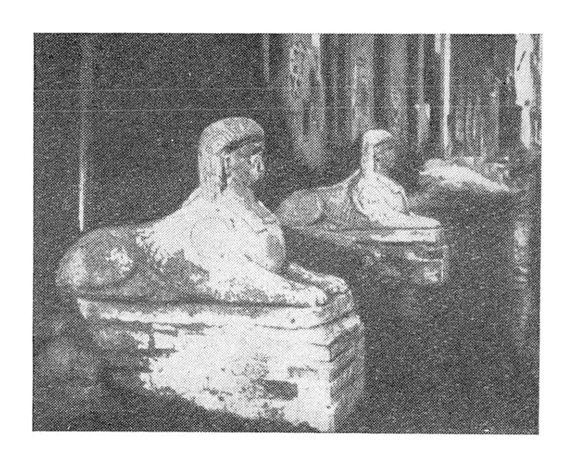
Родных братьев этого льва немало в Ленинграде. Он же стоит у Пролетарского завода.



В самом деле, это скорее древний ящер, чем лев...



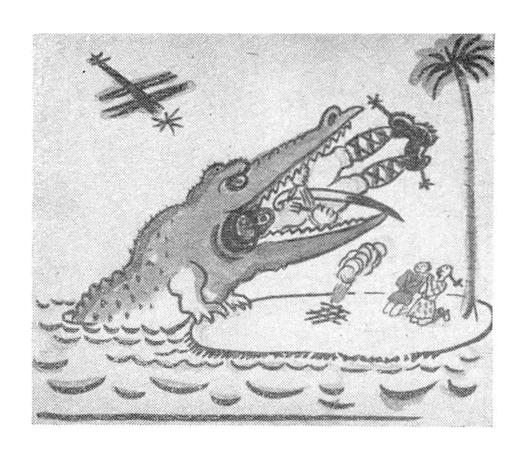
Тут он нашел наконец свое настоящее место, бронзовый бродяга.



Теперь вы уже не найдете их на старом месте.



Вот во что превратили галантные века мрачное чудище древности.



Конец Бармалею! Такую акварель, выполненную по первому наброску, прислал художник Мстислав Добужинский Корнею Чуковскому.

Разрешите сообщить, что в плане более, чем 50-летней давности этот микрорайон (поселок) назван „Ульянка".

Вот эта группа зданий с центром у церкви называлась „Ульянкой".
Прошу настоящее письмо передать Л. В. Успенскому.

Пенсионер Вс. Игнатьев
(жил на Ульянке с 1914 по 1917 г.)

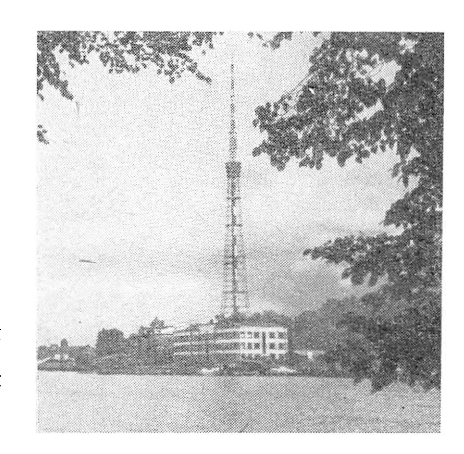
Впервые название Ульянка появилось на плане С. Петербурга с ближайшими окрестностями в 1912 году в приложении к ежегодной адресной и справочной книге „Весь Петербург" ~~под редакцией~~ А. С. Суворина.

С уважением

В. Решетников

Вот они — голоса ленинградцев!..

Когда всюду и везде станет так — будет неплохо, очень неплохо!



Легкая, изящная, башня поднялась в небо в два с половиной раза выше, чем старый Петропавловский шпиль.

Программа



ПОЭЗО-ВЕЧЕРЪ

ИГОРЯ СѢВЕРЯНИНА.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

Докладъ ГЕОРГІЯ ШЕНГЕЛИ

НА ТЕМУ

ПОЭТЪ ВСЕЛЕНЧЕСТВА

(О творчествѣ Игоря Сѣверянина).

Тезисы: 1) Символизмъ и символисты. 2) Стремленіе [illegible] 3) „[illegible]" 4) Кризисъ символизма и [illegible] его поэтовъ. 5) Бальмонтъ, Брюсовъ, Сологубъ, Бѣлый, Блокъ. 6) [illegible] новой поэзіи. 7) Городъ и его поэзія. 8) [illegible] какъ [illegible]. 9) Индивидуализмъ и [illegible]. 10) Аксіомы [illegible] мудрости

Многих обольщал тогда своими «бравурными эксцессами» сын череповецкого купчика Лотарев-Северянин.

белые волосы, голубые глаза, решительный тон... Председатель была избрана очень удачно.

Полнейшая безденежность ОСУЗа обычно ничуть не задевала никого из нас. Но председательница Управы иной раз сталкивалась с нею как с огорчительным обстоятельством. И, несомненно, она всегда вынуждена была бы признать себя в этом смысле беспомощной жертвой рока, неспособной ни на одну керенку увеличить наличность осузских касс, если бы не казначей Управы второго созыва Левин.

Если Нина Ивановна Г. была отличным председателем, то Левин (я не то что забыл, я и тогда не знал его имени) был поистине чудо-казначеем Управы. Ибо он был из другого теста, нежели большинство из нас.

Этот Левин был учеником реального училища Богинского на Невском проспекте, 83. Юноша несколько выше среднего роста, он обладал внешностью отчасти комической, — внешностью этакого меланхолического клоуна. Он был длинноное, черняв. Цвет лица его был, что называется, «нечистым».

Метафорически выражаясь, само реальное Богинского тоже обладало «не вполне чистым лицом». В дореволюционном Петрограде оно пользовалось репутацией учебного заведения, в которое можно поступить, решительно ничего не зная, и спустя несколько лет кончить его и получить аттестат, ни на йоту не увеличив сумму своих познаний. Там можно было по нескольку лет сидеть в каждом классе, учиться на двойки, но быть избавленным от воинской повинности — если только плата за право учения вносилась регулярно. Считалось, что реальное Богинского в этом смысле дает много очков вперед даже знаменитым гимназии и реальному училищу Я. Гуревич, на углу Лиговки и тогдашней Бассейной.

Я не буду уверять, что данные эти совершенно точны: в училище этом одно время побывал, судя по его мемуарам, В. Б. Шкловский — ясно не все сплошь там были чистыми двоечниками и тупицами.

Но Левин, как я себе это представляю, относился, вероятно, все же к одному из этих двух разрядов. Возможно, до Февраля он делал усилия, чтобы хоть немного исправить свое положение, но с началом революции счел все это напрасной тратой энергии. Он не бросил училища, нет; он просто совершенно перестал заниматься науками, вышел на Невский и примкнул к размножавшимся, как треска, в условиях всеобщей неразберихи и всяческих недостатков мелким спекулянтам.

Не скажу, чем именно он спекулировал, — летом и осенью семнадцатого года перед инициативными гражданами открылись в этом смысле весьма широкие перспективы.

Думается, Левин еще не успел стать спекулянтским боссом. Вероятнее всего, он ходил в подручных, в исполнителях; может быть, просто состоял на побегушках у более крупных персонажей с солнечной стороны Невского. Несомненно, у него в этой области были таланты. Его можно было постоянно встретить в те месяцы в пространстве от Литейного до церкви Знамения, в обществе таких же, как он сам, уже нуждавшихся в бритве молодых людей в кожаных куртках, в широчайших галифе, в полувоенных, полуштатских френчах...

Все эти люди интересовались очень многим — помоему, уже и сахарин тогда начал появляться на черной бирже. Но две вещи, два предмета были им абсолютно чужды: учение, в чем бы оно ни заключалось, и любая политическая деятельность. И то и другое не могло принести им немедленного, быстрого барыша, а о далеком будущем они не задумывались.

Да и зачем бы? Их толканье в подъездах и подворотнях на Невском, их сиденье в ближайших кафе приносили им неплохие доходы. Тот же Левин был всегда при деньгах (он навалом держал их в карманах плохонького пальто). Приносило все это им и другую пользу — связи, знакомства... Какие именно? Ну вот этого я точно не могу сказать, но — разнообразные. Временные, как было «временным» все вокруг, но нужные! И в организациях Земгора, и в работающих на шаткой, не определившейся еще базе органах самоуправления, и всюду, где делались те или иные денежные дела.

Словом, Левин был, объективно говоря, жук хороший; может быть, скорее — жучонок, личинка жука, чем жук, но во всем остальном он был весьма мил, несмотря на свою комически-унылую внешность. Веселый парень, готовый в любой миг ссудить своего брата гимназиста некоторой суммой в мятых керенках или свести его в одно из тогдашних, уже полубутафорских, ненастоящих кафе, угостить пирожным... А кроме того, у этого, уже начавшего проходить медные трубы спекуляции, жучка обнаружилась своего рода слабость, ахиллесова пята: ОСУЗ!

Представления не имею, кто и почему выбрал его в ОСУЗ? Впрочем, «богинцы» могли и не такого выбрать: Левин-то был среди них явным интеллектуалом.

Удивительнее мне другое: каким образом он попал во вторую Управу ОСУЗа? Здесь, среди столь «высоколобых» девушек, как наша председательница, как Грациэлла Джоновна Говард (дочка учителя английского языка в «Аннен-Шуле» на Кирочной, человека более чем респектабельного, да еще к тому же Джона Эбене́зера), рядом со считавшими себя левыми эсерами Изачеком и Шполянским, рядом с уже упомянутым мною

Николаем Быстровым в золотом пенсне и со шкиперской трубочкой в зубах, Левин выглядел не столько «белой вороной», сколько, наоборот, так сказать, «черным гусем».

Входя в зал заседаний Управы (это было обыкновенно либо класс, либо учительская в одной из подвластных ОСУЗу школ), он сразу же робел и терялся. И уж окончательно немел он, как кролик перед удавом, если на него бросала гневный взор белокóсая, голубоглазая Нина Г.

В пустом помещении было обычно беспорядочно и шумно. Заседали нередко сидя прямо на столах, отчасти из-за отсутствия стульев, а отчасти и по юношеской небрежности к обстановке: так было революционнее! На краю стола, как амазонка в седле, красовалась председательница. Почти всегда первым вопросом повестки было — полнейшее отсутствие средств в осузской кассе. Не миллионов, не тысяч. Мелочи, на самые пустяки! На выкуп несчастных номеров газеты «Свободная школа», которую никто не желал читать. На карандаши и резинки для кооператива. На всякую ерунду. Что делать? Ужас! И тут, как самый робкий вассал в замок сюзерена, крадучись входил в помещение казначей Управы Левин. Дорого бы он дал, чтобы его не заметили!

Но его видели все. И — всего опаснее — видела его — она!

— Левин! — не давая ему вздохнуть, налетала она на него. — Левин, о чем вы думаете?..

— Ну, может быть, о том, чего бы вечером покушать... — слабо пытался сострить Левин.

— Как вам не стыдно шутить, Левин? Вы же знаете — у нас в кассе — ни копейки. Вы что, хотите, чтобы газету пустили на макулатуру?

— А, эта газета! — с довольно справедливым пре-

зрением махал рукой Левин. — Если бы моя власть, я бы плюнул на эту газету...

— Этого недоставало — плюнуть на газету! Да и вообще, ОСУЗ не может жить совсем без денег!

— А Левин может жить без денег? — Тут он чуть-чуть грешил против правды. — Ну хорошо, хорошо, только не кричите на меня... Только не кричите! Разве я сказал — нет? Ну хорошо, будут вам деньги. Немного, но будут...

И Левин шел в какие-то немыслимые тогдашние учреждения, в те, что тогда заменяли нынешние отделы народного образования, районные финотделы... Он шел к своим знакомым «земгоровцам», и в какие-то экспедиции, ведавшие распространением прессы, и хлопотал, и убеждал, и доказывал, и неизменно являлся к нам с пусть не бог весть какими крупными, но деньгами. Чаще всего он честно добывал их, пользуясь той финансовой и правовой неразберихой, которая царила на всех этажах еще не вошедшего в свои нормы государства. Никто еще не понимал, как следует, кто и на что имеет право, кому можно, кому и в чем нельзя отказать? ОСУЗ! Гм! Печать есть, бланки есть... Наверное, и право на какой-то кредит есть...

Но опасаюсь, что бывали и такие случаи, когда так достать ему ничего не удавалось, а предстать перед очами Нины Ивановны с пустыми руками он и помыслить не смел. И вполне возможно, что, ни слова не говоря об этом председательнице, он открывал Управе в таких случаях личный кредит из своих, набитых керенками, спекулятивных карманов. Открывал и молчал как могила, потому что, если бы такое выяснилось, ему не было бы пощады... Ни от нас, ни от нее.

Так обстояли дела с Левиным летом и ранней осенью 1917 года. Управа и самый ОСУЗ были совершенно

не нужны ему. Но, по-видимому, они являлись для него каким-то символом «другой жизни». Ему самому импонировало быть казначеем Управы, быть осузцем. Вот он им и был.

В декабре я уехал из все крепче подголодывавшего Петрограда в Псковскую губернию. Я думал через месяц сдать досрочно экзамен на аттестат зрелости, а готовиться к нему на тощий желудок было очень трудно.

В январе или феврале, подкормившись и подзубрив курс восьмого класса, я вернулся в Питер. У себя дома я нашел записку: «управцы» хотели меня видеть такого-то числа на внеочередном собрании, вечером, на квартире «у Нины». Я понял, что речь идет о чем-то вроде обычной управской «вечеринки».

Нина Г. жила в большой родительской квартире в огромном сером доме № 58 по Бассейной улице, сразу же за Мальцевым рынком.

Вечеринки, которые мы тогда устраивали и на которых очень славно веселились, вызвали бы сардонический смех у современных семнадцатилетних.

Ничем спиртным на них и не пахло. Ничем жареным — тоже или почти тоже. Было принято приносить на такие собрания то, что у тебя нашлось дома или что ты обрел на ходу, по дороге, в кое-где еще открытых ларьках и магазинах. Одному счастливилось, и он добывал по пути два фунта грузинского лакомства, которое в одной лавчонке именовалось «рузинаки», в другой — «гозана́хо», а в третьей — даже и просто «козий нак»... Другой притаскивал изрядный картуз соленых сухих снетков, и его встречали восторженным гулом. Третьему удавалось ухватить где-то пяток черствых, крепких как тес, глазированных пирожных: это было уже пределом мечтаний и воплощением грез; это уже пахло мороже-

ным из сирени и ананасами в шампанском... Но как все это было тогда для нас «удовлетворительно» и как никому не было дела ни до еды, ни до питья! Потому что всех нас занимали мы сами и бесконечные бурные, яростные и дружеские беседы, разногласия, споры, гадания, размышления...

От хозяйки или хозяина дома требовалось одно — горячий чай. И было нам тогда и интересно, и — отчасти — загадочно (никто же не знал, что и как пойдет дальше), и весело...

Наверное, так же было все и в тот день, в большой, никем посторонним в те времена еще не заселенной и никак не поделенной профессорской квартире.

Родители Нины Ивановны, по-моему, на один миг появились и затем куда-то исчезли. Мы свободно расположились в обширной, несколько сумрачной в тот вечерний час столовой.

Вокруг тяжкого, длинного и широкого «боярского» обеденного стола высились там такие же основательные, ставшие перед революцией модными, высокоспинные стулья «стиль-рюсс», похожие на деревянные солонки из «Кустарного склада» — магазина на Литейном. Мы, восседавшие на этих стульях, я полагаю, выглядели, да и по сути своей были, представителями уже совсем другой стилевой эпохи. Все перечисленные были здесь: полуангличанка-полуитальяночка Говард со своим неотрывным спутником и кузеном Гугелем — оба почти одного роста, оба черные, оба с чуть пробивающимися на верхних губах усиками, прибавлявшими Грациэлле Говард много южного смуглого очарования. Были тут и рыжий Шполянский, обладатель неслыханно-трубного председательского голоса, и быстрый, суетливый Изачек, и многие другие, имена и фамилии которых изгладились за полвека из моей памяти.

Был тут, разумеется, и казначей Управы: не сомневаюсь, что его вклад в тогдашнее наше пиршество заслуживал упоминания, но я об этом вкладе совершенно забыл...

Как всегда, было шумно. Молодость никогда не бывает вдосталь сыта — мы усердно жевали то, что сами «послали себе», хлебали горячий чай и говорили, говорили без конца. О чем — было не занимать стать. Вокруг нас сгущались и аккумулировались события непосредственной значимости и важности. Все вызывало живой интерес и споры, все, от реформы календаря (только что из жизни каждого из нас вылетели в небытие целые две недели), до декретов о создании Красной Армии и Красного Флота. До отделения церкви от государства. До совсем недавних боев с немцами у Пскова и нашей победы над ними. Наши осузские дела — по правде сказать, довольно невнятные — тоже давали повод для полемики и даже криков... Мы шумели, а время от времени немолодая женщина в темном, видимо продолжавшая еще жить в этой семье старая горничная или няня, тихо ступая, приносила не без некоторого недоумения из кухни то, что ей удавалось там наколдовать из наших странных запасов...

И внезапно на всю квартиру долгим раскатом зазвенел электрический звонок в передней. Раз... Два раза... Три...

Нет, в это время электрические звонки еще не означали чего-то тревожного, да и мы не числили за собой никаких прегрешений: мы не сочувствовали ни восставшим недавно юнкерам, ни продолжавшим саботировать Советскую власть чиновникам. Наши братья не были юнкерами. Наши отцы не были в рядах саботажников. И все-таки «незапный глас» этого звонка заставил молодую хозяйку нашу недоуменно поднять брови: «Кто это может быть?»

Прошло несколько секунд, может быть минута. Дверь приоткрылась.

— Нина Ивановна! — негромко произнесла из коридора та женщина в темном. — На минуточку. Телеграмму тут принесли... господину Левину...

— Левину? — Нина недоуменно вздернула плечи. — Левин, что это за новости? С какой стати вы даете для ваших телеграмм мой адрес?

— Ну, так получилось... — смущенно проговорил Левин, вставая. — Потому что у меня своего — нет...

— Ну так идите же, получите вашу... телеграмму... в конце концов...

Левин проследовал в прихожую. Несколько мгновений спустя он вновь появился на пороге. В руке у него был бесспорный телеграфный бланк. На лице — растерянное выражение.

— Ну, что? — закричали мы все. — В самом деле — вам телеграмма?

— Да вроде мне... — как-то не вполне уверенно ответил казначей Управы.

— Что за глупости, Левин? — возмутилась хозяйка. — Как это «вроде мне»? Откуда телеграмма?

— Да из Шанхая... почему-то... — уж совсем растерянно проговорил Левин, ученик реального училища Богинского, держа бланк на некотором отдалении от себя, как бы не вполне ему доверяя, как ядовитую змею...

— Что? Из Шанхая? А что там говорится? На китайском языке?

— Нет. По-моему — по-французски, — очень серьезно и как бы даже грустно сказал Левин, поднося наконец бланк совсем близко к глазам. — Тут написано: «Арривé оситó Шанхáй!»

Воцарилось глубокое молчание.

— Левин, дайте сейчас же это сюда! — потребовала наконец Нина Ивановна. — Что еще за глупости... Ой, смотрите, действительно...

Это был самый настоящий официальный бланк тогдашнего телеграфа, с обычной ленточкой-заклейкой, с самым обычным почтовым штемпелем на обороте, со множеством понятных и непонятных пометок карандашом и с совершенно необычным текстом: «Arrivez aussitôt Chang-Hay Glickmann» (Немедленно приезжайте в Шанхай. Гликман).

— Кто это — Гликман? — спросил, по-моему только чтобы не молчать, Шполянский.

Левин безнадежно пожал плечами:

— А я знаю? Может быть, у моей мамы был какой-нибудь троюродный брат?

— Погодите, Левин, — собравшись наконец с мыслями, сказал кто-то из нас. — Но... Что же вы теперь будете делать?

Никогда не забуду беспомощного жеста, которым Левин встретил этот вопрос. Ссутулясь, он потерянно развел руками...

— Да... Наверно, придется ехать?! — спросил он не то нас, не то самого себя.

Я решительно ничего не знаю, что случилось с этим Левиным дальше, уехал он в свой полумифический «Шанг-Хай» или нет. Могу сказать только, что больше я, да и все мы его никогда не видели...

Почему я вспомнил этот гротескный эпизод? Только потому, что он ясно показывает: и осузцы бывали совершенно разными, и судьбы их уже тогда могли складываться по-разному. Время было необычное, сложное, пестрое, многопланное. Далеко не все мы могли в те годы выступать как умудренные опытом сознательные стрелочники на своих собственных путях.

Бывало так, что стрелки, таинственно щелкнув, переводились перед нами сами, как нынешние автоматические. Случалось, их переводили перед нами руки наших отцов или матерей.

Но бывало, что у того или другого из нас просто не хватало твердости духа собственной своей волей определить направление своего дальнейшего пути. А случалось — хватало.

За полгода до этого вечера, в августе семнадцатого, мне самому довелось задуматься над такой — лично моей — стрелкой.

Летом семнадцатого года материальное и бытовое положение почти всех нас стало нелегким. Рябушинские грозились задушить Революцию «костлявой рукой голода». Все денежные накопления (а в кругу, к которому принадлежала моя семья, они были эфемерными, ничтожными) превратились в дым и прах. Старшие просто перепугались; многие впали в то состояние, которое английский уголовный кодекс определяет как «пребывание в телесном страхе».

Моя родная мама, отчасти под влиянием своей старшей сестры, тоже впала в панику: «Петроград погибнет от голода! Надо уезжать. На Украину, на юг!»

Почему именно туда? Там когда-то служил в артиллерийских частях мой дядя, и там у моей тети сохранились связи, дружба, возможность обрести какое-то временное прибежище.

В один прекрасный день мама — а она была не очень склонна проводить семейные плебисциты по таким вопросам, — живучи у тети под Москвой, поставила семнадцатилетнего меня и пятнадцатилетнего брата перед своим не подлежащим обсуждениям решением: перебраться на время голода на Полтавщину, туда, где текут молочные реки в кисельных берегах. Выяснилось при

этом, что наш отец не собирается переезжать никуда из Петрограда, но, чувствуя, что его собственное положение из весьма благоустроенного и прочного превратилось в достаточно шаткое и неопределенное и что далеко еще не известно, как и чем он сможет прокормить семью на новой и неустойчивой базе, он вроде как одобряет этот проект. Как временную меру.

Всё, с точки зрения мамы, было решено и подписано. Но выяснилось нечто, для нее совершенно неожиданное. Я категорически отказался куда бы то ни было уезжать из Петрограда. Я намеревался кончить свою гимназию Мая. Я намеревался поступить в Лесной институт. Я любил свой город, свой север, своих друзей. Я не желал менять того, что наметил и поставил перед собою как юношеские свои цели. И мама увидела, что преодолеть мою волю на этот раз ей не удастся.

Было очень много шума, споров, волнений, слез. Дядя и тетя неистовствовали: «Ты не имеешь морального права потакать капризам мальчишки!» Самой маме тоже было нелегко признать за мной право решать такие вопросы вопреки ее намерениям. Но я внезапно (сам доныне удивляюсь, как у меня хватило твердости) уперся. И даже угроза, что мама уедет туда, на Украину, без меня, но с братом (ему-то в его пятнадцать никто не позволил бы «рыпаться»), как ни тяжела была для меня такая перспектива, не поколебала меня.

И тогда случилось в нашей семье невероятное: мама отказалась от своих замыслов. Тетя Женя с дядей Мишей сердито уехали и увезли с собою мою двоюродную сестру Верочку, с которой меня связывала с самых ранних лет глубокая и нежная дружба, а мама — гневная, но постепенно потухающая — взяла билеты до Петрограда и вернулась туда вместе с обоими нами.

А теперь для меня ясно: не выдержи я тогда характера, уступи старшим — совершенно неизвестно, как бы пошла в дальнейшем моя жизнь.

Я ничего не знаю о дальнейшей судьбе семьи Тимофеевых — ни дяди Миши, ни тети Жени, ни Верочки — и имею основание думать, что всех их уже очень давно нет на свете.

Но я собрал тогда свою волю в комок и остался. А другие не сумели, не смогли или были еще слишком молоды, чтобы это у них получилось. Вот и у Левина в том числе. Если он, конечно, послушался своего дядю Гликмана.

Повторю еще раз: мы были разные и дороги перед нами открывались и закрывались разные. Но могу сказать точно: тот ОСУЗ, членом которого я был, может статься и должен был, по планам и замыслам кадетского клуба на Французской набережной, сделаться цельно-кадетской организацией, но он ею не стал.

А то, что об этом написано Д. Мейснером, в его субъективно-искренней и честной книжке, — и не правда и не ложь. Это — полуправда. А она порою бывает опаснее прямой лжи.

У САМОГО РУБИКОНА

Все мы плывем по реке истории, и нам не дано знать наперед, где и когда именно ее спокойные воды обрушатся водопадом или закипят бурунами. Тайна тайн — непредставимое будущее!

Когда будущее становится настоящим, а настоящее прошедшим, с ними происходят естественные, но до чего же странные изменения. Смотря из теперешнего настоящего в то настоящее, в котором мы жили когда-то, мы уже не можем относиться к нему так же, как относились

тогда. Так, поднимаясь над землей на самолете, мы вглядываемся в нее — и уже не узнаём ее. Сверху все выглядит иным. Был хаос улиц, городская пыль, пустыри, а отсюда все так чисто прибрано, так геометрически распланировано... Так что же истина — видимое снизу или созерцаемое сверху?

Так и со временем...

В 1917 году мне было всего семнадцать лет. Я жил тогда, и жил с открытыми глазами; но кто мне мог сказать, на что дóлжно было смотреть?

Когда я теперь вспоминаю тот день, я не сразу могу поверить себе, думая о нем как о чем-то совершенно обыденном. А ведь это-то так и было. Я встал утром на своей Зверинской и поехал на трамвае на Четырнадцатую линию, в гимназию Мая. И шли уроки — все пять уроков, потому что вольное отношение к занятиям, царившее прошлой весной, уже стало изглаживаться. Несомненно, была латынь, — программы еще не изменились. Был, может быть, даже закон божий: по учебнику отца Дмитрия Пáдалки. Протоиерей Дмитрий Константинович Падалка проходил с нами главу, которая именовалась: «Опровержение марксистского учения».

Все было, как всегда: магазины еще торговали; кое-где на улицах собирались летучие митинги — теперь уж куда менее людные, чем несколько месяцев назад...

Если бы теперешний я вернулся на машине времени туда, — о, конечно! — я бы повел себя совершенно иначе. Я бы заметил, запомнил, зарегистрировал в памяти, в записях малейшие черты того дня — Великого кануна. Я бы записал все, что говорил Володя Петровский, единственный из всего класса, который сразу же после Октября заявил себя убежденным большевиком, к общему недоумению и смущению. Наверно, и до 25-го в нем уже можно было заметить что-то. Но откуда я знал,

что этот самый Володя Петровский — он сам себе придумал смешную кличку-прозвище, и мы его охотно звали «Вавилычем», — что он много лет спустя станет вице-адмиралом, будет известным писателем Владимиром Кнехтом, пройдет большевиком всю свою жизнь?

Я иначе говорил бы со своим лучшим другом Павлом Кутлером, если бы мог догадаться, что этот сын директора департамента Государственного казначейства будет много лет спустя и заключенным на Беломорканале, и крупным экономистом на канале Москва—Волга, что он скончается от разрыва сердца прямо на работе, при инспекции какой-то среднеазиатской ГЭС; что его дядя, бывший кадетский министр, станет первым директором советского Госбанка и его подпись будет стоять на каждом нашем «червонце»...

Я не упустил бы заметить, с каких румбов дул утром того дня осенний балтийский ветер, какие фабричные трубы на Голодае еще дымили и из которых уже не шел дым. Я плюнул бы на латынь и закон божий и помчался бы на рабочие окраины, в деревню Мурзинку, где жил тогда и работал на «Обуховце» первый мой детский друг, внучатый племянник моей няни, Вася Петров, слесарь, и по дороге, на паровичке, вглядывался бы в лица рабочих и работниц, солдат и интеллигентов и запоминал бы, запоминал бы, запоминал...

Все было бы, если бы я обладал даром пророчества. Но я им не обладал. Я не был впередсмотрящим.

А все-таки — живой интерес к происходящему в мире кипел и клокотал во мне. Я выдумал себе роль главного наблюдающего. Я все время твердил гениальные тютчевские строки о счастье, дарованном богами тому, кто видит мир в его роковые минуты... Но ведь в голове у меня был великий сумбур: любовь к Родине и вера в высокое

назначение Антанты, напряженное любопытство к событиям внутри и вовне страны и ребяческое непонимание их смысла. И хотя моя юношеская самоуверенность позволяла мне считать, что я, именно я, призван стать в будущем летописцем «высоких зрелищ» моего времени, я представления не имел — что же из открывающегося моему взгляду заслуживает этого почетного определения и что есть только пустая шелуха, полева́ истории, которую завтра сдует и унесет ветер...

Впрочем — теперь смешно об этом говорить! — у меня была одна личная, острая, свирепая ненависть — Керенский. Все в этой фигуре вызывало у меня отвращение и брезгливость — самомнение, пресловутая рука на перевязи, «переутомленная рукопожатиями», истерическое — как перед модным тенором, с визгом, со слезами — обожание полуинтеллигентных дур...

Мы все в те дни читали уйму газет, от старой кадетской «Речи» до большевистской «Правды» — и левоэсеровское «Дело народа», и правоэсеровскую «Волю народа», и плехановское «Единство» — всё подряд. Мы чувствовали, что вот-вот вспыхнет острая схватка между Советами и Временным правительством.

Поскольку Временное возглавлял Керенский, я не мог «болеть» (а мы тогда не более чем «болели» за добрую половину митинговавших партий и направлений) за его «команду». Мне было живо интересно, как развернется их борьба, «в случае чего». Но я совершенно не знал, ни когда прозвучит сигнал, ни в чем, в точности, смысл и значение надвигавшихся событий, ни к чему они могут привести. Таких стычек — начиная с февраля, через июльские дни, до корниловщины — мы видели уже не одну. Мало-помалу вот такие, как я, интеллигентики-гимназисты утрачивали веру в них и интерес к ним. Оставалось спортивное, не без злорадства, любопытство:

кто, когда и как «накепает» этому выскочке Керенскому?

И все-таки, когда уроки кончились, я предложил своему однокласснику Жоржику Шонину, сыну врача (два года спустя он, санитар-красноармеец, погиб на юденичевском фронте), зайти к нам на Зверинскую, перекусить и отправиться шататься по городу, смотреть, что происходит...

> Есть бестолковица;
> Сон уж не тот.
> Что-то готовится,
> Кто-то идет...

Эти стихи Козьмы Пруткова ходили тогда из уст в уста. Они так подходили к событиям, что публика приписывала их кому-то из современных остряков — то ли великосветскому эпиграмматисту Мятлеву, то ли даже самому Владимиру Митрофановичу Пуришкевичу. Очень уж точно передавали они то смутное ощущение тревоги, которая с утра нависала над полупустыми улицами. Шли они к переполненным (даже на крышах невесть куда ехал неведомо чем озабоченный народ) трамваям. Шли к проносившимся грузовикам: на них в одну сторону мчались какие-то беспогонные солдаты, в другую (а то и вслед за теми) — господа юнкера. Шли к неулыбающимся лицам красногвардейских патрулей. К тем же юнкерам, вышедшим на Большую Спасскую улицу (значит — «павлоны») — в нарочито чеканном строю, с пением нарочито бодрого «Вещего Олега».

Голоса звучали, шаг был твердым, но на молодых лицах лежала глубокая растерянность, полуненависть, полустрах...

Шонину не хотелось идти «созерцать». Шонин уверял, что «ничего особенного не произойдет», «ну так,

очередная сумятица... Постреляют и разойдутся...». Может быть, и я склонился бы к этой мысли: приближался вечер, день был не то с изморозью, не то с туманом... Может быть, и на самом деле не стоит никуда идти из теплого, уютного дома? Может быть, и верно — ничего не случится?

Возможно, я бы и остался сидеть на своей Зверинской, 31, если бы не самый чуткий барометр уличных беспорядков того года — не «нянина Леля».

Мою няню звали Марией Тимофеевной Петровой; скончалась она летом 1916 года в возрасте 96 лет. Она никогда не рассказывала мне сказок. В молодости няня была красавицей. Говорили, что в девичестве ее писал Варнек. Няня была и осталась одним из самых дорогих для меня существ.

Дочку няни звали Лелей, Еленой Петровной Петровой. Много лет, до самого февраля семнадцатого года, она была рабочей на патронном заводе на Охте. Инвалид, с поврежденным в детстве позвоночником, полугорбатая, маленькая, с материнскими «турецкими» глазами, она давно должна была бы стать пенсионеркой, но в войну заводы дорожили и такими.

После Февраля она сразу же ушла с работы, и вот почему. В тот день, когда патронный забастовал, плюя на угрозы генерала Хабалова, «нянина Леля», которую нельзя было причислить к сознательной прослойке рабочих, но которая очень дорожила своей принадлежностью к питерскому пролетариату, решила все же, что ей теперь, по слабости телесной, ничего другого не остается, как отправиться домой, на «Серьговскую, тридцать четыре», где она десятки лет снимала «угол».

Не тут-то, однако, было. На заводском дворе уже начался митинг; толпа, охваченная бурным порывом, решила идти по Выборгской, снимать с работы другие заводы.

Елена Петрова, маленькая, слабая, беспомощная, была захвачена этим движением, оказалась в самом его центре, в самой гуще рабочих рядов, и, волею или неволею, отправилась «делать революцию».

Она ходила на «Русский Рено́», потом на «Русский дизель». «Все кричали «Долой царя!» — и я кричала». Она митинговала перед казармами Московского полка, и солдаты вышли на улицу... Она шла по Сампсониевскому под красными флагами, с пением революционных песен и у Сампсониевской церкви снимала с чердака «фараонов с пулеметами»... «Да ведь все пели «Вихри враждебные», ну и я пела... Как все, так и я!..» Это она «сняла с работы» рабочих и Лесснера и Кенига, что в Сахарном переулке, и потом, сверкая глазами, рассказывала, как все это выходило дружно, без сучка и задоринки, по-рабочему.

К вечеру того февральского дня она с другими добралась наконец до Литейного моста. Близко уже до «Серьговской, тридцать четыре»... Но за мостом очень страшно пылал Окружной суд, слышалось «самое пальбище»... Леля свернула вправо и прибыла к нам на Зверинскую.

И в последующие месяцы, чуть только в городе начинало пахнуть порохом, «Леля нянина», низенькая, переваливающаяся уточкой, в черной косынке летом, в пуховом платке ближе к осени, звонила в нашу квартиру... «Ну, принимайте гостью, — неизменно говорила она из последних сил, — попала на самое на пальбище!»

И впрямь, сутки, не позже двух суток спустя что-нибудь да начиналось... «Ну, Леля пришла, жди теперь заварухи», — говорили у нас.

Первое, что мы увидели в тот день, войдя в нашу прихожую, была «нянина Леля»: она сидела на диване

в темной нише, и видно было, что не собиралась оттуда уходить.

— Ну вот... — невольно сказал я Шонину, и сам засмеялся: — А ты говоришь: «Ничего не произойдет».

Анекдот? Ну, конечно, пожалуй что и анекдот. Но я никак не могу обойти в этом рассказе «нянину Лелю». Кто знает: если бы не ее появление, — возможно, я бы спокойно проспал у себя в постели ночь на 26 октября 1917 года.

Мы не спеша перешли через Малую Неву. Все было как всегда; только движения на улицах и на Биржевом мосту, может быть, немножко поменьше. Только встречные — одни иронически, другие сердито, третьи с пустым интересом — окидывали нас взглядами: у нас был комиссарский вид; на обоих довольно потертые кожаные куртки, на мне — коричневая, на Шонине — черная. На ногах шерстяные обмотки; на головах полувоенные защитные фуражечки: в гимназиях уже третью зиму преподавали вместо гимнастики «военный строй», и нас одевали этакими полуофицериками... Ну, может быть, чувствовалось еще одно: публика «почище» явно торопилась по домам, но, пожалуй, не от высокого предчувствия, а по горькому практическому опыту: мог остановиться транспорт, могли развести мосты.

Я не скажу, в котором часу нас задержали на самом горбу Дворцового моста. Мост в этот миг не был разведен, но его, как раз поперек разводной части, перегородил патруль — цепочка людей с винтовками. Это были не моряки, не красногвардейцы, а обычные ополченцы, «солдатики», с ногами, «кое да чим» заболтанными поверх грубых канадских ботинок; одни — в фуражках, другие — в вытертых папашках на головах. Если бы мы наткнулись на мосту на флотскую или красногвардейскую охрану, наш демарш тут же и кончился бы: ни те,

ни другие шутить не любили, и нас преспокойно послали бы в лучшем случае к папам-мамам.

Ближний ополченец поднял руку.

— Постой, ма́льцы! — по-домашнему окликнул нас он. — Бумаги есть? Пячать-подпись есть?

По нашему пониманию, печатей-подписей у нас не было. Но я машинально полез во внутренний карман за гимназическим билетом. А вместе с билетом вынулся довольно большой лист — четвертное свидетельство гимназии Мая: графы́ — так, графы́ — эдак; подпись «классный наставник В. Краснов» и большая круглая гимназическая печать под нею.

В мыслях у меня не было выдать эту грамоту за пропуск. Но подошедший к нам второй ополченец, помоложе, деликатно взял ее за уголок.

— Так... — пригляделся он к незнакомой бумаге. — Все понятно. Подпись-печать имеется. Ступайте, коли надо. Тольки—быстро: левым плечом вперед. Он—туды...

И мы пошли с Васильевского острова на Адмиралтейский.

Мы шагали по новенькому Дворцовому мосту. Он был сравнительно недавно открыт для движения; внизу, между Ростральных колонн, еще не было разобрано нагромождение гранитных глыб, оставшихся от стройки (некоторое время спустя они пошли на сооружение на Марсовом поле памятника погибшим за Революцию); на разводной части перила были временными, деревянными, выкрашенными в серо-голубую краску...

Справа на свинцовой, хотя и спокойной Неве темнел другой мост, Николаевский. Он не походил на нынешний мост Лейтенанта Шмидта: он разводился не посредине, а у правого, василеостровского берега этакой вилкой, в две стороны. У начала вилки, среди моста, выносилась маленькая часовенка...

За мостом, над Горным институтом, над корпусами Балтийского завода, спускалось в низкие тучи солнце; небольшие окна в облаках горели сумрачно, уже красным по сизому. И, перечеркивая эти куски заката, из-за моста поднимались одна за другой три высокие цилиндрические трубы, а еще выше труб — две тонкие мачты. Мы, гимназисты, знали уже, что это «Аврора» — один из ветеранов Балтийского флота постройки 1896 года, участница японской войны, Цусимы. Но зачем она тут — мы не знали.

Мы спускались с моста вниз.

Теперь мне представляется, что можно было заметить некий рубеж, известное разграничение сил там, внизу. На набережной у дворца, перед его Иорданским подъездом, двигались серые шинели. Серые шинели двигались и на другой набережной, между крыльями захаровского чуда — Адмиралтейства. Против руин недавно сгоревшего незлобинского театра. Против памятника Петру Первому. За садиком, теперь — густым и разросшимся, а в те дни — совсем еще молодым, низкорослым. Но это были совершенно разные «серые шинели»: там, у Зимнего, — прямые, строгого покроя, юнкерские, с квадратными плечами, с четкими хлястиками и модными разрезами внизу — благородные дворянские, офицерские, пусть по военному времени из «солдатского» сукна пошитые, шинели; тут, на Адмиралтейской стороне, — совсем другие, побывавшие под дождями и снегами, сто раз переходившие с одних плеч на другие, обвисшие, обмякшие, никогда не имевшие никакого «покроя». Просто солдатские... Кислая шерсть! Без какой бы то ни было бравости, но крепко заквашенная, кровью пропитанная, страстной ненавистью просмоленная кислая шерсть... И среди них тут — не на той стороне — черные осенние пальто, какие-то коротенькие гражданские камзольчики, кепки,

скороходовские ботинки и сапоги с голенищами... Сотни, тысячи... И у каждого — винтовка за плечами. Красногвардейцы!..

Теперь-то я знаю, что к этому времени силы Октября уже обложили резиденцию «временных» со всех сторон... Может быть, именно поэтому мне так четко представляется подобное расслоение? Уловили ли мы его тогда? Не ручаюсь...

Но помню, что невысокий человек в кепке и русских сапогах, хмуро взглянув на нас, издали махнул, не без некоторой нетерпеливости, рукой: «Куда, мол, прете, молокососы? Валите направо...»

Я помню, как и там, на Адмиралтейской набережной, накоплявшиеся все в большем множестве люди посматривали на нас не то с досадой, не то с вопросом — что за типы, чего им тут понадобилось? За нами с моста спускались еще какие-то женщины; кто-то вел ребенка; сердито понося всех и вся, прыгал на костыле инвалид с болтающимся на засаленной ленточке беленьким «Георгием»... Никто не остановил нас. Мы прошли до Замятина переулка и удалились от центра событий.

Перейдя сюда, на старый «Адмиралтейский остров», мы поглядели друг на друга вопросительно. Похоже, что мы недоучли серьезности событий. Похоже, что осторожнее было бы сидеть на Зверинской и не соваться в заваривающуюся кашу...

Шонин — он был почти на год моложе меня, и я уже почувствовал на своих плечах некую ответственность за него — проявил явную тенденцию дойти до Николаевского моста и убраться на свою Пятнадцатую линию.

Но впереди путь уже преграждала цепь черных бушлатов. И вид у них был не такой, чтобы возникло желание показывать и им мое четвертное свидетельство.

Мы свернули в Замятин, вышли на бульвар, потом на Мойку... Тут уже видно было явное центростремительное движение: целые красногвардейские отряды направлялись через Поцелуев, через Синий мост, по Морской, по Почтамтской в сторону Зимнего. Кое-где люди стояли, составив винтовки в козлы, сидели на тумбах, на подоконниках подвалов. Они покуривали, разговаривая, но умолкали при нашем приближении и провожали нас не слишком дружелюбными взглядами.

Мы дошли до Мариинской площади. «Астория» стояла на своем месте, клодтовский Николай непроницаемо взирал на свершающееся со своего коня... Но от Морской улицы нас сердито шугнули; тогда я не знал почему, а ведь там недавно была захвачена телефонная станция. Там протекали сложные и напряженные перипетии восстания. Вероятно, я бы мог увидеть красногвардейцев или солдат на карауле около дверей Министерства земледелия, у подъезда Государственного совета, в других местах. Каюсь: ничего этого я не заметил. Но я понял, что все сгущающееся вокруг меня нацелено на Зимний дворец, и мне, по семнадцатилетней наивной торопливости, загорелось непременно взглянуть: что делается там, у дворца?

Что мне — было тогда тревожно, жутковато? Ведь мы, как-никак, остались одни перед лицом чего-то огромного, нагромождавшегося кругом? Остались, как Николай Ростов на своей маломерной лошадке, застрявший в момент атаки между тяжелыми кавалерийскими полками сражавшихся.

Нет, мне не было ни тревожно, ни жутко: я не очень-то еще понимал опасность. Не было у меня и особой надобности вмешиваться в схватку: я не чувствовал себя принадлежащим ни к одной из вступающих в бой группировок. Так что же меня влекло все дальше и дальше?

Что заставляло делать попытки нырнуть как можно глубже в гущу событий?

Что я могу сказать в ответ? Должно быть, литература есть устремление прирожденное, и тот, кто родился писателем, несет в душе с самых ранних лет неистребимое «хочу видеть своими глазами», острейшее любопытство к жизни, к ее взрывам и поворотам, к ее высокому театру, особенно привлекательному в часы и дни, когда на сцене разыгрываются всечеловеческие драмы. Я хотел видеть все как можно ближе, как можно яснее. Это было сильнее осторожности, благоразумия. Сильнее меня.

Я до вечера таскал бедного Шонина за собой. Мы пересекли Невский: свернуть налево, к Адмиралтейству, нам не позволили.

Кругом по Конюшенной мы добрались до Марсова поля. И тут, на Мойке, на Миллионной, стояли крепкие заставы; какой там Зимний дворец! «Катитесь-ка, школа, отсюда, пока есть куда...»

С Троицкого моста шли какие-то отряды. На ставшем уже совершенно темном Марсовом поле чувствовалось во мраке множество людей. Мы постояли: что же делать-то? Домой не попасть...

Очень мне жалко теперь, что я не пробрался тогда все же на Дворцовую площадь, — сколько я упустил!

Мы сделали еще одну попытку вернуться на Васильевский через Николаевский мост: я понимал, что моему спутнику уже не хочется никаких событий, хочется домой. Не вышло: какие-то, еле видимые в ночной измороси, встречные сообщили нам, что мост развели и матросы к нему никого не пускают. Правда это была или нет, не знаю, но мы остановились в полной нерешительности на углу Мойки и Мариинской площади.

Там в то время у самой решетки канала стояло невысокое каменное сооруженьице, то ли электротранс-

форматор, то ли башенка для реклам: оштукатуренный куб с пирамидальной крышкой и с четырьмя светящимися часами на каждом фронтоне под ней.

Часы работали и были освещены. Мы совещались, а их стрелки двигались. Девять часов восемь минут... Девять часов десять минут... Девять двенадцать...

И тут со стороны Зимнего дворца под низко нависшими тучами раскатилась пулеметная очередь... Мы знали в те годы все голоса пулеметов: «максим»!

Тотчас раздалось и более басистое, менее дробное татаканье другого пулемета — «шварц-лóзе». «Шварц-лóзе» были в те дни учебными пулеметами в юнкерских училищах. А потом над крышами пробежала, как горох, винтовочная стрельба, и вдруг все смолкло.

Шонин не выдержал: «Нет, ты как хочешь, а у меня... У меня тут одни знакомые на Сенной... Ты меня не брани, Успенский...»

Чего было бранить? Я, может быть, и сам бы пошел к знакомым, да они были у меня слишком далеко: на Царскосельском, на Восьмой Рождественской...

И я остался один. И я пошел — не все ли равно куда? — все-таки посмотреть: действительно ли на Николаевский мост не пускают? Пошел в глухой уже темноте — не уверен, горели ли в ту ночь уличные фонари?

И вот, когда я проходил по Конногвардейскому мимо дома Родоканаки, на садовой решетке которого архитектор вздумал утвердить четыре негритянские головы в белых чалмах, я вдруг содрогнулся, задохнувшись. Показалось, что мне — не то в горло, не то в пищевод — со страшной силой воткнули железный лом. В ушах ухнуло, взвизгнуло, лопнуло. Я обомлел и оглох. Это выстрелила из шестидюймового орудия стоявшая в восьмистах метрах от меня за домами «Аврора». А когда человек оказывается хоть и не в плоскости самого вы-

стрела, но где-то близко от нее, да когда еще калибр орудия велик, впечатление получается чрезвычайное.

Я не ручаюсь — правильно ли шли часы на той колонке на набережной Мойки. Я не знаю, много ли времени прошло с минуты, когда я засек по ним час до залпа «Авроры». Но для меня, для моей памяти, эти две временные отметки оказались с того мига связанными навек...

Я вернулся домой только уже на свету, 26 октября, — вернулся в новом мире, хотя и не представлял себе масштабов того, что произошло.

Было бы глубоко неправильно, если бы я судорожно пытался как-то восстановить теперь остальные часы ночи, прояснить маршрут моих блужданий по тревожному, но еще не могущему успокоиться после пароксизма борьбы и победы городу. Знаю, что возвращался я на свою Зверинскую кружным путем: не то через Троицкий, а может быть даже и через Литейный мост.

Я теперь знаю, что кроме «Авроры» в ту ночь стреляла по дворцу и Петропавловская крепость. Но я совершенно не заметил этих выстрелов.

Люди охмелевшие нередко вспоминают случившееся с ними только полосами, участками: от и до — помнит ясно, а потом — словно непроницаемая пелена, как небытие. Возможно, даже пассивное участие в событиях такого напряжения и такого масштаба, даже простое присутствие при них, создает в сознании невольного свидетеля нечто вроде такого же прерывистого выключения сознания. А раз это так, я не хочу вовлекать читателей в сложный процесс «довспоминания»: я и сам с трудом могу разобраться в архиве памяти.

Отоспавшись и проснувшись, я решил теперь-то уж обязательно проехать в деревню Мурзинку, к Васе Петрову (я уже о нем говорил). Вася был на моем горизонте

единственным, настоящим, стопроцентным пролетарием, рабочим с «Обуховца», да еще года на три старше меня. Его даже в армию не брали по броне: завод был военизированный, сталелитейный. Он мне в тот миг был нужнее всего мира. Он мог все разъяснить.

Я вышел на Зверинскую, на крепенький морозец, под колючий остренький снежок, сухой, как мелкая манная крупа. На первом же доме я увидел четырехугольник бумаги — воззвание или листовку. Несколько человек молча читали. Я подошел:

«К гражданам России!»

Обращение сообщало о низложении Временного правительства, о том, что власть в городе перешла в руки Петроградского Совета.

Я не могу сказать, чтобы у меня в тот миг возникло какое-либо определенное отношение к случившемуся. Со злорадством подумал я только о Керенском, — уже рассказывали, как он в бабьем платье бежал из Петрограда.

Рядом со мной стоял невысокий господин. Чиновник, может быть — учитель казенной гимназии. Он покосился на меня.

— Так-то, молодой человек! — сказал он весьма неопределенно.

— Вот так-то! — ответил и я ему в тон.

А что я мог сказать другое? Я же — опять-таки — ничего еще не знал. Я не был пророком. Я не был большевиком. Я не был и Джоном Ридом, чтобы осмыслить это все. Я был еще мальчишкой.

Но кое-что я уже н а ч и н а л понимать.

Час спустя я ехал на паровичке по Шлиссельбургскому проспекту. Я был тепло одет и взобрался на империал, на крышу. Не могу сказать где, остановка

паровой конки пришлась прямо против окраинного жалкого кинематографа. У входа в кинематограф, прислоненный к стене, стоял грубо нарисованный зазывной плакат; он извещал о том, какие в этом кинотеатре приготовлены для зрителей в перерывах «аттракционы». На плакате были изображены странные существа — не то зверушки, не то карлики, — а надпись гласила:

Последние дни!!!
Всемирно известный клоун-престидижитатор *
Анатолий АдаДУРОВ
с его антропологической группой собачонок

Я некоторое время вчитывался в эту нелепицу, и вдруг что-то точно защелкнулось у меня в мозгу. Что-то сработало в сознании или в подсознании... За этим дурацким, аляповатым, — не то что лубочным, а просто мерзким — плакатом, за этим «АдаДУРОВ», с претензией на известную цирковую династию Дуровых, за этими «антропологическими» (эва, какую образованность показал!) собачонками, за сопливым мальчишкой в разлатых валенках, пялившим глаза на такую красоту, за всем обликом этого «храма» рекламы и искусства я, как при вспышке магния, увидел вчерашний «антропологический» мир. Тот самый, в котором мы все до этого дня барахтались. С такими вот кинематографами, с борделями, с денежными мешками, с провалившимися крышами окраин, с «Ляли-няниным» бедным «углом» на аристократической Сергиевской, с наглыми люстрами ресторанов «Донон» и «Медведь», с «дневниками происшествий», бесстыдно рекламирующими и выстрелы, и уксусную эссенцию ночных самоубийств, с войной до победы...

* Клоун, показывающий фокусы быстрыми, ловкими движениями, незаметными для зрителя.

И вдруг холодом по душе, библейским «менэ-текел-фарес» * резнул меня другой, тайный, еще невнятный смысл тех слов, на которые я глядел:

Последние дни!!!

А что, если и на самом деле — последние?! Если кончились навсегда времена «антропологических собачонок»? Если завтра настанет другое время — В р е м я Л ю д е й?

Вероятно, это прозвучит странно, но мне все-таки кажется, что, если из тогдашнего нелепого, по-настоящему ничего еще не понимавшего гимназиста сложился в конце концов зрелый человек и даже советский литератор, — нельзя исключить из ряда причин этой метаморфозы и ададуровский плакат.

Само собой, не в нем дело. Дело в том мгновении, когда я его увидел. Дело во всем предыдущем и во всем, что за этим последовало. Но скажу прямо: он щелкнул в надлежащий миг затвором моего внутреннего фотоаппарата, и снимок, получившийся от этого щелчка, остался жить навсегда.

...А Васи Петрова я так и не застал в Мурзинке. За месяц до этого Вася перевелся на какой-то завод в Таганроге. Он исчез для меня навсегда, и я никогда не перестану горевать об этом.

---

* Таинственная огненная надпись, по библейской легенде испугавшая царя Навуходоносора; роковое предзнаменование.

ЛИРИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО



ПЕРВЫЕ ШАГИ

Если бы от меня потребовали подобрать к этой главе моих «Записок» надлежащий эпиграф, я бы, наверное, предложил вместо него напечатать под заголовком очень известную в начале века репродукцию скульптуры Федора Каменского «Первый шаг». Получилось бы трогательно и — совершенно непохоже. Но к названию подошло бы, как по мерке.

Когда молодой человек рвется в литературу, он не стремится при этом поступать оригинально, не так, как другие. Где ему думать об этом? Не все ли равно как? Как все, так как все, лишь бы добиться!

Но лет пятьдесят спустя после своего «первого шага», припоминая, как все это случилось, он с удивлением обнаруживает: скажи на милость! Вышло-то — и как у всех, и в то же время — по-своему.

Так бывает обычно и с первой любовью: ничего особенного, а все — свое!

Вот только не очень просто установить: а что считать этим «первым шагом»? Особенно у меня: я отнюдь не «спикировал» в литературу соколом с неба. Скорее, я осторожненько вполз в нее, как уж. Что было, то было — ничего не попишешь!

Но «первые шаги», конечно, были и у меня. И «самый первый» получился, я бы сказал:

Не с той ноги

К 1916 году (к моим шестнадцати годам) я здорово насобачился писать стихи. Прямой угрозы, что из меня получится ведущий поэт эпохи, правда, не возникало, но стихи были не хуже многих других.

Не в этом дело, что мне они нравились до чрезвычайности. Мои сверстники гимназисты одобряли их безусловно. Они их, как тогда выражались, «гутировали» *.

А ведь тогдашний гимназист в этом смысле был отнюдь не лыком шит. Винавер у нас изучил все работы ОПОЯЗа. Боря Курдиновский от доски до доски знал теоретические труды Андрея Белого. Какие были у меня основания не верить их оценкам? Все мы тогда читали и «Зарево Зорь» и «Колчан». На столах у нас лежали тут «Весы», там — «Аполлон»... И «Садок Судей» был для нас не в диковинку.

Этого мало: в журналах тех лет печатали далеко не одних только Александров Блоков. Черт знает, кого и чего не печатали тогда!

Трезво оценив положение, я отстукал на пишущей машинке с десяток стихотворений. Там, в этих моих стихах, были и есенинские епитрахили, и блоковские Аэлисы вперемежку с болотными попиками, и бунинский

* Гутировать — находить вкус, нравиться (*франц.* gouter).

скрип дворянских половиц, и гумилевские негусы и жирафы. Все было намешано там, но звучало все это вполне прилично. Встал вопрос: куда же их послать?

У нас дома «получались» тогда три журнала: «Русское богатство», «Современный мир», «Вестник Европы»... Каюсь, в шестнадцать лет я еще не успел сообразить, что «Богатство» — это народники, что от «Мира» попахивает легальным марксизмом, а «Вестник Европы» — благообразный и благоутробный профессор-кадет; все со своими принципами и программами.

Я видел их иначе. Для меня «Богатство» и «Мир» представлялись тонковатыми для «толстых» журналов. Издавались они на сомнительного качества бумаге, имели скучные — желтую и серо-синюю — обложки. «Вестник» же Европы выходил ежемесячными мощными кирпичами, кирпичного же цвета. На его обложках помещался старомодный, времен Стасюлевича — редактора журнала с 1866 года — замысловатый рисунок. По толщине «Вестник» мог легко перекрыть обоих своих соперников, вместе взятых...

Вот в таком журнале, на мой тогдашний взгляд, и было бы лестно напечататься. Задумано — сделано: туда я и послал мои отобранные стихи.

Впрочем, «послал» — не совсем точно. Я заклеил их в хорошую, вощеную оберточную бумагу пристойного коричневого цвета, обвязал прекрасным тонким шпагатом и сам отнес на Моховую, 37, рядом с Тенишевским училищем, в редакцию.

В редакции за столом сидела эффектно-седая строгая дама в пенсне. Голосом автомата, без всякого чувства, она констатировала: «Стихи. Ответ получите по почте. Всего доброго».

Я постарался поклониться с холодным равнодушием и ушел оттуда, как знаменитая ницшеанская овца в

«Заратустре» — «угловато и спесиво». Впрочем, особого волнения я и не испытал.

Месяц или два длилось гробовое молчание. А потом...

В первых числах апреля я получил письмо: два небольшого формата листика почтовой бумаги с редакционным печатным штампом наверху.

Редактор «Вестника» Константин Константинович Арсеньев, действительный статский советник, академик, крупнейший юрист, человек, «родившийся за три дня до кончины А. С. Пушкина», размашистым почерком октоженера * написал мне ответ собственной рукой.

Передать невозможно, как он честил меня в этом своем ответе! Как мог я — юноша, по-видимому, толковый и одаренный — именно теперь, когда мир переживает такие годины, когда над ним грохочут раскаты роковых громов, когда ежедневно и ежечасно гибнут тысячи и тысячи людей, рушатся государства, идет величайшая из войн, — как мог я в это время беззаботно «ставить рифмы парами» (увы, это была точная цитата!), сочинять что-то про облачка и бабочек, про ризы и омофоры? «Одумайтесь, молодой человек, пока не очерствела окончательно живая душа ваша! Сейте разумное, доброе, вечное, а не дудите в лирические дудочки, даже если их писк вам приятен...»

Дальше доставалось под горячую руку и Гавриле Державину за его беспринципный «сладкий лимонад», и Валерию Брюсову все за те же «бледные ноги», и Северянину («всяким Игорям Северяниным»), но и мне по первое число.

Такой погром меня не столько огорчил, сколько удивил. Ни Винавер, ни Павел Кутлер, ни Дима Коломийцов никогда не говорили мне ничего подобного, а уж

---

* Октоженер — восьмидесятилетний старец (*франц.*).

они-то понимали толк в поэзии... Впав скорее в недоумение, нежели в огорчение, я приумолк.

Но неделю спустя грянуло «второе письмо».

«Вестником Европы» в те годы заправлял дуумвират. Дуумвиром по общественному лицу журнала был «родившийся до дуэли и смерти Пушкина» Арсеньев. Делами художественной литературы ведал Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский, тоже ДСС — действительный статский, тоже академик. И — профессор Высших женских курсов; и профессор Психоневрологического института; и видный публицист и крупнейший лингвист и прочая и прочая и прочая. Человек, естественно, занятый до предела.

У Куликовского был мелкий сухой почерк ученого: писал он как бы пером без расщепа — как булавкой царапал. Его письмо заняло четыре четвертушки тонкой и жесткой, как пергамент, бумаги. На этих четырех страницах старший говорил с младшим, с сосунком, академик с гимназистом так, как если бы они были старыми друзьями и сверстниками. Как равный с равным.

Нет, он не распинал меня за недостаточную гражданственность моих стихов, филолог. Видимо, ему и такой род поэзии представлялся естественно-сущим. Он прямо признавал, что в своем журнале ему случается печатать и более слабые стихотворения. «Напечатать присланное Вами? Почему бы и нет? Если Вам этого так хочется, я напечатаю. Но...»

За этим «но» и скрывалось главное.

Строчка за строчкой, мягко, но с неопровержимой логикой, старший доказывал младшему, что все, им написанное и присланное, не пережито, не продумано, не прочувствовано. Что это все — не он. Что в своем искусном рифмачестве гимназист Успенский живет в кредит, на

чужой счет. Что его золото — сусальное золото; что его рыжие девы — не его, а гамсуновские. Что коленопреклоненные схимницы-ели, «подъявшие в небо кресты»,— клюевские и есенинские ели. И его умиления — заемные умиления. И его бурные страсти взяты напрокат в литературной ссудной кассе.

«Прежде чем взывать: «О, любовь!» — недостаточно начитаться «Пана» и «Виктории»; не мешало бы полюбить самому. Прежде чем вакхически славить жизнь, хорошо бы самому прожить хоть некоторую часть этой жизни, на вкус и на ощупь отведать, что такое — она. Многие большие литераторы с чувством стыда вспоминали потом о своем первопечатании только потому, что оно было преждевременным. Так юноши, слишком рано столкнувшиеся с полом, содрогаются, припоминая свои первые любовные опыты, ибо они поторопились, и начало оказалось уродливым, не настоящим... Не повторяйте же чужих ошибок!

Работайте. Пишите как можно больше, но — только для себя. А главное — живите! Жадно познавайте мир, впитывайте и знания и чувства. Способностями бог вас не обидел; вы, вероятно, добьетесь своего. А напряженное, мучительное, завистливое стремление во что бы то ни стало стать «напечатанным» — детская болезнь. Рано или поздно вы сами посмеетесь над нею...»

Мне не сделалось стыдно, когда я читал это. Я не испытал обиды, дойдя до конца письма. Невозможно обидеться, если большой человек прямыми, весомыми словами, и в то же время — с научной точностью, доказывает тебе, как теорему Пифагора, тебя самого.

На долгое десятилетие мою «волю к печатанью» (тогда, с легкой руки Ф. Ницше, все говорили о всевозможных «волях») как рукой сняло. На десятилетие Революции.

Девятый вал истории носил и швырял нас всех — меня в том числе — из конца в конец встававшего дыбом мира... А я — писал, писал, писал... Я писал и в великолуцкой деревне, и на белопольском фронте под Брестом, Варшавой, Мозырем... Но я и думать забыл о «напечатании».

Вполне возможно, что это в дальнейшем замедлило мое вхождение в литературу: многие мои сверстники успели на несколько голов обойти меня. Но и по сей день я благодарен моим первым двум благородным «зоилам». Они сотворили благо: ампутировали от меня вундеркинда. Заставили дожидаться, пока я стану человеком.

Я долго хранил оба эти письма. Я всюду таскал их с собой в заветном бумажничке. И дотаскал до дня 19 августа 1920 года, до моста через реку Западный Буг, между деревнями Дрогичин-Польский и Дрогичин-Русский.

Мы, отбиваясь, уходили от наседавших «позна́нчиков». Последним, нам пришлось переправляться через широкую реку вплавь. На восточном берегу я вдруг ахнул: «А бумажник-то мой!»

В бумажничке слипся влажный комок из бумажек, окрашенных ализарином чернил...

— Э, Лева, давай наплевай на эта кашка! — сказали мне два латыша-помнаштадива, Постнек и Лимониус. — Военный человек памьять обязан головка держать!..

Мы сушились у костра. Где-то неподалеку стучали выстрелы. Каждую минуту могла налететь на нас «татарская я́зда» — польская легкая кавалерия... Я поколебался минуту — и бросил липкий комок в костер...

Но теперь мне кажется: узнай они о том, как и где погибли их письма, оба мои академика были бы внутренне удовлетворены. Их подопечный теперь не рвался

в литературу. Их подопечный хотел другого: прорваться к Барановичам, на соединение со своей Десятой стрелковой. И у него теперь было уже кое-что за душой, по части знания жизни. Ему было о чем рассказать людям. Но — не сейчас, потом, потом...

Пошел иноходью

Если это счесть моим «первым шагом», то начиная со второго я явно «пошел иноходью». Это — в том смысле, что первые опубликованные мною строки оказались не стихами, не художественной прозой, а научной статьей. Работой по языковедению.

Может быть, это и закономерно: большинству читателей я сегодня известен как автор «Слова о словах».

Я учился на ВГКИ при ГИИИ. Это несколько «гуингнмовское» название принадлежало Высшим государственным курсам искусствоведения при Государственном институте истории искусств. Придет время — об этом удивительном учебном заведении напишут увлекательные книги.

Я учился там на СЛОВО́, оно же ЛИТО́ — на словесном отделении. И отделение было замечательное.

В раннем детстве однажды я попал на детский утренник в Александринском театре. Для школьников ставили «Ревизора».

Осипом в этом спектакле был Варламов, Городничим — Давыдов. Хлестакова играл Горин-Горяйнов, унтер-офицерскую вдову — Стрельская, Анну Андреевну — Савина, Землянику — Кондрат Яковлев. Рядовой такой был, ученический утренник; но играли на нем все, как на премьере...

Так и у нас на СЛОВО. Один курс читал Б. Н. Эйхенбаум, другой — Ю. Н. Тынянов. Курс по теории стиха вел Б. В. Томашевский. На «теорию прозы» наезжал из Москвы Виктор Шкловский. Семинар при Тынянове вел В. А. Каверин. Кого из них приравнять к Варламову, кого к Давыдову — дело вкуса читателей. В положении Савиной и Стрельской состояли, вероятно, В. П. Адрианова-Перетц и Астахова.

Несмотря на это, я с первого же курса уклонился от литературоведческих проблем и интересов в сторону чистой лингвистики. С ней дело обстояло не хуже. Курс русского синтаксиса и ряд «спецотделов» вел Лев Владимирович Щерба. Рядом с ним, в соседних аудиториях, читали Виктор Виноградов, Борис Ларин. В поддужных за ними выступали С. И. Ожегов и Фалев. В так называемом КИХРе — кабинете по изучению художественной речи — безраздельно царил С. И. Бернштейн, в СБИКе — словарно-библиографической комиссии — Сергей Дмитриевич Балухатый. Все, что там делалось, делалось на большой высоте, равняясь по любому мировому стандарту.

Я скоро накрепко приварился к необыкновенному ученому и удивительному человеку Борису Александровичу Ларину. Ларин вел у нас интереснейший семинар по диалектам города. Я горжусь, что уже в 1925 или 1926 годах ядовитые литературщики включили в свой «формальный гимн» стишки:

Среди Успенских популярен,
Дев лингвистических кумир,
Смиренный грешник Боря Ларин
Под словарем вкушает мир...

В стишках этих была только одна существенная неточность: ни тогда, ни никогда впредь Б. А. Ларин

не «вкушал» — органически был неспособен «вкушать» — научный мир. Он и кипел и бурлил на протяжении всей своей жизни, и работать у него в «словаре» было так же легко и безопасно, как на фронте.

Он один загружал до отказа всех своих учеников. Мне он предложил тему «Язык революции». Об этом к тем дням успели уже написать и А. Мазон в Париже, и Р. Якобсон в Праге. Но оба работали за рубежом. Стоило проверить их выводы отсюда, из самого́ этого «революционного языка». Изнутри.

Случилось так, что в то же время возникло намерение выпустить при курсах небольшой сборничек студенческих работ: и по СЛОВО, и по МУЗО, и по ИЗО, и по ТЭО (КИНО тогда у нас еще не было).

«Изошники» как-то промолчали. Остальные сдали свои статьи. В сборничке «Пять искусств» оказались напечатанными девять студенческих статеек, среди них мой «Язык революции».

Анатоль Франс говорил где-то: «Все в мире приедается, даже чтение собственных корректур!» Если — «даже», значит, сколько же восхитительно это занятие, пока оно не приелось, а уж тем более — испытанное впервые. Исключения, конечно, возможны, но в основном только снобы или вечные старички не помнят острого наслаждения, испытанного ими тогда, «в первый раз», или отрицают это. Однако что до меня, то наслаждение это было сильно подпорчено.

Технической стороной нашего издания заправлял один из студентов, некто Либавский (я не называю его настоящей фамилии, ибо не знаю, как он отнесся бы к такому рассказу о его юных днях). Это был вполне достойный товарищ, уже работавший как журналист, и мастак по организационным делам. Мы не имели к нему никаких претензий, и все он выполнил «на большой».

В некий вожделенный день и час Либавский принес под мышкой в канцелярию курсов аккуратный тючок. О аллах! То были вожделенные «авторские экземпляры»! Как комнатные собачонки при виде кусков сахара, мы все, подняв носы, застыли не отводя глаз от лакомства.

Шалун Либавский потешился над нами, как хотел. Он был громкоголос, крупен телом, жизнерадостен и склонен к различным шуткам и выходкам. Маленького «театрала» Ипатова он заставил долго плясать, прежде чем выдал ему тощенькую брошюрку в сине-белом, несколько матрасного расцвета, переплете. Глубокомысленного музыковеда Будяковского чуть не довел до разрыва сердца:

— Понимаете, в последний миг ваш этюд о Вагнере сняли... Говорят: «Что? Вагнер? Не созвучно, знаете...»

Я работал на курсах (одновременно учась) секретарем учебной части и был лицом почтенным. Мой экземпляр Либавский отдал было мне без фокусов. Но, то ли вдруг решив, что не такая уж я персона, то ли приятно возбужденный той алчностью, с какой я впился в вожделенные страницы своего творения, он вдруг кинулся и выхватил у меня книжку:

— А вы, Успенский, подождите... Я вам — завтра принесу... У меня не хватает экземпляра для Гуковского...

Я затрудняюсь подобрать сравнение для того, что испытал. Что-то вроде чувств, которые охватили бы Ромео, если бы у него из объятий вырвали томную Джульетту. Или — чувство тигра, у которого железной кочергой хотят извлечь из пасти кусок парного мяса. Но кажется, и это все — слабо.

Известно, что мужчины легко впадают в мальчишество: это всегда умиляло Киплинга, но палка эта —

о двух концах. Я ухватил голубую брошюрку за один конец, Либавский — за другой.

Я сжал челюсти, он — закусил губу. Посреди канцелярии мы перетягивались на «Пяти искусствах», как на канате, постепенно зверея. Либавский был крупен и тяжел, я — еще крупнее и тяжелее. Видя, что я одолеваю, он как-то выкрутился и внезапно укусил меня за руку. За тыльную сторону кисти. Укусил основательно, до крови... И, сам испугавшись такого своего неистовства, тут же, выпустив книжку, исчез...

С полчаса я рвал и метал. Я требовал минимум полфунта мяса и много литров крови за бесчестие. Потом... мне стало смешно. «Ну, ладно! Я его иначе допеку!»

Девушки из бухгалтерии искусно перевязали мои раны. Неся свои бинты перед собою как знамя, я отправился в травматологию на проспект Майорова.

— Меня только что укусил человек. Я подозреваю, что у него — водобоязнь. Вызовите его и меня и подвергните обоих предохранительным прививкам!

Травматологи долго ахали и недоумевали, но «обоих» — подействовало («Придется так и поступить... Раз уж так...»). Неделю спустя Либавский взмолился о пощаде. Повестки приходили за повестками. Угрожал привод с милицией. Стало ясно, что его — вот-вот и на самом деле «привьют». Он запросил пощады, и я отказался от своих мстительных замыслов.

Мне не пришло бы в голову вспомнить эту историю, если бы у нее не оказалось неожиданного «пуанта» — завершения.

В 1944 году я, капитан флота, сотрудник морского журнала «Краснофлотец», отправился с «журнальными» девушками на концерт Эмиля Гилельса в Московскую филармонию. Отдавая пальто в гардероб, я вдруг почувствовал, что кто-то крепко стиснул меня в объятиях...

Извернувшись — я не большой любитель таких телячьих нежностей, — я увидел другого капитана, армейского, смотревшего на меня с опаской: не обознался ли?

— Успенский? — неуверенно спросил он. — А если Успенский, так как же вы меня не узнаете? Как можно позабыть единственного в мире человека, который укусил вас за руку?!

Мои дамы взвизгнули, а я — «Либавский!» — с восторгом бросился пожимать этому каннибалу руку. Ну еще бы: прошло двадцать лет, война уже почти кончена... Москва... Гилельс... И вдруг — встретились!.. Приятно же помянуть старое!

...Конечно: статья о русском языке — не изящная литература, но ведь я же, повторяю, — автор-филолог. Поэтому я и позволил себе это странное происшествие счесть своим «вторым первым шагом».

Шаг третий, спаренный

1925 год. Я — первокурсник этих самых ВГКИ при ГИИИ, студент. Студент тогдашний, не теперешний. Никаких стипендий; напротив — «плата за право учения». За посещаемостью лекций следить отнюдь не приходилось: не успевшие уплатить, лазали в аудитории со двора, по дворам и через окна. Девиц с большим удовольствием подавали туда же на руках. А у главных дверей монферрановского дома нелицеприятно следил за «непроходом» злонамеренных всем известный Иннокентий, весьма декоративный бывший бранд-майор, ныне — вахтер института.

Обнаружишь в кармане,
коль станешь мудрей,
Часы прилива,
недели отлива...

Иннокентий же
— вечно! —
торчит у дверей...
Несправедливо!

Так было напечатано в стенгазете курсов.

Мы, студенты, напоминали тогда пушкинских воронов: «Ворон, где б нам пообедать, как бы нам о том проведать?» Шел нэп. Мы были бедны, как церковные крысы. И лишей, чем нам, приходилось, пожалуй, только просто безработным.

Лев Александрович Рубинов, мой друг с семнадцатого года, был в те дни именно таким безработным. Лева Рубинов — необычный человек, как ранее уже говорилось. Жизнь его была подобна температурному графику лихорадочного больного. Он успел побывать уже и следователем ЧК, и прокурором, и одним из самых популярных в двадцатые годы петроградских ЧКЗ * — адвокатов; в начале Революции он возглавлял в Петрограде одно из значительных наркомпросовских учреждений того времени — я уже не могу сказать, как оно называлось — то ли Колдуч, то ли Комдуч. В тридцатых годах ему случалось работать экономистом и юрисконсультом на многих ленинградских предприятиях. Но как-то так получалось, что между двумя «высокими» должностями у него всегда пролегали периоды полной безработицы, случалось, довольно долгие. Я о нем уже рассказывал в главе об ОСУЗе.

Так вот. Однажды, осенью 1925 года, безработный Лева Рубинов позвонил по телефону студенту Леве Успенскому.

---

* Привычное в 1920-х годах сокращение. Полностью: член коллегии защитников.

— Лева? — как всегда, не без некоторой иронической таинственности спросил он. — У тебя нет намерения разбогатеть? Есть вполне деловое предложение. Давай напишем детективный роман...

Двадцать пять лет... Море по колено! Роман так роман, поэма так поэма, какая разница?

— Давай, — сказал я. — Какая тема?

— Первая глава уже есть. Помнишь, я жил три года в Баку? Если не возражаешь, дёрнем на бакинском материале, а?

— На бакинском? Ну что ж, давай... Но тема, сюжет?

— Скажу коротко... «Лондон, туман, огни...» В Лондоне (а хочешь — в Париже!) собрались, так сказать, акулы и гиены международного империализма. Они засылают группу диверсантов в Советский Союз. Цель — уничтожить три ведущие области нашей экономики: нефть, транспорт, уголь. Эн-Тэ-У... Каково заглавие, а, Лева? «Энтэу»!!

— Так... Ну что же (в 1925 году в такой тематической заявке не чувствовалось еще пародийности) — ничего! А что дальше?

— «Дальше, дальше»!—справедливо возмутился Лева Рубинов. — Дальше, брат, давай уж вместе выдумывать!

...С той далекой поры я написал не один десяток книг, повестей, романов и рассказов. Случалось, они писались легче, случалось — труднее. Но всегда этот процесс меня устраивал, нравился мне, радовал меня. И все-таки за всю свою долгую литературную жизнь я ни разу не испытал такого удовольствия, такого, почти физического, наслаждения, как в те дни, когда мы вдвоем с Левой Рубиновым писали свой «детективный роман».

1925 год — не 1825-й: на гусином пере далеко не уедешь. Мы пошли на толчок и купили индустриальный

феномен — машинку «Смис-Премьер», годом старше меня, 1899 года рождения. Машинка Ильфа и Петрова, как известно, обладала «турецким акцентом». Наша была подобна дореволюционному тоняге-гвардейцу *: она «не выговаривала ни одной буквы, кроме ижицы; ижицу же выговаривала невнятно». Но нам это нисколько не мешало.

По ночам («дневи довлеет злоба его»!), то у меня на квартире, то у Левы, уложив жен спать, мы приступали.

Один, взъерошив волосы, как тигр в клетке, бегал по комнате и «творил». Другой — машинистка-блондинка — «перстами робкой ученицы» воплощал сотворенное в малоразборчивые строки.

С тех пор я понял: сочинять много легче, нежели печатать, — машинистка просила подмены куда чаще, чем автор. Впрочем, у нее была двойная роль: свеже создаваемый текст, еще не попав на бумагу, уже редактировался. Вспыхивали несогласия, споры, дискуссии, только что не потасовки. Между мозгом автора и клавиатурой машинки каждое слово взвешивалось, критиковалось, браковалось, заменялось другим.

Из наших предшественников — писателей мы если и могли кому позавидовать, то разве лишь Ретиф де ла Бретонну: он, как известно, имел типографию и «сочинял прямо на верстатку», сразу в набор. Но ведь он был один, бедняга! А мы... Если бы господь-бог попросил у меня консультации, как ему лучше устроить рай, я посоветовал бы ему разбить праведников на пары и заставить их писать детективные романы. Это — истинное, елисейское блаженство!

Еще бы: никаких границ фантазии! Любая выдумка радостно приветствуется. Плевать на все мнения, кроме

---

* «Тоняга» (от слова «тон») соответствует современному словечку «стиляга».

наших двух. Всякую придуманную малость можно поймать на лету и мять, тискать, шабрить, фуговать, обкатывать — «покéда вопрéт», как говорят мои родные скобари.

Сами себе мы ограничения ставили. Мы выдумали, что наш роман будут печатать выпусками. (Кто «будет»? Где «будет»? Неведомо, но — выпусками!) Выпуски мы считали разумным прерывать на полуслове:

«Он шагнул в чернильный мрак, и...»

И — конец выпуска; и, дорогой читатель, — становись в очередь за следующим!

Ни разу нас не затруднило представить себе, что было там, «во мраке чернильной ночи»: там всегда обнаруживалось нечто немыслимое. Мы обрушили из космоса на окрестности Баку радиоактивный метеорит. Мы заставили «банду некоего Брегадзе» охотиться за ним. Мы заперли весьма положительную сестру этого негодяя в несгораемый шкаф, а выручить ее оттуда поручили собаке.

То была неслыханная собака: дог, зашитый в шкуру сенбернара, чтобы между этими двумя шкурами можно было переправлять за границу драгоценные камни и шифрованные донесения мерзавцев. При этом работали мы с такой яростью, что в одной из глав романа шерсть на спине этого пса дыбом встала от злости — шерсть на чужой шкуре!

Все было нам нипочем, кроме одного: к концу «выпуска» мы обычно подходили с шекспировскими результатами. Все лежат мертвые... Но, в отличие от Шекспира, мы должны продолжать роман.

Кое-кого мы наспех воскрешали; кое-кому давали дублеров... Приходилось будить одну из наших жен и привлекать ее к авторской «летучке»: «Как же быть?»

Мы старались как можно быстрее прожить день, в радостном сознании, что наступит ночь и — две пачки «Смычки» на столе, крепкий чай заварен — мы предадимся своему творческому исступлению.

Мне кажется, мы не возражали бы тогда, чтобы работа над романом продолжалась вечно. Пусть бы даже она не имела никаких материальных последствий — не все ли равно?! Нас это не заботило, мы об этом не слишком много думали. Но вот тут-то...

И грянул гром

> Азербайджанское Государственное Издательство предлагает ленинградским авторам заключение договоров на приключенческие романы (повести, рассказы) на азербайджанском материале.
>
> Обращаться к представителю изд-ва, Ленинград, ул. Некрасова, д. 11, кв. 2, первый этаж налево, от 6 до 8 часов вечера.

Нет, конечно, это не мне, — Леве, попалось на глаза такое объявление в «Красной газете». Я не поверил, даже увидев его:

— Как ты умудрился это отпечатать?.. Ну, да! А почему тогда «приключенческий»? Почему именно — «на азербайджанском»?

— Ты стремишься все это узнать? Ну так — едем сейчас же... Мы с тобой, разумеется, материалисты, но... По-видимому, все-таки «что-то есть», как говорят кроткие старушки...

На реальном трамвае — «пятерке» с двумя красными огнями — мы прибыли к углу реальной улицы Некрасова и реальнейшего Эртелева переулка. За номер дома я не ручаюсь: может быть, он был и не одиннадцатым — огромный, старый краснокирпичный домина...

В полупустой комнате первого этажа нас словно ожидали трое. Совершенно нэпманского вида, полный, в мягком костюме, смугловатый брюнет с усиками (теперь я сказал бы — «похожий на Марчелло Мастрояни») сидел за девственно пустынным столом. У окна восточного вида пухленькая пупочка, хорошенькая, как одалиска, поглаживала виноградными пальчиками клавиши молчаливой машинки. Небритый забулдыга — сторож или завхоз—на грубой «кухонной» табуретке подпирал спиной внушительных размеров несгораемый шкаф у голой стены.

— Я — Промышлянский! — «Мастрояни» произнес это так, как будто назвал фамилию Моргана или Рокфеллера. — Чем обязан?

Он поразил нас своим газетным объявлением. Теперь мы намеревались поразить его.

Несколько театральным жестом бывший адвокат Рубинов молча бросил на стол перед Промышлянским «Красную вечорку».

— Ну, и?.. — скользнув по ней глазами, спросил представитель Азгосиздата.

— Нам пришло в голову проверить солидность вашей фирмы, — холодно проговорил Лева. — Мы можем предложить вам роман.

— Нас интересует только приключенческая литература! — Гражданин Промышлянский все еще пытался «чистить ногти перед ним».

— Лева, дай закурить! — в мою сторону уронил Лева Рубинов. — Мы и предлагаем вам детективный роман. Ликбез мы прошли, товарищ Промысловский...

Полномочный представитель поочередно вгляделся в нас обоих, потом потер пальцами нос:

— В нашем объявлении, — Розочка, я не путаю? — как будто указано: «На азербайджанском матерьяле...»

— Гражданин Перемышлёвский! — независимо закуривая не какую-нибудь «Смычку», а толстую «Сафо», предусмотрительно купленную на углу Эртелева пять минут назад, очень вежливо сказал опытный юрист Рубинов. — Если бы мы написали роман на кабардино-балкарском материале, мы, к величайшему нашему сожалению, не имели бы удовольствия встретиться с вами.

Этого Промышлянский явно не ожидал.

— Розочка, вы слышите? Роман на нашем матерьяле! Очень интересно! Беда лишь в том, что у меня твердое указание свыше вступать в соглашения лишь с теми авторами, каковые могут до заключения договора представить не менее двух законченных глав.

Простак, простак! Неужели же мы этого не предусмотрели?

— Лева! — обратился Лева Рубинов ко мне. — Сколько ты главок захватил?

— Одиннадцать! — глухо ответил я, возясь с пряжками моего дореволюционного министерского портфеля. — С первой по седьмую и с двадцатой по двадцать третью...

Гражданин Промышлянский развел руками. Что ему оставалось сказать? На сей раз мы удивили его. Уже с явным интересом он листал нашу писанину, велел Розочке уложить ее в папку с тесемками и папку спрятать в «сейф». Попрощались мы вполне доброжелательно...

К огорчению моему, я вынужден тут же признать: к концу дистанции выигрыш остался не за нами.

Раза четыре — каждый раз в заново «пролонгируемые» сроки — наведывались мы на Некрасова, 11. Увы, технические неполадки: Баку так далеко... Все такие пустяки, мелкие формальности! — оттягивали вожделенный миг подписания договора.

Мы стали уже как бы своими людьми в Азербайджане. Босс и Лева теперь беседовали как двое бакинских старожилов. Они обсуждали качество вина «матраса́» и вкус чуреков, которые пекут в переулочках за Кыз-Кала. Душечка Розочка делала нам ширваншахские глазки. Небритый пропойца сторож жадно смотрел уж не на «Сафо», а даже на «Стеньку Разина»...

А на пятый раз мы только его и обнаружили в конторе.

— А хозя́ева где?

— Тю-тю наши хозяева́, ребята! — с веселым отчаянием махнул он рукой. — С той пятницы — ни слуху, ни духу. И зарплата мне за месяц не доплачена. Завтра иду в милицию, заявление делать: ключи-то у меня. Ответственность!

— Как? — удивился Лева Рубинов. — А Розочка?

— И Розочку — трам-тарарам! — с собой уволок, гад мягкий! Розочку-то он нам с тобой как хошь не оставит...

Что нам было делать? Конечно, юрист Лева начал с проектов вчинения иска, с намерения вывести аферистов на чистую воду. Но, обдумав, мы развели руками. Мы неясно представляли себе основное юридическое — ку́и и́нтерэст? Кому это выгодно? Что он взял с нас (а может быть, и с других?), Промышлянский? Плохо читаемый экземпляр рукописи, притом явно не единственный... Что можем выиграть мы? Да еще в Баку ехать на суд... «Плюнем, Лева?!» — «Да пожалуй, Лева, плюнуть и придется».

И мы плюнули. Но не совсем. Мы отомстили. По-своему. Литературно. Мы ввели в роман совершенно новое лицо — мерзкого бакинского нэпмана Промышлянского. Мы придали ему даму сердца по имени Розочка. Мы заставили его при помощи нечистых махинаций построить себе в Баку отличный нэповский домик. А затем

мы загнали под ванную комнату этого дома кусок радиоактивного метеорита «Энтэу» так, что он застрял там прямо под водопроводными трубами. Вода в них нагрелась до + 79-ти, и нэпман, сев в ванну, пострадал очень сильно...

Кто не верит, пусть читает роман «Запах лимона».

„Запах лимона“

Невозможно рассказать всю историю нашей рукописи, — пришлось бы написать еще одну приключенческую повесть. Но вот, пожалуйста:

Лев Рубус

Запах лимона

Изд. «Космос»
Харьков

«Лев Рубус» — это мы, два Льва: один — РУБинов, другой — УСпенский.

«Запах лимона»—иначе «Цитрон дабл-Ю-пять» — это то же, что «НТУ», то же, что «Минаретская, пять», если следить по разным каталогам частного издательства этого.

Почему «Космос» и Харьков? Потому что были на свете два Вольфсона, два нэповских книгоиздателя. Ленинградский Вольфсон — «Мысль» и харьковский Вольфсон — «Космос». Кем они приходились друг другу — братьями, кузенами или дядей и племянником, — я не знаю. Но — приходились.

Харьковский Вольфсон издал этот детективный «Запах» потому, что ленинградский Вольфсон не нашел возможности его издать.

Нет, он принял от нас рукопись. Как полагается, он послал ее по инстанциям. Инстанции не торопились, но

это нас не удивляло: нас к этому приуготовили. Но вот однажды на моей службе в Комвузе (учась, я работал в Комвузе, как это ни удивительно, — «художником»; рисовать я ни тогда, ни когда-либо не умел) меня вызвали к телефону.

Незнакомый, сухо-вежливый голос попросил меня «завтра к 10 часам утра прибыть к товарищу Новику на улицу Дзержинского, 4». Каждый ленинградец тогда понимал, что «Дзержинского, 4» — это то же самое, что «Гороховая, 2». Выражение лица у меня, безусловно, стало неопределенным.

— И будьте добры, — добавил, однако, голос, — сообщите мне, как я могу связаться с товарищем... С товарищем Рубиновым, Львом Александровичем?.. Ах, так? Благодарю вас!

Морщины на моем челе, несомненно, приразгладились: двоих нас могли приглашать вроде бы как по одному-единственному делу. Но почему — туда?

Назавтра, несколько раньше срока, мы уже сидели на одной из лестничных площадок большого этого дома, на стоявшей там почему-то садового типа чугунной скамье. Против нас была аккуратно обитая клеенкой дверь и на ней табличка: «Новик».

Товарищ Новик, однако, нас не принял. Высокая и красивая блондинка, выйдя из этой двери, сообщила нам:

— Товарищ Новик просил меня провести вас к НачКро.

Мы быстро посмотрели друг на друга. «Кро»? «К» + «Р» могли означать «контрреволюция». А что такое «О»?

Идя вслед за нашей проводницей по бесконечным коридорам, мы пытливо вглядывались в надписи на дверях. Наконец слабый лучик света забрезжил нам:

«Контрразведывательный отдел»... Стало понятней, но не до конца. Мы-то при чем тут? Нас-то это с какой стороны касается — «Кро»?

Нач-Кро приказал ввести нас к себе. Нач-Кро был высок, собран, обут в зеркально начищенные высокие сапоги. Во рту у него было столько золотых коронок, что при первом же слове он как бы изрыгнул на нас пламя.

— Так-так-так! — проговорил весьма дружелюбно Нач-Кро, товарищ Ш., как значилось у него на двери кабинета. — Садитесь, друзья, садитесь... Это вы и есть Лев Рубус? Ну что ж, я читал ваш роман. Мне — понравилось.

Мы скромно поклонились.

— Знаете, и товарищ М. вас читал (он назвал очень известную в тогдашнем Ленинграде фамилию). Ему тоже понравилось. Отличный роман. Он может послужить нам как хорошее воспитательное средство...

Леве Рубинову по его прошлому роду деятельности разговоры с начальниками такого ранга были много привычнее, чем мне.

— Товарищ Ш.! — не без некоторой вкрадчивости вступил он в разговор. — Наша беда в том, что нам все говорят: «Понравилось», но никто не пишет: «Печатать»...

— А вам кажется — это можно напечатать? — посмотрел на нас товарищ Ш. — Да что вы, друзья мои! Давайте начистоту... Вы, как я понимаю, — странно, я вас представлял себе куда старше! — очевидно, много поработали... в нашей системе... Нет? Как так нет? А откуда же у вас тогда такое знание... разных тонкостей работы? Уж очень все у вас грамотно по нашей части... Но как же

вы не понимаете: такая книга нуждается в тщательнейшей специальной редактуре. Как — зачем? В нашем деле далеко не все можно популяризовать по горячим следам. Сами того не замечая, вы можете разгласить у́рби эт о́рби (он так и сказал: «у́рби эт о́рби» *) сведения, которые оглашать преждевременно. Вы — чересчур осведомленные люди, а нам в печати надлежит быть крайне сдержанными...

Я смотрел на него в упор и ничего не понимал.

— Товарищ Ш! — решился я наконец. — Про что вы говорите? В чем мы «осведомлены»? Где это проявилось? Я, скажем, никогда к вашей системе и на километр не приближался...

— В чем проявилось? — переспросил Нач-Кро. — Да хотя бы вот в чем. Откуда вам стало известно, что «Инте́ллиджент-Се́рвис» в Лондоне помещается на Даунинг-стрит, четырнадцать?

Как по команде, мы раскрыли рты и уставились друг на друга.

— Лева, ты помнишь, как это получилось?

— Конечно помню. Мы в твоем «Бедэкере» девятьсот седьмого года нашли адрес «Фо́рин-о́ффис». Даунинг-стрит, десять...

— Ну да. И ты сказал: «Значит, и «Инте́ллиджент» неподалеку, верно? Сунем его на Даунинг-стрит, тринадцать».

— А ты запротестовал: «Я не люблю нечетных чисел. Давай Даунинг, но четырнадцать...» Так и вышло...

— Скажите на милость! — как-то двупланно удивился Нач-Кро. — Так вот: там как раз оно и помещается. Чем вы это объясните?

* Латинское выражение «urbi et orbi» буквально означает «и городу и всему миру». Переносный смысл: «Всем, всем, всем...»

— Сила творческого воображения... — осторожно предположил ужасно не любивший нечетных чисел Лева.

— Гм-гм! — отозвался себе под нос товарищ Ш. — Гм-гм!

В результате беседы было установлено: молодые авторы по совершенной своей невинности, силой творческого воображения несколько раз попали пальцем в небо, там, где этого совершенно не требовалось. Авторам этим нужна благожелательная помощь и советы. Поскольку их труд представляется в общем полезным, и то и другое им будет предоставлено. Нач-Кро поручит это дело компетентным товарищам, те сделают свои замечания, авторы их учтут, и...

— И, пожалуйста, друзья мои, печатайте, издавайте, публикуйте. Очень рады будем прочесть.

С Гороховой мы летели окрыленные; Нач-Кро пленил нас: остроумный, иронический, благожелательный товарищ... Urbi et orbi!

Мы и впоследствии остались о нашем визите на улицу Дзержинского при самых лучших воспоминаниях. Правда, нас туда больше не приглашали, а сами мы напоминать о себе считали как-то не слишком скромным. Мы отлично понимали: и у Кро, у его начальника в том году, как и во все иные годы, было немало дел посерьезнее нашего.

Перестали мы тревожить и Вольфсона-ленинградского: мы не были уверены, как на него повлияет наш правдивый рассказ, если мы перед ним с этим рассказом выступим.

Но мы не учли одного — психологии издателя-частника. Вольфсон-«Мысль» не получил разрешения на наш «Запах» свыше и не счел нужным выяснять — почему? Но ему показалось неправильным упустить нас совер-

шенно. И, не говоря нам ни слова, он послал нашу рукопись Вольфсону-харьковскому, «Космосу».

Как действовал владелец «Космоса», нам ничего не известно: он нас об этом не известил. Но настал день, когда нам обоим на квартиры принесли, как бы свалившиеся с неба, увесистые тючки с авторскими экземплярами «Запаха». По двадцать пять штук со всеми его прелестями.

С догом, на спине которого встает дыбом сенбернаровская шерсть. С нэпманом Промышлянским, подобно ракете вылетающим из нагретой радиоактивным Энтэу ванны. С Лёвиным «Лондон. Туман. Огни» и моими научно-фантастическими бреднями...

Книжка была невеличка, но ее брали нарасхват. Уже за одну обложку. На обложке была изображена шахматная доска, усыпанная цифрами и линиями шифровки. Был рядом раскрытый чемоданчик, из которого дождем падали какие-то не то отвертки, не то отмычки. Была и растопыренная рука в черной перчатке. Два пальца этой руки были отрублены, и с них стекала по обложке красная кровь бандита... А сверху было напечатано это самое: Лев Рубус, «Запах лимона»... Такой-то год.

Почему — «такой-то»? Потому что роковым образом у меня не осталось теперь ни одного экземпляра нашего творения. И у Левы Рубинова тоже. И у наших знакомых и друзей. Ни единого. Habent sua fata libella! *

В Публичной библиотеке перед войной был один экземпляр. А теперь, по-видимому, и его стащили.

Лет десять назад один старый товарищ подарил мне дефектный «Запах» — без двух страниц; как я радовался! Но ребята, соученики сына, свистнули у меня

* У каждой книги своя судьба! (*лат.*).

этот дареный уникум: «Лев Рубус»! Они даже не знали, что это — мое!

Меня это огорчает и не огорчает. Огорчает потому, что хотелось бы, конечно, иметь на своей полке такую библиографическую редкость.

Радует, ибо перечтя свой роман в пятидесятых годах, я закрутил носом. Я подумал: «Молчание! Хорошо, что этого никто не знает!» Потому что Овсянико-Куликовский и Арсеньев явно недостаточно притормозили меня в девятьсот шестнадцатом. До того же бульварное чтиво — сил никаких нет!

Но все-таки есть причина, по которой у меня сохраняется к этой книжонке нежность. Не напиши ее мы с Левой, неизвестно еще: пришла ли бы мне когда-нибудь в голову идея заняться занимательной лингвистикой? Додумался ли бы я до «Слова о словах»?

Какая между тем и другим связь? Вот это уж предмет другого, и тоже довольно длинного, разговора.

Я тут — на третьем, и последнем, из моих «первых шагов» — останавливаюсь. Потому что дальше пошли уже не «первые», а «вторые» шаги. Их тоже было немало.

БРАТСКИ ВАШ ГЕРБЕРТ УЭЛЛС

Совершенно фантастично

В моих руках библиографический справочник. Издательство «Книга», Москва, 1966 год. На обложке: «Герберт Уэллс».

А на странице 131-й статья, озаглавленная так: «Уэллс и Лев Успенский».

Как это понимать? «Шекспир и Константин Фофанов», «Гомер и...»

К немалому моему смущению, Лев Успенский — я. Необходимо объясниться, а для этого надо начать издалека.

Да, так случилось. В разгар войны, в 1942 году, советский писатель с Ленинградского фронта обратился с письмом к одному прославленному собрату. Письмо затрагивало вопрос, который в те дни представлялся нам вопросом номер два, если под номером первым числить самое войну. Вопрос об открытии союзниками второго фронта. Оно было адресовано: Лондон, Герберту Уэллсу.

Фантастика? Конечно, но более или менее правдоподобная.

Письмо было направлено через Совинформбюро. Шесть месяцев спустя, в блокадном Ленинграде, советский литератор Успенский получил от английского литератора Уэллса ответ.

Это уже показалось и ему самому, и всем его окружавшим — фантастикой на пределе.

Ответ имел вид телеграммы на семи страницах писчей бумаги обычного формата. Читать его было нелегко: на каждой строчке написано буквами: «ко́мма», «стоп», а то и «стоп-па́ра», что, оказывается, значит: «точка-абзац». Но за этими знаками препинания бились живые и напряженные мысли, чувствовалась искренняя приязнь и дружба.

Не буду спорить: эти мысли были мыслями человека, но не политика, не социолога. Однако они были мыслями пережитыми, откровенными до предела, выстраданными за долгую жизнь вдумчивого художника.

В статье «Уэллс и Лев Успенский» говорится, будто я получил этот ответ только по окончании войны. Нет, Совинформбюро прислало его копию мне в Ленинград, в Пубалт *, в августе того же сорок второго года.

* Пубалт — Политическое управление Балтийского флота.

Подобно ракете, эта копия пронеслась перед глазами удивленного до предела командования. Неделю или две спустя два бравых лейтенанта-штабиста, печатая шаг, вошли в комнату опергруппы В. В. Вишневского, где, проездом на фронт, жил я: «Интендант Успенский — вы? Пять минут на сборы! У комфлота четверть часа времени; он требует вас немедленно!»

Когда Кейвора, уэллсовского «человека на Луне», вызвали на прием к Великому Лунарию, он трепетал. Так как же должен трепетать интендант третьего ранга, когда его вызывают к командующему флотом? «Успенского? К Трибуцу? А что он наделал?»

Часа полтора — и вот это было уже суперфантастикой! — за закрытыми дверями кабинета я гонял чаи с Владимиром Филипповичем Трибуцем. Генштабисты и крупные морские начальники почти всегда люди широких горизонтов, по-настоящему образованные. Мы беседовали обо всем: об этой войне и о «Борьбе миров», об Уэллсе и о Невской Дубровке, о марсианах и о нашем детстве; мы были почти сверстниками. Вот от моего детства мне и приходится сейчас повести речь.

Снова плюсквамперфект

1909 год. Я ношу фуражку с ярко-зеленым околышем: учусь в Выборгском восьмиклассном коммерческом училище.

Опять фантастика: странен смутный мир девятисотых годов. Училище «Выборгское», но находится в Петербурге. Оно восьмиклассное, но работают только пять или шесть классов; старших еще нет. Оно ни с какой стороны не коммерческое, и вот почему.

Под рукой Министерства просвещения немыслима была никакая прогрессивная школа. Там министром —

А. Н. Шварц, ДТС (действительный тайный советник), сенатор, профессор. У Саши Черного есть стихи о нем:

У ста́рца Шварца ключ от ла́рца,
А в ла́рце — просвещенье,
Но старец Шва́рец сел на ла́рец
Без всякого смущенья.

Чтобы не лезть в «ла́рец», группа передовых педагогов схитрила. Они сбежали в торговлю и промышленность. И тамошние Шварцы не золото, но торговать-то и промышлять приходится не на латинском языке! Тамошние — либеральнее.

Это училище задалось целью сделать из нас не «коммерсантов», а людей. Для этого оно применяло всевозможные приемы.

Был и такой: «уроки чтения». Раз в неделю Елена Валентиновна Корш, «классная дама» первоклассников, на ходу приспосабливая текст, читала нам что-нибудь «старшее».

Начала она с «Дэвида Копперфилда»; Диккенс не произвел на меня тогда ни малейшего впечатления. Затем мы прослушали «Джангл-Бук» Киплинга. По гроб жизни я благодарен за это маленькой грустноглазой женщине со смешной брошью в виде пчелы на бархатной блузке.

А потом настал день, которого я не забуду никогда. Е. В. Корш вынула из сумочки желтенький пухлый томик величиной с ладонь — «Универсальная Библиотека» издательства «Антик»:

— Дети! Я попгобую почитать вам очень стганный гоман очень стганного писателя. Если будет тгудно или скучно, сгазу же скажите мне...

Стояла питерская зима, самые короткие дни. В классе горела керосинокалильная лампа, чудо техники, с «ауэровским колпачком». На подоконнике желтело чучело

тюлененка-белька: до этого был предметный урок «Как сделали твой ранец?». Все было знакомо, просто, обыденно — как всегда. И вдруг...

«Маленькая обсерватория астронома Огильви. Потайной фонарь бросает свет на пол. Равномерно тикает часовой механизм телескопа. В поле зрения трубы — светлый кружок планеты среди неизмеримого мрака мирового пространства...» Кто это вспоминает — он или я?

«...В ту ночь поток газа оторвался от далекой планеты. Я сам видел это... Я сказал об этом Огильви, и он занял свое место. Ночь была жаркая; мне захотелось пить. Я побрел к столику, где стоял сифон с содовой водой...»

Даже сахарская жажда не заставила бы рослого, толстого мальчишку куда-нибудь побрести ни в тот день, ни во все последующие пятницы. Неделю за неделей, каждую пятницу, он сидел на том же месте в левой колонке парт, рядом с Асей Лушниковой, за Юриком Добкевичем, не отводя глаз от читавшей, шесть дней мечтая о волшебном седьмом дне, когда опять приоткроется это.

К весне это пришло к концу. Я не мог так просто оторваться от него. Я должен был еще раз, один, без помех, повторить мучительный и чудесный путь; еще раз увидеть, как под тонким молодым месяцем майский жук перелетает дорогу над Рассказчиком и Викарием точно в тот миг, как «ближний марсианин высоко поднял свою трубу и выстрелил с грохотом, от которого содрогнулась земля»... И как пылал под действием теплового луча Шеппертон. И как героически погиб миноносец «Громящий» («Тандерфер»! Это в традициях флота «Ея Величества», а вовсе не «Дитя Грома» нынешних переводов!)...

Я жаждал вторично пройти в страхе по мертвым улицам Лондона и услышать душу выматывающее «улля-

улля́!» последнего оставшегося в живых чудища. И, задохнувшись, взбежать на При́мроз-хилл и оттуда, в лучах восходящего солнца, увидеть станцию Чок-Фарм, и Ки́лбери, и Хе́мпстед, и башни Хрустального Дворца — «с сердцем, разрывающимся от великого счастья избавления...»

Педагоги, даже лучшие, — странные люди. Я умолил Е. В. Корш дать мне на неделю маленький желтый томик, ковчег небывалого. Она вручила мне его, аккуратно перевязав красной ниточкой несколько страничек в конце:

— Я пгошу тебя, Левушка, не читать этого. Там говогится о взгослых вещах, котогых ты еще не поймешь...

С великим трудом, напросвет, держа книжку над головой, по-всякому, я исследовал странички, которых я почему-то «не пойму». Странное дело: я все понял.

Там говорилось, что марсиане размножались бесполым путем, посредством деления. Один детеныш-почка возник на теле родителя даже во время межпланетного пути.

Я пришел в недоумение.

В те годы я был страстным биологом. Книжка Вагнера о простейших не сходила с моего стола. Амебы и вольвоксы были моими ближайшими знакомыми. Все опи размножались точно так же — почкованием, делением; о других, более совершенных, способах размножения я имел еще весьма смутное представление.

Я вернул книжку учительнице; она не заподозрила моего вероломства.

...Весной того года — года перелета Блерио через Ламанш — я добыл «Машину Времени» в одном переплете с «Волшебной лавкой». Потом «Невидимку», потом «Войну в воздухе».

Когда никто не видел, я лил тайные слезы: ведь «маленькое тельце Уины осталось там в лесу...». Ведь медленно, начиная с красноватой радужины, как фотонегатив,

«проявлялось» тело альбиноса Гриффина, лежащего мертвым на свирепой земле собственнической Англии.

Как пришибленный, целыми часами вглядывался я в трагически медленный закат огромного тускло-красного солнца над Последним Морем Земли. И сейчас, как самое страшное видение Мира, мерещится мне в тяжелых волнах этого моря «нечто круглое, с футбольный мяч или чуть побольше, со свисающими щупальцами, передвигающееся резкими толчками» — последняя ставка жизни, проигранной уэллсовским человечеством...

Данте и Вергилий

Как передать всю силу воздействия, оказанного Уэллсом на мое формирование как человека; наверное, не на одно мое?

Порою я думаю: в Аду двух мировых войн, в Чистилище великих социальных битв нашего века, в двусмысленном Раю его научного и технического прогресса, иной раз напоминающего катастрофу, многие из нас, тихих гимназистиков и «коммерсантиков» начала столетия, задохнулись бы, растерялись, сошли бы с рельсов, если бы не этот Поводырь по непредставимому.

Нет, конечно, — он не стал для нас ни вероучителем, ни глашатаем истины; совсем не то! Но кто его знает, как пережили бы юноши девятисотых годов кошмар первых газовых атак под Ипром или «на Базуре и Равке», если бы у них не было предупреждения — мрачных конусов клубящегося «черного дыма» там, в «Борьбе миров», над дорогой из Сансбери в Голлифорд.

Как смог бы мой рядовой человеческий мозг, не разрушившись, вместить Эйнштейнов парадокс времени, если бы Путешественник по Времени, много лет назад, не «взял

Психолога за локоть» и не нажал бы его пальцем «маленький рычажок модели»...

«...Машинка закачалась, стала неясной. На миг она представилась нам тенью, вихорьком поблескивающего хрусталя и слоновой кости, и затем — исчезла, пропала... Филби пробормотал проклятие...»

А Путешественник? «Встав, он достал с камина жестянку с табаком и принялся набивать трубку...» Точно такая же жестянка «Кепстена» стояла на карнизе кафельной печки в кабинете моего отца; такая же трубка лежала на его столе.

И этой обыденностью трубок и жестянок Уэллс и впечатывал в наши души всю непредставимость своих четырехмерных неистовств.

Он не объяснял нам мир, — он приуготовлял нас к его невообразимости. Его Кейворы и Гриффины расчищали далеко впереди путь в наше сознание самым сумасшедшим гипотезам Планка и Бора, Дирака и Гейзенберга.

Его Спящий уже в десятых годах заставил нас сделать выбор: за «людей в черном и синем», против Острога и его цветных карателей, распевающих по пути к месту бойни «воинственные песни своего дикого предка Киплинга». Его алои и морлоки, с силой, доступной только образу, раскрыли нам бездну, зияющую в конце этого пути человечества, и доктор Моро предупредил о том, что будет происходить в отлично оборудованных медицинских «ревирах» Бухенвальда и Дахау.

Что спорить: о том же, во всеоружии точных данных науки об обществе, говорили нам иные, во сто раз более авторитетные, Учителя. Но они обращались прежде всего к нашему Разуму, а он взывал к Чувству. Мы видели в нем не ученого философа и социолога (мы рано разгадали в нем наивного социолога и слабого философа); он

приходил к нам как Художник. Именно поэтому он и смог стать Вергилием для многих смущенных дантиков того огромного Ада, который назывался «началом двадцатого века».

Я вижу его

Был январь девятьсот четырнадцатого. Мы с Димой Коломийцовым шли в Городскую думу за билетами на какой-то концерт или лекцию. Возле мехового магазина Мертенса... Нет, скорее — у магазина дорогого белья «Артюр», Невский, 23, — чего-то ожидала дюжина любопытных. Чуть поодаль ворковали два «мотора» — слово «автомобиль» было еще редким. Люди, вытягивая шеи, смотрели на дверь. Остановились и мы.

— Да графиня эта, Брасова! — сердито буркнул не нам — соседу хмурый енот в запотевшем пенсне. — Ну, морганатическая! Жена Михаила... Да уж до вечера не будет в лавке сидеть, и...

Он не договорил. Из магазина — несколько ступенек приступочкой; там и сейчас продают мужские рубашки — выпорхнула прелестная молодая женщина в маленькой шляпке, в вуалетке, поднятой на ее мех и еще чуть влажной от редкого снега, в чудовищно дорогой и нарядной шиншилловой жакетке. За ней — одна рука на палаше, в другой маленький пакетик — поспешал юный гвардейский офицер, корнет. Второй пакет — куда больший — на отлете, как святые дары, нес кланяющийся, улыбающийся то ли хозяин, то ли старший приказчик. Ах, как он был художественно упакован, этот августейший пакетик!

Они только сошли на панель, дверь магазина, легонько присвистнув (пневматика!), открылась вторично, и — я забыл про всех морганатических... Из двери вышел плот-

ный, крепкий человек, конечно иностранец, нисколько не аристократ. Несомненный интеллектуал-плебей, как Пуанкаре, как Резерфорд, как многие. Его умное свежее лицо было довольно румяно: потомственный крикетист еще не успел подвянуть на злом солнце неимоверных фантазий. Аккуратно подстриженные усы лукаво шевелились, быстрые глаза, веселые и зоркие, оглядели сразу все кругом... Как я мог не узнать его? Я видел уже столько его портретов!

За его плечами показался долговязый юнец, тоже иностранец, потом двое или трое наших. Он задержался на верхней ступеньке и потянул в себя крепкий морозный воздух пресловутой «рашн уйнтэ» — русской зимы. С видимым удовольствием он посмотрел на лихачей — «Па-ади-берегись!», снег из-под копыт, фонарики в оглоблях, — летевших направо к Казанскому и налево — к Мойке, на резкий и внезапный солнечный свет из-за летучих облаков и, чему-то радостно засмеявшись, бросил несколько английских слов своим спутникам. Засмеялись и они: кто же знал, что только шесть месяцев осталось до роковой грани?

Потом все сели в «мотор» и уехали. И больше я его не видел никогда.

Во второй его приезд, осенью двадцатого, я воевал на польско-балаховичевском фронте, в Полесье. До нас не дошли известия о его встрече с Лениным: нам было не до Уэллсов.

Четырнадцать лет спустя он снова появился в Москве. Было похоже — фантазер из Истен-Глиба едет посмотреть, что выросло из замыслов того, кого он звучно и благожелательно — но как неверно! — окрестил «мечтателем из Кремля». Ну что же, он увидел: то, что ему казалось «грезами», превратилось в величайшие в мировой истории д е л а.

Он имел мужественную честность признать себя неправым — нелегкое решение для того, кого весь мир привык именовать первым своим прозорливцем!

С четырнадцатого года он прошел долгий и трудный путь. Он не только писал книги, но стал активным болельщиком за будущее человечества. Как пропагандист он был вовлечен в участие в первой мировой войне. Теперь со все большей настороженностью вглядывался он в Грядущее — не столь далекое, как то, куда он забросил Путешественника по Времени, но не менее тревожное.

Его исповеди и призывы выходили в свет неустанно, и (хотя все они и не так быстро, как хотелось бы, достигали нас) мы видели ясно: почва ускользает из-под ног мудрого Поводыря по Аду. Вергилий останавливается и неуверенно нащупывает посохом путь: куда же идти?

Реальный мир катился к катастрофе по предсказанным им рельсам. Но мир этот решительно отказывался внять совету и перевести стрелки. Он не желал слушаться фабианских проектов переустройства. Он смеялся над пророчествами английской Кассандры.

Что день, яснее сквозь благообразные черты великого романиста проступал растерянный облик созданного его же воображением мистера Барнстэйпла — прекраснодушного и глубоко подавленного сотрудника никем не читаемого, еле сводящего концы с концами журнальчика «Либерал», умницы, на которого смотрят свысока даже собственные футболисты-сыновья.

Прозорливец явно терял ясность взгляда, метался и мучился, потеряв надежду, что мир может быть спасен извне, бескровно и бесслезно — то ли волшебным газом чудотворной кометы, то ли бациллами, способными, не спрашиваясь людей, уничтожить грозящую им опасность. И вот чаще и чаще взгляд Проводника стал обращаться к компасу, имя которого — Коммунизм.

К сороковым годам можно было сказать твердо: там, в Англии, у нас есть друг, нерешительный, слишком мягкосердечный, но верный и искренний до глубины души. Его имя — Уэллс.

Мой соавтор — Франческа Гааль

Справедливость превыше всего: не вмешайся она, мое письмо ему не было бы написано.

В отличной статье, с упоминания о которой я начал, говорится: писатель Успенский написал его весной сорок второго года, во фронтовой землянке, куда как-то попали два романа Уэллса — «Война миров» и «Люди как боги».

Тут не все точно. Мне не случалось на фронте живать в землянках. Ни одной книги Уэллса у меня не было; не было их — не знаю уж почему — и в богатых библиотеках балтийских фортов, в десятке километров от меня.

Я жил романтически в описанном Н. К. Чуковским * большом кирпичном «офицерском доме» в Лебяжьем, — в доме, пустом, как Бет-Пак-Дала **, и холодном, как Антарктида. Жил и работал — нет, не «как зверь», а как военные корреспонденты в те годы.

Трудно вспоминаются эти месяцы — конец осени, начало зимы сорок первого года. Сводки мрачнее ночи. Враг все ближе к Москве. Сейчас не каждый поверит, но было так: мы жили тогда только глубокой, почти иррациональной уверенностью в грядущей победе. Мы знали: она не слетит с неба сама — надо работать, надо драться за нее. И вот мы работали. Времени у меня не было ни минуты: я писал, но — какие тут послания на Запад! Изо дня

* См. сборник «Рядом с героями». М., изд-во «Советский писатель», 1967.

** Северная Голодная степь в Казахстане.

в день заметки для газеты района, для ленинградских, для флотских газет... Нет радиста — сам лови ночью сводку. Ослабел типографский рабочий — крути плоскую машину. Не прислали клише из города — отрывай кусок линолеума от пола и режь сам. Времени не было.

И тут пришла на помощь она, Франческа.

В ноябре—декабре над Финским заливом темнеет рано и глухо. В кромешной зимней тьме по поселку всюду вырубали свет. Всюду, кроме матросского клуба. Там начинались лекции, доклады, танцы и главное — кино.

Перед вами — альтернатива: или сидеть, волком воя, в чернильном мраке три-четыре часа, или пойти в клуб, хотя мне, сорокалетнему командиру, не по мыслям, не по чину, не по возрасту было фокстротировать с юными краснофлотками. Я садился в зале в кресло и читал до начала фильма.

До начала фильма! Обстрелы, двойная блокада, ледостав — мы были отрезаны от сокровищницы кинопроката. «Ораниенбаумская республика» жила фильмами, блокированными с нею с начала сентября. К этому времени из них сохранился, по-видимому, один — «Маленькая мама».

Первые пять раз я смотрел Франческу Гааль миролюбиво. Полюбовавшись на нее в двадцатый или в двадцать седьмой раз, я изнемог. Почувствовал себя морально надломленным. Люди железной воли — работники Политотдела, редактор Женя Кириллов, секретарь редакции «Боевого залпа» Жора Можанет — мужествовали сильно. Они стояли насмерть. Они уговаривали меня: «Лев Васильевич, идемте!» Я не мог.

Я оставался в редакционной тьме, ложился в черном мраке на черный топчан и — что было мне еще доступно? — думал, думал, думал...

Вот в этой-то пахучей типографской черноте, в шуме высоченных сосен над крышей, в холодном свете звезд,

если выйдешь наружу, в еще более холодном — мертвенном — мерцании панических фашистских ракет за фронтом немцы и привиделись мне марсианами.

«Маленькая мама» вышла замуж в тридцатый или сороковой раз. Лампочка надо мной обозначилась тусклордяным волоском, вспыхнула, как «новая звезда», пригасла и пошла мигать и помаргивать на экономичном «режиме имени инженер-капитана Баширова»: он ведал нашей тощей энергетикой.

Я встал, нарезал газетной бумаги, заложил первый листок в машинку и начал:

«Итак, глубокоуважаемый мистер Уэллс, катастрофа, которую вы предсказывали полстолетия назад, разразилась: марсиане вторглись в наш мир...»

Книги? Не нужны мне были его книги: седоголовый интендант на лебяженском «пятачке» был когда-то тем подростком, которому Елена Валентиновна Корш обрушила на голову великую тяжесть уэллсовских фантазий. Образы Уэллса — живые, движущиеся, дышащие — все время жили у него в памяти. Он мог цитировать без книг.

Из Лебяжьего в Лондон

Я писал его не от себя — ото всех тех, рядом с кем мне выпало на долю стоять на Ораниенбаумском «пятачке». Я не могу повторить (или, хуже, изложить!) то, что вырвалось тогда из самого сердца. Но, перечитывая сейчас то, что было написано тогда, мне не хочется изменить в нем ни одной строчки.

Я писал ему, и мир рисовался мне в его образах. Я думал о предательстве западных политиканов — и вспоминал речи лентяя и бездельника — но далеко не дурака — артиллериста из «Борьбы миров»: «Они превратят нас в

скот, рабочий и убойный. И станут откармливать нас, чтобы пожирать. И найдутся ведь такие людишки, которые станут еще лебезить перед ними, чтобы добиться лучшего места у кормушки...»

«К стыду человечества, Вы и в этом правы, мистер Уэллс: в Виши, в Осло, в других местах мира — они нашлись» — так писал я.

Я думал о разгромленном Лондоне — и видел «птицелицего» немца, офицера с дирижабля из «Войны в воздухе», того, что таскался со своими легчайшими несессерами, уступая место работяге Смоллуэйсу, потом встретившемуся с этим птицелицым в последнем бою над Ниагарой.

«Не награжден ли теперь он железным крестом за бомбежку Ковентри или Саутгемптона?!» — спрашивал я.

«Разве до Ваших ушей не доносится сквозь грохот взрывов жалобное блеяние, мистер Уэллс? Уж не подает ли то голос из будущего тощая коза этого самого Берта Смоллуэйса, коза возвратившегося варварства, коза великого запустения?»

Тот, кто читал «Войну в воздухе», помнит эту козу: ее невозможно забыть. Тех марсиан, вымышленных, бросил на человечество космос; за их приход не отвечал никто. Коричневых гадин, с которыми мы сражались теперь, выпестовала, выносила у груди своей западная цивилизация. Мы, люди, были ответственны за их появление: наш прямой долг был — уничтожить их. Чтобы призвать к исполнению этого тяжкого кровавого долга Англию, и стучала в Лебяжьем моя колченогая машинка над замерзшим, усеянным ледовыми дотами Финским заливом. Но я знал, что добрая старая Англия — не едина.

Да, там обитали простодушные и отважные Берты Смоллуэйсы. Когда их припрет к стенке, они знали, что делать, как и тогда, там, на уэллсовском «Козьем острове»:

«Спустив на землю подобранного в руинах котенка, он вскинул винтовку с кислородным патроном и непроизвольно спустил курок.

Из груди принца Карла Альберта вырвался ослепительный столб пламени... Что-то горячее и мокрое ударило Берту в лицо... Сквозь смерч слепящего дыма он увидел, как падают на землю руки, ноги и растерзанное туловище...»

Да, это правильный способ обращения с фашистом, пусть еще не реальным, а воображенным писателем. Я знал: есть в Англии такие смиренные Берты.

Но ведь там живут и другие люди — и в романах Уэллса, и в Англии. Там катался когда-то в роскошной серой машине промышленный магнат Барралонг со своей любовницей Гритой Грей из романа «Люди как боги», и его приспешник — министр Руперт Кэтскилл, и философ Беркли с очаровательной леди Стэллой, и самоуверенные лакеи-шоферы Ридли и Пенк... Попав уэллсовским чудом в мир «людей-богов», в мир коммунизма, они объявили ему идиотскую и кровожадную войну. Бессильные, они рвались уничтожить светлый мир, превратить его в колонию, населить ханжами, гангстерами и проститутками, застроить биржами, борделями, «полпивными», загадить и замусорить... Они ненавидели свет ядоносной, пресмыкающейся ненавистью... А сколько таких в реальной Англии?

Между теми и другими стоял мистер Барнстэйпл, помощник редактора в «Либерале», этом «рупоре наиболее унылых аспектов передовой мысли Англии». Он тоже попал в страну людей-богов. Он заранее, в мечтах, любил эту страну, но и опасался ее... Мистер Барнстэйпл, воплощение английской порядочности, куколка, так причудливо напоминающая самого мистера Уэллса; ласковая, но и ироническая самопародия, может быть не совсем непреднамеренная.

Оказавшись среди людей-богов, он нашел в себе силы стать на их сторону и отречься от «своих», стать на сторону Утопии. Решительно, до конца, до самоотречения.

Мне было нечего терять: я и начал с той анатомии Англии, которую нашел в творчестве самого Уэллса: «Мы знаем: тысячи тысяч добрых, умных, безукоризненно честных Барнстэйплов двадцать четыре года смотрят со своего острова на Восток, на ту сторону, где живем мы, как мир, населенный привлекательными и опасными, потому что не до конца понятными, «людьми как боги»... Они защищали нас от нападок шиберов и джингоистов, как Ваш Барнстэйпл у «Карантинного утеса» Утопии. Но им все время казалось: наши пути никогда не сойдутся.

А вот они сошлись, дорогой мистер Уэллс (простите, я чуть было не написал, почтительно и с великой приязнью, «дорогой мистер Барнстэйпл»!), и теперь предстоит решить, как же поступить целой стране добрых, прямодушных, прекраснодушных Барнстэйплов перед лицом общей трагедии? Позвольте же через Ваше посредство обратиться к ним от нас, в надежде, может быть несколько опрометчивой, помочь нашему общему делу...»

Они и мы

В те дни я жил образами Уэллса, но, разумеется, не только ими. В те месяцы все мы, люди фронта, особенно точно и живо ощутили себя в почетном ряду русских, всех русских настоящего и прошлого: и латников Куликова поля, и гренадеров Багратионовых флешей, и солдат Танненберга и Сольдау. Блоковские скифы стучали в наши души: «Когда б не мы, не стало б и следа от ваших Пестумов, быть может...» Эти Пестумы Европы, увитые розами Возрождения, звенящие терцинами Данте и сонета-

ми Петрарки, снова попали под угрозу, страшнейшую из всех. И сознание высокой «должности» народа нашего, столько раз «державшего щит» между варварством и цивилизацией, столько раз проливавшего кровь лучших сынов своих, чтобы Чосер мог спокойно писать «Кентерберийские рассказы», а Эразм — «Похвалу глупости», пока ханские баскаки собирали дань с наших прадедов, владело нами.

Все родственней и дороже становилась нам великая культура, заложенная Грецией и Римом. Сотни лет мы держали ее на плечах, как Атлант — свод небесный. Мы строили ее на равных правах, — мы с нашим «Словом о полку», с нашим Андреем Рублевым, с нашими Толстым и Менделеевым, Ломоносовым и Ковалевскими, с нашими двумя Софиями и Василием Блаженным. Мы знали каждый штрих ее, от альфы — античности до омеги — двадцатого века. И снова — в который раз! — мы подняли меч на ее защиту. А «они», люди Запада, — так же ли, с той ли вековой приязнью, любили они нас, так же знали нас, так же ли готовы были помочь нам в беде, как мы им?

Я напоминал ему то, что он должен был знать и сам, — нашу историю, предмет нашей законной гордости и славы. То время, когда князь Ярослав опутал весь Запад паутиной брачных связей, нежной прелестью дочерей Руси. Когда одна Ярославна стала Анной-Региной, супругой короля Франции, другая — женой Гаральда Норвежского; когда Гаральд искал в Киеве защиты и приюта, а внучка Ярослава Евпраксия, побывав супругой императора Германии и изгнанницей в Каноссе, став героиней западных саг и легенд, вернулась в вишневые сады Киева, чтобы лечь тут в русскую землю.

И то время, когда под нашим прикрытием распускались в Италии сады треченто и кватроченто, когда мыслители мыслили, ученые испытывали естество, на Востоке

русские защищали их покой, стоя насмерть в борьбе с кочевниками Азии.

И начало XIX века, нашу титаническую борьбу с последним Цезарем. И Марну, выигранную потому, что пролилась наша кровь среди сосновых перелесков и болот Пруссии. Я смело говорил ему о н а ш е м, потому что все время передо мною стояло все созданное и м и.

Звучит слово «Англия», и тотчас оно раскрывается перед нами в образах. Мы знаем ее лиловые вересковые поляны: мы бродили по ним с Чарлзом Дарвином в поисках глубинных тайн природы; потом Кейвор, смешно жужжа, открывал над ними секрет своего кейворита. Потом Невидимка встретился на них с мистером Томасом Марвелом. Нам ведомы переулки ее выморочных городков, заваленные первым снегом: следы Гуинплена-ребенка пересекаются там со следами того же Гриффина, загнанного, окровавленного, озлобленного Искателя. Вот забавный полустанок среди газонов и живых изгородей юга; может быть, его имя «Фремлингем-Адмирал» обозначено Киплингом на вывеске, под которой пчелы жужжат над цветами дрока, а возможно — на его платформу вышел из вагона, растерянно держа в руке сияющий плод с древа познания, самый юный и самый жалкий из барнстэйплов Герберта Уэллса.

Да разве только Англия? А прелый запах золотой листвы в лесах Эдирондека, сбереженный для нас Сэттоном-Томпсоном? А маслянистая вода Сены у набережной Букинистов или возле Гренульер, завещанная нашей памяти Анатолем Франсом, Мопассаном, Ренуаром? И синие холмы над Верхним озером, какими с берегов Мичигана видел их рыболов Хемингуэй... Разве все это — не наше, не дорого нам почти так же, как «Невы державное теченье» или ночной костер на зеленой траве Бежина луга, там, «во глубине России»?

Мы помним наизусть и строфы сонетов Шекспира, и канцоны Мистраля, и «Песнь о Роланде», и баллады о Робине Гуде. Знаете ли вы так нашу «Задонщину», нашего Пушкина, нашего Лермонтова, как мы знаем создания ваших гениев?

«Сколько раз в детстве и юности, — писал я ему, — каждый из нас по планам городов разыскивал какую-нибудь забвенную Катлер-Стрит или переулок Кота-Рыболова, известные не каждому лондонцу, не всякому парижанину. Сколько раз мы брели с чартистами по пыльным дорогам вслед за Барнеби Раджем, сопровождали Корсиканца от Гренобля до сердца Франции вместе со Стендалем, спускались по Миссисипи на плоту Гека Финна, шли у стремени Алонсо Кихады по равнинам Ламанчи, входили с Лермонтом-Певцом в древние леса, распростертые от «Кедденхэда до Торвудли», плыли в одной лодке с телеграфистом Бенони по шхерам Финмаркена? Разве не для нас написан «Замок Но́рам» вашего Тернера, нежные пленэры барбизонцев, тревожные небеса Гоббемы?

Мы плавали, бродили, странствовали среди ваших ландшафтов то с Тилем Уленшпигелем, то с Жан-Жаком Руссо; мы садились в Ярмуте на корабль с Робинзоном Крузо и подстерегали рыжих сфексов среди песков горячего Прованса с Фабром, волшебником и мудрым пасечником Природы. Мы вдыхали воздух вашего прошлого и вашего настоящего. Мы вглядывались в смутную дымку вашего будущего. Все, созданное вами, стало нашим, ибо, по глубокому убеждению русского человека, все, что создано людьми, принадлежит Человечеству.

Вот почему в июне сорокового года мы оплакивали Лондон, как если бы немцы бомбили Москву. Вот почему год спустя мы почувствовали с удовлетворением, что сражаемся в великой битве за Грядущее в одном строю с

вами, и стали, как свойственно русским, насмерть на наших общих рубежах.

А теперь настал срок воззвать к вам: готовы ли вы к подвигу? Понимаете ли вы, Барнстэйплы и Смоллуэйсы, что настали сроки, когда за жизнь приходится платить не нефтью, не золотом, не биржевыми чеками, а кровью; когда вся ненависть мира должна сосредоточиться на «марсианах», засевших в ямах Берлина и Берхтесгадена, но в то же время и на ваших собственных Полипах из «Министерства околичностей», сегодня (сегодня, мистер Уэллс!), как и во времена Диккенса, продолжающих размышлять, «как бы не делать этого».

Узнайте нас, как мы вас знаем, и вступайте на наш страдный, тяжкий, но победоносный путь, локоть к локтю, безоговорочно, как братья!»

Вот этот десяток пожелтевших листков той газетной бумаги, на которой был написан черновик письма, — он передо мной.

Письмо кончалось так:

«Я прервал изложение моих мыслей, дорогой мистер Уэллс, потому что прозвучал сигнал тревоги. Зенитки открыли стрельбу. Два «марсианина» на узких крыльях маневрируют над заливом, уклоняясь от разрывов... На юге гремит канонада. На железной дороге дымит бронепоезд. Мы боремся и победим. А вы?

Есть две возможности. Или, раздавив ваших алоев и полипов, вы, как Смоллуэйс, схватив «кислородное ружье», броситесь в бой рядом с нами. Или, подобно мистеру Моррису из вашего «Грядущего» (его имя изящно выговаривалось «Мьюррэс», помните?), «надев на лысеющую голову модный головной убор с присоской, напоминающий гребень казуара», предпочтете вызвать телефонным звонком — дабы не страдать излишне, дабы «не делать этого» — Агента Треста Легкой Смерти...

Что ж, вызывайте. Но предупреждаем вас: на этот раз смерть не окажется легкой!

Нет, я верю, что будет не так! Вы уже кинулись в один бурун с нами. Мы умеем плавать. Опирайтесь на наше плечо, но не цепляйтесь судорожно за спасающего. Гребите вместе с нами к берегу: с каждым взмахом он — ближе. Готовьтесь отдать все, и тогда вы все сохраните. Будьте готовы разить, а не только подписывать чеки. И тогда — час настанет.

Тогда высоко над окровавленной Европой стаи ворон полетят терзать вялые щупальца последних марсиан. Тогда деловитые саперы начнут подрывать уже не страшные мертвые цилиндры. Тогда еще раз разнесется над старым материком отчаянное «улля́-улля́!» погибающего среди всечеловеческой радости чудища. И все мы — вы и мы — скажем в один голос и с равным правом: «Человечество и человечность спасены нами!»

Но чтобы так случилось — надо спешить».

Ярким апрельским днем я принес конверт с письмом на нашу полевую почту. Техник-интендант, сидевший там, вчитался в адрес: «Совинформбюро. Т. Лозовскому. Город Куйбышев». Он посмотрел на меня: «Ого! Далеконько хватили, товарищ начальник!»

Если бы он знал, куда я на самом деле «хватил»!

Летом того же года командование наградило меня великой наградой — месячной поездкой в тыл, «в эвакуацию», на Урал, к семье. Вернулся я в августе. Все, все было фантастикой. Утром — Москва, гостиница «Якорь», метро, беготня по издательствам. Потом — три или четыре часа на бреющем, волны Ладоги под самым брюхом

самолета, потом — куда более трудная задача — добраться от аэродрома до Петроградской стороны, и наконец, в тиканье метронома, в глухих раскатах обстрела, — улица Попова, Пубалт. Другой мир.

В большой комнате писательского общежития к вечеру никого не было. За ширмочкой в углу похрапывал лейб-шофер Всеволода Вишневского Женя Смирнов. А на моем столе, прижатая осколком зенитного снаряда, лежала длиннейшая, на семи листах писчей бумаги, телеграмма. Телеграмма с латинским шрифтом. Откуда? Что?

Я торопливо «затемнился», зажег свет.

> 1. 0020 17 К С ВАС
> W 342—29 London 1811 29 L 704
> London june 1942 Dear commander Uspensky,
> comrade literature and in our fight...

Скажу честно, сердце мое дрогнуло. Нет, не оттого, что — Уэллс, просто потому, что бумажная пачка эта как бы материально воплотила в себе так много нематериального. Мое письмо дошло — туда, через целый океан смерти и хаоса. И донесло до великого англичанина слово русского человека и солдата. И этот первый и лучший из Барнстэйплов Англии не только прочел мои слова, он продумал их, он отвечает. На столе лежала какая-то частица дружбы народов, интернациональной общности литераторов, что-то очень большое и дорогое...

Я быстро перелистал страницы. Да, он:

> Dear commander Uspensky, comrade literature and in our fight for ample life for all men...

Я не такой знаток английского языка, чтобы вот так взять тогда и прочесть все семь страниц телеграфного текста, со всем его лаконизмом, с его «ко́мма», «стоп» и «стоп-па́ра», с его непривычным шрифтом, странными

умолчаниями. Но в Пубалте нашлись англо-русские словари.

Я сидел над письмом до полночи. За окном громыхало, лампочки то меркли, то разгорались. Была тревога: командиров попросили в убежище. Моя дверь была закрыта, я сидел тихо как мышь; Женю Смирнова — все знали — разбудить угрозой бомбежки немыслимо. Я перевел всё.

Его ответ состоял из двух неравноправных частей. Старый, больной писатель, едва выкарабкавшись из «брэйкдауна», из тяжкого упадка сил, получив мое письмо, разволновался чрезвычайно. Оно наступало на самые болезненные мозоли его; но оно было «оттуда», из России; оно показывало, что черные опасения и тревожные мысли его известны и понятны в этой стране, которую он так давно любил и ценил.

И видимо, там, в России, его слышат и понимают лучше, чем тут, на родине, — как свободного мыслителя, как великого болельщика за будущее человечества, как поборника вольного содружества вольных народов.

Он не мог в те дни сесть к столу и с обычной своей живостью откликнуться, сказав от души все, что я ожидал от него. Но он не мог и промолчать.

Он только что закончил «Феникс» — книгу, в которой в последний раз сделал смотр своим уэллсовским (и барнстэйпловским!) заветным мыслям, свел воедино мрачные предчувствия и робкие надежды. Ему — Кассандре мира, но не его Гектору, пророку, но не бойцу — захотелось воспользоваться моим письмом как перекинутым над бездной легким тросиком, чтобы перенести через бездну тяжесть собственных, уэллсовских, утопических чаяний.

Три четверти своей великанской телеграммы он отвел на изложение той, составленной им в последние годы, «Декларации прав человека как индивидуума и его обязанностей как гражданина», которая все еще казалась ему

победой разума, чем-то новым и свежим на пути борьбы за Будущее, которая радовала его и мучила, представляясь то достижением, то просто очередным «прожектом».

А она и не могла стать ничем иным, как «прожектом».

Много раз в этом письме он подчеркивал: наши мысли — его, Уэллса, и мои, его корреспондента, — совпадают. Ну что же? Они и впрямь совпадали где-то, в самом зерне, в искреннем с обеих сторон стремлении к тому, чтобы Будущее стало светлым и прекрасным. Он провозглашал «права́», которые считали естественными и необходимыми и мы: право каждого человека на жизнь, право любого дитяти на защиту и помощь, «даже если это — сирота»; право каждого члена общества на знание, на труд, на свободное передвижение, на охрану от насилия, равное для всех, одинаковое повсюду, безотносительно к широте и долготе места, к цвету кожи, к интеллекту и социальному положению «индивида».

Все это уже много лет возглашали и мы.

Но если раньше ему казалось, что все эти великие блага — сколько столетий мечтало о них человечество! — могут быть получены им бескровно и спокойно (то ли в тот блаженный миг, когда Земля пройдет сквозь хвост благой кометы и «отравленный» — великолепно отравленный! — его газами человек вдруг станет иным — добрым, бескорыстным, евангельски незлобивым; то ли после того, как над миром пронесется коричневая туча марсианского нашествия, и сама Природа спасет его для лучшей жизни, взяв себе на помощь ничтожнейших тварей, бацилл), то теперь он вообразил себе, что все эти великолепные «дезидерата» * сами по себе, помимо воли людей, классов, государств, созрели на древе жизни и, чтобы они упали и

* «Желаемое» (*лат.*).

насытили алчущую человеческую ойкумену, нужен только легчайший порыв ветра... Нужно, чтобы люди — все люди! — от английского лорда до индокитайского кули — сами захотели стать людьми.

В этом и была не видимая ему разница. Мы утверждали, что на могучее древо истории нужно взбираться, кровавя руки и ноги, надо обламывать его страшные сучья, не боясь ран, надо сражаться с химерами, живущими в его листве, и — тяжким трудом, суровой отвагой, жестокой, может быть, настойчивостью — в смертельной борьбе добыть миру Счастье; а он, фабианец, никак не способный полностью разделаться со сладкими иллюзиями, все еще призывал нас верить в то, что сладкие пудинги совершенства сами свалятся нам в рот, без драки, без крови и — самое главное — без тех революционных неистовств, какие он с барнстэйпловским ужасом наблюдал в прошлом:

«...Мировая революция не подразумевает атаку на какое-нибудь существующее правительство, конституцию, политическую организацию: ведь условия, сделавшие ее неизбежной, сложились на протяжении последних сорока лет, когда эти правительства и организации были уже созданы...»

Видите, как просто? И нужна не вооруженная борьба, — нужна... пропаганда «Декларации». «Пусть каждый, мужчина и женщина, кто поймет это, приступит сейчас же к формированию пропагандистских кружков. Британский маршал авиации может заставить людей обсуждать права человека. Японский крестьянин может добиться точно того же...» И когда это произойдет — наступит якобы вожделенная эра Разума и Счастья.

Как цепки в душах даже самых талантливых, самых лучших людей мира, истинных людей доброй воли их прекраснодушные мечты, их евангельские грезы! А ведь

даже тот, о ком говорит евангелие, твердил: «Я принес вам не мир, а меч!» Нет, британские и американские, французские и немецкие маршалы не только не хотят обсуждать эти права, — они и сегодня сбрасывают напалм и фосфор на тех, кто готов эти права отстаивать.

И в 1942 году Уэллс оставался Уэллсом, фабианцем, возлагавшим все надежды на внутреннюю революцию души, сопряженную с революцией научной и технической.

Видимо, не стоит публиковать полностью эту беспомощную, хотя и благородную по чувствам, часть его письма. Как ни печально, она прозвучала бы словно «Проект о введении единомыслия» (единомыслия весьма похвального), как розовые грезы Манилова, о которых Гоголь с тихой усмешкой сказал: «Впрочем, все эти прожекты так и оканчивались одними только словами».

Но я хочу напечатать здесь вступительную часть его письма. Это — не декларация. Это — живое слово живого человека, семидесятишестилетнего мыслителя и поэта, гражданина мира, ошибавшегося, но искреннего, темпераментного, горячего и иронического на восьмом десятке лет жизни, как на третьем.

Я получил его письмо именно с таким началом, и я горжусь этим.

«Дорогой командир Успенский, сотоварищ по перу и по нашей общей борьбе за изобильную жизнь всего человечества! У меня нет сейчас возможности ответить на Ваше чудесное письмо. У меня полный упадок сил на почве переутомления, и хотя физическое состояние мое улучшается, я могу писать только понемногу и с трудом.

Ваше знание написанного мною поразительно! Чтобы понять некоторые из Ваших намеков и ссылок, я вынужден был перечитать «Люди как боги».

Перечитывая свои старые книги, то и дело натыкаешься на опечатки и неудачные выражения. Я никогда не перечитываю самого себя, разве уж когда это совершенно необходимо.

Мне пришлось все же перечесть «Люди как боги», потому что я начисто забыл все, что касается мисс Гриты Грей. Воспоминания же о мистере Барнстэйпле, как по кабелю, передали мне ту тоску об Утопии, которую оба мы, Вы и я, ощущаем с такой остротой.

Утопия может стать нашим близким будущим, но может отодвинуться от нас и на дистанцию бесчисленных поколений. Перед моим заболеванием я как раз закончил книгу «Феникс», которую пошлю Вам, как только она выйдет в свет.

Дело в том, что Барнстэйпл вернулся в этот мир преображенным и принес Утопию с собой. Его история как бы предвосхитила то, что случилось со мной самим. В «Фениксе» я стараюсь показать, что для каждого, кто способен это ощутить, объединение нового мира уже наступило.

Нынешняя война точь-в-точь такова, как та, что кипела вокруг Карантинного Утеса, это война между древними обычаями империалистического насилия, тлетворной заразой мертвого национализма и конкуренции с одной стороны и светлой разумностью равноправного всечеловеческого братства с другой.

В «Фениксе» говорится в точности так, как и Вы об этом говорите, что мировая революция наступила; ее надо немедленно реализовать. Если все мы осознаем, что это так, — так оно и будет. Много ли людей уже понимает это — вопрос чисто количественный: он должен быть решен арифметически.

В час, когда Революция окончательно свершится, тройной целью ее будет всемирное разоружение, утверждение

свободы и достоинства каждой человеческой личности, освобождение Земного шара от частной и государственной экспроприации, с тем чтобы все земли мира использовались только для общечеловеческого блага.

Спорить больше не о чем. Революция должна выполнить свои задачи, пользуясь техникой, созданной в предыдущие годы, и современными способами массового распространения идей.

Чтобы добиться решения этой основной задачи, революция создаст, где только возможно, образовательные кружки и ячейки. Основным содержанием пропаганды будут права человека, вырастающие на базисе трех главных целей ее.

Эти права опираются на основные требования, предъявляемые Человеком от своего имени и от имени Человечества. Без них на Земле никогда не водворится мир, не наступит век свободы, единства и изобилия.

О каждом правительстве, о каждом, кто стремится стать лидером, о каждом государстве, о любой организации должны будут впредь судить только на основании того, подчиняют ли они свою деятельность задачам Революции: она определит их работу и станет их единственной целью.

Этот важнейший труд по пробуждению Нового Мира надо вести на всех языках Земли. Коммунисты уже сто лет назад проделали во всемирном масштабе такую работу, хотя у них было несравненно меньше возможностей. Сегодня мы должны заново выполнять ее, используя все доступные средства.

Отбросим в сторону громкие имена и самих вождей: основой и существом пропаганды отныне да станут права человека, сформулированные во всей их нагой простоте и ясности. Вот какой исходный образец для этого предлагаю я...»

Дальше следовал очень длинный, очень подробно разработанный проект «Декларации», о котором я уже говорил, и под ним короткое заключение:

«Когда я пишу это, я не более чем повторяю, подобно эху, Ваши великолепные мысли на своем, английском языке. Я рад этой возможности. Пользуясь Вашим выражением, мы встали плечом к плечу не для того, чтобы разрушать, но для того, чтобы спасать. Вот почему я и подписываюсь тут как братски Ваш во имя достигающей своих вершин всечеловеческой революции во всем мире

Герберт Джордж Уэллс».

Темной осенней ночью я перевел последнее слово (этот перевод — он и сейчас передо мной). Тревога кончилась. Во мраке грохотали только редкие разрывы немецких снарядов — оттуда, от Дудергофа, из-за Лигова. Я сидел и думал.

Он не ответил мне ничего на мое прямое и настойчивое требование, ни слова не сказал о втором фронте.

Но разве я был так наивен, чтобы ожидать этого? Тот, кто хотел бы получить такой ответ, должен был писать не Герберту Джорджу Уэллсу, а Уинстону Леонарду Спенсеру Черчиллю, «сыну предыдущего», как его титуловал когда-то всеведущий «Брокгауз и Ефрон». Но навряд ли и Черчилль ответил бы на этот вопрос быстро и прямо.

Нет, я не ждал этого. Я думал — думаю и сейчас, — что честное и откровенное обращение русского литератора к писателю-англичанину в такие дни, на таком пределе мировой напряженности, на таком историческом рубеже не останется не услышанным в Англии. Я думал, что факт такой переписки, а также и содержание такой переписки, независимо от того, кто писал, но принимая в расчет, к кому он обращался, принадлежит к фактам,

которые уже нельзя бывает «вырубить топором» из однажды бывшего.

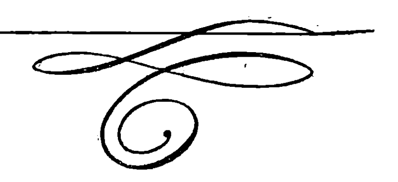
Кто еще знает — когда, на каком другом историческом повороте, эти два письма могут сыграть свою, пусть небольшую и не громкую, но благоприятную для нашего дела роль?

Два «больших дня» состоялись за всю мою долгую жизнь в моем общении с одним из величайших писателей Англии (да и всего мира, если говорить о первой половине нашего века!). Тот день, когда на плечи девятилетнего школьника свалился впервые груз его сложного, противоречивого, пленительного и нелегкого таланта, и тот, когда сорокадвухлетний командир Балтфлота увидел его телеграмму на своем столе.

Между этими датами протекла не только бóльшая половина моей жизни, — протекли величайшие в истории мира годы.

Я счастлив, что был их современником и свидетелем. Я рад, что сегодня могу открыть перед читателями эту страничку своей личной летописи: в ней отразился огромный мир, огромный век, тот размах гигантских событий, о котором так много размышлял, который так глубоко переживал, в котором так страстно хотел до конца разобраться «братски наш Герберт Джордж Уэллс».

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ



ПТИЧКА В КЛЕТКЕ

Всю мою жизнь я прожил в Ленинграде. Я люблю Ленинград больше всех других городов мира.

Иногда меня спрашивают: «А за что?» Мне хочется ответить: «А за все!» Но, подумав, я прежде всего вспоминаю страшные и великие дни блокады. А размышляя, что мне всего памятней в блокаде, я невольно улыбаюсь и говорю себе: «Герой труда Петр Соколов!»

Вот как вышло дело с Петром Соколовым.

Летом 1943 года командование приказало мне пойти на «Энский завод», — как тогда говорили, охраняя военную тайну. Посмотреть, что там делается, и заодно почитать рабочим мои фронтовые рассказы.

Грешным делом, я подумал: «Ленинградские рабочие теперь сами живут на фронте. Немцы — рукой подать; каждый день — обстрел, бомбежки... Зачем им мои рассказы?»

Но я был офицером флота: приказ — это приказ. Конечно, я пошел.

«Энский завод» до войны выпускал типографские машины — печатать газеты и книги. Теперь он изготовлял какие-то части реактивных минометов «катюш». Какие? Спрашивать об этом не полагалось: военная тайна!

Я пришел на завод в обеденный перерыв. «Пока народ кушает, — деликатно сказали мне, — хотите пройтись по цехам, посмотреть наше хозяйство?»

Понятно — хочу. Пошли.

Был теплый день, солнце. В пустых цехах стояли молчаливые станки: обед. Окна открыты, лучи падают косо, освещают всякое нужное железо. Людей — никого. За окнами — блокада: ни машин, ни трамваев. Когда не стреляют — тихо, как в лесу.

И вдруг я остановился...

В цеху пела птица. Зяблик или, может быть, чиж...

Инженер на костылях, который меня вел, взглянув на меня, махнул рукой к окну. У окна стоял станок, по-моему — токарный. Вокруг него были зачем-то устроены деревянные мостки, на стенке рядом укреплен жестяной вымпелок: «Станок ударника П. К. Соколова». А над станком, в оконном проеме, в солнечном луче, висела клетка, и в клетке то прыгал, то чистил носик о жердочку, то громко пел и сам себя с удовольствием слушал веселый птиченок. И впрямь — чиж или зяблик.

Окно на перерыв было распахнуто настежь. За ним росла береза; теплый ветер то вбрасывал в цех, то вдруг убирал на улицу одну из ее длинных, плакучих веток-кос.

— Ударник-то ваш — любитель птиц, по-видимому? — спросил я у инженера.

— Помешан на птицах! — махнул тот рукой.

— Старик, поди?

— Да нет, не старик... — коротко сказал инженер. — А вы его увидите. Пойдемте, ждут.

— Вы меня познакомьте с птицелюбом этим, — попросил я.

— Пожалуйста!

И мы пошли.

Шел я, признаюсь, не без легкого трепета: читать перед старыми питерскими рабочими... Ого! Гвардия, ветераны революции! А теперь еще блокада. Экая суровая твердость, экая закалка! Перед такими людьми каждое слово взвесишь, каждую мысль трижды продумаешь...

В столовой собралось человек сорок. Они сидели за столами и слушали меня удивительно хорошо. Понятно: моряков в Ленинграде уважали и любили всегда, а уж в блокаду — особенно. А ведь на мне была флотская форма, капитанские погоны.

За столом против меня восседало и верно несколько усатых пожилых мужчин. Но в смешных местах эти усатые начинали хохотать раньше остальных, да и замолкали они позже. Один даже вытирал глаза белым с каемочкой платком.

В местах же, где шла речь о печальном или о героическом, они все, как один, суровели, и морщины на их лбах разглаживались труднее, чем на других.

А эти «другие» — были. Среди стариков я заметил пятерых женщин в ватниках и около десятка подростков. Это меня не удивило. «Ясно. Подобрали оставшихся в городе ремесленников и пристроили к делу, — подумал я. — Главным образом подкармливают, конечно!»

Самый низкорослый из этих пареньков сидел совсем близко, прямо передо мной, рядом с коренастым пожилым человеком — похоже слесарем или токарем. На нем была

старенькая форменная одежка мышиного цвета. Он был худоват, малокровен — блокада же! — казался одиннадцати- или двенадцатилетним.

С первого же слова он как уставился на меня неподвижными, большущими темно-серыми глазами, так и не оторвался до конца. Когда матросы — там, в моих рассказах, — ходили в четвертую атаку на берегу, когда катера неслись на противника под огнем с финских батарей, когда девушка-снайпер внезапно разглядела фашистского стрелка-аса за можжевеловым кустом у Копорья, он так ломал пальцы от напряжения, так весь подавался вперед, так закрывал глаза, что скоро я стал читать как бы для него одного: очень уж переживал он все вместе с моими героями.

Коренастый слесарь тоже видел это. Чуть улыбнувшись в усы, он вдруг поднял и положил на худенькое плечо соседа свою большую, короткопалую руку. И когда тот дергался от волнения, он очень ласково пожимал это ребячье плечо: «Ну, ну, мол... Чего уж там! Переживем!»

Так у него это хорошо получалось, что мне вдруг подумалось: «А пусть этот кряжистый дядя и окажется тем самым любителем птиц! Смотрите, как здорово: орден у него, Красная Звезда, — фронтовик, значит. И ударник. И с птицей возится. И — вон он с парнем как прекрасно...»

Теперь я читал обоим им: экая милая пара!

...Я кончил, мне похлопали.

Народ встал, меня окружили, заговорили наперебой...

— Товарищи! — сказал я. — Познакомили бы вы меня с Соколовым, Пе-Ка... Это — он? — И я указал на слесаря.

— Никак нет,— ответило мне несколько голосов.— Это тоже Соколов, да Пе-Эн, Павел Никифорович. Никифорович! А ну, дай-ка нам тезку сюда...

И плечистый человек, которого я в воображении своем признал за Соколова «Пе-Ка», ударника, поймав крепкой рукой своей за воротник того самого глазастого, тощенького парнишку, неумолимо подтянул его к нам.

— Вот он, товарищ капитан, тёза мой, наш Пе-Ка знаменитый! — хрипловатым голосом отставного боцмана или старшины, и с такой гордостью, точно своего собственного прославившегося сына, представил он мне упирающегося мальчугана. — Чудо блокадного Ленинграда! Четырнадцать лет шесть недель от роду, как один день, а впору старикам в пример ставить. За станком — взрослую норму четвертый месяц дает. При налетах вражеской авиации — главное Эм-Пе-Ве-О: еще противник — где, а он на посту, на крыше... Запрещали! Не слушается, хоть колючей проволокой привяжи; в момент на втором цеху на крыше: оттуда дальше видать. Да что же ты помалкиваешь, Петр Константиныч? Садись против капитана, беседуйте. Рассказывай про себя.

Полное отчаяние выразилось на бледненьком — одни глаза! — лице мальчишки.

— Да Павел Никифорыч, да я... Да что говорить-то? Я...

И тут произошла вторая неожиданность. Хотя — какая там неожиданность: произошло самое тогда обычное. Вдруг, как гром из ясного неба, взвыла из радиорупора мощная общегородская сирена. Тотчас же — у-у-у-о-о-о-а-а-а! — ее горестный вопль подхватила вторая, местная, на заводском дворе... «Ваз-душная тревога! Ваз-душная тревога! Ваз-душная тревога!» — раздался нечеловеческий, давно записанный на пленку, всем знакомый холодный голос репродуктора. И...

И тут П. К. Соколов, храбрец «Пе-Ве-О», ударник труда, помертвел. Нет, не помертвел, — он забился, вырываясь от своего однофамильца:

— Ой, Павел Никифорыч, ой... Ой, отпустите меня ради бога... Не могу же я... Там же — окно открытое... Я — боюсь... Мне в убежище надо...

Старый токарь (может быть, он был слесарем — не помню) поднял брови, промычал что-то и разжал пальцы. И храбреца не стало: исчез, как воск от лица огня...

Хорошо, что я человек неторопливый: я не сказал сразу того, что мне пришло в голову.

Павел Соколов стоял и пронзительно смотрел на меня. Строго смотрел, точно спрашивал: «А ну, писатель, какие у тебя мысли?»

— Побежал! — проговорил он наконец, не отводя от меня глаз. — Думаете, струсил? А он и верно струсил. Но — за кого? За чижа своего, за такое сокровище! И ничего смешного нет: у него еще в сорок втором дом разбомбило. Была мать — нет матери. Сестренка была, лет пяти, он ее нянчил, — нет сестренки! О ком ему хлопотать, заботиться?.. Струсил! А окно-то открыто; вдруг волной клетку расшибет, птицу ударит? Пока птичка в клетке живая, он теперь — клетку в руки, мигом в убежище, спрячет — и на крышу. Вот там он ничего не пугается. Там он — первый герой.

...Петя Соколов пришел на завод осенью прошлого года. То есть как — пришел? Привели. После той бомбежки он попал в госпиталь. Он и спасся-то чудом: две стены, падая, сошлись над ним шатром и не распались. Его отрыли через сутки.

После госпиталя он убежал из общежития ремесленников на фронт, к Пулкову. Вернули: куда ж такого? Еле живой парнишка... И вот — завод. И тут оказалось: у этого Соколова — талант. Точно родился токарем, да каким! В Ленинграде в то время каждая пара рук была вот как дорога. Приспособили ему самый маленький станок, «самый малогабаритный»; даже мостки вокруг нарочно сде-

лали: так-то ему не дотянуться до суппорта. И вот, начал он работать...

— Зло он работал, товарищ капитан, точно на деталях свою беду срывал. Но работал классно, всю зиму...

А весной заметили: стал запарывать детали. Задумываться, что ли... Почему? Присмотрелись, а это — воробьи. Свили над окном гнездо, вывели детей: чириканье, возня. И он — ну мальчишка же еще! — как на них заглядится, станок «вз-вз», а он все забыл. Со столов крошки собирает, им сыплет на подоконник...

Ну вот, — торопливо проговорил Павел Соколов, Соколов-второй, — придумали, добыли ему чижа...

— Придумали! Добыли! — зашумели вокруг. — Это он сам все придумал — Никифорович! Ну как же: тезка, однофамилец; дружба у них получилась... И где он посреди блокады птицу достал, вот фокус...

— На Островах поймал, — неохотно сказал Павел Никифорович...

— То-то что на Островах, надо же! Ну клетку, конечно, сделали, повесили все хозяйство с вечера над станком, смотрим. Он пришел, увидел... Думали — помрет. Верит и не верит: «Это — мне? Это — мой?» Потом замолчал, руки к груди прижал, стоит и сказать ничего не может...

— Ну, тут воробьи — на пенсию, по боку; работа пошла как штык, показатели растут. Но к клетке не подойдите: кидается как зверь. И вот, сами вы видели: обстрел или бомбежка — тут уж с ним соброзу нет. Пока чижа в убежище не стащит, весь колотится, боится. За себя — ничуть, а за чижа — как за ребенка...

— А что? Он же у него единственный остался, которому еще помощь нужна,— сказал тихий женский голос.— Эх, моя бы воля — я бы этого Гитлера проклятого на шурупчики-шайбочки всего разобрала. За одного за Павлика этого, за его сиротство горькое...

— И разберем, Наташ, — тотчас же ответили женщине.

— Будь спокойна, разберем. И его, и еще многих... Не мы, так другие.

Когда я слышу слово «Ленинград», — я вспоминаю блокаду. А подумав «блокада», непременно вижу перед собою четырнадцатилетнего токаря Соколова и над ним, в солнечном луче, птичку. Птичку в клетке. Не могу забыть.

ЗАЖГИ ОГОНЕК!

Темным, зимним днем мы двое, я и писатель Николай Корнеевич Чуковский — оба в морской форме, потому что была война и мы служили на Балтийском флоте, — вышли из учреждения, в котором работали, — оно называлось Пубалт — и пошли разыскивать нужного Николаю Корнеевичу человека, какого-то летчика, на короткий срок прибывшего с фронта в Ленинград.

Очень темно было на улице. В декабре в Ленинграде всегда темно, но еще мрачнее все вокруг казалось от блокады: шла зима сорок второго — сорок третьего года, враг стоял под самым городом, и, хотя настоящая темнота начиналась только к ночи, — оттого, что мы были вот уже восемнадцать месяцев замкнуты в кольцо, оттого, что почти все время с юга, под низким зимним небом, приходили сюда, в город, тупые тяжелые удары, потом сквозь облака слышался ставший давно привычным свист и вой, и потом где-то неподалеку — то справа, то слева, то спереди, то за нашими спинами — раздавался точно хриплый кашель великана, разрывался, руша стены, выбивая стекла, калеча людей, вражеский снаряд, — от всего этого ка-

залось, что такого мрака мы еще не видели никогда — разве вот только в прошлом году.

А в то же время, оживленно разговаривая, мы шли по городу, засыпанному чистым, белым, как какой-нибудь аптекарский порошок, снегом. И к выстрелам, и к разрывам снарядов, и к блокадной темноте все мы давно привыкли. Мы никогда не говорили об этом, но в наших душах с каждым днем все шире росла гордость: полтора года фашисты топчутся вон тут же, рукой подать, а ничего не могут сделать с нами. И — теперь уже видно — ничего не сделают. Выстоит Ленинград, и блокада кончится, ужо! Стреляйте, поганцы, стреляйте! Теперь уж поздно: ничего не получится! Под Сталинградом вас бьют, придет и на нашу улицу праздник...

Идти было далеко, через Неву, за Невский, в Столярный переулок. Летчик вчера позвонил в Пубалт по телефону, сказал адрес, но предупредил, что пробраться к нему не так-то просто. Он остановился у своей сестры, а та живет в разбомбленном доме. Там есть полуразрушенные лестничные пролеты, подниматься надо с осторожкой: тьма египетская, смотрите, как бы не ухнуть с четвертого этажа! Он хотел нас встретить; но мы были сами люди военные, зависели от начальства, и сказать, когда точно выберемся, — не могли.

Были уже сумерки, когда мы в темном переулке разыскали темный шестиэтажный дом, вошли в темнее ночи темный двор и, поразмыслив, вступили на лестницу справа; чтобы описать, какая там царила темнота, и сравнений бы никаких не хватило. Мы даже постояли минутку перед дверью: на дворе, когда приглядишься, чуть мерцал пушистый снег, на котором не было ни копоти, ни грязи, ни следов — только три или четыре узенькие четкие тропочки; а там, в щели за вмерзшей в снег и незакрывающейся дверной створкой, густилась такая чернота,

что нырнуть в нее было страшно, как в холодную прорубь.

Кругом не было ни души. Шестиэтажные стены стояли поднимаясь до самого неба. Две стены были обыкновенными; две другие кончались наверху какими-то причудливыми зубцами; сквозь оконные квадраты тускло светилось небо: видно было, что в этих двух корпусах — пустота, ни полов, ни потолков, все вырвано бомбой, — вернее, даже двумя бомбами.

— Д-да! — сказал Николай Корнеевич. — Ну, что ж?..

Я шагнул в дверную щель и почти испугался.

За дверью, в кромешном мраке, точно бы глядело на меня красненькое кроличье око — светился чуть заметный, еле живой огонек; не сразу сообразишь, что он есть; думаешь: может быть, это от темноты так показалось?..

Но нет — в темноте и верно горел огонек. Этому было трудно поверить: на пустой лестнице, на ветру, на холоде — маленькое, окруженное радужным сиянием пламя...

— Смотрите, Николай Корнеевич!

Приглядевшись, мы увидели истинное чудо. На нижней площадке, около пустой клетки лифта, стоял кособокий деревянный стол: у него были только две ножки и держался он на каком-то старом ящике. На столе стояла большая стеклянная банка-бочонок, огромная, литров на десять. Там, внутри, как золотая рыбка в аквариуме, и жил огонек. И ветер не трогал его, и он тихонько сидел на фитильке обычной коптилки — «волчьего глазка», поставленного посреди банки. И помаргивал очень скромно, даже вроде как-то сконфуженно: «Простите меня за смелость, но вот — горю...»

Глаза привыкли к его чуть зримому свету, и стало видно: у банки нет дна, и поставлена она на каких-то железках, так что воздух проходит под нее и огоньчишко не задыхается. И вправду — горит!

А рядом с банкой — все это только постепенно выступало из черноты — на железном противне лежит кучка тонко нащепанных лучинок; довольно большая кучка, точнее — две: справа — свежие, слева — с обожженными концами. И над ними установлен кусок картона с какой-то, сделанной, по-видимому, углем, надписью... Кто писал, что писал, зачем?

Картон пришлось придвинуть к самой банке. И тогда мы прочли на нем слова, поразившие нас в самое сердце.

«Дяденька (или тетенька)! — было написано там. — Зажги огонек! Если прикуришь, положи лучинку назад: их трудно доставать. А если пойдешь наверх, свети себе, потому что на третьем этаже провал...»

— Послушайте, Успенский! — пробормотал Николай Корнеевич после довольно долгого молчания.— Я не верю! Этого не может быть! Мы что — в сказку пришли?

Он взял лучинку, опустил ее сверху в прозрачную «урну», осторожно нацепил на нее огненный лоскуток. Вокруг посветлело. Я торопливо полез в карман за папиросами: в блокаде было так — есть огонь, прикуривай; потом неизвестно, будет ли он... Взяв еще парочку щепочек, мы быстрыми шагами пошли вверх по лестнице; нам надо было на пятый этаж. Но на площадке третьего этажа мы дружно остановились: половина площадки отсутствовала, она рухнула вниз; перил не было... Хороши бы были мы тут, в этой преисподней тьме, без света...

Летчик, друг писателя Чуковского, открыл нам и ахнул:

— Товарищи, у вас что же, фонариков нет, что ли? Так как же вы?.. Безобразие какое! Я бы обязательно вас встретил, если бы знал. Спички жгли?

— Какие там спички в сказочном царстве, — с торжеством ответил ему Чуковский. — Вы знаете самый

лучший лозунг на свете? «Зажги огонек!» Вот! — Он протянул ему полуобгорелую лучинку. — Видали? И прежде всего отвечайте: кто это? Кто придумал это неугасимое пламя? Кому пришло в голову? Где этот блокадный Прометей? Сейчас же покажите нам его!

Широкое грубоватое лицо летчика (у него-то в руках сиял отличный фонарик, с красным и зеленым светом, мечта моряка на суше) расплылось в счастливой улыбке.

— Ах, значит, добыли-таки древесину? — с удовольствием сказал он. — Ну — молодцы... Вот — молодцы! А то у них тут ее дня три не было, так темнота началась — жуть... Да это тут у нас двое ребят, единственные, которые остались во всем доме... Генка такой и Нину́шка: нет, не брат с сестрой, из разных квартир. Говорят: «Мы тоже хотим что-нибудь делать...» Говорят: «Мы же — пионеры!» Да лет по двенадцать, что ли. И вот, придумали: уже второй месяц у них эта неопалимая купина горит. Откуда они керосин, фитили берут, не скажу вам... Но — молодцы, правда ведь?

Кончилась война. Николай Корнеевич Чуковский переехал в Москву, я остался в Ленинграде. Встречаться нам с ним теперь приходилось нечасто. Но каждый раз, как это случалось, мы, еще даже не успев пожать друг другу руки, улыбались, как заговорщики, и произносили, точно пароль на фронте, одну и ту же фразу: она пропускала нас в царство воспоминаний, у дверей которого, из глубокой тьмы, выступали перед нами две худенькие ребячьи фигурки. Мы говорили: «Зажги огонек!» И вокруг нас и у нас на душах сразу становилось светлее и теплее.

Я не знаю, сколько я еще проживу на свете, но этого удивительного призыва я не забуду никогда.

ТЕРПСИХОРА

Она,

. . . .

Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

А. С. Пушкин

Эол был северо-восточным, неистовым. Повизгивая и позванивая острыми осколками стекол, выбитых разрывами бомб, он врывался в коридоры, на лестницы, в артистические уборные, на сцену.

«Уста» его дули не переставая, и «внутренний», особенно злой, иней — не тот, который превращает деревья на бульварах в канделябры, вычеканенные из серебра, а тот, который похожим на морозную плесень налетом облепляет обои комнат, красное дерево шкафов и черное — роялей, — этот безнадежный иней покойницких и руин, летел как пух от темных свирепых уст.

Спектакль кончился. Надо было — ничего не поделаешь — идти домой. А идти значило перемещаться из одной стужи — стужи кулис и колосников — в другую, уличную, более честную, но и более свирепую. Потом — в третью, квартирную, совсем уж безвыходную, тесно слитую с вечными потемками — затемнение! — с копотью и запахом керосиновой коптилки и сырости. Потом — в четвертую, самую страшную, — в стужу постели... До утра!

Так сразу решиться на все — это было нелегко. В уборной артистки все еще странно позвякивала, как-то попискивала, охлаждаясь, и порой еще выдыхала капельку тепла маленькая, протопленная каким-то бумажным хламом, железная времянка. «Не уходи, — советовала она. — Не уходи, пока я еще не остыла!»

В нерешительности, вплотную приникнув к этой умирающей благодати, артистка, танцовщица, «жрица Терпсихоры», то свивала, то развивала стан, укутывая его не одним — несколькими пуховыми платками. Она била «ножку быстрой ножкой», наколачивая на них тяжелые, настывшие валенки.

Не помогало! Ноги — почему-то особенно правая — ныли. Пальцы мерзли остро и ядовито; один — совсем онемел...

Артистка вздрогнула. Голод, долгое недоедание шутит странные шутки над человеком, погружает его в полуреальный, двойственный мир — не то в сон, не то в явь. Вдруг примерещилось, что спектакль еще длится, что это антракт, что, сейчас придется опять раскутываться, раздеваться и, сверкая голыми плечами и поддельными драгоценностями чашек, лететь баядерой «в диагональном фуэтэ» через такой страшный, лютый мороз сцены... Сквозь холод, какой когда-то снился только покорителям полюсов. Сквозь воздух, от которого птицы на лету мерзнут...

О, как хорошо понимала она теперь этих падающих среди полета на землю птиц! Казалось бы — танец. Пляшущий должен согреваться в движении: «Попрыгай, Ниночка, и станет тепло!» Ох, обманщики!

Она придвинулась еще на сантиметр к печурке: милое, родное, необходимое! Не уходи, тепло! Останься!

И вдруг ей стало смешно: вот так смех! Она вообразила себе то, что каждый раз предшествовало спектаклю: одевание. Баядера... Бенгалия! Значит, танцевать надо полуобнаженной. И чего только не накручивали теперь на себя все эти девы и юные жены — всюду, где тело было хоть немножко прикрыто, под шелк и парчу легких покровов... О боже, господи, оделись, загримировались!

Эти истощенные ручки, эти остро выдающиеся ключицы, полусонные глаза... Неужели не безумие танцевать в такое время? Балет в блокаде?

Правда ли, что этот их ни на что не похожий, всему вокруг противоречащий труд (говорят: «подвиг»!) кому-нибудь нужен?

А ведь нет, нужен! Каждый день перед театром, в мертвой тьме зимних сумерек, собиралась толпа. Никто не шумел, почти не двигался, не ходил с места на место, не топал на холоде ногами — у кого были силы для всего этого?

Просто странные, закутанные до самых глаз бесформенные призраки бесшумно и медленно плавали над снегом, переговариваясь почти шепотом: «Товарищ... Лишнего билетика нет? Я хлебца могу дать немного...»

И зал каждый раз бывал полон, вот ведь что! Много серых шинелей, много моряков, но и просто блокадников сколько угодно. И — аплодируют. Правда, аплодисменты получаются какие-то не те; иной раз даже не очень-то их слышно. Но зато длятся они без конца. И если вглядеться, можешь увидеть то тут, то там белые повязки; забинтованную руку, прислоненные к барьеру или к спинке кресла костыли...

Так, по-видимому, — да, нужно! Подвиг не подвиг — нужно. Когда стреляют, нужен порох, нужна пуля! Но ведь и ружейное масло необходимо, чтобы сработал затвор. Видимо, и маслу искусства нельзя застывать в этом нечеловеческом морозе. Не имеет оно права застыть.

Артистка молча смотрела прямо перед собой. Ей вдруг стало жалко и себя, и товарищей по работе, и Ленинград, и тех, с забинтованными руками... Потом совсем другое, непохожее уже на жалость, чувство прошло неожиданным теплом по спине — гордость? Да, отчасти. И —

упрямство; гордое упрямство, медленно разливающаяся где-то между телом и душой твердость: «Ну нет! Ни за что!»

Взяв с «буржуйки» пригревшуюся на ней варежку, она сначала вытерла ею глаза: платка-то уже не достать. Потом закинула голову и закусила губу: «Ни за что!» И вдруг слабо ахнула: «Ох, и это еще!»

В уборной, у стены, стояли два, на три четверти полные, ведра́ с водой. Поверхность воды покрывал тонкий, как стекло, ледок. Неудивительно: минус шесть, вон гра́дусник!

И надо было эти ведра поднять на самодельное, кое-как слаженное из какой-то доски, коромысло и — нести. Нести мимо замороженной посреди сквера Екатерины в обындевевшем бронзовом роброне. Нести под слепым взглядом философов и ученых с фронтона Публичной библиотеки. Нести у ног черных латников, стоящих караулом в нишах павильона у Аничкова дворца... Домой, на улицу Толмачева. По каким сугробам, по какой гололедице, по какой кособокой тропе... По какому страшному, дорогому, замученному, героическому, полумертвому и бессмертному городу... Бессмертному во веки веков!

...Танцовщица осторожно выходит на площадь к скверу. Жестокая луна «сквозь волнистые туманы» освещает все: деревья, исковерканные недавним обстрелом, зияющие дыры окон в ближних домах, продолговатый сугроб у решетки — говорят, под ним лежит замерзший старик...

Тропка, плохо натоптанная, шарахается от этого сугроба. У людей не хватает силы пробить ее, как следует; получается канава с острым дном. Ноги скользят: воду носят многие. Не умеет она этого: «По улице мостовой шла девица за водой». Не умеет, и все тут! Но — надо. А надо, так вот и несет!

Вода плещется, потому что кустарное коромысло не пружинит и ведра раскачиваются. Они пляшут, проклятые, в каком-то диком, невероятном ритме... Вода проламывает ледяную корку. Она выплескивается из жестяного плена убийственно-холодными, серовато-голубыми от луны языками. Замерзает на валенках. Обливает полы шубки. А стоять нельзя, надо идти, идти, идти...

Идти не только холодно, но и жутковато. Полное молчание. Белая пустыня, обрезанная стылыми стенами неживых, насупленных каменных громад. Никто не попадается навстречу. Никто не догоняет. Пустота, еще более пустая от луны. Чугун решетки, холодный. Фонарный столб, забывший про свет. Троллейбусные провода, лопнувшие, сбитые осколком, свернувшиеся в хищную спираль. И женщина, которая столько раз танцевала и адажио, и скерцо, которая столько раз вылетала к ярко освещенной рампе задыхающаяся, разгоряченная, счастливая, но никогда, никогда...

Нет, лучше не думать, не думать. Не думать!

А ложа, где, красой блистая,
Негоцианка молодая...

Она переходит Невский. Странно представить себе, что тут когда-то неслись машины, сияли рекламы, кокетничали женщины, трамвай звенел... Она приближается к стене «на том берегу» — к черной, как базальтовый обрыв где-нибудь средь ледников Гренландии. Да, — или это только бред? — вот тут был магазин фарфортреста, стояла за стеклом статуэтка Карсавиной — Жар-Птицы... Почему тогда не купила ее, дуреха?

А это окно? Был «Табакторг»; пахло «Золотым руном»; входили и выходили веселые люди, много людей; а она в светлый летний вечер, легко одетая, оживленная,

стояла вон там, облокотясь на медный брус витрины, и капризничала: «Куда? На Стрелку? Не хочу...»

Нет, не думать об этом, не время, нельзя. Думай о другом, Терпсихора!

И вот она, неся на плече полурасплесканные ведра с драгоценной водой — в театре вода идет, а дома — давно замерзла! — шаг за шагом приближаясь к углу Толмачева, думает о другом.

Она думает о том, что ей, как депутату Ленсовета, надо завтра так или иначе добраться до райисполкома и во что бы то ни стало устроить в детдом этих трех маленьких полумертвецов из седьмого номера. Иначе — кончено.

Она думает, что при первой же возможности надо организовать нормальный тренаж, особенно для молодых — они хуже выдерживают, — в театре, за станком... Мало ли, что еле двигаются! Тем более, если еле двигаются! Артистам всё дают, что можно наскрести. Свет, пайки — все, как рабочим. Как солдатам. Так и надо работать!

Вспомнила про этих малышей из седьмой квартиры, и вдруг—не оттолкнешь!—первая бомбежка, в сентябре... Ее, командира звена ПВО, вызвали перевязывать раненых... И там был один мальчик с перебитыми ножками... Ой боже мой, лучше не надо!

Как она всю жизнь боялась крови — даже от малой царапины; как обмерла, когда ее вызвали — туда. Как пришла потом домой, вся в этой — детской же! — мученической крови, колотясь от жалости, ярости, боли.

А потом? Спектакли в часы тревог и бомбежек (через гулкую, как дека инструмента, сцену каждый разрыв отдается в ноги еще страшнее!)... Выезды на фронт, за Кировский завод, к Сестрорецку... Какая-то канава: отлеживались от целой стаи «мессеров»...

Спектакль, когда бомбят, прерывается; публика — кто бежит, кто медленно идет в убежище. А потом, после отбоя, кто-нибудь из артистов выходит к рампе и рассказывает содержание вырванной тревогой, разбомбленной части действия: затягивать спектакль нельзя, надо укладываться в срок. А театр — единственный во всем городе. Наполовину вымерший, отощавший, еле живой, но ведь работающий, играющий, посещаемый...

Единственный? Это слово внезапным морозцем проходит по ней. Единственная луна глядит на нее сверху. Единственный — такой город распростерт под этой луной, на краю такой бездны, такого моря мерзости, бьющего волнами в Пулковские высоты... И вот — единственная в мире балерина с ведрами на коромысле, еле бредущая по белой, пустой улице...

Да уж не одна ли она осталась в живых па свете? Есть ли где-нибудь другие люди — живые, думающие, пусть страдающие, но живые?

Думать так — страшная слабость!

Ее надо вырвать из души, отшвырнуть, отбросить. Но какой силой, как?

И происходит чудо. Впереди, уже на самом углу, вдруг означается чуть движущаяся тень. Кто-то идет там тоже шаг за шагом по лунному пространству, потом скрывается в косой чернильно-синей тени, потом... Человек! Это — хорошо! Еще один человек... Это — прекрасно! Значит — не единственная!

Да, да, вот «оно» стоит за углом, прислонившись к стене, передыхает. «Оно», существо, не мужчина и не женщина, нечто непонятное, заболтанное в дикое тряпье,— существо, как все. Бесформенная кукла в женской шубке на плечах, в мужских ватных штанах, в разлатых подшитых валенках. «Оно» стоит неподвижно — так стоят все теперь, передыхая; «оно» дышит трудно, с надры-

вом — так и все теперь! Перед его лицом поднимается кверху струйка пара. Не как у всех — только как у живых.

Приближаясь, артистка осторожно огибает сугроб. По этому косогору не пройдешь с ношей... Она ступает на склон и скользит. Ведра раскачались. Вода плещет с новой силой...

И тут то существо заговаривает. Еле слышно оно окликает ее по имени.

— Нина Васильевна! — свистящим шепотом говорит этот человек. — А ведь танцуете-то вы... полишей... Полишей, говорю, чем водичку носите... Позвольте, я вам помогу, насколько в силах...

Стала как вкопанная.

— Откуда вы меня знаете?

Человек, тяжело дыша, неуклюже, как недоученный медведь, переступает опухшими ногами.

— Ну вот еще... — останавливаясь после каждого слова, говорит он. — Я старый балетоман... Да и живу рядом... А теперь вас каждый знает... Тех, кто тут, с нами... Силы-то у меня... нет. Но совет дать могу...

Он приблизился к ней. Он нагибается и поднимает комок снега — чистого, белого блокадного снега.

— Вот... Снежку немного... в ведра... Меньше будет плескаться... Как же вас не знать, когда вы такое дело делаете?.. Народ — на пределе сил. Надо ему отдушину дать. Вот вы и... Меня возьмите: автогенщик я, сварщик. Старуха — на той неделе... не выдержала... Старший — под Смоленском... еще в начале. Второй — пока что жив; тут он, у Дубровки... Сижу, как с работы доберусь, один: вся квартира пустая. Помирай, старик: все равно ты-то за горло их взять неспособный... Так сдавит тоской, так сдавит...

И вот — тащусь к вам, в театр... И посидишь... И появляется, знаете, такой вроде свет в пещере... Нет, не на-

всегда ведь это... Кончится! Человек-то ведь не может зверю сдаться...

И знаете, от сына товарищ недавно приезжал, так первое слово его: «Скажите, папаша, может ли быть, что у вас тут в Ленинграде театр действует? Мне войско наказ дало: „Сам сходи, удостоверься. Приедешь, доложишь"».

Ну, и сходил. И поехал. «Эх, батя, батя... Конечное дело, на нашем «пятачке» тоже железному не выстоять — только который хромированной стали человек выдерживает. Но посмотрел я на ваших артистов — вот это да! Нет, что тут говорить: не взять ему нас. Выдюжим. Ох, ну и люди: герои!.. Танцуют, а?!»

Теперь они расстались. Теперь заслуженная артистка, балерина, орденоносец, стоит со своими полурасплесканными ведрами среди двора. Белая стена с черными проемами окон высоко поднимается над ней. Флер лунной тени висит наискосок через двор. Двор — как слуховая трубка: на улице артиллерии не было слышно, а тут — вот она, бьет. Стало еще холодней, еще пустынней. Но странное дело: как бы полегчало — в ней или вокруг нее. Что-то изменилось. Она задыхается, но по-хорошему, как в тот день, когда она получала орден.

«Танцуют... герои...»

Она поднимает коромысло чуть повыше на плече, чтобы пересечь двор. А может быть, и правда сегодня Терпсихора получила высокую награду?

Вода в ведрах опять покрывается тонким льдом. Драгоценная вода блокады. Живая вода, которую осторожно и безропотно надо донести до конца. И может быть, опустить в нее вот такой снежок. Чтобы не расплескать ее.

ОДИН ИЗ ТРИДЦАТИ ТРЕХ

> ...море вдруг
> Всколыхалося вокруг,
> Расплескалось в шумном беге
> И оставило на бреге
> . . . .
> Тридцать три богатыря...
>
> *А. С. Пушкин*

Двадцать второго сентября сорок первого года начальник политотдела ИУРа * полковой комиссар А. В. Медведков приказал мне идти на станцию Пионерская, сесть там на мотодрезину и «убыть» с ней к станции Калище.

— Они, туварышш писатель, — пробурчал хмурый с виду, но добродушный, как сущий «медведко», помор-полковой, — подвезут вас до места... В Калище не слазьтс; скажите, я приказал до самого Бориса Петровича. Да они будут знать...

Я привык, что воинские подразделения тут именовались по фамилиям командиров. Но чтобы какую-нибудь часть называли так почтительно — по имени-отчеству, показалось мне неожиданным.

— А фамилию не укажете, товарищ полковой комиссар?

— Это — чью же фамилию-то? — не понял Медведков.

— А вот... Бориса Петровича... — в свою очередь удивился я.

— Туварышш писатель! — развеселился начальник политотдела. — У него фамилии нет! Это для секретности так мы говорим. «Борис Петрович» значит «бронепоезд»! Я — по привычке так. А командир там — боевой. Вам интересно будет...

Я отправился на не обозначенную ни в каких жел-дор-справочниках станцию Пионерская. Дрезина стояла на

---

* Ижорский укрепленный район.

путях. Первое лицо на дрезине, старшина, приняло меня с почетом: «Отвезем хоть до самых фрицев!»

Мы почти тотчас тронулись, и мне стало ясно: помимо пищи духовной дрезина везла «Борису Петровичу» нечто куда более существенное: горячую еду в походной кухне (или, может быть, в каком-то другом устройстве) на прицепленной к ней маленькой платформочке и некую «емкость» с жидкостью. Ее старшина поставил между коленями и неотрывно придерживал рукой.

Лебяжье лежит на 61-м километре от Ленинграда, Калище — на 82-м. Одноколейная дорожка змеится в лесах, тут — хвойных, там — лиственных, порою пересекает небольшие открытые пространства... Песок, болотца...

Вечерело; солнце садилось справа за незримое, но близкое море. Вдруг дрезина стала как вкопанная.

— Товарищ интендант третьего ранга! Глядите-ка... Это надо же!!

Влево уходила неширокая просека. И среди нее, метрах в пятидесяти от полотна, наискось, головой к нам, стояла лосиха и кормила лосенка. Совсем крошечный, новорожденный, на нескладных палках-ногах, он тыкался мордочкой в вымя, спотыкался, с трудом сохранял равновесие...

Я высунул голову в окно. В тот же миг злой и хриплый знакомый «кашель» донесся из-за лесов: разрыв «тяжелого».

— Не по нашему усу бьет? — полуспросил, не отрываясь от лесной идиллии, моторист. (Я уже знал: «ус» — короткое временное ответвление рельсов, веточка пути.)

— Ну да, где ж по нашему?! Много правее: по Лачину... Да и время не наше: по нам он днем, с пятнадцати до семнадцати; хоть часы проверяй... Давай езжай дальше!

Вечер; туманчик по лужайкам, как в кинофильмах показывают... А ведь — война!

Станция Калище — крошечный вокзальчик среди поросших сосной песчаных дюн. Старый ленинградец, я сорок лет не подозревал, что такая существует.

Мимо течет речка, со странным именем — Ковашѝ, неожиданно быстрая и чистая по этим песчаным и торфяным местам. В трех километрах от станции она впадает в море, между деревушками Ручьи и Долгово. Год назад это были никому неведомые рыбацкие поселки. Две недели назад все это стало фронтом: передовые силы фон Лееба, форсировав было другую такую же речку, Воронку, рванулись вперед в полной уверенности, что до моря их уже ничто не остановит... Остановили...

Теперь это был ближний тыл морских бригад. Они и крепостная артиллерия выбросили противника обратно за Воронку и на долгие два с половиной года стали стеной на ее рубеже.

По щиколотку в песке я шел за сопровождающим по полотну. Километрах в полутора за выходным семафором обнаружилась глубокая полувыемка — почти отвесный откос справа, на высоту хорошего городского дома. Слева — болото, негустой, чахловатый березняк.

Три года назад мы с Георгием Николаевичем Караевым, работая над «Пулковским меридианом», облазили тут все. При мне и теперь была наша карта-десятиверстка — древность, «оконченная в 1868 году, исправленная в июле 1920 года», вся исчирканная стрелами наших и юденичевских ударов времен белогвардейщины. Мы тогда ходили тут, но могли ли мы думать...

По карте было видно: дорога за выемкой изгибается влево, к юго-востоку. Еще восточнее, вон в том лесу, — название почище, чем «Коваши», — деревня Ра́копежи. Ингрия; тут сидели ингеры — ижора: имена — запутанная

смесь финского и старорусского. За Ракопежами — близкая опушка леса; дальше — низменная долина Воронки, и на горизонте — возвышенность: Копорская гряда. Там, за мелкой, курица вброд перейдет, речкой, — они, гитлеровцы. Другой, враждебный мир...

— Приставь ногу! (Это флотская замена армейского «стой».) Кто идет?

Невольно вздрогнешь: я поклялся бы, что впереди — никого и ничего нет. Тупичок; рельсы упираются в молоденькую еловую поросль по заброшенному полотну. И вдруг: «Приставь ногу!»

Приставил. Из-за елушек выявился краснофлотец в бушлате, посмотрел мои «верительные» бумажки, и елушки оказались чистым камуфляжем. За их тонкой стенкой продолжался путь, открылись стоящие на рельсах вагоны. По-моему — три: два «классных», один «мягкий». Это и был, так сказать, «второй эшелон Бориса Петровича», его КП на колесах, капитанская рубка и матросский кубрик сухопутного корабля.

Встреча с „мозговым трестом“

Уже по пути к вагонам (от нагретой за день крутой песчаной стены откоса веяло сухим жаром, пахло вянущей хвоей и листвой маскировки) сопровождавший спросил меня довольно благосклонно:

— А вы, товарищ начальник, извиняюсь... капитана нашего еще не видывали? Ну посмóтрите: ему бы только бурку на плечи и — Чапай! И фамилия боевая: Стукалов!

Не дойдя до места, я уже почувствовал: на мою долю выпала честь посетить не обычное подразделение, а особенное — стукаловцев! Мне предстояло увидеть нечто выдающееся, внушающее чувства восторга и гордости. Так, по крайней мере, можно было понять слова старшины:

— Нам в плен сдаваться? Никак нельзя: стукаловцы! Нас фрицы вот как знают!.. А он — сами увидите: Чапай, Чапай и есть! Он из окружения от самой Виндавы вышел и сто двадцать человек вывел. К Чудскому озеру! Да и все у нас, ничего не скажешь, — один к одному. Командиры хороши, ну и личный состав подобрался.

И вот я в чистом, как зеркало, вагоне. Отвлекись на мгновение от действительности — сел я на Московском вокзале в «Стрелу», и предстоит выяснить, какие сейчас на мою долю выпадут до Москвы попутчики. Не приведи бог — дамы...

Гранитолевые стенки коридора, скользящие двери с характерными вагонными ручками, трубка тормоза вдоль косяка одной, даже градусник рядом с нею... «Стрела» и «Стрела»...

Нет, дам в этой «каюте» (теперь это не купе, а каюта) не обнаружилось.

Навстречу мне с нескрываемым любопытством — видимо, весть о моем прибытии все же на несколько минут опередила меня — поднимаются с самых обычных, только крепко обжитых, вагонных диванов три человека. Мозговой трест «Бориса Петровича».

Не нужно представлений, чтобы угадать, кто Стукалов; матросский глаз — зоркий глаз: Чапай!

На самом деле капитан Стукалов походил не на того командарма, каким мы его знаем по фото, а на Чапаева-Бабочкина, на Чапаева из фильма.

Невысокая, ладная фигура, тонкая талия, несколько насупленный лоб, слегка волнистые, русоватые (может быть, выгоревшие) волосы над ним. Да и в манере держать себя этого командира — а пожалуй, и в некоторых чертах характера, в том, что обычно именуют «партизанскими привычками», в любви покрасоваться, стать в выгодную позу — было нечто от бабочкинского образа.

Чапаев не конца, а начала фильма: до решающей его стычки с Фурмановым...

В душе солдата вообще, а у русского и советского солдата в особенности, живет способность с удивительной готовностью авансировать своему начальнику всю свою солдатскую (и матросскую) любовь, уважение, даже восторг; я бы сказал — влюбляться в командира.

Солдат жаждет гордиться тем, кто его ведет в бой. Он знает, что должен подчиняться, но хочет подчиняться достойному. Не он выбирает себе начальника, но у него есть все возможности вообразить этого начальника таким, чтобы подчинение ему не унижало, а возвышало солдата. Мне кажется, только очень плохой человек, сухарь, тупица, личность, лишенная всякого обаяния, не сумеет закрепить и оправдать эту априорную, благородную по своей сути, любовь.

А у капитана Владимира Стукалова чего-чего — обаяния хватало.

Кто спорит: он был знающим артиллеристом. Но бойцов пленяло в нем не это. В солдатском чувстве к командиру есть что-то женское: как некоторые женщины, воины хотят, если уж подчиняться, то — «орлу», настоящему мужчине. Их восхищает лихость, порою даже несколько бесшабашная. Их подкупает внимание к ним, умение поговорить с «войском» по душам, вроде как на равной ноге (а ведь не на равной: «Было время, ребята, сам матросскую пайку ел!» Было, да ушло...).

Командир, о котором идет речь, любил и умел произвести хорошее впечатление. Жило в нем и что-то ребячливое: почти детское лукавство и рядом — простота, столь же младенческая.

Он мог и по-начальнически нашуметь, и задушевно спеть с матросами на площадке. Он очень даже мог слегка приукрасить свои (и «Бориса Петровича»!) боевые заслуги

и вдруг до краски, как мальчик, обидеться на самое пустячное невнимание или недооценку их. У него были многие слабости, которые во дни Дениса Давыдова или молодого Лермонтова расценивались бы как доблести: был чувствителен к женскому полу, не дурак опрокинуть чарочку, любил вкусно покушать...

Словом, для того чтобы командовать, этот флотский «лебяженский» Чапай очень нуждался в своем Фурманове. Пока такой Фурманов рядом с ним, на равных правах, стоял, он держался хорошо, был в отличной форме. Пока стоял...

«Фурмановым» при этом «Чапаеве» был человек, на мой взгляд, весьма примечательный — старший политрук Владимир Аблин.

— Володя! Это товарищ Успенский, писатель. Политотдел к нам направил. Как поступим: ты сначала с ним потолкуешь или мне? Или вместе? Как целесообразнее?

— А ты как смотришь, Володя?.. Давай вместе, что ли, вкупе... Пермский, а ты куда? И ты принимай участие...

В «каюте» полутемно от близких деревьев. Каюта — стукаловская, командирская. На маленькой полочке десятка полтора книг, похоже — не слишком читаемых. Впрочем, тут больше артиллерия и политграмота, эти — в ходу. В уголке — «Оливер Твист» и рядом Матэ Залка. Бок о бок с Залкой — Станюкович, избранные рассказы. У окна на диване баян, должно быть чаще пускаемый в дело, чем эти томики: вид у него — бывалый...

На другой полке — патефон в голубом футляре; из-под подушки выбились два трофейных пистолета — «Вальтер» и латвийский «Веблей и Скотт»: оба в отличном порядке На столике по одну сторону кое-какое питание, по другую — некий график, карта; на карте странный целлуло-

идный приборчик, палётка, что ли, с движками; остро заточенные карандаши, расчеты... Но командир сидит в другом конце дивана: рассчитывал явно не он.

Я — на противоположной «койке»; они трое — против меня. Стукалов несколько небрежно откинулся в угол у двери; он, похоже, только что откуда-то пришел; он не только в кожанке поверх синего кителя, но даже с тяжелым восьмикратным «цейссом» на ремешке. Ремешок ему великоват; он завязал его там, за затылком, петелькой, чтобы укоротить. Он выжидательно смотрит на писателя, «Чапай».

Рядом крепко скроенный блондин с наголо бритой головой, гораздо более похожий на прибалта, чем на еврея.

— Аблин! — говорит он и, гостеприимно улыбаясь, явно изучает новую величину на горизонте дальнейшей своей работы: «Писатель, а? Что же с ним можно будет дать команде? Как его обыграть?»

В углу за столиком — старший лейтенант Пермский. То, что он в этом чине, мне сообщает комиссар. Пермский в голубой майке, и китель его явно в другом помещении; он отчасти смущен этим обстоятельством. У него пухлая, немного капризная нижняя губа. Выражение его лица кажется мне каким-то не то сонным, не то недовольным. В следующий миг я соображаю: я ж оторвал его от дела; это он считал, и в руке у него логарифмическая линейка. Закапризничаешь...

И вот тут-то внезапно произошла странная вещь. Но такие вещи случаются с людьми — чаще с мужчинами, чаще всего на войне, в каких-нибудь экспедициях, на кораблях в море... Вдруг!

Вдруг все меняется. Гостеприимная улыбка Владимира Аблина становится просто доброжелательной, приязненной. Теперь он смотрит на меня не только с настороженным интересом — как-то иначе. Видимо, что-то во мне ему

вдруг понравилось. В лице Пермского тоже происходят изменения. Он кладет линеечку под карту, взглядывает на меня искоса, с любопытством, но уже без тревоги: по-моему, он успокоился и решил, что пойти в свою каюту и надеть китель успеет потом.

— Смотри-ка, Володя, — говорит Аблин. — Ведь это здорово, что к нам — писателя... И главное, какого крупного писателя... Лев-то Васильевич, пожалуй, сантиметра на три повыше нашего Смушка будет... По-моему, первым делом надо его на довольствие поставить...

Я лезу в бумажник: «Аттестат...»

— Вот еще новости, аттестат! — выпрямляется Стукалов. — Вы же не на месяц к нам... Разговоров! — кричит он в щелку двери.

...Почему на свете так много фамилий, точно нарочно заготовленных для каждого данного человека? В дверь заглядывает типичнейший Шельменко-денщик, но флотского образца 1940-х годов.

— Вот что, товарищ Разговоров... — начинает Аблин.

— Слушай, Разговоров... — говорит Стукалов.

Разговоров бросает в каюту один взгляд, но взгляд чрезвычайной пронзительности, похожий на тот луч в телевизоре, который сразу пробегает по всем точкам экрана:

— Все понятно, товарищ капитан! Будет сделано, товарищ военком!

И нет его.

Стукалов взглядывает на меня победно: «Видали расторопность?» Аблин покачивает поблескивающей, бритой головой: «Ох и бестия, Володя!.. Надо все-таки за ним приглядывать. Да, исполнителен, но...»

Сергей Александрович Пермский — в миру архитектор, один из авторов прекрасного здания по набережной за Строгановским мостом, а теперь яростный разрушитель всех строений, оставшихся за линией фронта, он же секре-

тарь парторганизации «Бориса Петровича», — решительным жестом собирает со столика карту, расчеты, палетку, карандаши...

— Да ну... — машет он рукой. — Да нет! Это мы тут так... Немного поспорили: можно ли один пункт с этого уса достать?.. Нет, не беспокойтесь, пока что нам никакой работы еще не дали. Может быть, к ночи будет что...

Ну до чего приятные люди!

„Морские крепости берутся с суши“

Есть такая, очень старая историческая военная ма́ксима. В самом деле — с суши удалось в прошлом столетии союзникам взять Севастополь, с суши были захвачены японцами Порт-Артур в 1905 году и Сингапур во вторую мировую войну...

В тридцатых годах никому не приходило в голову отнести этот афоризм к Кронштадту. Тяжкий замо́к его запирал морские ворота Ленинграда. На южном берегу залива высились его форты. Они были подобны богатырям, грудь которых прикрывала могучая броня, но эта грудь, как и мускулистые руки — артиллерия, была обращена в сторону моря. Да, разумеется, спины этих закованных в железо и бетон витязей были нагими, но ведь они же были прислонены к колоссальной стене материка, ко всей России. Что могло им грозить оттуда?

К сорок первому году Кронштадтская крепость со стороны суши была поэтому защищена недостаточно. Оборона Кронштадта была осуществлена при помощи множества импровизированных слагаемых; одним из таких слагаемых, созданных уже после начала войны, оказался бронепоезд «Балтиец». Не самым мощным, но первым по

значению, «одним из тридцати трех» (а может быть, из трехсот тридцати, или из трех тысяч трехсот) богатырей, высланных в трудные дни морем на берег.

Командование ИУРа уже в середине июля оказалось перед лицом совершенно неожиданного факта: могучая стена на юге дрогнула. Противник нашел в ней бреши. Его армии хлынули на север. Обеспеченный тыл Кронштадтской крепости перестал быть обеспеченным. Тревожные слова: танковый прорыв, авиационный десант, парашютисты — внезапно стали самыми употребительными здесь, на берегу Финского залива. И одновременно стало ясным: оборона Ижорского укрепленного района не сегодня — завтра окажется неотложной задачей самого района. А что мог он противопоставить танкам фон Лееба, его авиадесантным частям — подвижным, маневренным, скороходным, опытным участникам боев по всей Европе, от Крита до Нарвика? Бутылки с горючей смесью? Рвы и эскарпы (их самоотверженно рыли там, впереди, часто под огнем врага, ленинградские женщины, старики, инвалиды)? Бетонные и деревянные надолбы? Зенитные пушки, «обращенные на огонь по горизонту»?

Всего этого было явно недостаточно; о противотанковых ружьях в те дни и в этом месте еще и слуху не было, а самих танков — наших танков — ИУРу никто не обещал.

Вот тогда-то на этом моряцком клочке суши, прорезанном несколькими железнодорожными веточками, и родилась идея: буквально в несколько дней создать нечто сравнимое с быстроходным катером, но движущееся не по воде, а по железнодорожным рельсам. В ИУРе были хорошо известны тяжелые железнодорожные батареи, могучие сухопутные линкоры с орудиями, калибр которых равнялся калибру орудий с его фортов — Красной Горки, Серой Лошади, а то и превышал его. Их основной задачей была оборона района с моря, уничтожение тех кораб-

лей противника, на которые будет возложена охрана и поддержка десантов на наш берег. Нельзя было бросать их в бой против танков, пехоты, самолетов; их самих надлежало охранять от всего этого.

А что, если придать им в помощь что-то легкое, очень подвижное — две-три слегка подбронированные платформы-площадки для нескольких скорострельных универсальных пушек, равно опасных и для наземного и для воздушного врага; несколько тяжелых пулеметов, какое-то количество легких?.. И винтовки-полуавтоматы, и «карманную артиллерию» — ручные гранаты для самообороны на крайний случай?.. Главное оружие — подвижность. Основное назначение — борьба с танками, с парашютистами врага, и только...

Если бы авторам этого проекта показать в те дни такой перечень:

Истреблено солдат и офицеров	— около 600
Уничтожено артбатарей	— 9
» минных батарей	— 19
Разрушено зданий с укрытой пехотой	— много больше сотни
Подавлено артиллерийских батарей	— 35

и сказать: «Вот послужной список вашего детища за ближайшие 6—8 месяцев», они покачали бы головами: «Верится с трудом...»

А перечень этот стал реальностью уже в начале 1942 года.

Своими руками

Я полагаю, самым примечательным качеством бронепоезда № 2 (почетное имя «Балтиец» он получил как награду лишь в начале февраля второго военного года)

следует считать то, что он был и спроектирован и построен в ИУРе «своими руками».

В начале июля была только неясная идея. В середине месяца «подразделение» стояло уже на колесах. Его еще не рискуют именовать «бронепоездом». В приказах идет речь о временно сцепленных вооруженных площадках, соединенных исключительно «в целях противотанковой обороны... и для отражения попыток противника прорваться по жел.-дор. магистрали в границы крепости». Даже паровоз в эти дни ему придают как бы первый попавшийся, на пару дней: «Для маневрирования... придать паровоз».

А в начале августа на железных дорогах района действует уже «Борис Петрович» почти такой, каким он прошел весь трагический и славный путь ленинградской блокады.

Нет, он не походил, если вы к нему приближались, на классический бронепоезд, весь закованный в сталь, с вагонами, подобными гигантским сейфам, с торчащими из амбразур стволами орудий.

Несколько обычных двухосных платформ, прикрытых по бортам бетонными стенками. На этих — великолепные пушки, «сотки», — это главный калибр, тяжелая батарея, которой командует старший лейтенант Пермский. На других — универсальные сорокапятимиллиметровые орудия, отлично работающие и по наземным, и по воздушным целям. И командир — лейтенант Залетов. Голос «сотки» низкий, баритонального тембра. Сорокапятимиллиметровые скорострелки лают в бою так пронзительно и резко, что потом некоторое время в ушах чувствуешь не то боль, не то тяжесть; очень неприятный у них дискант!

Есть пулеметы — и тяжелые, и легкие. Все собрано тут же, на фортах. Неподвижные, вросшие в землю старшие братья-дивизионы поделились со своим непоседливым

младшим братом оружием и личным составом. И если в первых боях тогдашний старожил поезда Пермский взыскательным оком приглядывался к работе сборной «техники» своей, то военком Аблин так же пытливо всматривался в лица и души бойцов: лишь половина из них была обученными артиллеристами, да и самые опытные «пушкари» с фортов чувствовали себя несколько непривычно и неуютно на шатких, пляшущих и вздрагивающих от мощи залпов, «товарных» платформах.

Всего семь членов партии на борту, двадцать комсомольцев на первом организационном собрании 2 августа... Как поведет себя эта новорожденная воинская часть в предстоящих, несомненно нелегких боях?

Тогда на этот вопрос можно было ответить только умозрительно: «Как все части Балтики. Как весь флот. Как вся Армия!» Настоящий ответ дала война, — к ее последнему году «Балтиец» ходил на боевые позиции с составом, полностью партийно-комсомольским: больше сорока коммунистов, свыше восьмидесяти комсомольцев; примерно половина экипажа — орденоносцы. И за плечами — длинный список выполненных боевых заданий и побед.

В июле сорок первого формирование боевой единицы завершилось двумя событиями.

Во-первых, поезду был назначен командир; я о нем уже много сказал. Надо признать: в первую половину войны их имена — человека и воинской части — оказались тесно связанными.

Во-вторых, настала минута, когда о буфера передней площадки лязгнул своими буферами подошедший к поезду постоянный его водитель — прибывший откуда-то из-под Риги настоящий, всамделишный бронированный паровоз. О нем я еще ничего не сказал, а сказать следует.

Ну кто в нашем крае
Челитты не знает?

Солнце уже садилось, когда за мной пришли: пора идти «на ус», на затерянную в березняке веточку-времянку. В «рабочие дни» эта веточка — боевая позиция «Бориса Петровича»; сегодня экипаж заготовляет там дрова: рассчитывать на подвоз угля с «Большой земли» не приходится, а сырые дрова дают мощный дымовой султан — демаскируют поезд. «Стали дровосеками, товарищ начальник...»

К поезду шли сквозь еще не покрасневший осинник, по пояс в сырой траве, как сквозь «Последний луч» — одну из самых милых картин И. Левитана. Тишина, тепло, сыровато; пахнет грибами и вялым листом...

И вдруг, на много километров, — «нехай фрицы слышат!» — голос Клавдии Шульженко из радиолы:

Ай-яй-я-яй!
Зря не ищи ты:
В деревне нашей право же нет
Другой такой Челитты!

Прошли еще метров пятьдесят по змеистой тропинке... Еще того пронзительней:

Ну кто в нашем крае
Челитты не знает?
Она так умна и прекрасна,
И вспыльчива так и властна,
Что ей возражать опасно...

И снова:

Ай-яй-я-яй...

Еще сто метров — опять то же самое. Подошли вплотную: «Ай-яй-я-яй!» Видимо, у меня на физиономии отразилось некое недоумение: почему же все одно и то же? Политрук Коленов очнулся от задумчивости, вслушался и засмеялся.

— Достал-таки Купренюк? — полуспросил он у шедшего с нами краснофлотца.—Это, товарищ Успенский, целая история. Это механики наши свой паровоз так прозвали: «Челитта»... Ну как почему? Слышите: «Ей возражать опасно... Она так умна и прекрасна»? Они с этим паровозом до того носятся... Стоит вам в будку слазить, — как они его разделали: все кранчики, реверсы, регуляторы отникелированы: «Челитта», как же! И вот — всё хотели достать пластинку эту самую... Да пустяк какой-то мексиканский: «Ай-яй-я-яй!» А — ничего... Слышите: звучит!.. Видать, достали!

Деревья поредели, открылась неширокая просека и посередине ее, на рельсовом пути — типичной времянке, — густо покрытые сверху срубленными березками бронированные площадки, а перед ними низкий, серовато-зеленый, похожий на пасущуюся в березовых зарослях гиппопотамиху, приземистый бронепаровоз.

В те военные годы меня нередко поражало, как быстро и с какой охотой создавались вокруг каждой воинской части, вокруг личностей командиров (да нередко и рядовых) совершенно особые, военного времени легенды. Солдат на фронте помимо всего прочего еще и поэт. Действительность — суровая, горькая, славная, — обжигающая действительность боевых будней — приемлется им без ропота и возражений. И все-таки он любит приукрашивать ее вымыслом: по старому правилу насчет «низких истин» и «возвышающего обмана». Солдат (а реже, но все-таки бывает, что и офицер) ловит на лету малейшую возможность для такого расцвечивания всего, что его окружает, и обращается с фактами так свободно, что заставляет стороннего человека крепко задумываться: что тут было, а что хотелось бы, чтобы оно было так?

Бронепаровоз «Челитта», несомненно, имел свою точную историю, имел номер, был записан во множестве

документов. Известно, что он прибыл из Латвии, среди множества других, эвакуированных оттуда под яростным нажимом противника, вагонов, паровозов, мотодрезин — всякого железнодорожного военизированного подвижного состава. Удивляться нечего: на тот же Ораниенбаумский «пятачок» некоторое время спустя прекрасный командир, капитан Белоусов, привел, прорвав не одно кольцо окружения, выбравшись из многих туго завязанных гитлеровцами «мешков», даже целый бронепоезд — родного брата этого «Бориса Петровича»; теперь они работали тут бок о бок.

Паровоз был приписан ко вновь созданной боевой единице — «Балтийцу». К сентябрю они вместе прошли уже изрядный боевой путь. Герои-Аяксы — механики Смушко и Купренюк — выводили бронепоезд № 2 из многих очень сложных положений, вырывали из-под бомбежек пикировщиков, заводили на «усы», находившиеся под сильным минометным огнем, и выводили оттуда. Паровоз работал при всех этих обстоятельствах отличным образом: сильная, верная, хорошо построенная машина.

Но ведь этого человеческому сердцу недостаточно. И кто-то пустил волнующий слух: «Товарищи! Наш паровоз «по породе своей» — не что иное, как покрытая броней старенькая «Овечка» (или, может быть, «Щука» — уверенно не могу сказать). В свое время он попал в Латвию, но это — тот самый паровоз, который в 1919 году во время борьбы с Юденичем возил по этим же дорогам бронепоезд «Ленин», под командованием славного питерского большевика Ивана Газа...»

Не знаю, откуда шла эта легенда. Не могу поручиться — были для нее какие-либо основания или нет. Известно, каких трудов стоило в свое время разыскать необходимые данные по поводу прославленного броневика, с которого в апреле семнадцатого года выступал у Финлянд-

ского вокзала В. И. Ленин; а ведь там на розыски было мобилизовано все.

Но могу сказать одно: весь экипаж «Бориса Петровича» знал эту легенду, верил ей, и в формировании морального сознания части она играла положительную роль.

Не могу сказать я и другого: что́ именно по этому поводу было известно комиссару поезда. Я никогда не слышал, чтобы он пропагандировал такую версию происхождения своего славного паровоза, но не слышал никогда, чтобы он ее и опровергал. Да, я думаю, этого и не следовало бы делать. Где-где, как не в боевой обстановке, бывают порою справедливы пушкинские слова насчет «возвышающего обмана», — конечно, когда речь идет не о лжи, а о прекрасной фантазии, о фантазии народной, солдатской, направленной на благо, а не на зло и базирующейся пусть не на точном факте, но на несомненной возможности такого факта.

Еще одна легенда

Пока «Балтиец» сокрушал врага своими «сотками», зимой 1941/42 года в Ораниенбаумском порту стояла на приколе краснознаменная «Аврора». Вряд ли кто-либо из нас, завидев над невысокими домиками и портовыми сооружениями Ораниенбаума — матросского «Рамбова» — с юности знакомые три прямые серые трубы крейсера, не сжимал еще раз зубы — «Нет, не возьмете у нас этого!», — не чувствовал, как сердце обливается горячим: «Аврора!» Фашисты — в десяти километрах от «Авроры». И она — на приколе!

Но все-таки участие в боях на Ораниенбаумском «пятачке» «Аврора» несомненно принимала. С революционного крейсера были сняты его орудия и переданы сражав-

шимся на суше флотским подразделениям. Одно из них досталось «Балтийцу».

Инженеры форта «Ф» (мне теперь вспоминаются только две фамилии — Зверев и Плаксин) спроектировали и создали необходимую для работы этой дальнобойной «стотридцатки» платформу. Она была снабжена особыми домкратами-«лапами». Стоя на «усу», она упиралась этими «лапами» в кромку насыпи; они принимали на себя чудовищную отдачу могучей пушки, давая возможность обычной платформе выдержать титанический толчок отката.

Я прекрасно помню, как в крепко-морозный январский день, там, за береговой деревушкой Черная Лахта, экипаж бронепоезда производил придирчивые испытания орудия, на разных углах возвышения, под разными азимутами. Помню, как я сидел в свирепой стуже и следил, как уносятся на север, куда-то туда через залив, к Териокам, к финнам, тяжелые шестидюймовые снаряды, и думал о странности обычаев и судеб войны. Что думают там, за заливом, финских береговых постов часовые, их офицеры? Никто много месяцев по ним не стрелял, жили тихо, спокойно, и вдруг — снаряд, другой, третий... Что случилось с русскими? Что рассердило их? Что они заподозрили?

А это ведь было не более чем «испытание орудия»!

На бронепоезде факт передачи ему пушки с прославленного крейсера был воспринят как почет и награда. Об этом говорили много. Об этом писали в газете ИУРа, — писали и в прозе, и даже в стихах. Спустя несколько дней после испытания «стотридцатка» достала далеко в немецком тылу фашистские части, до которых никогда еще не долетали наши тяжелые снаряды.

Откликнулись тяжелым вздохом горы,
Метнулись отгулы и замерли в снегу:

Среди лесов орудие «Авроры»
Отныне бьет врага на берегу...

Казалось бы, чего уж больше? Но бойцам этого показалось недостаточно. Им хотелось еще связать в один узел подвиг детей с подвигом отцов.

— Ну, что у вас нового на «Балтийце»? — спросил я еще перед испытанием встретившегося мне на дороге старшину с бронепоезда.

— Большие новости, товарищ полковник! — с удовольствием ответил он. — Знаете, какую нам пушку придали? С «Авроры» пушка! То самое орудие, которое в семнадцатом по Зимнему огонь вело... Вот идем ему проверочку дать...

Это было не так. В Октябрьские дни на «Авроре» стояли старые стопятидесятимиллиметровые пушки «Канэ». Перед войной, когда крейсер был сделан учебным кораблем, их заменили другими, «стотридцатками». Теперь на площадке бронепоезда, укрытое брезентами, стояло именно одно из этих новых орудий, «стотридцатка». Я знал это, и осторожно намекнул, что, может быть, все же...

— Да что вы, товарищ интендант третьего ранга! — свысока ответил мне старшина. — Это только так, слух пускают, чтобы до фрицев не дошло, какой тут у нас ценный трофей есть. Они бы как черти сюда полезли, такое орудие захватить! А наши матросики узнавали стороной: точно, то самое орудие!

Я не стал спорить; думаю, и не надо было. Воинская часть может обрастать легендами; воинской части следует обрастать легендами. И чем их больше, чем они возвышенней, тем лучше.

А истину пусть потом раскрывают историки. Она никуда не денется. Она за плечом легенды стоит на карауле у дверей прошлого...

Боевой путь «Бориса Петровича» начался 8 августа 1941 года у одной из станций на дороге, ведущей из Ленинграда в Кингисепп и далее в Нарву. Боевое задание было несложным: стать на позицию, обстрелять такие-то цели.

Как всегда на войне, боевая обстановка внесла в него свои поправки.

Станцию К. в тот миг бомбили «юнкерсы». На путях станции застрял готовый к отправке в Ленинград беззащитный эшелон, битком набитый «окопниками» и «окопницами», прибывшими сюда накануне рыть противотанковые рвы, строить дзоты, укреплять предполье фортов. Бомбы разрушили путь.

Вместо стрельбы по целям бронепоезду пришлось с ходу самостоятельно принять боевое решение: вступить в бой с воздушным противником, разогнать «юнкерсов», отремонтировать пути, вывести пассажирский состав из западни, дать ему отойти поглубже в тыл и только после этого приступить к выполнению прямого задания.

Надо заметить, что в спешке начального периода боевых действий в пределах ИУРа командиры частей не сразу овладели искусством фиксировать в записях боевую работу. Повесть о первых боях записывалась наспех, на отдельных клочках бумаги. Поэтому официальным началом ее является запись в заведенном вскоре «журнале боевых действий», а она пришлась уже на 12 августа.

Двенадцатого — позиция поезда у станции Веймарн. С нее он бьет по противнику, захватившему ближние деревни, по «скоплениям пехоты». День спустя он вступает в прямую дуэль с артиллерией врага, ведя огонь с корректировкой на месте и с отличными результатами. Еще сутки, и ему поручается охранять от ударов с воздуха

тяжеловесную и малоподвижную железнодорожную батарею, калибр которой превосходит даже главный калибр фортов.

Шестнадцатого числа, подобно древнему Геркулесу прикрывшись львиной шкурой брони, трещотками своих «сорокапятимиллиметровок» и пулеметов он отгоняет «меднoперых птиц-стимфалид» уже от двух тяжелых гигантов, каждым залпом разбивающих за десятки километров оттуда по нескольку танков на переправах через реку Лугу у Кингисеппа.

В этот день — первое торжество. Орудие младшего сержанта Мартышко ведет яростный огонь по пикировщикам врага, и вот — точно как пишут в газетах — один из «юнкерсов» загорается, начинает «дымить и, оставляя за собой длинный черный след, падает в глушь леса». И происходит все это на той же веточке железной дороги, на тех же рельсах, с которых двадцать два года назад уже вел бои с белыми бронепоезд «Ленин» под командованием Ивана Газа.

Так начался страдный и славный боевой путь. Начался в великом напряжении. Вот краткий перечень того, что делал «Борис Петрович» в один только, самый обычный, рядовой денек, 2 августа сорок первого года.

6.00 утра — выход на позицию по приказу.

7.10 — стали на месте.

7.20 — огонь по деревне А. и группам противника, с переносом и корректированием.

7.32 — «дробь»; прекратили огонь.

7.42 — новый шквал огня с корректировкой (значит — точного).

8.02 — отбой; орудия смолкли.

8.17 — огонь по батарее врага на опушке леса у деревни С.

8.21 — батареи не стало; огонь прекращен.

8.50 — открыт огонь по вражеским самолетам (судя по расходу снарядов, это был не огонь, а буря).

8.52 — прекратили огонь: противник скрылся.

9.33 — огонь по скоплению противника на перекрестке дорог у пункта Я.

9.41 — приказано прекратить огонь: надобность отпала.

10.12 — открыт методический огонь по скоплению противника в восьми точках, с корректировкой.

12.30 — огонь прекращен.

12.35 — открыт огонь по окопам фашистов у деревни Г. и по отступающей пехоте.

12.45 — огонь прекращен. По донесениям корректировщиков и армейских командиров установлено: уничтожено две минометные батареи и не менее ста пятидесяти солдат врага.

. . . .

22.20 — бронепоезд прибыл на базу.

Возьмите карандаш и подсчитайте. С 7.20 до 12.45 — пять часов двадцать пять минут. Из них три часа четырнадцать минут непрерывной стрельбы, грохота залпов, великого боевого напряжения, воя вражеских бомб, мяуканья юнкерсовских дизелей, содроганья платформ под ногами, и все это — не под непробиваемой бетонной толщей фортовых казематов, а — лицом к лицу с врагом, на открытом воздухе, когда пикировщик, забывая, валится прямо на тебя, когда вырвавшиеся из его недр бомбы с визгом мчатся тебе в лицо, когда трассирующие пули и снаряды, точно пальцами — «Вот его, его!» — указывают именно на тебя и твоих товарищей...

А командование поезда и тогда и теперь считало и считает, что именно это «лицом к лицу» послужило на пользу экипажу, сковало и сплавило его в закаленный боевой коллектив, которому все последующее уже было нестрашно.

Очень существенный факт: во всех боях первого месяца не было случая, чтобы вражеские пикировщики выдержали эту открытость боя. Единственный раз им удалось нанести потери поезду; это было 25 августа, когда фашистская авиация поймала «Бориса Петровича» на узкой просеке идущим в хвосте грузового состава, оплошно выпущенного вперед со станции растерявшимся комендантским лейтенантом. Но ведь именно в этом случае преимущество прямого видения врага было отнято: враг налетал на бреющем из-за леса.

Что ж, весьма возможно, что командиры и правы в оценке воспитательного значения этих боев... Лицом к лицу! С открытым забралом!

Бои шли в крайне тревожной и тяжелой обстановке: враг обладал подавляющим преимуществом в силах. Враг наступал. Его авиация царила в воздухе. Его танки рвались вперед, не встречая на этом участке серьезного танкового сопротивления. Его механизированным, до зубов вооруженным автоматикой частям, пулеметчикам-мотоциклистам, противостояли героические дивизии народного ополчения с трехлинейками в руках да славная артиллерия Кронштадтского крепостного района. И все-таки он был остановлен на ближних рубежах. Он был отброшен. Он застрял на подступах к непреоборимой твердыне...

Радостно после всего этого написать несколько слов о завершающем этапе боевого пути «Балтийца».

В январе 1944 года, с позиций у станции Мартышкино, — после долгой и тщательной многомесячной подготовки, после почти академического изучения будущих целей, позиций врага, его батарей, его дзотов и дотов — «Балтиец» принял участие в разгроме группировки немцев, в великом торжестве снятия блокады Ленинграда. Были подавлены три батареи противника, задание было

выполнено полностью. Командовал бронепоездом в этом бою С. А. Пермский; командиром тяжелой батареи его был старший лейтенант Сенопальников.

А затем, когда фронт ушел далеко на юг, когда был взломан и разгромлен и второй, финский, фронт на северном берегу залива, — «Борису Петровичу» пришлось выполнить последнее по счету боевое задание.

Ему было поручено охранять под Выборгом тяжелый «транспортер» — не железнодорожный, а «моторный, предназначенный работать по дорогам и шоссе», вооруженный стотридцатимиллиметровыми пушками. В то время это была техническая новинка.

Могучее чудище это сдавало боевой экзамен: орудия испытывались прямо на позиции, стреляя по врагу. «Балтиец», как старший брат и надежный страж, стоял рядом «на вахте», охраняя товарища.

Вести боевой огонь «Борису Петровичу» не довелось, но побывать под обстрелом и бомбежкой в последний раз ему выпало на долю. Но это были уже не те бомбежки, не те обстрелы. Все выглядело по-иному накануне Победы.

Из-под Выборга бронепоезд вернулся в родное ему Лебяжье. И тут произошло то, что не могло не случиться. Подразделение, рожденное неотложной надобностью первых месяцев войны, сохранявшее жизнеспособность на протяжении трех лет ленинградской блокады, теперь, когда страна получила огромное преимущество над врагом — преимущество и стратегическое, и техническое, и моральное, — это подразделение не могло быть дальше используемым. Что говорить: идти на Берлин? Об этом ветерану сорок первого года и думать не приходилось...

В ноябре 1944 года бронепоезд «Балтиец» был расформирован. К этому времени уже мало кто из его старого экипажа служил на нем. Не было Стукалова, в другую

часть был переброшен Аблин. И мне — постоянному певцу и барду «Бориса Петровича» — не пришлось проститься с ним: в те дни я был на далеком «голубом Дунае».

Один только Сергей Пермский присутствовал при этом. Он стоял у орудий «Балтийца» при его сформировании, он же проводил его и на «запасный путь».

Удивляться тут нечему: любой корабль, каждый танк, всякий бронепоезд когда-нибудь стреляет в последний раз. Это — естественно. И все-таки тем, кто в грохоте и дыму войны водил их в бои, видеть это грустно.

И хочется их прошлое сохранить в памяти будущих поколений: это большое и благородное прошлое. О нем нельзя забывать.

Несколько размышлений лица гражданского

Каждый, кто видел «Балтийца» в действии, кто жил одной жизнью с его экипажем — ходил на «усы», присутствовал при боевых стрельбах, слышал разрывы немецких снарядов, часто ложившихся где-то по лесу вокруг, но очень редко достигавших опасного для его техники и людей радиуса, — каждый скажет: было в этом бронепоезде что-то чувствительно отличавшее его от родных и двоюродных братьев. Что-то свое, особенное, «балтийское». Что-то такое, что я определил бы как «лица́ необщее выражение». Часть, «подразделение» — как и все другие флотские «подразделения», но со своими ярко индивидуальными свойствами и качествами. Волей-неволей хочется поискать ответа на вопрос: «А что же это было? В чем это «нечто» заключалось?»

Мне кажется (хотя я не моряк, не артиллерист, хотя я лицо по сути своей гражданское и в боевых операциях «Бориса Петровича» принимал участие не как воин,

а как наблюдатель, — это далеко не всегда оказывалось самым «спокойным занятием»), у меня есть некоторое право, никому их не навязывая, высказать два-три своих соображения.

В работе «Балтийца», с первых часов знакомства с ним, поражал ее спокойный ритм. Четкость, напоминающая четкость какого-нибудь завода, лаборатории, отлично слаженного передового предприятия.

Бронепоезд идет с базы на позицию. Почему почти никогда противник не обстреливает его по пути? Случайно? Нет, механики так умеют наладить режим топки, что над вершинами лесов не появляется заметного дымового султана: не по чему открывать стрельбу.

Просто умелые машинисты? Не только: и командир, и комиссар — все «внедрились» в тайны кочегарского дела, все добивались (каждый в своей области — добыча топлива, инструктаж, выбор скорости), чтобы такая бездымность стала возможной.

А результат? Почти полная — для фронта, конечно, — безопасность работы: бронепоезд все время был в боевой обстановке, а потерь не имел или имел минимальные. Конечно, не только из-за дыма. Но всей его жизни был свойствен характер спокойной «грамотности», оттенок высокой боевой «интеллигентности».

Я много бывал на бронепоезде «Балтиец» в первые два года войны. Я присутствовал на стрельбах, на испытаниях новых орудий, часами сидел на паровозе, любуясь артистической работой обоих механиков — огромного Смушко и коренастого крепкого Купренюка (чтобы так, на ходу, в бою, то бросать тяжелый состав вперед, то осаживать его на месте, вырывая из-под вражеских бомб, как умели делать они, особенно силач Смушко, надо было быть и мастерами и атлетами); я, забившись в угол «каюты», не издавая ни звука, точно меня нет, следил за всеми предва-

рительными расчетами командиров... Задание уже «поставлено», «работа, слава богу, есть» (они всегда ликовали, когда она появлялась), и вот начинается мельканье логарифмической линейки, аккуратное писание на множестве бумажек, листание справочников и таблиц... Современная артиллерия не похожа ни на какие царь-пушки прошлого, ни на ту «Матвеевну», из которой прямой наводкой бил в бою при Шенграбене толстовский капитан Тушин.

Но зато в чем-то очень были похожи на Тушиных эти артиллеристы. В чем? В простоте, в человечности, в чести, душевности!.. В спокойном, не шумном патриотизме.

...Поправки на температуру воздуха, на силу и направление ветра, чуть ли не на вращение земного шара... Расчет, расчет, расчет; математика, математика... Я ездил с Пермским на армейские наблюдательные пункты у самой передовой; видел, как командиров тамошних полевых батарей поражала великолепная мощь флотской артиллерии. Ну как же: дана с «вороньего гнезда», укрепленного на высоченной сосне над самыми немцами, морская команда «залп»; получен телефонный ответ — «пошел залп»; и все насторожили глаза и уши, а ничего нет! Пять секунд, десять секунд... «Что случилось, товарищи моряки?» А — ничего не случилось... семнадцать километров траектория! Идет снаряд!

И вот — сначала разрыв, и только потом оттуда, издали, с позиции, с «уса», — приглушенный звук далекого громового удара. «Да, вот это — артиллерия! Ай-яй-яй!»

Я присутствовал на торжественных праздниках экипажа, ходил с ним в кино, обсуждал вместе с Аблиным планы ближайших культурно-массовых мероприятий в качестве «внештатного консультанта»... И всюду и всегда меня

не покидало ощущение этой самой «повышенной интеллигентности» именно этого боевого целого — «Балтийца». От мала до велика.

Личный состав бронепоезда был великолепным личным составом, как на всех батареях, на всех «транспортерах»,— моряки-балтийцы: этим все сказано. А это дополнительное «нечто», этот обертон повышенной духовной квалификации придавала поезду, конечно, работа его «мозгового треста», и главную роль тут играли комиссар и секретарь партийной организации. Они вели всех за собой, честь им и слава за это; отличить моряка с «Балтийца» было нетрудно, по первым же его репликам, по интонациям, по широте горизонтов, по чувству гордости за своего «Бориса Петровича». И это было очень хорошо. Хорошо в бою, хорошо и между боями.

О невозможном

В 1942 году я выпустил маленький сборничек военных рассказов. Он так и назывался: «Рассказы о невозможном». Очень много «реализованного невозможного» я увидел именно на борту «Балтийца».

...Надо помочь нашим атакующим частям артогнем, а дальность «соток» бронепоезда недостаточна: огонь не может покрыть указанный пункт.

Значит — невозможно? Но «Борис Петрович» в назначенную минуту открывает огонь по населенному пункту П. (теперь можно раскрыть тайну: село именовалось, кажется, Пирожки; это к северу от Ораниенбаума), и снаряды ложатся среди испуганных гитлеровцев. И падают они на километр дальше, чем, по расчетам, полагается стрелять орудиям «Балтийца». Значит — возможно?

Да, но только потому, что командиры поезда вспомнили случай с броненосцем «Слава», в первую мировую

войну поразившим, казалось бы на невозможном расстоянии, дредноуты врага при помощи искусственного крена. И они создали тут, на полотне, такой искусственный крен, использовав укладку рельсов на кривых. Они учли ветер. Они подбили на умно выбранном закруглении внешний рельс чуть повыше и увеличили угол наклона стволов. И выполнили невыполнимую задачу. Спокойно. Без паники, без лишнего шума. Интеллигентно.

Было это 11 ноября 1941 года.

Отличная выучка, поощрение смекалки, солдатской инициативы позволяли экипажу выходить из любых затруднительных положений.

Однажды «Челитта» погнала несколько грузовых платформ на дальнюю лесосеку, за топливом. Впрочем, возможно, на этот раз то была не «Челитта», а другой паровоз: над лесным «усиком» поднялся-таки дымовой султан, и противник накрыл заготовителей огнем. Путь между платформами и отошедшим от них к водоразборной колонке паровозом оказался разрушенным: раскидан балласт, расщеплены шпалы, вырван полутораметровый кусок рельса. Надо спешно выводить из-под огня и платформы и локомотив: жаркий обстрел продолжается...

Старший кондуктор Иванов был тогда совсем юнцом, почти мальчиком. Но он вместе с товарищами мгновенно находит подходящую крупную плаху, вытесывает из нее подобие рельса, укладывает на импровизированные шпалы, закрепляет деревянными распорками... Платформы одна за другой «на руках» перетаскиваются через наспех залатанное место; подошедший под огнем паровоз сцепляется с ближней и отводит почти потерянные площадки в укрытие.

Когда я по свежим следам записывал для газеты это, не каждый день случающееся, происшествие и дивился находчивости, быстрой реакции, знанию дела бойцов, командиры разводили руками:

— А чего же вы ждали, товарищ писатель? С таким личным составом — хоть не знаю куда! Орлы! С ними не воевать — с кем же воевать?

А матросы и старшины давали несколько иное объяснение:

— От командиров, товарищ начальник, зависит вся выучка...

Правы были и те, и те.

Заключение

Не так давно мне пришлось пройтись пешком из Мартышкина в Ораниенбаум. На самой западной опушке паркового массива, недалеко уже от входных семафоров «Рамбова», я вдруг остановился посреди шоссе, и сердце у меня забилось. На старой сосне, высоко поднявшей вверх свою крону, в сплетении ветвей, я увидел то, что непосвященному могло бы показаться остатками какого-то огромного птичьего гнезда — орлиного, быть может: скопление не то жердей, не то сучьев, не то досок, еще чего-то неопределенного. Прохожие не обращали внимания на эту груду поднятого невесть куда и непонятно зачем материала; да и обрати они на нее внимание — она ничего не сказала бы им. А мое сердце дрогнуло. Я стоял под сосной и смотрел, и не мог оторвать от нее глаз. Это до сих пор сохранились тут каким-то чудом развалины «нашего НП», наблюдательного пункта «Балтийца».

Там в сороком втором — сорок третьем годах была тщательно замаскированная площадка. Туда и оттуда тянулись провода; там таинственно гудели зуммеры телефонов; оттуда наблюдатели вглядывались в захваченную

врагом часть Петергофа, а бронепоезд из-за Ораниенбаума, от «Дубков», а может быть и вот с этих путей, по их указаниям методически бил, поражая главный наблюдательный пункт противника на южном берегу — краснокирпичный, крепко построенный Петергофский собор.

Откуда бы ни шли по заливу в те дни катера, баржи, подводные лодки, откуда бы — с лебяженского «пятачка» в Кронштадт, из Кронштадта к Лисьему Носу — ни бежали зимой по льду закамуфлированные машины, — этот собор, как костлявый палец, торчал на своей «высотке»: из-под его куполов следил за каждым нашим движением холодный, жестокий вражеский глаз.

Легкой артиллерии было не справиться с толстенными сводами каменной громады, — прикрывать движение по заливу нет-нет да и приходилось «Борису Петровичу»... Двадцать пять лет назад!

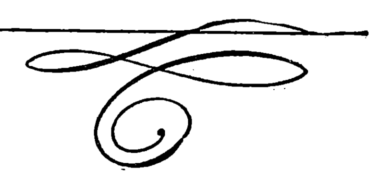
Я смотрел на электрички, стремительно скользящие по полотну, на автобусы и машины, катящие по шоссе непрерывным потоком, а видел я такой же жаркий день четверть века назад, и знакомые серые борта боевых площадок «Балтийца», и стволики высоко задравшихся в небо «сорокапятимиллиметровок», и большие стволы «соток», и пламя, вырывающееся из них бледными языками... Я слышал гул залпов, я снова созерцал одного из «тридцати трех богатырей» Балтики во время его беззаветной военной работы и думал, что все мы, пишущие, в долгу перед тем временем и перед его героями.

Теперь мне удалось вспомнить о них, и о нем, о том времени. Я писал этот очерк с тем бо́льшим удовольствием и радостью, что и теперь, более четверти века спустя, дружба, зародившаяся в закамуфлированных вагонах «Балтийца», жива. И отставной капитан первого ранга Владимир Лазаревич Аблин, и деятельный работник

Общества по охране памятников старины и архитектуры Ленинграда Сергей Александрович Пермский, после войны ставший главным архитектором области, — они тут, на расстоянии прямого видения от меня. По-видимому, правда, что дружба, возникающая на войне, — нерушима.

Собираясь втроем, мы вспоминаем. Военная память — великая вещь. А «Борис Петрович» № 2, «Балтиец», заслуживает того, чтобы память о нем никогда не изгладилась.

СЕГОДНЯ, В ЛЕНИНГРАДЕ...



ОДНИ УШЛИ, ДРУГИЕ ЖИВУТ РЯДОМ...

Как всякий человек в годах, я нередко задумываюсь: «А что это, хорошо или плохо, что я — в годах?» То есть попросту — старик?

Представьте себе, дать на этот вопрос, как теперь стало модно выражаться, «однозначный ответ» — не так-то просто.

Конечно, с одной стороны, это категория стеснительная, старость. Помню, учась в двадцатых годах в Лесном институте, за Ланской, я жил на Зверинской и почти ежедневно, испытывая то, что Рабле называл «ни с чем не сравнимым несчастьем», — то есть отсутствие денег в карманах, — путешествовал туда и обратно пешком. И не считал это за подвиг.

Как-то случилось так, что в дом к одним моим родственникам, у которых, в свою очередь, были родные в Голландии, приехал весьма известный профессор, сотрудник Лейденского института низких температур некий ван Кроммелин.

Мои родственники и родственницы растерялись. Все они владели основными европейскими языками, но давно не имели в них практики и не знали, как им объясняться со знатным иностранцем. Они прибежали с этим ко мне. Я тоже уже много лет не разговаривал ни по-французски, ни по-немецки, но мои отговорки не подействовали. «Ты — нахал! — невежливо заявили они. — Ты — сможешь».

Пришлось стать гидом при профессоре. Собеседовали мы с ним на странном меланже из всех европейских языков. Помню, когда дело дошло до слова «поместья», я, в полном отчаянии, перешел на латынь. «Latifundiae», — сказал я, и ученый обрадовался: «О, ja, ja! Latifundiae! Oui!» В общем, мы судачили бойко.

Профессор читал в России довольно много лекций (или делал доклады). Уже перед его отъездом он заявил мне, что ему остался лишь один ответственный доклад, но — очень далеко.

— Это где же?

— О, очень далеко! На крайнем севере!

— Архангельск? — предположил я.

— Нет, нет...

— Вологда?

— Нет, нет...

Я затруднился дальнейшими догадками.

И тут он вспомнил:

— О! Лес-ной... Лес-ной! Сос-нов-ка...

— Ха-ха-ха! — не выдержал я. — Вот так «на севере»!.. Да я туда в иной день дважды пешком хожу... Учиться.

Он очень решительно закрутил головой:

— Не может быть, это что-то не то! Туда я ехал сорок пять минут на трамвае... Это — расстояние от Гааги до Роттердама...

И тут я понял, как относительны понятия «близко» и «далеко» на Западе и у нас.

Так вот — тогда я бегал туда «ножками», сейчас меня на это не соблазнишь никак. Это — грустно.

Но есть и выгоды, юности мало понятные и мало доступные. Когда — очень давно, в самом начале века, — я впервые оказался перед зданием университета (меня вели в Зоологический музей, смотреть мамонта) и мне сказали, что тут когда-нибудь я буду учиться, — на набережной, перед самым торцовым фасадом трезиниевских «Двенадцати коллегий», росли достигавшие крыш деревья. Как будто липы.

Когда несколько позже, гимназистом, я проходил мимо этих мест, никаких деревьев там не было. Над газончиками поднимались лишь робкие кустики да тонкие хлыстики только что посаженных топольков.

А когда я иду там теперь, огромные толстенные осокори снова шумят над моей седой головой, и я не без чванливости думаю, что, собственно, я почти что «пережил век забвенный» этих «патриархов лесов». Во всяком случае, на моих глазах трепещет листами их второе поколение. «А я помню их во-от такими!» — как говорят старики.

«Во-от таким» помнится мне и многое в городе. И это радует меня. Старость — прелесть! Тому, кому сейчас двадцать или даже тридцать лет, представляется небось, что в общем и целом вокруг него все «недвижимым» остается, как бы неизменным. Стоит на Невском башня-каланча над городской железнодорожной станцией, и стоит; и, видно, всегда тут стояла. Наверное, так и задумано было: внизу — городская станция, а вверху — каланча. А в закоулке, образуемом ее гранитным кольцом, как человек себя помнит, размещаются разные ларечки.

Человек? Смотря какой человек!

Я, например, помню время, когда никакой «станции» в этом здании и запаха не было. Помещалась тут Город-

ская дума, заседали черносотенные, в основном, «думцы». И по Невскому в нижнем этаже дома не было ни магазина «Динамо», ни — там, дальше — пивного зала. Тут был «Милютин ряд» — всякие магазины, но только не нынешние. А на высоком железном устройстве, на самом верху каланчи, вывешивались по разным случаям на канатах большие круглые шары. По каким случаям? Вывешивались они так — и это означало, что где-то в городе начался пожар, и, поглядев на эти шары, любители пожарной гоньбы сразу могли сказать: где горит — в Александро-Невской части или же за Нарвскими воротами? И велик ли пожар? И сколько частей туда вызвано: три ли, семь ли или же все команды города?

Вывешивались этак — было понятно: ждут наводнения, будут с крепости стрелять из пушек. И знатоки безошибочно определяли, сколько воды сверх ординара, что уже затоплено и что под угрозой — словом, на какой цифре стоит стрелка на странном циферблате, что торчит из Невы у гранитного спуска против Адмиралтейства. Стрелка эта показывала, на сколько футов и дюймов поднялся уровень воды в данный миг.

Вот оно как было. Вы небось и этого «уровнемера» не помните? А ведь его остатки все еще маячили на том же месте до самой Отечественной войны.

А потом, у той же Думы, в том же самом гранитном закутке, появился памятник. Очень хорошая скульптура, энергичное горбоносое лицо: Фердинанд Лассаль. Для меня это — уже почти что в наши дни: в двадцатых годах; а вы и этого не застали.

Фердинанд Лассаль постоял-постоял здесь на странном, серого камня угловатом постаменте и удалился. И каждый раз, проходя мимо этого места, я вспоминаю сначала про него, а потом и про другие монументы, памятники, городские скульптуры, которые некогда выси-

лись — эта тут, та там, а в дальнейшем тоже удалились. Которых теперь уже никто не помнит, а большинство нынешних ленинградцев никогда и не видело. Но я-то их прекрасно помню, и, размышляя о них, я тем более начинаю думать о бесчисленных бронзовых, чугунных людях нашего города не как о мертвом музее скульптуры, — нет, как о племени почти живых существ, ведущих рядом с нами совершенно особую, таинственную, мало кому известную, но примечательную жизнь.

Сначала посвятим несколько абзацев «памяти ушедших».

Много лет каждый, кто приезжал с Московского (тогда Николаевского) вокзала в Петербург, как только выходил из вокзальных дверей на Знаменскую площадь, невольно вздрагивал или хмурился.

Посреди площади лежал огромный, красного порфира параллелепипед, нечто вроде титанического сундука. И на нем, мрачно проступая сквозь осенний питерский дождь, сквозь такой же питерский знобкий туман, сквозь морозную дымку зимы или ее густой, то влажный, то сухой и колючий, снег, упершись рукой в грузную ляжку, пригнув чуть ли не к самым бабкам огромную голову коня-тяжеловоза туго натянутыми поводьями, сидел тучный человек в одежде, похожей на форменную одежду конных городовых; в такой, как у них, круглой барашковой шапке; с такой, как у многих из них, недлинной, мужицкого вида, бородой — «царь-миротворец» Александр Третий.

Многих прохватывал озноб, когда он появлялся так, внезапно, перед ними как символ тяжкого могущества, безмерной тупости, непоколебимой жестокости; как образ России — той самой России, что когда-то вздымалась на гребне волны, поднятая на дыбы фальконетовым Петром,— и вот теперь так упрямо и властно была остановлена на ходу поздним, современным нам царизмом.

С головой, пригнутой к копытам. С подрезанным по полицейскому образцу хвостом... России, тяжко застывшей в насильственной неподвижности, горько и грозно упершейся могучими ногами в землю, неведомо что думающей и невесть что готовой сделать в следующий миг...

Князь Павел Трубецкой — скульптор, создавший этот памятник, — именовался Паоло Трубецким, жил больше не в России, за границей. Это был талантливый художник.

Он создал невиданное произведение чрезвычайной силы: памятник-карикатуру, сатирический монумент, колоссальный шарж на отца того самодержца, который ему эту работу заказал... И произведение это зажило жизнью, не предусмотренной ни автором, ни заказчиком.

Не очень понятно, почему все-таки этот памятник был тогда утвержден и принят. С самого начала его смысл, может быть не до конца осознанный даже самим ваятелем, обнаружился в глазах современников.

Некоторые просто были озадачены:

Стоит комод,
На комоде — бегемот,
На бегемоте — обормот...

Другие исподтишка посмеивались, отдавая должное силе и злости сатирического выпада, проницательности взгляда художника — не физического взгляда, — внутреннего зрения.

Пришла Революция и оставила могучую глыбу эту надолго на месте. Но было сделано неожиданное: на постаменте было выбито четверостишие Демьяна Бедного:

Мой сын и мой отец — при жизни казнены,
А я познал удел посмертного бесславья:
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

Не все в этих стихах удалось поэту. Не очень гладко словосочетание «казнены при жизни», как будто можно

казнить мертвеца. И «чугунной» статуя названа понапрасну, — она была бронзовой.

Но важно не это. Важно то, что, несомненно, никогда и нигде не существовало другого памятника, который можно было бы так, при помощи простой перемены надписи на нем, превратить из оды в эпиграмму, из монумента в «пугало».

Прошли годы; удивительная скульптура была убрана от главного въезда в Ленинград. Нужно согласиться с этим: над воротами замка прибивают герб его нынешних владельцев, а не карикатурный портрет изгнанного повелителя.

Но куда удалился необыкновенный памятник?

Ценители городских сокровищ знают: тяжкий всадник на могучем коне нашел себе приют на задворках Русского музея. Из некоторых внутренних окон этого хранилища можно увидеть огромную хмурую голову предпоследнего самодержца, уши его чудовищного тяжеловоза... А правильно ли это? Не следовало ли вывести их из этой последней конюшни? Не целесообразнее ли было бы установить замечательную скульптуру в более удобном для обозрения месте? Может быть, посреди Михайловского сада за музеем; может быть, где-либо еще?

Думается, что — да. И талантливый скульптор, и его единственная в своем роде работа заслуживают того, чтобы их знали, чтобы на них можно было смотреть.

И думать о прошлом.

Такова краткая история одной скульптуры-страницы.

...Если спросить сто первых встретившихся на Невском — знают ли они, где возвышался некогда памятник «Николаю Николаевичу Старшему», — то почти наверняка девяносто из них пожмут плечами: «Представления не имеем!» А семьдесят пять руками разведут: «А кто такой этот «старший»? Что, и «младший» тоже был?»

Были оба этих Романова. «Николай Николаевич Младший» памятней большему числу пожилых людей. Во время первой мировой войны он в течение первого ее года числился верховным главнокомандующим, потом командующим войсками Кавказского фронта. «Николаю Николаевичу Старшему» он приходился сыном и, значит, Николаю Первому, сыном которого был «старший», — внуком.

Этот великий князь «старший» командовал русскими войсками во время русско-турецкой войны в 1877—1878 годах. Мужество солдат, подвиги офицеров принесли России победу, несмотря на далеко не блестящее стратегическое дарование командующего. Ему же они принесли звание генерал-фельдмаршала и в десятых годах нашего столетия, через двадцать лет после смерти, — памятник в маленьком скверике на Манежной площади, перед нынешним Зимним стадионом с одной стороны и кинотеатром «Родина» — с другой. Даже тогдашним петербуржцам малоизвестный и малопамятный, генерал сидел верхом на лошади в заученной позе. И конь и всадник были скучно вылеплены, неинтересно поставлены...

В каждом городе иногда, благодаря случайным обстоятельствам, на площадях и улицах вдруг вырастают никому не дорогие, никому не близкие и не нужные монументы. Во многих городах, особенно на Западе, они так и остаются на десятилетия и века удивлять собою равнодушных прохожих: там господствует убеждение, что надлежит хранить все, воздвигнутое предками, безотносительно к его художественной и общественной ценности: история! История — свята, даже если это плохая история!

Но Петербург — Ленинград — город особого характера и свойства. Все, что не гармонирует с его строгим обликом, что не соответствует высокому уровню его городских ансамблей, обычно не удерживается на его «стогнах».

Я не хочу сказать, что все, что было у нас когда-либо разрушено и погибло, заслуживало такой судьбы: известны многие печальные ошибки. Но бездарные памятники в Ленинграде просто не живут. С ними что-нибудь да случается. Они умирают, и некому бывает пожалеть о них.

Так исчез с Манежной площади и «Николай Николаевич Старший». Исчез тихо, никем не оплаканный и не поминаемый. Лет десять в скверике еще стояли водруженные когда-то по углам обширного постамента вычурные фигурные фонари; лет пять — в центре высились остатки великокняжеского цоколя. Теперь, пожалуй, только каменные поребрики, окружающие площадку, напоминают о нем... Да и то — кому? Только таким старикам, как я...

Бездарные памятники... Если вы станете на Литейном против фасада больницы имени Куйбышева, то в полукружии ее ограды вы увидите цилиндрический пьедестал. На нем — любимый медиками символ врачебного искусства: чаша с обвившим ее «аспидом», священной змеей греческого бога врачевания Асклепия.

В дореволюционные времена чаши и «аспида» тут не было. На их месте высился «Его Императорское Высочество принц Петр Георгиевич Ольденбургский».

Кем он был? Крупным сановником, состоявшим в родстве с царским домом, начальником многих педагогических и благотворительных учреждений. Говорят, что «для души» он перевел «Пиковую даму» Пушкина на французский язык. Но нигде ее не напечатал.

На памятнике его заслуги были обозначены коротко: «Просвещенному благодетелю». Благодетель принц, в парадном мундире, стоял во весь рост, опираясь рукой, насколько помню, на какую-то колонку, может быть изображавшую «закон»: принц интересовался правоведением. Ни в лице, ни в фигуре статуи, выполненной с полным соблюдением точности в расположении эполет, аксельбантов

и орденов, но без какой бы то ни было попытки показать человека, не чувствовалось ни единой живой черты.

Когда памятник в двадцатых годах был снят, в одной компании любителей старины зашла речь о том, что все-таки в душе — его жалко! Многие, впрочем, не соглашались с этим, указывая на то, что скульптор — бог ведает, кто именно? — не блеснул при работе над этим монументом ни талантом, ни техникой.

И тогда музыкальный критик и переводчик Виктор Коломийцев, человек умный, острый и разбиравшийся в общих вопросах искусства, бросил такую фразу: «Ну, знаете, дорогие друзья... Вы слишком много требуете от художника. Посмотрел бы я, как бы вы вывернулись, если бы вам приказали изваять и отлить из бронзы статую ничем не замечательного полковника?» И в самом деле — задачу труднее и досадительнее этой нелегко себе вообразить. В таких случаях художник заслуживает снисхождения.

Я вспомнил об этом справедливом замечании дельного критика через много лет, будучи в Бухаресте в 1944 году. В буржуазной Румынии весьма любили всякую пышность, нарядность и видимость. Город Бухарест, столицу, румыны расценивали как свой «маленький Париж». Они неустанно украшали его бесчисленными памятниками.

Помню там одну небольшую площадь, кажется «короля Ка́роля», на которой всевозможные монументы (сразу штук пять или шесть) столпились в одном из ее уголков, как фигуры на шахматной доске во время свирепого эндшпиля.

Беда, однако, была в том, что румынским скульпторам тех дней приходилось все время трактовать один и тот же сюжет, возводить на пьедесталы мало чем отличающихся друг от друга адвокатов и просто буржуа в коротеньких пиджачках, стандартных брючках, сущие

копии друг друга. Таковы политические вожди капитализма — стандарт, мода! Что Таке-Ионеску, что Братиану, что Титулеску — все они спокойно стояли на каменных основаниях — аккуратные, благообразные, нацело лишенные отличительных индивидуальных черт. А что ты сделаешь: современного члена парламента, премьера, лидера партии не посадишь на жеребца, взвившегося на дыбы, не накинешь ему на плечи ни ментика, ни бурки, не прицепишь шпор, не заставишь взмахнуть кривой саблей... Памятники были адски скучны...

Кто-то посоветовал нам — мне и москвичу-писателю Лазарю Лагину — съездить на красивейший бульвар «шоссе Киселев» (в память известного в свое время русского генерала и вельможи, бывшего в течение скольких-то лет как бы «господарем Молдавии и Валахии»). Нам посулили, что вот там-то мы увидим «прекрасный памятник», хотя опять же не то Титулеску, не то Филиппеску. Мы переглянулись: «Очередной деловитый член совета банка или ресторанный официант на цоколе?»

Приехали. Бульвар оказался и впрямь великолепным. Памятничек, уже не помню кому именно, был точно таким, как мы и ожидали: маленькая черненькая фигурка в сюртучке. Но, приблизясь, мы ахнули. На сей раз скульптор придумал, что сделать! Поставив своего скромного журналиста или адвоката в центре, он по обеим сторонам от него утвердил по три могучих постамента и на них, в экстатических, сверхдинамичных позах — с воздетыми, заломленными, раскинутыми руками, с развеваемыми ветром волосами, с лицами, исполненными самых бурных страстей, — водрузил не то шесть, не то восемь обнаженных и полуодетых дам, прикрытых античными хитонами, плащами, шарфами. «Правосудие» — было подписано под ногами одной из них. «Братство» — под другой. «Равенство» — под третьей. И так

далее. Каждая из аллегорий была вдвое масштабнее самого́ прославляемого. Самого Титулеску.

Вы приближаетесь к круглой площадке, и тихо стоящий приличный чиновник как бы прячется за этим хороводом мощных вакханок. Вы видите только могучие торсы, оливковые и пальмовые ветви, древнегреческие профили, упругие груди... Да, вот это памятник! Но... Нет, подальше, подальше от таких монументов!

Есть у нас памятники, которые никуда не сбега́ли за все время моей жизни, но скромно переходили с места на место, уступая путь городским новинкам — более быстрому транспорту, бурным потокам машин и людей.

Так, на два или три десятка метров отодвинулся от своего старого места посреди улицы, там, где она расширяется в Театральную площадь, и остановился в маленьком сквере Михаил Иванович Глинка, против Кировского театра, за Консерваторией. Когда-то он стоял «на самом бою́», и трамвайные рельсы, змеясь, огибали его. Потом, когда движение возросло, выяснилось, что рельсы и бандажи колес на таких извилинах слишком быстро стираются — каждый с одной стороны. Кроме того, транспорт мешал людям приблизиться к памятнику, чтобы прочесть надпись на гранитном постаменте, постоять возле, глядя в лицо автору «Руслана» и «Ивана Сусанина», автору «Арагонской хоты»...

Глинка ушел со старого места, стал за Консерваторией, где его творчество изучают, и смотрит на театр, где шли и идут его оперы. А спустя несколько лет по другую сторону от Консерватории, от этого храма музыки, жрецами которого были и Антон Рубинштейн, и Танеев, и Чайковский, и Лядов, и Глазунов, присел на бронзовую скамью с партитурой, развернутой на коленях, Римский-Корсаков. Пусть трамваи и автобусы бегут своим путем, — мастера музыки не слышат их шума...

Если вспомнить памятники, которые были и которых нет, нельзя не упомянуть о целой скульптурной группе: «Петр спасает утопающих». Когда-то она была установлена над одним из гранитных спусков к Неве, против восточного крыла Адмиралтейства, рядом с нынешним Дворцовым мостом (после Октября — Республиканским); моста тогда тут не было. Насколько помнится, это не было гениальное произведение монументальной скульптуры. На усеченной гранитной пирамиде бурлила бронзовая вода, среди волн возле лодки Петр поддерживал тонущих... Слишком сложный сюжет для памятника, слишком дробится внимание, чрезмерно иллюстративным кажется весь монумент! Однако я не уверен, что были достаточные основания убрать его отсюда, ничем не заменив. Теперь место это — пусто; на песке, прикрывшем бутовый камень, под основанием памятника, топчутся, клюя крупу и корки хлеба, питаемые жалостливыми гражданками толстые голуби, да два бронзовых льва смотрят со своих прямоугольных каменных подножий туда, за Неву... Может быть, стоило бы думать о том, чтобы чем-либо занять пустующее место... А может быть — вернуть старую скульптуру?

Симметрично этому Петру, второй Петр, плотник саардамский, работал топором над постройкой ботика по другую сторону Адмиралтейства, у его западных речных ворот. Это был памятник-безделушка, по своему характеру скорее настольная фигурка, чем монумент. В двадцатых годах он также исчез отсюда. Потом, не скажу точно — он ли сам или уменьшенная копия его появилась над Лебяжьей канавкой в Летнем саду. А теперь, если я не ошибаюсь, ее там не стало: на ее месте стоит мраморная группа — не то «Амур, склонившийся над Психеей», не то «Психея, вглядывающаяся в спящего Амура», — только не Петр у ботика.

Мне думается, что в Летнем саду должно было бы найтись место для его устроителя. Правда, я бы не возвращал именно сюда эту скульптуру. Я бы скорее поставил Петра над круглым прудом.

Посетив сады и парки французских королей, с плавающими в прудах гордыми лебедями, этот небывалый царь и у себя захотел иметь нечто не менее роскошное и замысловатое. Но когда был вырыт пруд, Петру показалось бессмысленным пускать на его гладь всем известных птиц... Что — лебедь? Птица как птица, вроде гуся, всякому ведомая! Какая от сего польза? И он приказал пустить в бассейн «фоку», то есть тюленя; может быть, даже парочку «фок». И повелел всем вельможам и господам придворным с их дамами ходить и глядеть на этого «фоку», понеже они еще такого не видывали, да и неизвестно, увидят ли когда. А может быть, завтра же будет приказано такому-то дворянскому недорослю ехать на Белое море и учиться бить там сих «фок» на сало и шкуры на потребу государству? И дело дурно будет, ежели он тех «фок» до сих пор в глаза не видывал!..

Вот тут бы я и поставил этого единственного в своем роде царя. А может быть, и ладожского пресноводного тюленя стоило бы поселить в просторном круглом пруду?

Впрочем, это уже фантазия...

Человек, проживший в городе столько, сколько прожил в нем я, разумеется, мог бы продолжать без конца этот синодик статуй, переселившихся с места на место, памятников, «приказавших долго жить», скульптур, исчезнувших неведомо куда и неизвестно почему. Более того, мне, например, всегда немного грустно, когда, придя на хорошо знакомое пересечение улиц, в маленький сквер, я вдруг не нахожу там не то что монумента —

любого изображения, памятного мне с детства, какой-нибудь издавна привычной скульптуры, причудливого льва или геральдического орла.

Вот, скажем, там, где улица Восстания упирается в улицу Салтыкова-Щедрина, в бывшую Кирочную. Тут некогда, перед церковью Космы и Дамиана при лейб-гвардии саперном батальоне, возвышался в садике, на глыбе грубо обтесанного гранита, бронзовый или чугунный орел. Он напоминал о воинских деяниях не командира, не какого-то генерала, а всего батальона, т. е. в конечном счете — солдат. Я не знаю, в каких битвах отличился батальон, но думается, пролитая кровь русского солдата всегда заслуживает памяти и уважения. А может быть, батальон этот нес службу под Шипкой; мы ведь сейчас вместе с болгарами благоговейно чтим память героев Шипки... А возможно, речь шла о подвигах 1812 года или о Севастополе...

Теперь на этом месте высится огромный новый дом, и пусть, конечно, высится. Но почему бы было не сохранить и скромного монумента, может быть убрав его как бы в «запасник», в какой-нибудь ближний сад или сквер, хотя бы в Таврический? Почему бы, в конце концов, не отвести в городе места, куда можно было бы «сдавать на хранение» те памятники, которые завершили свою большую общественную службу, но все же заслуживают своеобразной почетной отставки, которым прилично мирно «выйти на пенсию»? И пусть бы тот, кому это понадобится — писатель, пишущий о прошлом, художник, стремящийся восстановить уличный ландшафт Петербурга, историк, желающий как можно ясней представить себе облик императорской столицы, да и просто любой ленинградец, мог пойти и посмотреть на них во всем их каменном и бронзовом покое.

Жалко бывает не только памятники.

Перейдите — по пути от площади Мира к Технологическому — Обуховский мост. На самом углу огромного доходного дома на левой руке, под балконом-фонариком первого этажа, вы увидите странную колонну с квадратной каменной капителью-площадкой. Она ничего не поддерживает, ничего на себе не несет. А чувствуется, что она была тут для «чего-то», не так же зря...

Вы можете спросить сотни вблизи живущих людей — никто вам ничего про эту колонну не расскажет. А я вот помню...

Как-то в 1917 году, жарким летом, у меня было назначено важное свидание на этом углу. Нервничая, я ходил по тротуару взад и вперед, и все время мне в глаза бросались на том берегу, на всех крышах полукругом расположенных на предмостной площади зданий, назойливые вывески: «Майский бальзам! Майский бальзам! Майский бальзам! Лучшее средство от грудных болезней!» А прямо над моей головой, вот с этой самой колонны, с ее капители, большими зелеными глазами следила за моим метанием по панели, невесть кем и почему тут установленная, черная, распустившая крылья для взлета сова...

Сова была не бронзовая, не чугунная, просто крашеная, алебастровая. И сидела она там и в двадцатые годы, и в тридцатые... А потом кто-то, всего вернее местный управдом, решил ее убрать. И убрал. А — зачем? И если уж убрал, то почему же не поставил на ту же капитель какое-нибудь более современное изображение?

А львы нашего города? Я говорю не о тех из них, которые уже много десятилетий стоят на своих местах, о тех, которые всем известны. О двух бронзовых зверях на набережной рядом с Дворцовым мостом. О двух мраморных у подъезда Русского музея. О тех, про которых сказано: «Подъявши лапу, как живые, стоят два

льва сторожевые», — у дома Лобанова-Ростовского близ Исаакиевского собора. О «каменистых львах» елагинской Стрелки — их назвал так в одном из стихотворений двадцатых годов Н. Тихонов; они были грубовато отлиты из бетона. Что про них рассказывать? Их знает и так каждый второй ленинградец; им посвящали стихи, они упоминались прозаиками...

Наш город полон другими львами — безвестными, словно выпрыгивающими на вас то из ничем не примечательной парадной, то из куста в каком-нибудь окраинном парке. Те прославленные львы традиционны: всегда они держатся парами, всегда являются в одной установленной позе. Они напоминают мне о признании одного англичанина — истребителя львов: «Когда первый в моей жизни худой и взъерошенный лев выскочил на моих глазах с рычанием на поляну из буша, меня поразила неожиданная мысль: „Странно, почему же он не держит правую лапу на шаре, как положено всем львам?”». Те львы стоят, важные и неподвижные, десятилетиями и столетиями на одном месте и «держат лапу на шаре», и с ними ничего не происходит.

А вот у этих, никому неведомых, — своя жизнь, своя история, свои приключения. И характеры у них свои, не традиционные.

Самые прославленные африканские охотники считают редкостью «прайд» — стаю — в двадцать или двадцать пять львов, держащихся вместе.

Пойдите на Полюстровскую набережную; на границе между Выборгской стороной и Охтой, у бывшей дачи Кушелева-Безбородко, вы увидите мирно восседающих вдоль ограды двадцать восемь существ, под которыми следовало бы, конечно, утвердить пояснительные таблички: «Се лев, а не собака», но которые тем не менее — львы.

В садике у больницы имени Ленина, на Васильевском острове, вас может испугать пара необыкновенно свирепых небольших чугунных львишек, почти что разъяренных котов. Присев на низких лапах, они скалятся и фырчат, готовые кинуться на вас, приземистые, как ящерицы.

Они появились тут сравнительно недавно.

В одном старинном путеводителе я обнаружил как-то двух таких львов у подъезда окраинного домишки на Опочининой улице в Гавани.

Страстный охотник на городских львов, я поехал к этому месту. Увы, путеводитель десятых годов недействителен в городе годов пятидесятых. Не только львов — и домика не обнаружилось, и я был горько разочарован.

Прошло еще несколько лет. Проходя случайно по дворам больницы Ленина, я остановился: знакомые по фотографии львы глядели на меня из подвального помещения на больничных тылах; один лежал даже на боку...

Некоторое время спустя, идя в ту же больницу к захворавшему другу, я с радостью заметил, что мои львы вылезли из подвала и «шипят» из-под кустов боярышника на проходящих по больничной дорожке. Смоченные дождем, черные и блестящие, они походили не на львов, — скорее, на каких-нибудь «иностранцевий» — хищных земноводных каменноугольного периода; но я искренне обрадовался им: живы, значит!

А потом мне удалось найти и их родных братьев — в Павловске, на лестнице, ведущей к дворцу от речки. А затем обнаружились и более далекие родичи — возле Дворца культуры имени Ленина за Невской заставой, у самого завода «Большевик»...

Очень увлекательное дело охотиться на наших ленинградских львов!

Иногда вас наталкивает на них чистая случайность. Вы проходите в тысячный раз мимо знакомого дома по улице Халтурина. У вас расшнуровался ботинок. Вы сворачиваете — завязать шнурок — в первый попавшийся парадный вход и в темноте натыкаетесь на львиную пару, которую фотоаппарат и то берет с трудом, — такой мрак царит на этой древней лестнице. Кто установил — точнее, уложил — их тут, когда, почему?

Но возможно и сознательное выслеживание зверей. Как-то со стороны «Астории» я проезжал на автобусе мимо Исаакия. Мой взгляд упал на статую, стоящую на крыше собора с его южной стороны. Я давно ее знал: тут установлен, если не ошибаюсь, евангелист Матфей, из-за которого высматривает рогатая бычья голова: Матфея всегда изображали «с тельцом», как Луку с орлом, Иоанна — с ангелом, а святого Марка... Позвольте! «Дремлет лев святого Марка!» Рядом с Марком должен быть обязательно лев! А ведь на Исаакии установлены все четыре евангелиста. Значит...

Таким образом я «теоретически» установил место, где следует искать очередного льва. Я только удивлялся, почему же я его до сих пор ни разу не углядел: ведь мимо Исаакия я хожу уже полсотни лет?

На следующий день я обошел знаменитый собор еще раз «целенаправленно». Лев обнаружился. Только снизу его почти не видно: из-за одеяния святого чуть торчит львиный нос. Понадобилось взять билет и подняться наверх, чтобы сфотографировать зверя. Скажу прямо: я очень гордился открытием. Я чувствовал себя этаким Леверрье, открывшим планету Нептун не глядя на небо, путем математических расчетов. И снимком этим я весьма дорожу.

А с такими снимками надо вообще поторапливаться.

Я знал: на Лиговке, у бывшего завода Сан-Галли, стоят два льва. Заводовладелец, видимо, желал — там, в дореволюционном мире, — чтобы лев был его «фирменным зверем»: у магазина весов того же Сан-Галли, на Невском в доме № 8, против улицы Гоголя, до самой революции небольшой чугунный лев, крашенный в коричневую краску, дерзновенно стоял поперек тротуара, над входом в магазин, расположенный в «низке», в подвале; двух больших львов господин Сан-Галли пожелал иметь и у входа в заводскую контору. Бывая на этом заводе, еще в наше время (но до войны) я часто видел их там и все собирался просить у дирекции разрешения сфотографировать их.

Наконец, уже после войны, собравшись, взяв фотоаппарат, я приехал туда и... Львы сбежали. Их больше у входа не было, и — что хуже — никто не мог мне сказать, куда они исчезли. То ли это случилось до смены заводского руководства, то ли вообще помимо него... Следы львов пропали.

Огорченный, я уже решил, что, очевидно, два прекрасных бронзовых зверя попали в руки если не «собачников», то специалистов по утилю. Одно другого стоит.

...Много времени спустя, проходя мимо эффектной церкви Иоанна Предтечи, у Новокаменного моста через Обводный, я вздумал подойти к ней поближе и посмотреть на что-то, меня заинтересовавшее. Обращенная в склад церковь была далеко не в наилучшем порядке; за ее углом громоздилась огромная куча мусора, и на этой куче я неожиданно обнаружил одного из сан-галлиевских львов. Как говорят Бремы, Гагенбеки и Дареллы, «благородное животное было в жалком состоянии», но целое и невредимое. Лев стоял тут, пристально смотря поперек Обводного, точно на минуту остановившись перед мостом и размышляя, перейти его или нет...

Фотоаппарат был при мне, и я зафиксировал его раздумье. И хорошо сделал: через неделю лев сбежал и отсюда. Куда? Кто мог мне разъяснить это? Но теперь я уже не терял надежды встретиться с ним где-либо опять. И моя надежда исполнилась.

Пойдите в Московский парк Победы. Там, над небольшим каналом, очень приятно отражающим в своей воде ближние деревья, вы увидите на обоих берегах его двух очень неплохих львов — близких родичей (иначе говоря — копии) тех, что стоят на Неве против Адмиралтейства, или тех, которые окарауливают эту же речку много выше по течению, у вагоностроительного завода... Видимо, это и есть два сан-галлиевских близнеца. А вот если вы захотите узнать, какими путями и по чьей команде они удалились со своего исконного места, почему один из них сделал дневку у церкви на Обводном, где в это время пребывал второй и как они нашли друг друга, — тут я вам помочь не могу. Вам придется использовать мои показания как нить Ариадны и остальные розыски производить самим...

Один мой знакомый, молодой еще, но очень уже известный и примечательный археолог, завел себе, как многие ученые, странное «хобби». Он составляет «кототеку», занося на карточки данные о всех ему известных кошках и котах, с их характеристиками, сведениями из биографий, фотоснимками (если таковые имеются), документами — скажем, ветеринарными рецептами, выписанными на их имя, — и так далее. Я, как и все, привык к этому: хобби бывают разные, а ученый он большой.

Как-то раз, рассказывая мне о своей очередной экспедиции на Аму-Дарью, он вскользь упомянул, что в тугайных лесах на берегу этой реки ему попался на песке

свежий след тигра. «Я тут же составил на этого тигра карточку... Дело в том, что тигров я рассматриваю, знаете ли, как котов; по-моему, для этого есть основания...»

Ну так вот: подобно ему, я рассматриваю ленинградских сфинксов как разновидность львов; для этого оснований, на мой взгляд, тоже более чем достаточно. А стая сфинксов в нашем городе не уступает львиной.

Конечно, на первом месте тут высятся два Аменхотепа III, два «сфинкса из древних Фив в Египте», установленные в 1832 году на набережной перед зданием Академии художеств. Два изображения мало чем примечательного и слабого фараона, более трудов положившего на то, чтобы хоть кое-как отбиться от налетов кочевников, чем на какие-либо активные действия в чуждых пределах, смотрят лежа друг против друга, в глаза один другому и, кажется, испытывают стыд. Ведь египтологи — особенно покойный академик В. В. Струве — давно разгласили всем ленинградцам, что́ написано на плоском постаменте каждого из них.

Длинная лента замысловатых иероглифов воплощает бессильное хвастовство незадачливого «владыки Верхнего и Нижнего Египта, повелителя обеих Луков, могучего Быка, ужаса сопротивных, строителя многих зданий, равного которому нет и не было в мире», и прочая, и прочая, и прочая...

Удивляться, впрочем, нечего... Если вы нападете в любой старой газете на титулатуру Николая Второго — самодержца Великой, и Малой, и Белой Руси, царя Польского, великого князя Финляндского — и представите себе последние годы его «благополучного царствования» и его конец, вы поймете, что психология монархизма оставалась неизменной на протяжении веков и тысячелетий...

Равняться с этими «главными сфинксами» Ленинграда другим, конечно, трудно: эти — подлинные египтяне; остальные — позднейшие, и часто довольно грубые, подделки.

Вот почему я не буду тут говорить, скажем, о тех четырех, которые украшают Египетский мост через Фонтанку: они спроектированы и отлиты в Петербурге в XIX веке.

Они красивы, но, разумеется, ни малейшего привкуса древности у них нет. Но мне, в связи с ними, интересно вот что.

Пойдите на малолюдную Можайскую улицу у Технологического института. Тут, на правой ее стороне, высится огромный когда-то доходный дом. Войдите в подворотню. Внутри — самый обычный петербургский тесноватый двор, с высоченными стенами, с развешенным на веревках бельем, с крошечным садиком, огороженным заборчиком из выкрашенного зеленым штакетника. И... И, представьте себе, — с двумя точно такими же литыми сфинксами, как там, на Египетском мосту. Это не сфинксы, — скорее, «сфинксихи». Они лежат тут, повидимому у «бывшего подъезда» некогда стоявшего на этом месте небольшого особнячка, и смотрят пустыми глазами на дрова, на играющих на асфальте ребят, на сохнущие простыни... Откуда они здесь? Кто, при каких обстоятельствах установил их? Не надо большой наблюдательности: это — родные сестры тех, с Египетского моста, отлитые в одной форме... Вероятно, кому-то, обладавшему властью, понравились мостовые скульптуры, и он приказал отлить парочку сверх комплекта и водрузить возле его дома... А может быть, так поступил сам скульптор? Каюсь, у меня до сих пор не хватило пороха выяснить, как все это произошло, хотя сделать это стоило бы.

Едва ли не самыми удаленными от городских центров сфинксами являются те, что лежат по четырем углам изящного фонтана-колодца (видимо, водопойки для царских лошадей) у подножия Пулковского холма, на старой дороге из Царского Села в Санкт-Петербург. Тут же, чуть подальше вверх по холму, есть врезанный в откос храмик-грот, в глубине которого когда-то тоже сочилась струйка воды; у входа тут еще недавно почивали два самых истощенных, самых обтрепанных, самых чахоточных на вид ленинградских льва. Они были изваяны из какого-то непрочного известняка и так изъедены временем и влагой, что смотреть на них было даже огорчительно...

Очень забавные маленькие сфинксы-плебеи со стертыми временем лицами охраняли десятилетие назад вход в аптеку на проспекте Обуховской обороны, недалеко от Володарского моста. Не знаю, почему им не давали покоя: они появлялись то у одного, то у другого крыльца соседних домов — и наконец исчезли. Смотришь, бывало, на них, вспоминаешь старый Шлиссельбургский тракт начала века с его кромешными купеческими и мещанскими домишками, с его окраинным бытом, с трактирами и «полпивными», — и дивишься: кому из тамошних владельцев могла прийти в голову причудливая идея — украсить подъезд именно сфинксами? А ведь вот — украсил!

Сфинксы у нас есть всякие; я могу указать вам даже на пару чрезвычайно легкомысленных и кокетливых маленьких «сфинксиц», скорее напоминающих кокоток прошлого столетия, нежели свирепые и загадочные мифологические чудовища. Эти два сфинкса-дамочки, изваянные из мрамора, в кружевных чепчиках и таких же ночных рубашонках, покоятся по обеим сторонам лестницы в вестибюле известного здания, бывшего

дворца Юсуповых на Мойке, того самого, где был убит Григорий Распутин. Они неплохой работы, и на них стоит зайти посмотреть.

Я пишу эту главку о «живущих рядом» в глубоком убеждении, что так оно и есть. Они — статуи, скульптуры — всегда рядом с нами, и они действительно живут. Они живут и в некоем возвышенном, историческом смысле и плане. Я помню: в первые недели войны, приехав с фронта в город, я стоял возле фальконетова Петра вместе с другими ленинградцами и с чувством тяжелой тревоги, а в то же время и с некоторым удовлетворением, наблюдал, как исчезали под песчаным укрытием и гордый конь, и его могучий всадник — тот самый, который «над самой бездной, на высоте, уздой железной Россию поднял на дыбы».

Новая бездна раскрылась теперь перед Родиной; пришло ей время спрятать на некий срок свои сокровища. Гениальный памятник оставался с нами, но мы не хотели и не могли подвергнуть его опасностям бомбежек и обстрелов. Нам было некогда, очень некогда. Нам надо было думать о наших детях и о наших солдатах, о противотанковых рвах и о противовзрывных щелях. Но мы подумали и о нем...

А потом я видел, как в глубоких ямах укрывали на годы беды прекрасных скифских юношей, укрощающих диких коней на Аничковом мосту. И мне же выпало на долю немалое счастье спустя четыре долгих года присутствовать при их исшествии из блокадных могил; видеть, как они снова становились на свои пьедесталы, как бы вглядываясь с недоумением и горечью в руины знакомых домов, в свирепые царапины снарядных осколков на гранитных плитах панели под самыми их ногами, как бы дивясь и

радуясь радости ленинградцев, приветствовавших их воскрешение, — символ возрождения многострадального и героического города на Неве.

Я видел тут же неподалеку на Невском — не в тот год, а позднее, — как, возвышаясь над многотонной автоплатформой, стоя во весь рост, направлялся в Петергоф заново отлитый по старым репродукциям, по фотографиям похищенный гитлеровцами Самсон. И его победное шествие сопровождала спокойно-радостная толпа: нам, ленинградцам, было по сердцу видеть и знать, что, залечивая раны своего города, мы восстанавливаем не только его жилые дома, не только заводы и фабрики, вокзалы и рельсы дорог. Мы озабочены и их судьбой, судьбой «живущих рядом» мраморных, чугунных, бронзовых великанов, которыми любовались поколения наших предков, и которых мы хотим оставить для долгой жизни, оставить для наших отдаленных потомков...

Был в Ленинграде один памятник, не вызывавший бурных чувств восторга у знатоков и все же за дни блокады ставший по-особому милым нам, блокадникам. То была Екатерина, окруженная деятелями своего времени, в сквере перед Театром имени Пушкина.

Этот памятник со дней его установки вызывал шутки и нарекания. Не удовлетворял стилистический эклектизм автора, решившего большую монументальную группу в форме, напоминающей издали настольный председательский колокольчик, ручкой которому служит сама фигура императрицы. Памятник этот не был в начале войны обложен мешками с землей, не был убран в какую-нибудь траншею. «Фелица» в своей тяжелой порфире осталась стоять под снегами и ветрами, под бомбежками и обстрелами сорок первого, сорок второго, сорок третьего годов. С Алексеем Орловым, с Безбородко, с мило-

ликой Дашковой, сим любезным президентом Академии наук, с полководцами Суворовым, Румянцевым и светлейшим Потемкиным. Она освещалась то безжалостной блокадной луной, то холодным светом «люстр», которые немецкие разведчики подвешивали над городом перед бомбежками. И мы, блокадники, часто проходили у ее подножия. Из всех крупных скульптур Невского проспекта она единственная «не спустилась в убежище».

И это нравилось нам, блокадникам. Она жила вместе с нами. Ведь статуи города живут вместе с ним «во дни торжеств и бед народных»!

Но ведь и по-другому — уже не возвышенно, а просто, по-бытовому — все они тоже «живут».

Многие из них «хворают». Пойдите в Летний сад, приглядитесь к его статуям, с самых юных лет милым каждому ленинградцу. Поезжайте в Некрополь, к Невской лавре. Странная проказа поражает лица, руки, ноги многих изваяний, точит пальцы, покрывает щербинками щеки, уродует носы... В воздухе современного города с каждым годом повышается процент взвешенной в тумане, во влажности серной кислоты: она образуется из каменноугольного дыма. Дождем и росой она оседает на поверхность мраморных тел, разъедает их, превращая мрамор в гипс...

Возникла целая медицина, скорая помощь статуям. Им делают компрессы и примочки, их оперируют, им «приживляют» даже новые носы, пальцы, уши. Они проходят «душевые процедуры»... Помогает? Как и людям: чтобы излечиться окончательно, надо переменить условия. Надо позаботиться, чтобы воздух Ленинграда очистился от вредных примесей: это будет полезно не только каменным существам... Ну, а пока он еще засорен, — конечно, их надо лечить...

Лечить и соблюдать гигиену. Знаете ли вы, что бронзовые и мраморные гиганты наших площадей и садов ходят в баню? Не часто, но раз в году обязательно.

Накануне Первого мая наступает их «банный день», а точнее — «банная ночь». Из многих пожарных частей выезжают в это раннее утро машины с брандспойтами и рассыпаются по городу. Струи воды ударяют в позеленевшую бронзу, в потемневший от копоти и пыли камень. Статуи купаются и к празднику предстают обновленными.

Обычно эта процедура проходит без всяких осложнений. Но случаются и неожиданности.

Лет двадцать назад мощность пожарных автонасосов неожиданно для тех, кто ведает этими купаниями, резко повысилась: новая техника! Струи стали бить под значительно бо́льшим напором. Конечно, было рассчитано, что никаких поломок от этого возникнуть не может, но всего предусмотреть нельзя.

...Красная огромная машина развернулась против бронзовой Екатерины. Струи ударились о памятник. И вдруг из-под складок пышных одежд, из порфиры царицы, из кринолина Дашковой, из ботфорт и камзолов царедворцев взвились и раскатились по гравию дорожек черные и пестрые мячики: маленькие крепкие мячики-арапчики дореволюционных лет; современные многоцветные; зашитые в войлочную шкурку теннисные; хрупкие пластмассовые, типа пинг-понговых... Десяток, второй, третий... Больше сорока мячей собрали пожарные в этом сквере.

Сколько же десятилетий мальчишки бомбардировали «богоподобную царевну Киргиз-Кайсацкия орды» своими непочтительными снарядами, и половина из них навсегда оставалась во власти бронзовых царедворцев! Старые пожарные машины ничего не могли поделать с этим:

силы их струй не хватало. А вот новое оборудование дало свой эффект незамедлительно: мячики брызнули оттуда вместе с клокочущей водой.

Забавная история? По-моему — забавная! И она тем более убеждает меня в правильности моего отношения к обитателям великого музея скульптуры — Ленинграда. К его мраморному и металлическому населению. Они — по-своему живые. Они живут рядом с нами. И спасибо им за это.

ИМЕНИ БАРМАЛЕЯ?

Года два-три назад я ехал в автобусе по Большому проспекту Петроградской стороны.

Молодая мама с пятилетней дочкой встала, чтобы выйти на ближайшей остановке.

Водитель громко объявил по радио:

— Сле-дую-щая оста-нов-ка Бар-ма-леева улица!

И тотчас же прозвенел перепуганный голосенок девочки:

— Мамочка, не надо тут сходить! Я — боюсь!

— Что ты, Таточка, чего ты боишься?

— Да!!. Бар-ма-ле-ева!..

В вагоне засмеялись, а у меня — топонимиста — сразу же зашевелился в голове вопрос: «А почему, собственно, такое название?? Почему улицу назвали Бармалеевой? Не потому ведь, что есть созданный К. И. Чуковским страшный разбойник Бармалей? Или, наоборот: как пришло в голову Корнею Чуковскому так окрестить своего крайне отрицательного героя, если в Ленинграде на Петроградской стороне еще с петербургских времен существует Бармалеева улица? Улица имени Бармалея?..»

Вернувшись домой, я записал «проблему» на карточку и установил карточку на подобающее ей место

в картотеке, в разделе «вопросы». Она оказалась тут недалеко от другой, однотипной, с записью: «Как возникло в голове Алексея (Николаевича) Толстого имя злой крысы в «Золотом ключике»? Крысу зовут Шушара, а между Ленинградом и Пушкином, где много лет жил Толстой, искони веков существует деревушка, а затем и железнодорожный полустанок, Шушары... Какая между этими двумя именами связь?»

Долгое время секрет Бармалея оставался в рубрике «нерешенное». Собственно, в принципе топоним «Бармалеева» не составлял особой тайны. В Ленинграде бесчисленное множество проездов, переулков, городских урочищ носят названия, произведенные от имен и фамилий (а порою — прозвищ) их давних владельцев или первых насельников. В частности, многие улочки Петроградской стороны именованы именно так; различие между ними главным образом в том, кто являлся «эпонимом», крестным отцом той или другой из них.

В одних случаях у них явно аристократическое происхождение: Белосельский проспект на Крестовском несомненно был связан с фамилией князей Белозерских-Белосельских. Им же обязана своим названием и соседняя Эсперова улица, названная в честь одного из этих князей, имевших тут земельные владения (звали его Эспером); дореволюционный Дункин переулок, может быть, восходит к родовитой фамилии шотландских выходцев Дункан, владевших некогда участками у нынешней мечети и у давно снесенного деревянного цирка «Модерн» *. В других — и таких несравненно больше — названия возникали по именам куда менее славных владетелей — купчиков, городских мещан, почетных граж-

* По другой версии, это название связано с фамилией извозопромышленника Дунькина, державшего поблизости свое заведение.

дан, фабрикантов, собственников земель на захолустной, еще в начале XX века имевшей полудачный, усадебный характер, Петербургской стороне. Из этих лиц весьма многие владели тут, может быть, еще в старых «слободах» — Зелейной, Ружейной, Пушкарской — не чем-либо другим, а кабаками, трактирами: народ имел давно установившееся обыкновение нарекать улицу, примечать ее либо по храму божию, либо по злачному месту — кабаку. Рядом с Введенской (по церкви Введения), Матвеевской (на которой стояла Матвеевская церковь), Церковной (к ней примыкал северной частью здания Князь-Владимирский собор) появились многочисленные Плуталовы, Шамшевы, Полозовы, а вероятно, и Бармалеева улица.

Таким образом, ее основу, несомненно, составляет личное имя — фамилия Бармалеев или прозвище Бармалей. Но как только вы по архивным ли данным, путем ли чисто теоретического анализа слова — дойдете до этой гипотезы, становится ясным, что это — не окончательное решение проблемы, ибо откуда могли взяться и такая фамилия и такое имя? Что они-то значат?

Тайной в квадрате оставалось происхождение этого же имени в славной на протяжении нескольких поколений между малыми детьми и их родителями сказке Корнея Чуковского.

Довольно долго я как-то не рисковал в этом последнем случае пойти по наиболее простому и прямому пути: попросить объяснения у самого автора. Это казалось не вполне удобным: каждый сказочник имеет полнейшее право выдумывать какие угодно клички и прозвания своим персонажам и чуть не обязан докладывать читателям, почему он остановился на таком-то из них...

Но топонимисты (и я в том числе; можно это распространить шире — все коллекционеры) — люди одержимые; в этой одержимости мы способны на все.

Я написал Корнею Ивановичу письмо. Написал, отправил, но полагал, что, всего вернее, он любезно ответит мне: «Да знаете, как-то так, без особых задних мыслей... Пришло в голову устрашающее имя, и назвал злодея Бар-ма-ле-ем...»

Но еще прежде чем мое письмо попало к адресату, мне случилось самому побывать у него. И вот тут-то, в Москве, в Барвихе, я выслушал от него такую преинтересную историю.

В далекие времена (не скажу — до революции или в первые годы ее) Корней Чуковский и художник Мстислав Добужинский гуляли однажды по городу. Они забрели на Петербургскую сторону, им не слишком известную, и на углу узешенького проулка увидели надпись: «Бармалеева улица».

Художник Добужинский был человек любознательный. Он потребовал от литератора Чуковского объяснения этого названия. «Если улица — чья? — Бармалеева, значит был — кто? — Бармалей», — резонно утверждал он и желал узнать, кто это — Бармалей, почему он Бармалей и по какой причине в его честь назвали улицу?

Прикинув возможности, Корней Иванович выдвинул такую гипотезу. Легко могло случиться, что в XVIII, скажем, веке в Санкт-Петербург переехал из Англии человек, носивший довольно обычную для выходцев из этой страны фамилию Бромлей. Он мог оказаться тут в качестве какого-нибудь заморского галантного умельца — ну хотя бы в качестве придворного цирюльника, кондитера, еще кого-либо. Носители этой фамилии в России были известны. Один из них свободно мог приобрести землю на Петроградской, построить тут дом или дома вдоль какого-нибудь незначительного и пустого прогона или вдоль дороги... Получившуюся так улицу могли прозвать Бромлеевой. Но ведь вот переделали же название

«Холлидэев остров» в «остров Голодай». Могли «перестроить» и Бромлееву улицу в Бармалееву. При переходе имен из языка в язык и не то еще случается!..

Казалось бы, объяснение получилось не хуже, чем любое другое. Но Мстислав Валерианович Добужинский возмутился:

— Не хочу! — решительно запротестовал он. — Не хочу ни парикмахеров, ни парфюмеров! Я сам знаю, кто был Бармалей. Это был — страшный разбойник. Вот такой.

Раскрыв этюдник, он на листе бумаги набросал страшного, усатого злодея и, вырвав листик, подарил набросок Корнею Ивановичу. Так и родился на свет новый бука — Бармалей, а детский писатель Чуковский сделал все, что было нужно, чтобы этот новорожденный зажил плодотворной и впечатляющей жизнью. Первый же образ Бармалея сохранился у него в знаменитой его «Чукоккале».

Таким образом мне стала известна совершенно петербургская история личного имени литературного героя. Что же до истории топонима, названия улицы, то, хотя предложенная К. И. Чуковским версия его происхождения и является довольно правдоподобной, все-таки, чтобы она из гипотезы превратилась в аксиому или хотя бы в теорию, ее надо тщательно подкрепить разысканиями в архивах и доказательствами. Иначе — ничего не получится *.

---

* В «Толковом словаре» В. И. Даля (т. 1, стр. 50) в «гнезде» «Барма» приведено слово «бармолить», означающее в народных говорах «быть косноязычным», «невнятно бормотать». Вполне вероятно, что производное «бармо(а)лей» могло нередко превращаться в кличку, прозвище. От этого прозвища могла не раз образовываться фамилия Бармалеевы, которую и приходилось носить потомкам шепелявого.

Каждый город, образуясь, вырастая, накапливая факты своего исторического развития, создает и свой топонимический фонд. Обычно в нем обнаруживаются как бы два направления. С одной стороны, родятся названия, типичные для любого города этой же страны, такие, как всюду. С другой — появляются топонимы, характерные именно для данного города. С третьей — возникают имена, просто-напросто перенесенные из других мест страны, взятые взаймы у старших по времени рождения городов.

Примером третьего разряда, наименее, конечно, любопытного, у нас может служить имя Садовой улицы. Может быть, пышные сады по ее протяжению и сыграли известную роль в ее наименовании, но, вероятнее всего, образцом для него послужило название старинной Садовой улицы в Москве; может быть, его перенесли «на берег Невы» именно московские переселенцы. Может стать примером, с существенной оговоркой, и Моховая улица. С ней произошла весьма обычная в топонимике — науке об именах мест — история.

На первый взгляд и она точно повторяет имя московской Моховой улицы. На деле же все куда сложнее. Петербургская Моховая — позднее изменение другого названия — Хамова́я, Хамовска́я улица. Почему «Хамова́я»? Это слово в XVIII веке и ранее означало «ткацкая»: «хамо́вник» значило «ткач». На Фонтанку в середине XVIII века перебрался из Москвы ткацкий — «хамо́вный» — двор. Были переселены и мастеровые — «хамо́вники». Неподалеку расположилась Шпалерная — текстильно-ткацкая мануфактура. Весь район стал «хамо́вным», ткацким, и улица, тянущаяся вдоль него, получила имя Хамово́й, ткацкой. Только в середине XIX столетия она превратилась на планах в Мохову́ю; есть основания полагать, что эта переделка произошла под косвенным влиянием московского образчика, хотя

московская Моховая не имела никакого отношения к ткачам и ткацкому делу. Она была проложена по месту, где когда-то шумел «моховой рынок», — подмосковные крестьяне продавали тут нарытый в лесах мох для конопачения бесчисленных срубов деревянной столицы.

Образцов общерусских, не «чисто питерских» названий в городе на Неве, разумеется, пруд пруди. К ним относятся все имена, произведенные от личных имен и фамилий как знатных, так и простонародных. Нет ни надобности, ни возможности перечислять их тут: слишком их много. Какая-нибудь Сутугина улица у Нарвских ворот, Батенина и Флюгов переулок на Выборгской, Палевские улицы за Невской заставой, Языков переулок возле Лесного и Ланской — вот плебейские, купеческие или разночинные, наименования этого рода. Пригороды же — Ланская — от графов Ланских, Кушелевка — от Кушелевых-Безбородко — до сих пор хранят память о богатых поместьях, оказавшихся в конце концов в черте города.

Ничего оригинального не представляют собою храмовые, церковные имена. Петербургский термин «у Покрова» мало отличается по смыслу от московской «Покровки» (да и в десятках других городов встречаются или встречались названия этого же значения и происхождения). Оба обязаны своим существованием церквам, сооруженным в честь праздника Покрова. Успенские, Введенские, Никольские переулки и улицы существовали повсюду: немало их было и в Петербурге. Единственное, что отличало эти имена от их более древних прототипов, — это официальная, грамматически правильная форма.

Географическое имя сплошь и рядом испытывает такую же судьбу, как галька на морском прибережье. Вначале береговой щебень представляет собою множество остроугольных обломков камня. По прошествии десятков

и сотен лет, от постоянного движения в полосе прибоя, камешки сглаживаются, округляются, приобретают типический вид гальки. Так и в топонимике. Когда-то московские улицы могли тоже носить названия Покровской, Лубянской, Иоакимо-Анненской. Постоянное движение их в живой речи обточило, округлило их, превратило в Покровку, Лубянку, Варварку, Якиманку. «Улица где стоит Варваринская церковь», «улица, где живут ткачи-хамовники», — все ясно и рационально. «Варварка», «Якиманка», «Хамова́я-Мохова́я» — просто названия, и больше ничего.

Петербург на несколько веков моложе Москвы, и этот процесс «офамильяривания» официальных имен не мог зайти в нем так далеко, как в древней нашей столице. Но и тут наблюдалось (да и всегда будет наблюдаться) общее движение имен мест в этом же направлении — в сторону упрощения, в сторону, так сказать, сглаживания углов, превращения их из слов и словосочетаний с вещественным смыслом и значением в чистые топонимы.

Этот процесс превратил в Питере «улицу (поэта) Жуковского» в «Жуковскую улицу» и «Гостиный двор на участке графа Апраксина» в «Апраксин двор».

Но в общем ленинградские имена проездов, площадей, скверов ближе к официальному типу, нежели московские.

Самый интересный разряд представляют собой те названия, которые типичны и характерны только для Петербурга, связаны с понятиями и терминами, живущими в нем одном, и уходят корнями либо в совершенно особенный быт и жизнь невской столицы, либо в специфическую этнографию места, на котором город возник.

Лет шестьдесят назад, во дни моего детства, меня нередко вывозили по разным поводам и причинам в тог-

дашние ближние пригороды — в Лесной, в Удельную. Тогда уже запало мне в память любопытное название одной из дальних окраинных улиц — там, за Круглым прудом, среди пустырей и полудачных усадеб северо-западной окраины Питера. Она носила длинное имя: «улица Карла и Эмилии».

В этом имени все своеобразно. Исконно русской топонимике никогда не были свойственны названия, представляющие собой конструкции с родительным падежом от имен собственных, да и вообще от любых существительных, довольно обычные у народов Запада.

Французскому «Плас де ла Грэв», т. е. площадь Гравия, песка, у нас соответствовала «Песочная улица», «Песчанка», «Пески»... Там, где француз охотно называет площадь «площадью Звезды», мы предпочитаем конструкцию типа «Звездная улица». Мы уже видели, как из двойной основы «Иоаким и Анна» русский язык сотворил единую — «Якиман» — и назвал улицу в Москве «Якиманкой». Сразу же можно сказать, что улица Карла и Эмилии названа не русскими людьми. А кем же?

Вокруг Петербурга (в том числе и по его окраинам) вплоть до революции можно было наблюсти немало немецких — бо́льших и меньших по масштабу — колоний. Огромная Саратовская колония существовала против Обуховского завода на правом берегу Невы. Было сравнительно небольшое немецкое поселение и вблизи Лесного. Это были тесно сплоченные и резко обособленные от их русского окружения общины, связанные своим укладом, своими нравами, религией, языком, традициями. С совершенно иной этнографической средой. Населяли эти колонии, разумеется, люди разной социальной принадлежности, различной состоятельности, разных кругов, но чаще всего — мещане. Немцы.

В немецкой общине за Лесным, по местному преданию, жили некогда две семьи. К одной принадлежал юный Карл, к другой — прекрасная Эмилия. И вот получилась немецко-петербургская версия Ромео и Джульетты.

Чувствительное сердце Карла было пленено прелестью юной Эмилии. Нежная фрейлин Эмми тоже взглянула на Карльхена стыдливым взором. Но папы и мамы — и те и другие! — узнав об их любви, дружно сказали «нейн!» (не «найн!», как выразились бы грубые берлинцы, а нежное «нейн», на чистом петербургско-немецком диалекте). «Нейн! — сердито сказали родители, и даже дедушка Иоганн, и даже прабабка Луиза. — Карльхен хотя и работает у господина Лауренберга, но получает еще мало. Подождем, пока он будет зарабатывать достаточно, чтобы начать откладывать «зэйн клейнес Шатц!» — сбережения».

Прошло десять лет. Карл стал зарабатывать достаточно и уже отложил некоторое «Шатц», но папы и мамы, обсудив вопрос, снова сказали «нейн!»: «Вот когда Карльхен будет получать не меньше, чем господин Кистер...»

Прошло еще двадцать лет, и детки снова попросили разрешения пожениться. Но родители опять сказали: «О нейн!» Сказали все, кроме прабабки Луизы, ибо она уже давно умерла, и дедушки Иоганна, которого разбил паралич.

И тогда пятидесятилетние Карльхен и Эмилия посмотрели друг на друга, взялись за руки, пошли на Круглый пруд и бросились в этот Круглый пруд и утонули в этом Круглом пруду. И когда их тела наутро вытащили из Круглого пруда баграми, они все еще держали друг друга за руки.

И тогда господин пастор Ауэр, и господин никелировщик Клемм, и господин учитель Качкерих посовето-

вали прихожанам назвать их именами улицу, по сторонам которой росло больше всего сирени и черемухи и где весной пели муринские соловьи, чтобы отметить столь удивительную швабскую любовь и не менее дивное послушание родителям.

Я не поручусь, что это было и происходило буква в букву так, как тут рассказано, — кое-что я додумал. Но улица существовала и носила чувствительное имя свое долго, очень долго — до Революции и даже несколько лет после нее. А затем ее переименовали. Ее назвали Тосненской улицей.

Есть под Ленинградом поселок и железнодорожная станция Тосно. Возле них протекает и река Тосна, приток Невы. Река примечательна: геологи утверждают, что некогда не она была притоком могучей Невы, а, напротив того, огромная новорожденная река Нева, прорвавшись из Ладоги на запад, впала в малую, мелководную, но древнюю Тосну: самое имя этой речки, по мнению языковедов, означало некогда «узкая». Всю долину Тосны залили невские воды.

Ну что же, почему бы и не назвать какую-либо из ленинградских улиц Тосненской, тем более что в дни войны поселок Тосно и станция Тосно сыграли свою роль при освобождении Ленинграда от блокады.

Но ведь, несомненно, было бы много разумнее придать имя «Тосненской» одной из новых улиц в юго-восточных районах города, одной из тех, что туда, к Тосне, тянутся. А причудливое, чисто петербургское, четко характеризующее допотопный быт некоторых питерских, онемеченных по прихоти Екатерины Второй и ее наследников, окраин имя «улица Карла и Эмилии» сохранить для потомков как любопытный музейный экспонат.

Имена мест — такие же памятники прошлого, как башни древних крепостей, краски старинных икон,

черепица боярских теремов или деревянные мостовые Господина Великого Новгорода. Без особой надобности, без острой необходимости их уничтожать нельзя.

Вернусь, однако, к основной теме.

На правом берегу Невы, высоко вверх по ее течению, есть место, именуемое «Уткина заводь». Для начинающего топонимиста имя это соблазнительно: его можно удобно объяснить как «заводь, в которой когда-то кто-то увидел, убил, поймал утку. Дикую утку». А может быть — домашнюю? А может быть, утка от охотника тут удрала?

Топонимист более опытный покачает головой: куда больше шансов для иного объяснения. Несомненно, местом некогда владел некто по имени Уткин (или Утка). Принадлежавшая ему «заводь Уткина» мало-помалу, под воздействием обычных в русской топонимике законов, неминуемо должна была превратиться в Уткину заводь. Во всяком случае, никаких нарушений норм и законов русской топонимики это название в себе не содержит.

Не слишком далеко от Уткиной заводи, на том же правом невском берегу, в дореволюционные времена на генеральных планах Петербурга можно было прочесть другую, куда менее ожиданную надпись, даже целых две. Тут змеилась по пригородным пустырям ничтожная — почти ручей! — речка Оккервиль. Тут же значилась и «Оккервильская волость».

«Кентервильское привидение»?.. Понятно: это — Великобритания. «Собака Баскервилей»?.. Таинственно, но естественно, ибо и она обитала в Девоншире — Англия... Браззавиль, Леопольдвиль, Стенливилль — Африка, Конго. А тут, рядом с Охтой и Уткиной заводью, тоже «виль»?.. Откуда здесь могло возникнуть такое имя, досуществовавшее до наших дней: если я не ошибаюсь

«Оккервильский сельсовет» работал еще во времена нэпа? Да и сегодня в некоторых справочниках вы можете найти речку Оккервиль — приток реки Охты.

Чтобы разрешить загадку, я позволю себе рассказать здесь еще одну совершенно петербургскую историю.

Мой добрый друг весьма увлекался авиацией. На протяжении многих лет он всеми способами увеличивал число своих знакомых из лётного мира и в конце двадцатых годов заполучил уйму приятелей среди ленинградских летчиков. При малейшей возможности он совершал, пусть даже краткие, полеты, и, думается, его «налёту» могли позавидовать многие люди воздуха. Всюду у него были друзья.

В 1930-м или 31-м году он рассказал мне, настоятельно требуя ее разгадки, следующую «лётную» новеллу.

Один из его авиадрузей, работавший на тогдашнем Комендантском аэродроме в Новой Деревне, пригласил его как-то под вечер «подлетнуть» над северо-западными пригородными полями. «Походить по коробочке» над аэродромом (там, где летал некогда Юбер Латам) и, может быть, даже «сходить в зону» *, «попилотажить». Разумеется, приглашение было принято.

Перед закатом, при низком солнце, предвещавшем и назавтра отличный лётный день, друзья — летчик и «багаж», т. е. пассажир, — пошли в воздух. Мой друг наслаждался: вечерний полет у большого города всегда хорош, а близ Ленинграда — с его Невой, с зеркалом залива, куда садится солнце, с лесистыми карельскими

* В языке летных школ «зона» — «участок неба» близ аэродрома, отведенный для выполнения тех или иных учебных упражнений в воздухе.

далями на северо-западе, с еле заметной полоской Ладоги, все яснее отмечаемой дорожкой бликов под встающей над озером луной, — может доставить огромное удовольствие.

Любители полета пошли на последний круг перед посадкой. И в этот миг пассажир застучал по плечу пилота. В чем дело?

Пассажир показывал вниз, вправо, выражая полное недоумение. Что там такое?

Летчик посмотрел за борт и в таком же недоумении пожал плечами. Он увидел то, чего, летая с этого аэродрома ежедневно и по многу раз, никогда доныне не замечал. Или на что, по какой-то странной игре случайности, ни разу не обратил внимания.

За Комендантским полем тогда простиралась — к деревне Коломяги в одну сторону, к Лахте — в другую — обширная низменная, болотистая равнина, поросшая ярко-зеленой травой, характерной для таких заболоченных лугов. Ее он видел ежедневно. Но сегодня посредине ее, неподалеку, он заметил — на это и показал пальцем пассажир — странное очертание. Сверху казалось, что по влажному лугу кто-то провел титаническим рейсфедером линии своеобразного чертежа, обрисовав на земле — то ли узенькими канавками, то ли прокошенной в траве межой — огромный, в сотни метров поперечником, правильный пятиугольник. Это напоминало — отсюда, сверху — рисунок огромной короны, на каком-нибудь стилизованном гербе...

«Что такое?» — спрашивал пассажир. «Представления не имею! Впервые вижу! — разводил, насколько это доступно пилоту, руками его друг. — Может быть, новостройка какая-нибудь намечается?»

Летчик «заложил вираж», намереваясь вторично и пониже пройти над странным «объектом», но тут про-

изошла вторая неожиданность: он, видимо, потерял направление и не вышел на нужный курс. Найти повторно любопытный «чертеж» не удалось, а время быстро шло к закату, и пора стало идти на посадку.

На земле друзья подивовались на незнакомую «деталь местности» (оба считали себя неплохими знатоками городских окрестностей — один с «земли», другой с «воздуха»), порассказали про нее другим товарищам, но большого волнения не вызвали, и порешили на том, что завтра же с утра, при первом инструкторском полете, летчик разыщет странную фигуру, пройдет над ней «на бреющем» и разглядит, что́ она собою представляет.

Но вечером на другой день он позвонил своему другу в полном недоумении: ничего похожего на то, что им вчера привиделось в окрестностях аэродрома, не было. «Да брось ты!» — «Да я же все там искреста́л — вот как! Решительно ничего... А вот — как хочешь: не сумасшедший же я? Нет и нет!»

Так на этой точке прошло лето, потом осень, зима, весна. В середине лета следующего года мой приятель был поднят с места и оторван от дел тем самым летчиком. Летчик имел вид лукавый и смущенный: «Да понимаешь ли — штука какая. Да видел я опять вчера эту чертовщину... На том же месте, точь-в-точь такая же штука... А сегодня, сколько ни летал, — ничего нет...» Тайна сгустилась до чрезвычайности, и ключа к ее разгадке у них не было.

Тогда-то мой друг и пришел ко мне и рассказал мне все, что их смущало. И нарисовал мне на бумажке очертания той странной геометрической фигуры. И как только он это сделал, я сказал: «А... Погоди-ка, погоди-ка!» — и полез в письменный стол, и вытащил оттуда старый, дореволюционный еще план Санкт-Петербурга, и развернул его на столе.

На плане четко было обозначено Коломяжское скаковое поле, а чуть выше его на пустых местах красовался обрисованный пунктиром пятиугольник и шла курсивная надпись: «Остатки шведского укрепления XVII века». И мой приятель хлопнул себя по лбу: «Так вот что мы тогда видели!»

Все стало понятно: на земле уже очень давно полностью изгладились все следы существовавших некогда здесь сооружений; теперь можно бродить по этим болотистым пространствам годами и не заметить ничего. Но в земле, в почве, в ее свойствах, а в связи с этим и в растительности этих мест, разница сохранилась. На том пространстве, где когда-то поднимались валы и гласисы крепостного сооружения, и по сей день растет не такая трава, как тут же рядом. Поднимаются иные лопухи, по-другому кустится крапива. И сверху, с воздуха, это бросается в глаза...

Бросается, да не всегда. Бросается, да не под любым углом зрения. Чтобы заметить тот гигантский «чертеж», надо лететь над ним на точно определенной высоте, в то время, как и солнце стоит на таком-то именно, а не каком-либо ином градусе над горизонтом, и светит именно по одному из всех шестнадцати румбов катушки компаса. Значит, стоит нарушить одно из этих условий — а не зная, в чем дело, вы обязательно нарушите их, — и вы ничего не увидите, как не увидел ничего наш летчик на завтра того удачливого дня. И лишь когда все необходимые условия внезапно совпали — а это случилось примерно через год, — сокровенный рисунок, памятка прошлых веков, подобно письменам древнего палимпсеста — двуслойной рукописи — проступил из-под последующих наслоений и оказался зримым из кабины самолета...

Я припомнил здесь эту, ни в коей мере не топонимистическую новеллу потому, что в моих глазах она

перекликается с топонимом (и гидронимом — именем ручья) Оккервиль. Они сверстники, этот старый шведский бастион и это старое шведское же имя. На берегах ручья Оккервиль во время оно, в XVII веке, во времена допетровские, стояла мыза некоего шведского офицера, господина (Оккервиль — дворянская фамилия) Оккервиля, и в известном смысле имя ручья сохранилось доныне как некий памятник нашей победы над шведскими захватчиками. В самом деле: мы отлично знаем, что петровское «окно в Европу» было прорублено русским народом в результате вековой борьбы со шведами. Места вокруг Ленинграда много раз переходили из рук в руки. Историческая справедливость восторжествовала, и шведские крепости Ниеншанц и Нотебург — шведские форпосты на Ладоге и на Неве — превратились в наши русские местности, в наши русские укрепления.

С тех пор как это случилось, все некогда сооруженное тут противником стало памятником наших побед, славы русского оружия. Нам нечего стыдиться нашего прошлого; нам не приходится скрывать, что было время, когда эти древние русские места были заняты хищными соседями.

Наши братья эстонцы не смущаясь именуют свою столицу старым именем Таллин, а ведь это значит «Датская крепость»: основан-то Таллин был датчанами-захватчиками. «Домский собор» в Риге или разрушенный фашистами во время Отечественной войны «Дом Черноголовых» были памятниками не латышского, чуждого латышам зодчества рыцарей-крестоносцев. И тем не менее ни одна экскурсия по Риге не обходит Домский собор. «Черноголовые» терзали латышский народ, «Черноголовых» нет теперь в Латвии, но их «дом», пока он стоял, должен был и мог рассматриваться не как монумент во славу немецких рыцарей, а как памятник

латышскому народу, выдержавшему вражескую оккупацию и оставшемуся самостоятельным народом. Нацией.

Есть на нашем предкавказском юге соленые озера, до сих пор именуемые Баталпашинскими. Кто такой был Батал-Паша, давший им название? Это был турецкий полководец, приведший сюда в 1790 году довольно сильную армию с целью поднять против России народы Кавказа. Незадачливый военачальник был на голову разгромлен у нынешнего Черкесска, и этот городок полтора столетия именовался Баталпашинском, увековечивая, разумеется, не имя турецкого паши, а победу небольшого русского отряда над его «ордой». Имя города стало своеобразным «антипамятником». И, говоря по правде, я рад, что хотя бы в названии соляных мирабилитовых озер эта прекрасная топонимическая насмешка над высокомерным врагом доныне сохранилась.

Я вполне уверен, что нам следует, охраняя все созданное на берегах Невы нами, не упускать с глаз долой и следы суровой, с переменным счастьем протекавшей, народной борьбы за выход к Балтике.

Не надо ставить на речке Оккервиль или на болотистых полях за Новой Деревней пышных памятников. Но как-то отметить эти места — разбить там небольшие скверы, установить мемориальные доски — необходимо. Отмечаем же мы ту линию, до которой дорвались под Ленинградом фашистские полчища в 1941 году и где они были остановлены. Мы увековечиваем этим не их эфемерную «победу» в начале «блиц»-войны, а их сокрушительное поражение сорок третьего и сорок четвертого годов. И хорошо делаем, что увековечиваем.

Точно так же следовало бы поступать и с только что мною описанными местами. А уж тем более обязательно охранять и поддерживать другие памятники прошлого, те, которые, кстати говоря, не требуют для такой охраны

никаких решительно затрат. Те, которые не нужно ни реставрировать, ни золотить, ни окрашивать. Которым надо только не мешать существовать.

Я, как это легко понять, говорю об исторически значимых топонимах. Не обо всяких, но именно о значимых, точнее, значительных с более общей и с менее профессиональной точки зрения. Иногда по историческим (как, скажем, московский топоним «Лефортово») причинам. Иной раз по историко-социологическим (например, наши названия улиц Петроградской стороны, восходящие к именам петровских и послепетровских рабочих слободок — Пушкарская, Зеленина (Зелейная, т. е. Пороховая), Ружейная (т. е. Оружейная) — или представляющие интерес языкового курьеза — уже мною упоминавшаяся Моховая-Хамова́я, та же Зеленина-Зелейная) основаниям... Можно указать множество свойств и особенностей, делающих имя места драгоценным свидетелем чего-либо, что только через него и может быть восстановлено. Есть в Белоруссии местечко Викто́рка, и, кроме как в звуке этого имени, восходящего к латинско-польскому «виктория» (победа), нигде не сохранилось живого воспоминания о битве, некогда разыгравшейся возле него, о победе, одержанной одной из сторон, о славе воинов, о горестях побежденных... Очень бережно надо обращаться со старыми именами, очень осторожно и вдумчиво давать новые.

Мы присутствуем при чрезвычайно импозантном градостроительном мероприятии — при возникновении на северо-западной окраине Васильевского острова нового и великолепного городского района, вырастающего не только «из топи блат», но буквально из хлябей морских, на намытой со дна залива новой территории.

Здесь пролягут, на месте дореволюционного Горячего поля, на месте трущоб с не истолкованным доныне

окончательно именем Чекуши, прекрасные широкие улицы, озаренные солнцем или залитые вечерними огнями площади, кварталы колоссальных — шестнадцати-, тридцатиэтажных домов, новые парки, растянутые поперек всего старого острова зоны зелени и цветов. Само собой, для всего этого потребуются имена. Перед населением города возникнет благодарная и нелегкая задача выбрать и установить их так, чтобы они не показались затем ни претенциозными и надуманными, ни слишком простыми и случайно данными. Чтобы они гармонировали и со сложившимися в течение веков законами русского языка и русского именословия и то же время соответствовали бы облику, историческому лицу, великой биографии великого города на Неве.

Недавно мне довелось познакомиться с теми предложениями, которые во множестве присылают в занятые этими делами учреждения люди, считающие, что им отлично известно, как всего лучше было бы назвать и улицы новых районов Ленинграда да, отчасти, и старые улицы города, присвоив им новые имена.

Прочитав эти колоссальные перечни, я призадумался. Казалось бы, кто может лучше, чем сами ленинградцы, выполнить эту задачу: топонимика — дело народное; ну вот, сам народ и вносит свою лепту в ее преобразование.

А получается... Нет, не то, совсем не то...

За дело сложное, тонкое, требующее углубленного знания и законов топонимики в частности, и общих законов языка, просто и охотно, с наилучшими побуждениями, берутся люди, ни в том, ни в другом ничего не понимающие.

Берется за него вполне почтенный химик — и требует, чтобы лучшие ленинградские проезды, площади были превращены в гигантскую таблицу Менделеева.

Чтоб улица Радия пересекалась с улицей Плутония и упиралась в площадь Ванадия или Вольфрама...

Физику желательно другое: он желает, чтоб в новом районе рядом протянулись проспекты Нейтронный, Электронный, Позитронный... Неплохо было бы также иметь Кибернетическую улицу... А почему бы тогда и не улицу Субсветовой скорости или не площадь Парадокса времени: ведь все это — такие же существенные, такие же новые, такие же современные понятия?..

Но приходит ветеран войны — и для тех же городских проездов предлагает имена Танкистов, Артиллеристов, Пулеметчиков, Огнеметчиков, Моторизованной пехоты, Ракетных войск.

А люди, работающие в промышленности, жаждут гулять по улицам Танкостроителей, Камвольной промышленности, Металлургов, Деревообделочников... И у каждого из них запас возможных (и всё чрезвычайно почтенных!) названий — практически неограничен: и химик, и отставной военный, и промышленный работник могли бы без труда наименовать и переименовать на свой лад все улицы Ленинграда. Бери в руки соответствующий технический словарь, и — от «а» до «я» все годится.

Но рядом обнаруживаются души нежные и поэтические. Им представляется, что гораздо лучше было бы, если бы улицы новых районов города, все как одна, получили светлые, душистые, цветочно-ботанические, радужные имена: Сиреневая, Ландышевый, Цветущих вишен, Левкоевый проспект, угол переулка Резеды...

А можно удариться в сугубую романтику: улица Белых ночей, проспект Алых парусов, площадь Бегущей по волнам или площадь Ассоль...

Ну что тут скажешь? При всем внешнем «изяществе» этих названий в них страшно одно: отсутствие вкуса. Так можно называть дорожки в парке отдыха,

может быть даже улицы в веселом курортном приморском городке. Но как можно предназначать их для прекрасного и сурового города на Неве, города с великой и строгой историей, города — колыбели Революции, города — морского гнезда, города ученых и рабочих? Цветы флердоранжа могут отлично украсить белое платье невесты, но их никак нельзя приколоть ни к матросской форменке, ни к строгому одеянию молодой женщины, поднявшейся на кафедру, чтобы защищать свою докторскую диссертацию.

Так и тут. Придавать подобные парфюмерно-кондитерские имена улицам и площадям Великого города, который сам назван в честь и память Величайшего из сынов России — нельзя. Это было бы бестактностью.

Какой же вывод из того, что я только что сказал?

По-моему, он должен быть вот каким (или, точнее, они должны быть вот какими):

Создавать и «ремонтировать» систему городских имен в любом месте нашей страны, а уж в Ленинграде — тем более, можно лишь с величайшей и нетороплпвой тщательностью. С благоговейной осторожностью. Это большое дело должно выполняться без тени спешки, без признаков «кампанейщины». Более чем в каком-либо другом деле тут уместно твердо помнить дедовскую мудрость: «Семь раз примерь — один отрежь».

Осуществлять его можно только на научной основе, притом строго коллегиально. К нему должны быть привлечены высококвалифицированные специалисты — языковеды, историки, этнографы, писатели, поэты... Лингвисты-топонимисты прежде всего.

Созданный на этих основах орган должен с предельной тщательностью подыскивать имена для еще не названных «объектов». Переименования он должен допускать только там, где это подсказывается прямой необ-

ходимостью. Там, где старое имя оскорбительно для народного сознания. Там, где оно — фальшиво. Там, где, по мнению ученых, бесспорна его «пустота», где фамилия или имя, положенные в его основу, остаются неосмысляемыми даже при научных изысканиях или же, принадлежа некогда ничем не примечательному лицу, утратили всякую связь с ним и не приобрели за долгие годы никаких позднейших «именных» ассоциаций.

И, наконец, любое даже местное переименование должно утверждаться административными органами, с одной стороны, но после широкого общественного обсуждения — с другой.

А может быть, это последнее положение противоречит сказанному выше? Может быть, народу совершенно безразлично, как именно будет называться та или другая улица в его городе, тот или иной городской район? Может быть, широкие массы совершенно не имеют сведений, нужных для того, чтобы судить о правильности и неправильности, пригодности и непригодности географических имен? Может быть, их не втянешь в сложную работу по охране имен, по их изменениям?

Чтобы вы могли здраво судить об этом и правильно ответить на эти многочисленные «может быть», я сейчас расскажу вам, заканчивая разговор об именах мест, одну не длинную, но и не совсем короткую, современную, сегодняшнюю ленинградскую быль. Она будет называться так:

Ульянина уха, или суп из профессора Форели

Не так давно редакция «Ленинградской правды» переслала мне письмо, написанное одним из наших сограждан. Редакция просила меня ознакомиться с вопросами,

поднятыми в этом письме, и на страницах газеты поспорить или согласиться с их автором.

В письме таких вопросов было три. Все они касались имен — географических и человеческих. Потому-то меня и вздумали привлечь к разговору.

Вопросов было три, но я расскажу вам только о первом, ибо это был вопрос топонимический. Вот в чем он заключался.

Есть в нашем городе — несколько западнее Дачного — район новостроек. Там, как и во множестве других мест городской территории, возникают один за другим десятки огромных жилых домов, прокладываются новые улицы, ежедневно множество грузотакси, простых грузовиков, пикапов привозят туда имущество новоселов. Новосела, как известно, можно отличить от простого гражданина издалека: на лице у него отпечатана сложная смесь бурно переливающихся чувств: робкая радость и неистовый восторг, недоверие к своему счастью и следы перенесенных бурных дней упаковки, сборов, погрузок, разгрузок... Но поверх всего этого, как загар, лежит неописуемое выражение: «Смотрите на меня. Завидуйте. Я — новосел!»

Словом, район как десятки других. Чаще всего, говоря о нем, его называют Ульяновка.

Гражданин И., письмо которого попало мне в руки, оказался озабоченным вот чем. Он отметил, что в последнее время этот самый район, Ульяновку, многие начинают именовать кратко и запанибрата Ульянкой. В этом искажении приданного однажды месту имени ему померещилось нечто недопустимое. Он увидел в этом признаки небрежности, неуважения к традиции, малограмотности, отсутствия почтительного отношения к топонимике нашего города.

Поразмыслив над такой непочтительной переделкой, он начал искать, кто же ответствен за нее, и усмотрел главных виновников среди работников организаций, ведающих градостроительным проектированием. По-видимому, ему приходилось по роду занятий сталкиваться с перепиской именно этих учреждений, и там-то на него все чаще и чаще, вместо привычного для него «Ульяновка», начала обрушиваться легкомысленная «Ульянка».

Надо отдать честь гражданину И. Прежде чем бить в колокол, он постарался заглянуть в святцы. Он достал «план Ленинграда пятнадцатилетней давности». На этом плане в подлежащем обсуждению месте значилось ясно: Ульяновка. Только тогда, движимый лучшими побуждениями, он и написал свое письмо-протест в газету.

Откровенно говоря, ознакомившись с жалобой, я не слишком разволновался. И, когда стал писать гражданину И. ответ, не удержавшись от легкой иронии, высказал в нем вот какие соображения.

Любое название места, созданное народом, обычно не остается неизменным. В постоянном употреблении, передавая его из уст в уста, как монету из рук в руки, люди чаще всего упрощают его, делают более удобным для произношения. А если то географическое понятие, к которому оно приложено, близко, мило его жителям, вызывает у них те или иные чувства, они нередко перерабатывают его имя из официального на ласковое, уменьшительное (а иногда на пренебрежительное), как бы показывая сами себе, что для них и это имя, и место, стоящее за ним, являются чем-то «совсем своим», совершенно знакомым, привычным.

Как Ивана Ивановича близкие родственники и друзья считают вправе называть «Ваней», «Ванечкой» или «Ванькой», так старые петербуржцы считали вполне естественным Северную Пальмиру, Санкт-Петербург,

Петрополь звать в быту «Питером». Так матросы Балтийского флота превратили пышное меньшиковское имя Ораниенбаум в короткое запанибратское «Рамбов». Так москвичи уже столетия назад сделали из Покровской улицы — Покровку, из Ильинской — Ильинку, из улицы у церкви Иоакима и Анны — Якиманку. И никто на это не разгневался, не обиделся. И слово «Питер» вошло в литературный язык, и имя «Якиманка» стало надолго общепризнанным, единственным названием когда-то тихой улицы в Замоскворечье. Так, разумеется, и четырехсложное имя «Уль-я-нов-ка» могло упроститься до трехсложного «Уль-ян-ка» во всех случаях, кроме одного — если оно было бы дано месту в честь и память Владимира Ильича Ульянова-Ленина.

Однако на то не похоже. И я посоветовал в личном письме к рассерженному читателю точно выяснить, давно ли существует название «Ульяновка», дознаться, по какому поводу оно возникло, и если только оно не родилось как имя-мемориал, посвященное памяти великого человека, счесть вполне естественным и закономерным его сокращение, его стяжение и «офамильяривание».

Читатель И. не согласился со мной. Он ответил мне довольно сердито, удивляясь, как это я, топонимист, проявляю такой несносный «либерализм», не протестую против засорения системы старинных названий, против их невежественного искажения. «Имена надо сохранять в неизменности, к ним надо относиться, как к памятникам старины...» Словом, он побивал меня моим же оружием. Мне приходилось плохо. Но тут-то и случилось истинное чудо.

Из редакции «Ленинградской правды» я получил толстый пакет. В нем содержалось десятка полтора писем. Уйма народу, жителей Ленинграда, обитающих в разных его частях, восприняли спор об имени одного из

городских районов как свое личное, кровное дело. Они горячо стремились установить истину и, надо сказать, сумели добиться этого, удивив неожиданностью и меня, и моего противника.

Первое письмо было от очень пожилого человека. Он вспоминал, что в детстве жил в «спорном» районе, который тогда был еще пригородной деревней. Он во всех подробностях описывал это место: в центре поселка старая церковь во имя «святого Петра-Митрополита». По одну сторону большака, тогдашнего шоссе, — усадьба графов Шереметевых, по другую — пожарная часть, принадлежавшая этой же богатой усадьбе, а за ней — дома местного богача Богомолова или Боголюбова. И всё это в те далекие времена называлось Ульянкой, а вовсе не Ульяновкой.

Старый человек, затронутый тем, что о месте, где протекало его детство и отрочество, кто-то судил неточно, нашел время и возможность вмешаться в спор. Беда была только в одном: он основывался на собственных воспоминаниях, а они всегда — дело сомнительное; тем более если приходится на их основании решать вопрос о двух очень схожих названиях. Память может и подвести.

Я распечатал следующий конверт.

Почтенная женщина писала с тем же желанием установить дорогую ей истину:

«Я родилась в 1905 году в Петрограде, еще в то время он назывался так, за Нарвской заставой, Богомоловская улица (помните: «дома богача Богомолова или Боголюбова»?), сейчас — улица Возрождения у Кировского завода, и по-тогдашнему обычаю крестили в церкви вот в той, что на Ульянке называлась церковь св. Петра-Митрополита. Мои родители брали метрики в той церкви, где и крестили; видно, загсов, как сейчас,

не было. Стоит на метриках круглая печать с изображением той церкви, славянскими буквами написано, конечно печатными, Ульянка и еще от руки прописью написано тоже Ульянка. Это и есть правильно, до войны все называли этим названием. С уважением к Вам Кузнецóва Полина Ивановна».

Очень трогательно, ведь правда? Чуть-чуть неясны некоторые подробности. Но совпадения между двумя письмами столь значительны, что, собственно, вроде как и сомневаться не в чем.

Но — следующий конверт. Эта корреспондентка на десять лет старше: год рождения — 1895-й. Что знает об Ульяновке-Ульянке она?

«Я родилась в 1895 году в Автове и меня крестили в Ульянке, т. к. ближе церквей не было. В настоящее время я имею выпись из метрической книги, полученную в 1907 году, где сказано: «Выдана причтом церкви св. Петра-Митрополита, что на Ульянке, С.-Петербургского уезда». Павловская Анна Азарьевна».

Еще письмо:

«В. «Лен. правде» от 2/III указано, что в плане 15-летней давности район Ульянки назван Ульяновкой.

Разрешите сообщить, что в плане более чем 50-летней давности этот микрорайон (поселок) назван Ульянка.

Это издание носит название: «Карта окрестностей Петрограда. Составлена Ю. Ю. Гашо. Цена 90 копеек. Издание типографии Кюгельгенъ, Гличъ и К°, Екатерингофский проспект, 87, собств. домъ». Год не указан, но по всем признакам это — 1914—1917 годы.

Если после этого не было постановления Ленсовета о переименовании, то название Ульянка — правильнее».

Я прямо умилился, столкнувшись с такой бескорыстной заинтересованностью. Человек прочел маленькую газетную реплику и почувствовал в ней какую-то неяс-

ность. И счел долгом припомнить, где у него хранятся данные, могущие пролить свет на возникший, по его представлению — очень важный, вопрос. И достал редчайшее издание, и навел справки, и не затруднился написать в редакцию, хотя, судя по письму, прямого отношения к поселку Ульянке он не имел, там не родился и, может быть, не жил. Но — ленинградец! — каждое название ленинградских улиц он ощущает как свою собственность. И ему надо, чтобы с ними обращались бережно, почтительно, вдумчиво, не допуская субъективных домыслов.

Я уже хотел признать этого товарища — его фамилия Дацвальтер — чемпионом топонимической беззаветной обстоятельности. Но из следующего конверта появилась вещь совершенно исключительная: тщательно, с великой любовью и профессиональной умелостью выполненная на чертежной «восковке» выкопировка из плана «города С.-Петербурга с ближайшими окрестностями». План датирован 1914 годом. Он некогда прилагался к весьма авторитетному справочнику «Весь Петербург».

На нем, чуть западнее поселка Дачное, на Петергофском шоссе, обозначен поселок Ульянка. Два больших водоема-пруда. Церковь... Да, так: «Церк. Св. Петра-Митрополита». И за шоссе — пожарное депо. На плане все совершенно так, как и в памяти первого из моих корреспондентов...

И теперь уже становится бесспорным: не название Ульяновка, якобы более старое, было переделано небрежными и невежественными «проектными работниками» на легкомысленную Ульянку, а, напротив того, из старинного имени Ульянка в силу ошибки — вполне, впрочем, обыкновенной — в одном из документов родилось искаженное «Ульяновка» и пошло затем гулять из плана в план, из отношения в отношение, из статьи

в статью... Всюду и везде, только не в устной речи местных жителей! Товарищ И. ошибся: надо не осуждать, а скорее уж поощрять старожилов, крепко стоящих на своей старине. Но и я тоже был не совсем прав в моих рассуждениях: я исходил из теоретических соображений, а надо было обратиться к архивам. И к архивам письменным, и к архиву человеческой памяти: мы только что убедились, как она точна. Надо было начать с вопроса: откуда взялось название? Ответ помог бы установить и верное произношение его.

Ах так? Ну и — откуда же оно взялось?

Все остается загадкой, хотя многие пытаются дать для нее положительный ответ.

«Еще я маленькой слыхала такое, что в том месте проезжал царь Петр. И встретил бабу, и спросил, как ее звать. Она ответила «Ульянка», с тех пор и зовется то место Ульянкой».

Вот — самое простое объяснение. Его сообщает та же товарищ Павловская, письмо которой я уже излагал. А если простота и обыденность разгадки вас не устраивает, могу познакомить вас с другой версией, куда более красочной:

«Трамвай № 36, обогнув Автово, помчал по направлению к Стрельне. Было лето, жарко, мне хотелось отдохнуть на взморье. За окошком мелькали многоэтажные дома Дачного, бывшей Форели (теперь Кировский жилгородок), и наконец вожатый объявил: «Следующая остановка — Ульянка».

Неожиданно пассажиры, сидевшие сзади меня (группа знакомых), завели разговор об Ульянке. Один из них, довольно пожилой человек, внушительно пояснял остальным: «...вот то место, что раньше звалось Форель, — он указал на Кировский жилгородок, — славилось форелью. Речка там была. Петербургская знать выезжала сюда на

рыбалку и останавливалась «на уху» в домике чуть поодаль, где жила крестьянка, добро варившая уху. А звали ее Ульяна. Так и говаривали: «Остановимся у Ульянки, отдохнем...»

С тех пор это место и осталось Ульянкой».

Мне вспомнился этот разговор. Очень может быть, что это так.

С приветом. Борис Шатковский».

Вы теперь можете понять, почему я этой маленькой главке дал такое причудливое заглавие: «Ульянина (не Демьянова) уха, или суп из профессора Фореля».

То, что попутчик Шатковского именовал «Форель», было некогда большой лечебницей для душевнобольных. Она в дореволюционные времена носила название: «больница на Новознаменской даче по Петергофскому шоссе». Уже в послереволюционные времена она была переименована в «больницу имени Фореля», в память об известном прогрессивном швейцарском невропатологе и психиатре — профессоре Августе Фореле. Никаких «форелевых речек» в этих местах не было и быть не могло; никакие старые петербургские рыболовы сюда за форелями не ездили. Вероятнее всего, никогда не жила тут повариха баба Ульянка.

Но народная речь охотно преобразует и переосмысляет любое, ставшее для современников непонятным, географическое имя. В толще народа создаются и причудливые легенды, толкующие эти новые названия. Это все называется «народной этимологией», и рассказ, запомнившийся любознательному Борису Шатковскому, — очень хороший пример такой этимологии, призванной объяснить сразу два загадочных имени. В таких «сочинениях» нет ничего плохого, но на них нельзя, разумеется, опираться в топонимических выводах.

Однако сейчас, применительно к данному случаю, они меня и не интересуют. Я перебираю и уже разобранные мною, и еще не помянутые письма читателей. Вот товарищ Решетников довольно сердито поправляет товарища И., основывавшего свои рассуждения на «плане 15-летней давности», и рекомендует ему обратиться к более старым картографическим материалам. Товарищ Решетников живет на улице Каляева, но чувствует себя лично заинтересованным и в имени Ульянка. Вот товарищ Рыжак, проживающий на проспекте Гагарина, мобилизует и план 1942 года, и книжку «Почему так названы?», изданную в 1967 году: и там и там он нашел название Ульянка. Восемь человек — мужчины и женщины, люди пожилые, как автор первого письма «пенсионер Игнатьев», как две немолодые женщины, сохранившие свои дореволюционные метрические «выписки», и люди, по-видимому, еще совсем молодые, вроде Б. Шатковского, любителя позагорать на стрельнинском песочке, — все они, как боевые кони, заслышавшие воинскую трубу, сорвались с места, столкнувшись с вопросом о спорном названии одного из районов Ленинграда.

Им понадобилось обязательно, непременно, как можно скорее и строже внести в этот вопрос ясность. Почему?

Лучше всего, по-моему, ответил на этот риторический вопрос Борис Шатковский. «Дорогая редакция, меня затронуло все то, о чем в «Ленинградской правде» писалось. Ведь я — ленинградец!»

Настоящему ленинградцу дорого все в его родном городе. Настоящий ленинградец хочет, чтобы рассыпанные по его плану названия были самыми лучшими в мире, чтобы они были достойны и настоящего, и будущего, и прошлого Северной Пальмиры. Он хочет, чтобы одни из них смотрели в завтрашний день, другие откли-

кались на пульс жизни нашего сегодня, а третьи отражали то существенное, важное, великое, а иногда и малое, но ставшее уже родным и милым, что родилось, жило, а порою и отжило в далеком вчера.

Он имеет право на это, истинный житель Петербурга—Петрограда—Ленинграда, и это его право мы обязаны уважать.

НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ

Не так давно мне повезло: я, как член одного общеобразовательного семинара, смог принять участие в любопытнейшей поездке по Ленинграду.

Целью поездки было, выражаясь бюрократическим языком, «ознакомление с состоянием современного городского строительства».

До поездки, в Городском управлении архитектуры и парков, нам показали огромные макеты всех нынешних ленинградских новостроек. Надо сказать — это поучительное и необыкновенное зрелище.

Мне много раз приходилось летать над Ленинградом на самолетах — и на пассажирских, в минуты прибытия и отлета, когда они обыкновенно обходят город по осторожному большому кругу, над окраинами, и на легких машинах аэроклубов. Я даже привык к воздушным путям над Питером: так привыкаешь к хорошо знакомым земным дорогам. Едешь и знаешь: сейчас тебя толкнет на ухабе. А теперь под правым колесом взгорбится лежащий в колее камень...

Так и тут. Мне прекрасно известно, например, что, когда самолет пересекает крутую излучину Невы против Смольного, где река описывает причудливую кривую вроде французской буквы «S», — машину, если только она идет не на большой высоте, непременно дважды

опустит и подкинет вверх на воздушных ямах. Все это мне знакомо, как и вид города сверху.

Но вот в чем разница: летая над городом, видишь только то, что в нем уже есть. Самолет — это самолет, не машина времени. А рассматривая такой макет, скажем, Васильевского острова, какой нам тогда показали, испытываешь, зная нынешний Васильевский, сложное чувство: то же, но не то!

Да, да! Вот Ростральные колонны и томоновская Биржа. Вот «Двенадцать коллегий» — университет. Вот воронихинский Горный институт. Но... Что это вздымается там, на противоположном конце большой оси этого василеостровского, искони веков омываемого волнами Невы, ромба?

Замираешь в некотором недоумении, а потом ахаешь: так вот каким грандиозным запланировано удивительное строительство на северо-западной оконечности этого ромба. Вот, значит, каким будет выглядеть с воздуха этот необыкновенный «Анти-Китеж»!

Почему «Анти-Китеж»? Потому что Китеж-град, как известно, погрузился на дно таинственного озера Светлояр. А этот огромный «город в городе», будущий «новый Ленинград», чудом человеческого разума, воображения и умения как бы всплывет из-под волн Финского залива, утвердится на новой, намытой искусными инженерами и градостроителями земле.

Разглядывать эти макеты было уже очень интересно. А потом нас усадили в автобусы и повезли не по макету, — по живому, грохочущему, движущемуся, растущему городу. По тому городу, где более семи десятилетий назад я родился, в котором прожил, исключая время двух войн — гражданской и Отечественной, всю свою жизнь. По городу, который я, как сам привык думать и

как иной раз утверждают мои читатели, знаю, как свои пять пальцев.

Довольно скоро выяснилось, что мои «пять пальцев» я помню далеко не достаточно. Нынешнего Большого Ленинграда я попросту не знаю.

Ехать было не просто интересно, — было предельно увлекательно.

Сначала я откровенно удивлялся и завидовал познаниям сопровождавших нас архитекторов: на протяжении долгого пути они узнавали каждое здание, старое и новое, вспоминали имя зодчего, его сооружавшего, знали все, что можно сказать про него хорошего и плохого. Я слушал и объяснения и возникавшие споры (архитекторов в машине было несколько) в оба уха. Все было для меня новым и часто неожиданным.

В то же время моя внутренняя «машина времени» — мы чаще называем ее просто «память» — неустанно несла меня по иным координатам моего внутреннего мира.

Я видел сквозь теперешний Московский проспект — Забалканский проспект моего отрочества и юности. Я вспомнил с в о е, то, о чем, вполне возможно, широкообразованный гид наш — он был намного моложе меня — знал только по книгам, чего он никогда не видел своими глазами.

Вот высится налево очень красивое, хотя, по нынешним понятиям, уже и несколько «старомодное», с длинным рядом колонн по фасаду, здание «Союзпушнины»... А ведь я помню время, когда примерно на его месте помещалась в 1917 году в низеньком желтом домике редакция нашей осузской газеты «Свободная школа».

В мае семнадцатого года я шел как-то в эту редакцию по выщербленному, сложенному из квадратных плит силлурийского известняка тротуару (всюду в городе

были тогда только такие панели). И пыльная, бесконечно длинная простиралась передо мною окраинная улица, вся в таких же малорослых — нередко деревянных — домишках, без единого деревца на всем видимом своем пространстве, с деревянными столбами керосиновых фонарей, с желто-зелеными вывесками пивных и портерных, сине-красными — кабаков... Она лежала без признаков какой-нибудь рельсовой колеи на всем ее протяжении: сюда не только трамвай, даже и конка не ходила...

Все это, как странное видение, забрезжило в моих глазах сквозь огромные жилые дома по обеим сторонам нынешнего — зеленого, забитого потоками всевозможного транспорта — Московского проспекта... Асфальтового, просторного, с четырьмя линиями электропроводов — двумя трамвайными, двумя троллейбусными, кишащего грузовиками, такси, легковыми машинами, сотнями таких же автобусов, как наш... Странное, противоречивое создавалось во мне ощущение.

Единственное, что все-таки как бы соединяло в моих глазах, как застежка, «обе полы времени», был впереди, на фоне южного горизонта, четкий торжественный силуэт триумфальной арки — Московских ворот. Тогда они тоже виднелись там...

Ворота промелькнули, как в вихре... И вот уже — Заставская улица... Да, фабрика «Скороход» тоже стояла тут и в те времена. Но стояла она тогда уже как бы «на краю ойкумены», у границы обитаемого мира.

Что было там дальше, за нею? То, что бывает во всех городах за «заставами»: мокрые капустные огороды, пустыри, свалки, какие-то таинственные водоемы со ржавой водой, залитые до верха карьеры...

А впрочем, почему лишь семнадцатый год?

Проносясь мимо «Электросилы», я напряженно искал глазами: где-то здесь, на правой стороне проспекта, тянущегося, как известно, по нулевому Пулковскому меридиану, этот завод в двадцатых годах кончался высоченной и глухой кирпичной стеной... Она была тогда так мощна и неприступна, что много лет спустя, в дни войны, слыша крылатые слова «У стен Ленинграда», я невольно представлял себе именно эту кирпичную громаду: в двадцать седьмом, двадцать восьмом, тридцатом годах мне частенько приходилось проходить вдоль нее...

За стеной этой дальше к югу, в сторону Пулкова, отделенные одно от другого обширными пространствами сырых лугов, поросших сурепкой, канав, над которыми кустились желтые ирисы, топких болот, стояли по обочинам шоссе какие-то зданьица — не то кордегардии, не то казарменные строения времен аракчеевских, а может быть, и относящиеся к тогдашней «почтовой гоньбе» домишки.

Вдоль стены, у ее подножия, шла тогда полудорожка-полутропка. По ней те, кому это было нужно, ходили на аэроклубовский корпусной аэродром, где была лётная школа, самодержавно управлявшаяся летчиком Адольфом Карловичем Иостом.

Там на несколько километров тянулось почти бескрайнее поле — тут сухое, там — с просырями болотцев. Там росли целые дикие рощи лозовых кустов, приют парочек из Московского района, у которых не было возможности уединиться иначе. Учлёты любили по вечерам смущать их покой, пролетая над кустами на бреющем...

Туда нередко приезжал Валерий Павлович Чкалов: многие инструкторы школы были в прошлом его механиками или его учениками.

Случалось, по старой дружбе, Валерий Павлович — тогда еще не такой всесветно известный, но достаточно знаменитый в летном кругу ас — выходил «подержаться за ручку» на древнем аэроклубовском «юнкерсе», заводское крестное имя которому было «Ди Путтэ» («Наседка»), а последующее, прославленное, — «Сибревком». Обветшавший «юнкерс» был передан аэроклубу; на нем по аэроклубовским билетам катали граждан «по коробочке», то есть по квадрату над аэродромом. А если во время учебных полетов какой-нибудь незадачливый учлёт, промазав, садился в «том конце» летного поля, механики, «бортики», чертыхаясь, отправлялись в бесконечное путешествие. Поле уходило за край вселенной; за ним уже довольно близко виднелись здания станции Шоссейная и — дальше, но тоже уж не так далеко — знакомые всем Пулковские холмы.

А теперь я смотрел во все глаза, но не мог высмотреть ничего даже отдаленно похожего на какое-нибудь «поле». На этом самом месте тянулся теперь длиннейший Ново-Измайловский проспект, весь обставленный бесчисленными блоками домов, пятиэтажных и девятиэтажных, пересекаемый множеством таких же застроенных, заселенных, обжитых и обживаемых поперечных улиц. И всюду был уже город, такой городской город, что, начни я уверять кого-либо из обитателей этих домов, что вот, мол, на том самом месте, где он теперь выходит из своего подъезда на тротуар, приземлилась когда-то молоденькая летчица Коротеева, а чуть подальше, прижав руки к груди, стояла в полном изумлении после своего первого прыжка парашютистка Паня Абабкова и что я сам видел все это вот тут,— этот «обитатель» несомненно счел бы меня бароном Мюнхаузеном...

А ведь я помню и куда более далекие времена. Когда еще никакого аэродрома тут не было, а были навалены лишь гигантские, смрадно дымящиеся летом и зимой от

самовозгорания кучи свалок. И в этих кучах, выкопав в них пещеры-норы, жили люди из кошмаров Леонида Андреева, происходили сцены вроде описанных им в печально известной «Бездне»...

Мы проехали эти места, а перед нами, еще на километры вперед, убегало то же самое городское многоэтажье — кипящее, живое, пестрое, грохочущее и сверкающее... Какая там окраина, друзья мои!

Мы доехали до конца Московского проспекта как раз в тот миг, когда я уже подумал, что, может быть, у него и вовсе нет конца, что так, «вдоль меридиана», он и тянется от полюса до полюса: десятый километр от центра, двенадцатый, тринадцатый... Где же предел?

А дальше, свернув с этой прямолинейной магистрали, мы на нашей «машине времени» полетели странным извилистым путем — то как бы выныривая в сегодняшний день, то оказываясь в далеком (таком далеком, что я и вообразить себе не мог до этого дня, что оно где-либо еще сохранилось) прошлом, то вдруг словно бы повисая над завтрашним днем Ленинграда.

Если прочертить трассу нашей поездки на плане города, она выглядела бы довольно просто. Мы описали по нему огромный круг — через Московский, Невский, Охтинский районы, через Гражданку, сквозь старую Сосновку, по дальним частям Выборгской стороны и снова в Центр, на Петроградскую, на Адмиралтейский остров... Чего проще?

В натуре же это выглядело так.

Огромная машина, тяжело переваливаясь с борта на борт, с трудом пробирается по грязным, узким, кривым закоулкам, где-то между путями Витебской и Московской железных дорог... Справа и слева — деревянные заборы, кирпичные стенки. Слева и справа — тоже деревянные, жалкие, порой даже бревенчатые лачуги.

Одноэтажная покосившаяся развалюха... Наполовину разобранный забор окружает «садик», в котором из вешней воды торчит оглоданная временем кривая рябинка. Над прохудившейся десятилетия назад крышей нависла еще не раскрывшая почек тощая береза, а в ледяной весенней воде канавы, покрытой радужной пленкой мазута, полощется одна-единственная, неведомо откуда взявшаяся утка...

И это — у нас, в Ленинграде? В жизни не видел тут ничего подобного! Это похоже, если уж на то пошло, на окраины гоголевских городишек, на задворки городков Окуровых... Что-то непреодолимо уездное, что-то неимоверно давно прошедшее...

Неужели такое было в Петербурге и неужели остатки этого «такого» дожили до наших дней?

И внезапно — резкий поворот, автобус как бы кидается вперед, и сквозь ветровое стекло открывается перед нами свежезаасфальтированная ширь проспекта, уходящего куда-то «в плюс бесконечность». Колоссальные дома высятся на обеих сторонах. Сияют под солнцем широкие, как в светлом сне, витрины нижних, торговых этажей. Бесчисленные машины мчатся нам вослед и нам навстречу. Горят огни светофоров. Вдоль тротуаров важно следуют вдаль троллейбусы. И надо всем этим вздымается горбатая эстакада нового, широчайшего моста через Неву... Тут же, в двухстах метрах от той кривой яблоньки и грязной утки в канаве!..

Так в горах: стоишь на снежной поляне, обдуваемый пронизывающим ветром, и прямо под собой видишь в нескольких сотнях метров ниже дубовые рощи, а там уже — цветущие магнолии, а дальше, на горизонте, — но тоже тут же, совсем рядом, — синее море и пляж, где купаются и загорают, где едят мороженое и пьют воду со льдом, пока ты здесь дрогнешь на морозном ветру...

Еще пять минут — и тот проект как ветром сдуло. Мы — среди поля боя. Здесь еще нет населенных домов, но в перспективу уходят, как стадо мастодонтов, шеренги начатых корпусов; не одного — десяток направо, два десятка влево.

Среди плоского «подпетербургского» пригородного болота можно, внимательно всматриваясь, прочесть как бы набросок первого чертежа — еще не градостроительные, еще пока только «геодезические» линии вешек по трассам будущих улиц, пересекаемые высоковольтными передачами, подъездными рельсовыми путями, только что проложенными и уже многострадальными дорогами-времянками. Пусто...

Как пусто?! Здесь уже сотни трехтонок, пятитонок, полутонок, МАЗов и ЯЗов; самосвалы, бульдозеры... Они движутся туда и сюда, останавливаются, сваливают на землю титанические кольца бетонных труб канализации, великанские катушки смоленого кабеля, тысячи тонн желтого, как охра, песка, гравия, камня... А на краю дороги, под столбом, неотличимым от простого телеграфного, но увенчанным железным кронштейном с лампой на нем, стоит небольшая очередь.

Над очередью, скрипя и мотаясь на ветру, висит уже остановочная «автобусная» табличка. И забрызганный грязью — желтой, не городской, глиной — серый слон-автобус косо тормозит у этого столба, и одни люди садятся, другие выходят так уверенно и спокойно, как будто они и от начала времен выходили и садились тут, «средь топи блат». Вот разве что номер маршрута какой-то никогда мной доныне не виданный, не то 452-й, не то 375-й... «А куда он идет, товарищи?» Он идет, судя по всему, прямо в будущее...

На всем протяжении нашего пути между населением нашего автобуса — архитекторами и писателями, актерами

и художниками — шли непрерывные и неустанные споры... Хотите — дискуссии. Хотите — перепалки. Расстановка сил определилась скоро; выявились две противоборствующие стороны. И две причины, два повода для несогласий.

Одна сторона считала, что то колоссальное преобразование лика Ленинграда, о котором мы раньше знали по печати, по газетам и докладам, а сегодня увидели воочию, идет в общем правильно и в нужном направлении...

Мы строим, строим много, очень много. Это помогает городу решить одну из насущнейших проблем человеческого существования — проблему крыши над головой, проблему жилья. И не просто жилья, а жилья человеческого. Квартиры, большой или маленькой квартиры для каждой семьи. Эти товарищи с гордостью и удовлетворением показывали нам на неисчислимое множество не отдельных новых домов, — новых кварталов, новых микрорайонов в новых больших районах, созданных за последние несколько лет и непрерывно создающихся с каждым новым годом. Они прикидывали, какое множество счастливцев благодаря этим стройкам впервые в жизни оказались вкушающими блаженство своего очага. Они бросались миллионами квадратных метров, тысячами и десятками тысяч квартир, тысячами возведенных жилых строений.

И им нельзя было отказать в законности их восторгов. Все это — и миллионы метров площади, и десятки, а может быть и сотни, тысяч осчастливленных — все было налицо, ничего нельзя было отрицать.

Но другая сторона пожимала плечами. Новые районы, а вокруг них — озера талой воды, впору брести к поездам в охотничьих сапогах выше колена! И — ползут, бредут — полюбуйтесь... Миллионный метраж площади — а

где проложенные к домам асфальтовые подходы, где законченная еще до закладки фундамента канализационная и водопроводная сеть? Два, пять, десять, пятнадцать вновь сооруженных колоссальных жилищных комплексов? Ну так почему же дома повсюду так удручающе скучно похожи один на другой? Почему они торчат как редкие зубы, отделенные, гнездо от гнезда, пространствами первозданных пустырей? Неужели нельзя, кроме «площади», подумать и об удобстве, о других насущных — так сказать, «сверхплощадных» — потребностях человека, новосела? Неужели нет причин позаботиться о том, чтобы новые стройки были не только вместительны, но и красивы? Товарищи, ведь вы перестраиваете не безымянный город, не «населенный пункт Эн», — Ленинград! «А сколько, скажите, пожалуйста, в этих сотнях готовых домов работающих телефонов?» «А автоматы — есть?»

Обнаружилась и другая причина несогласий.

Город бурно, неслыханными темпами, в необыкновенных масштабах растет. Новому нужно место для роста и развития. Из физики известно, что два разных тела не могут занимать одно и то же пространство. Когда рождается новое, старое должно отступать, а для старого города это «отступать» означает — уничтожаться, заменяясь новым. Но ведь мы — опять, и еще раз, — имеем дело не с «городом вообще»; перед нами — Ленинград! «Осьмое чудо света». Чудо архитектурное. Чудо — культурное. И в то же время — как бы живое существо, гигантский, горячо любимый миллионами людей город-индивидуум!

Каждому понятно, что этот «индивидуум» — живой. Немыслимо искусственно задерживать его на какой-то идеальной ступени развития, как нельзя родителям, умиленным детскими платьицами сына или дочки, продолжать на подростка и на девушку надевать все те же младенческие рубашонки и милые тряпочки. Нельзя превращать

бурно живущий город в некое-подобие японской карликовой сосны или дубка.

Да, но, с другой стороны, то, что в Ленинграде может показаться стесняющими его рост одеждами — скроенные и сшитые еще в восемнадцатом веке великолепные здания, возникшие в веке девятнадцатом архитектурные ансамбли, его столетиями складывавшийся общий характер и неповторимый дух, его «душа», — это все вовсе не «платье», из которого он может вырасти, которое он может скинуть, надев другое. Это и есть он сам.

А тогда, значит, мы не переодеваем Северную Пальмиру в новые ризы, оставляя ее тою же самой. Тогда, значит, перестраивая и достраивая город, мы как бы хотим пересадить и приживить к нему если не новое сердце, то новые руки и ноги, может быть его голову, его мозг. Допустимо ли это? Обеспечена ли при этой сложнейшей операции невозможность последующего «отторжения» привитого или гибели того старого, но прекрасного, что как раз мы и называем гордым именем Ленинград?

Споры вспыхивали, как искры от огнива, при каждом появлении за окнами автобуса чего-либо неожиданного.

На набережной правого берега Невы, где-то между Володарским и Железнодорожным мостами, таким кремнем оказался утлый деревянный домишко с готовой расцвести яблонькой, однако с прохудившимся колодцем в садике, с какими-то коленопреклоненными от старости сараюшками-службами. Кто-то еще жил там...

— Пожалуйста, памятник старины! — зашумели «новаторы». — Тут должен быть новый район распланирован, а что с этим делать? Снести? Попробуй снеси! Вы же поднимете такой шум — ног не унесешь...

— Ну что за чепуха, — поднялись инакомыслящие. — Кто же за такое заступается? Конечно сносить!

— Э-э-э, не так-то просто... Сегодня подпишем решение — ломать, а завтра во всех газетах — пабат: «Вандалы, разрушители... Дивный образец пригородного зодчества середины девятнадцатого века!» Да бросьте, бросьте... Поручитесь, что в этой хабуньке ни разу не побывал какой-нибудь поэт или писатель! А может быть, Сергей Аксаков приезжал сюда рыбку вечером ловить? А может статься, здесь жила кума кухарки Ивана Андреевича Крылова?.. Но ведь сломать-то необходимо... Ведь сохранять нельзя!

Мы остановились на том же правом берегу, против Александро-Невской лавры. Напротив, за рекой, из-за кладбищенских деревьев вздымались на северном фоне затученного неба купола Троицкого собора; белели, сквозь редкую еще листву, стены старых великолепных зданий.

— Ну вот вам, — приустав уже от полемики, проговорил кто-то из «разрушителей» после нескольких мгновений задумчивого созерцания. — Вот, смотрите. Все, что строил в Питере Петр, всегда связано с Невой, ориентировано на Неву. Здания видны с реки; от здания видна река... И — какая река!

Так была поставлена и лавра. А много позже, когда о Петре никто уже не думал, ее отгородили от водного пространства низкими, красными корпусами купеческих амбаров... Унылые, уродливые, складские здания... Никакая не «архитектура», просто — чистоган. Лаврским монахам было на градостроительство плевать: суета сует; лишь бы стены были крепкими. И с Невы, кроме их проклятых кирпичей да безобразных причалов, — ничего не стало видно... И вот теперь было решено: снести все это бесстыжее церковное купечество... Посмотрите сами: какой получился берег, какая линия зданий, какое прекрасное пятно зелени!! А что поднялось! «Вам не дорог исторический облик Петербурга! Вы посягаете на прошлое!

Вы — Иваны, не помнящие родства, вы — варвары, вы — троглодиты...»

Не знаю... Судите сами...

...Дальше, дальше... Мы видели очень разное и тут, на самом правом набережье Невы, и поодаль от нее — на Охте, на Гражданке...

Многие и здесь морщились: да, конечно, непредставимый размах строительства! Да, разумеется: это — покоряет. Но почему стройки эти пока и здесь разбросаны как-то без порядка и плана: есть — нет, дома́ — по́ле...

И все-таки мало-помалу выяснилось: не совсем это так. Сейчас еще нет возможности воздвигать, где бы хотелось, здания особо высокого архитектурного качества, со своим индивидуальным обликом, с тем, чтобы зодчие «сочиняли» их с полной отдачей, с творческой свободой, не стесненные ни торопливостью, ни финансовыми ограничениями. Но такое время — не за горами. И именно в расчете на него — сегодня и оставляются между отдельными гнездами жилых домов «зазоры», свободные пространства. На них затем, несколько позже, будут сооружены огромные и прекрасные здания общественного назначения — театры, стадионы, дворцы культуры — многое. Вот они-то будут задумываться и осуществляться уже в других условиях и с другой ориентацией. И, став на свои места, они превратят все это в подлинные «большие ансамбли», способные соперничать с такими же городскими ансамблями великолепного петербургского архитектурного прошлого...

Ну что же? Поживем — увидим!

Мы мчались, а кое-где и медленно ползли, по северо-восточной, возвышенной части Ленинграда... И, надо сказать, выражение лиц даже самых желчных скептиков начало меняться.

Мы были теперь на высоких песчаных холмах на берегу древнего Иольдиева моря, там, за Лесным, возле Сос-

новки, рядом с Удельной. Далеко за спиной остались серые ряды новых домов, высящихся среди плоских и мокрых, как сибирское Васюганье, южных подгородных равнин. Тут был как бы другой город — со сложным, непетербургским рельефом и, главное, весь зеленый, весь в раскидистых кронах старых, в молодых порослях юных деревьев и деревцов, рядом с которыми красиво играли... Да, да! Точно такие же, как там (стены и окна очень похожи на те), точно так же чередующиеся (коробок на боку, коробок стоймя) — дома́... А все — совершенно иное: красивые улицы, разнообразный пейзаж. И те же дома выглядели тут вроде как бы и другими, непохожими, более интересными, индивидуальными, живыми...

Странная мысль приходит в голову: а что если сравнять эти холмы и, главное, вырубить эти деревья, уничтожить кусты?.. Неужели бы тогда и тут получилось то же, что там, на южных болотах? Но если так, может быть и наоборот! Когда там зашелестят листья, фасады — здесь прикроются, там выступят из-за густых крон, свежая зелень заиграет на фоне строгого бетона; может быть, и там тогда все окажется вовсе не таким пресным, стандартным, одинаковым, как сейчас?

Поживем — увидим! Ведь и на самом деле возможно, что, когда Трезини разбивал улицы своей Коломны или воздвигал первый вариант собора на низком и пустом Заячьем острове, когда по берегам Невы, над ее неспешным «наплеском», кое-где «вызначивались» среди невысокого, хмурого болотного леса тут — дворец Данилыча-Меншикова, там — Кикины палаты, — тогда тоже потребовалось бы немыслимо бурное воображение, чтобы за всем этим рассмотреть в будущем «гордый град», «красу и диво»? И наверное, тем, кто бормотал тогда себе в бороду зловещее: «Петербургу быть пусту», неприятны, отвратительны были первые наметки города, особенно когда их невольно

сравнивали с золотоглавой, обжитой и нарядной, давно сложившейся, давно обретшей свой неповторимый облик Москвой?

Может быть, у нас просто не хватает воображения, а у архитекторов и проектировщиков будущего Ленинграда его достаточно?

Что ж? Скажу еще раз: поживем — увидим! Одно могу утверждать, как на духу: более сильного впечатления, чем от созерцания этих, со всех концов и сторон окольцевавших огромный город, строительных работ, от этого, говоря прямо, строительного неистовства, но неистовства необходимого, радующего, желанного, — я не испытывал никогда...

Нет, я не вижу причин стыдиться, если в этом новом Ленинграде я не знаю почти ничего. Это город, по площади, по расстояниям, по числу зданий, проездов, площадей во много раз превосходящий то, что я привык считать своим Ленинградом. Очевидно, воздвигнуть его можно и за небольшой отрезок человеческой жизни. Но изучить его... На это не хватит и целой жизни. Моей по крайней мере. Потому что такие работы, вероятно, видны даже с Марса. С Луны уж несомненно.

После нашей экскурсии состоялось обсуждение увиденного. Вот вкратце то, что я говорил там.

Утверждают: тот, кому доверено высокое право быть зодчим в Ленинграде, должен работать в «петербургском стиле», «в высоких традициях петербургской архитектуры».

Тут слова не возразишь. Новые здания наши, конечно, не смеют торчать нелепыми присадками и довесками к прекрасному городу, не могут казаться случайно ставшими в строй ветеранов-гвардейцев неприбранными новобранцами.

Но стоит задуматься над вопросом: а что собой представляет этот, будто бы не нуждающийся в определении, единый и всеобщий «петербургский стиль»?

Я не архитектор, не градостроитель, мои мысли по этому поводу ни для кого не обязательны. Но я — петербуржец и ленинградец. Это чего-то стоит.

Я отлично помню: в 1911—1912 годах на Петроградской стороне, против Петропавловской крепости, бок о бок с деревянной Троицкой церковкой, у начала в те дни великолепного (и уж такого питерского!) Каменноостровского проспекта сначала решили построить, а затем и построили мусульманскую мечеть.

Уже с публикации проекта поднялся переполох. Архитектора Кривицкого обвиняли в безвкусии, в разрушении силуэта города, в нарушении петербургской северной строгости, в варварском отношении к единству облика города. Как так: перенести в Петрополь, на «брега Невы», к Летнему саду, к крепостному шпилю, к Домику Петра Первого среднеазиатскую, с голубыми изразцами, с тонкими минаретами, мечеть? Запретить! Или уж по крайней мере — осудить, заклеймить так, чтобы впредь было не повадно...

Надо признаться, паника была довольно основательной: стиль Петербурга — и стиль жаркого, синенебого, желтопесчаного Самарканда! Почти точная копия купола Гур-Эмира над свинцовыми водами Невы! Несообразно!

И что вы скажете? Прошло полвека, и разве теперь она кажется нам чем-то чужеродным в ансамбле Петроградской стороны, когда на нее смотришь даже почти в упор с Кировского моста, с набережной возле Лебяжьей канавки? Да — ничего подобного! Я не знаю, что думают об этом рафинированные знатоки и снобы; рядовому старому петербуржцу она давно уже представляется украшением города, эта мечеть. Уничтожьте ее — и городской

пейзаж в этой части Ленинграда бесспорно что-то потеряет.

А разве плохо, когда с Елагина острова, сквозь низко свисающие над водой Невки купы серебристых плакучих ив, мы видим на том берегу чужое не только Петербургу — любому европейскому городу трапецеидальное очертание буддийского храма? По-моему, его присутствие в Ленинграде только радует глаз, радует именно своей неожиданностью, выпадением из стиля, экзотичностью...

Петербург—Ленинград — удивительный и необыкновенный город. Он обладает избирательной способностью: все вновь построенное в нем он либо сразу же отвергает (и тогда оно исчезает за считанные годы), или же принимает (и тогда за небольшой срок оно как бы втягивается вовнутрь города, облекается его налетом, его патиной и превращается в неотторжимую питерскую деталь).

Эклектикой именовали стиль Монферрана (и, если хотите, небезосновательно). Но не знаю: хотели ли бы вы, чтобы Ленинград вдруг остался без Исаакия?

Я бы — не хотел.

Да что там говорить: Мопассан уезжал из Парижа, чтобы уродство Эйфелевой башни не оскорбляло на его глазах вечной прелести Нотр-Дам. А я и мои товарищи по заграничной поездке в мае 1969 года просто по-разному смотрели на эти два таких различных сооружения: на одно так, на другое — иначе. Они не соперничали друг с другом; они были каждое само по себе. Но, улетая из Парижа, мы, как и миллионы других человеческих существ, искали глазами именно Эйфелеву башню: без нее теперь уже нельзя вообразить себе Париж; она стала такой же его постоянной приметой, как и Нотр-Дам, как Сэн-Шапель, как Булонский лес или Елисейские поля. Не будем в этом смысле повторять ошибку Мопассана.

Это — одно. Есть и второе.

Только что, описав по Ленинграду стремительную и сложную кривую, мы воочию могли увидеть и оценить ту громаду труда и мысли, которая затрачивается нами же самими на чудовищного объема работы, призванные создать человеческие условия для жизни миллионов. Они неизреченно огромны.

И, думая о них, начинаешь сомневаться, могли ли, при всей их гениальности, великие зодчие прошлого — Росси и Воронихин, Растрелли и Захаров, хотя и они мыслили стройку не отдельными сооружениями, а целыми ансамблями, — могли ли они — кто их знает? — мыслить в масштабах таких пространств, как приходится мыслить тем, кто руководит строительством Ленинграда в XX веке?

А сегодня этим людям приходится — хотят того они или не хотят — работать именно так. И, может быть впадая иной раз в некоторые погрешности, допуская неточности в своих решениях, еще не поднимаясь, вероятно, до того высочайшего уровня архитектурной и градостроительной культуры, который задан им великими предшественниками, они упорно трудятся. Они видят Ленинград как единое целое. Они хотят сделать город удобнее для обитания, чем в бытность его Санкт-Петербургом.

Мне кажется, в этом смысле — будущее нашего города в доброжелательных и разумных руках.

Меня это радует, потому что я — старый петербуржец-ленинградец, и люблю свой город, как, вероятно, мало что в мире.

СТАРЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ НАЗВАНИЯ УЛИЦ, МОСТОВ И НАБЕРЕЖНЫХ ЛЕНИНГРАДА, УПОМИНАЕМЫХ В КНИГЕ

Старые	*Новые*
Английский пр.	пр. Маклина
Александровский пр.	пр. Добролюбова
Архиерейская ул.	ул. Льва Толстого
Бабурин пер.	ул. Смолячкова
Бассейная ул.	ул. Некрасова
Батенина ул.	ул. Александра Матросова
Введенская ул.	ул. Олега Кошевого
Вульфова ул. (Малая)	ул. Котовского
Вульфова ул. (Большая)	ул. Чапаева
Геслеровский пр.	пр. Чкалова
Грязная ул. (Петрогр. ст.)	ул. Яблочкова
Замятин пер.	пер. Леонова
Знаменская ул.	ул. Восстания
Знаменская пл.	пл. Восстания
Каменноостровский пр.	Кировский пр.
Карла и Эмилии ул.	Тосненская ул.
Конногвардейский бульвар	бульвар Профсоюзов
Кронверкский пр.	пр. Максима Горького
Ланское шоссе	пр. Н. И. Смирнова
Лафонская пл.	пл. Пролетарской диктатуры
Ломанский пер.	ул. Смирнова
Лубенская ул.	ул. Заозерная
Мариинская пл.	Исаакиевская пл.
Матвеевский пер.	часть ул. Ленина
Морская ул.	ул. Герцена

Нижегородская ул.	ул. Лебедева
Николаевская ул.	ул. Марата
Николаевский мост	мост Лейтенанта Шмидта
Новосильцевская ул.	Новороссийская ул.
Новый пер.	Бобруйская ул.
Нюстадтская ул.	Лесной пр.
Офицерская ул.	ул. Декабристов
Палевский луч (Третий)	не существует
Пантелеймоновская ул.	ул. Пестеля
Покровская ул.	ул. Подковырова
Полозова ул.	ул. Анны Ульяновой
Прядильная ул.	ул. Лабутина
Рождественская ул. (Первая)	1-я Советская
Рождественская ул. (Восьмая)	8-я Советская
Сампсониевский мост	мост Свободы
Сампсониевский пр. (Большой)	пр. Карла Маркса
Сергиевская ул.	ул. Чайковского
Симбирская ул.	ул. Комсомола
Спасская ул. (Малая, в Лесном)	ул. Карбышева
Старопарголовский пр.	пр. Мориса Тореза
Строганов мост	Ушаковский мост
Строгановская набережная	наб. Адмирала Ушакова
Сутугина ул.	Перекопская ул.
Троицкий мост	Кировский мост
Упраздненный пер.	ул. Володи Ермака
Флюгов пер.	Кантемировская ул.
Фурштадтская ул.	ул. Петра Лаврова
Царскосельский пр. (Большой)	Большой Детскосельский пр.
Царскосельский пр. (Малый)	Малый Детскосельский пр.
Церковная ул.	ул. Блохина
Чернышев пер.	ул. Ломоносова
Широкая ул.	ул. Ленина
Эртелев пер.	ул. Чехова
Языков пер.	Белоостровская ул.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 р. 56 к.